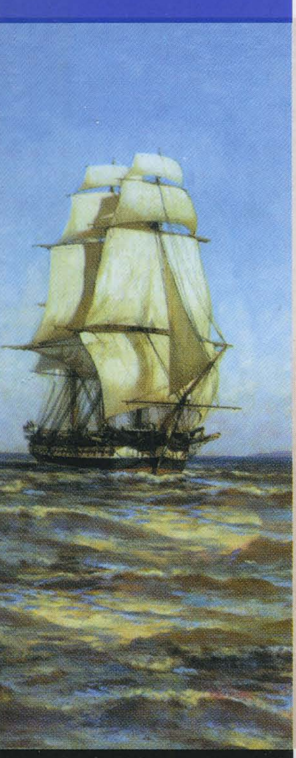
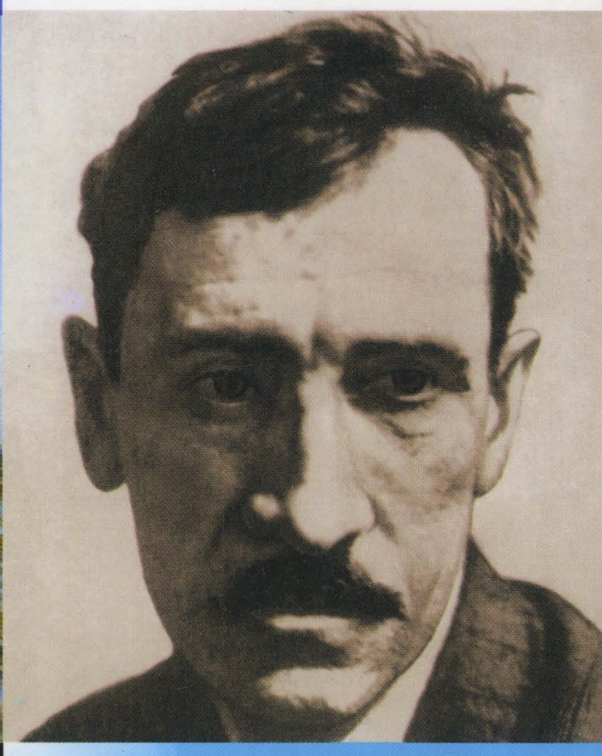
АЛЕКСАНДР ГРИН





Алексей Варламов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1315

(1115)

Алексей Варламов

АЛЕКСАНДР ГРИН

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2008

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
В 18

Издание второе, исправленное

*Автор и издательство выражают благодарность
Российскому государственному архиву
литературы и искусства (РГАЛИ)
за предоставленные фотоматериалы*

ISBN 978-5-235-03129-6

Глава I
РЕАЛИСТ

Все, кто видел Грина, отмечают в его внешности одну деталь — рост. «Это был очень высокий человек в выцветшей желтой гимнастерке»[1]. «Через минуту вошел высокий худой человек»[2]. «Грин был угрюм, высок и молчалив»[3]. «Это был высокий, худой, малоразговорчивый человек с суровым лицом и хмурым взглядом»[4].

Эсеры даже дали ему партийную кличку Долговязый. А между тем роста в Грине было всего 177,4 сантиметра. Обычный, средний для мужчины рост. Впрочем, поэт Георгий Шенгели отмечает еще одну «высокость» Грина: он был — «высоко честен»[5].

В 1913 году известный библиограф С. А. Венгеров обратился к русским писателям с просьбой прислать ему небольшие автобиографии. Ныне они хорошо известны: это автобиографии Бунина, Блока, Куприна, Брюсова...

Обратился Венгеров и к Грину, и вот что тот написал о своем происхождении и детстве:

«Я родился в городе Слободском Вятской губернии в 1881 г. 11 августа, но еще грудным ребенком был перевезен в Вятку, где и жил до 16-ти лет вместе с родителями. Мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, происходит из рода дворян Виленской губернии. Дедушка, т. е. отец моего отца, был крупным помещиком Disненского уезда. В 1863 году отец по делу польского восстания был арестован, просидел 3 года в тюрьме, а затем пробыл 2 года в ссылке в Тобольской губернии. Имение, разумеется, конфисковали. Освобожденный общей амнистией того времени, отец пешком добрался до Вятки и здесь в конце концов основался, поступил на земскую службу, где служит и сейчас бухгалтером губернской земской больницы. Ему 71 год. Он женился в Вятке на девице из мещан, Анне Сте-

пановне Ляпковой, моей матери, умершей, когда мне было 12 лет»[6].

Семейная хроника Гриневских — как мы увидим дальше, изложенная в деталях не совсем точно, начиная с того, что старший сын Степана Евсеевича Гриневского родился не в 1881-м, а в 1880 году, — для своего времени вполне типична. Революционер-инсургент, в молодости пострадавший за свои убеждения и поступки, смирившийся, женившийся на мещанке, ставший чиновником, заживший обычной обывательской жизнью и во многом эту жизнь олицетворяющий — таким предстает отец Грина и в короткой автобиографии, и в написанной двадцать лет спустя «Автобиографической повести». Нечто подобное — «преступление и наказание» — выпало в молодости и на долю самого Грина, только, отшатнувшись от призрака революции, он ушел совсем в другую сторону. Однако тема прихода и ухода из революции стала для Грина одной из самых важных, можно сказать, родовых. Как родовая травма.

О Степане Евсеевиче Гриневском известно больше, чем о матери Грина, и оставил он и в душе, и в судьбе, и в творчестве писателя след более глубокий, нежели она. Неслучайно в произведениях Грина так часто встречаются образы овдовевших отцов и так мало образов матерей. Разве что шуточные стихи из «Автобиографической повести», которыми «со странным удовольствием» дразнила уже больная измученная работой мать своего сына:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане — ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!
Вот он, маменькин сыночек,
Шалопай — зовут его;
Словно комнатный щеночек, —
Вот занятье для него!
Философствуй тут как знаешь,
Иль как хочешь рассуждай, —
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

да щемящие строки из рассказа «Зурбаганский стрелок»: «Мое прощание с матерью было тяжело тем, что она, сдерживаясь, заплакала в тот момент, когда отец закрывал дверь, и мне было поздно утешить ее...» — вот и все, что можно сказать об этой женщине, которая умерла от чахотки на тридцать девятом году жизни год спустя после рождения пя-

того ребенка. Но то, что потерявшему в отрочестве мать Грину всегда не хватало женской, материнской любви и ласки и эта смерть сильно повлияла на его характер, то, что он всю жизнь этой любви искал, несомненно. Это тот самый случай, когда значимо не присутствие человека, но его отсутствие. Вероятно, она была не очень хорошей матерью, хотя не нам о том судить. В воспоминаниях Нины Николаевны Грин, жены писателя, записанных, очевидно, со слов самого Грина, про Анну Степановну говорится, что, «всегда раздраженная, она часто предсказывала ему бродяжью жизнь: "Вот увидишь, будешь бродяжкой, голодным таскаться. Не хочешь учиться, быть послушным, под забором сдохнешь"». И чуть дальше: «Последние два года перед смертью она стала потихоньку от мужа и знакомых пить водку. За водкой бегал Саша»[7].

А что касается отцовской, дворянской линии... Отец Грина был по-своему очень ярким человеком. Степан Евсеевич (Стефан Евзебеевич) Гриневский родился 5 февраля 1843 года. Он учился в Витебской гимназии и, арестованный в 1863 году по делу «об учениках Витебской гимназии, покушавшихся сформировать мятежническую шайку», в 1864 году по решению суда был выслан «бессрочно» в город Колывань Томской губернии «с лишением личных прав» (так что сообщенные Грином Венгерову сведения о тюремном заключении отца и название губернии — неточность). В 1867-м ему разрешили переехать в Вятскую губернию, где он состоял сначала под гласным, а затем под негласным надзором.

Поскольку вступать на государственную и общественную службу Гриневскому было запрещено, Степан Евсеевич работал помощником управляющего в частном фотоателье, которое держали знакомые поляки, потом был конторщиком на пивном заводе, а через два года после женитьбы, последовавшей в 1872 году, подал прошение вятскому губернатору о выдаче свидетельства, разрешающего поступление на государственную службу. Ходатайство было удовлетворено, и в течение многих лет отец Грина работал в губернской земской больнице, занимая самые разные должности, от письмоводителя до бухгалтера, и снискал в городе уважение и почет. Долгое время он оставался католиком (хотя и состоял, естественно, в церковном браке и детей крестил по православному обряду), а в 1891 году принял православие сам*.

---

* Сведения о семье Гриневских взяты из работы Вл. Сандлера «Вокруг Александра Грина», а также из материалов сайта Дома-музея Александра Грина в Кирове, авторы которого использовали доклад заведующей музеем М. А. Махневой «Хроника жизни А. С. Грина и семьи Гриневских».

На его долю выпали нелегкая жизнь, очень непростые отношения с детьми, самым «трудным» из которых оказался первенец.

В 1903 году, когда двадцатитрехлетний беглый солдат Александр Степанович Гриневский был в первый раз арестован в Севастополе за противоправительственную деятельность, вятские полицейские, по просьбе севастопольских, допросили его отца. То ли желая помочь сыну и смягчить его участь, то ли действительно так думая, старший Гриневский в своих показаниях стал говорить о врожденной психической и умственной ненормальности молодого революционера:

«Александра я считаю психически ненормальным... ненормальность умственных способностей у Александра, по моему мнению, явилась наследственной; отец мой был ипохондрик, два брата отца, мне дяди, были умственно помешаны, но находились ли они в домах умалишенных — сказать не могу...»[8]

Вероятно, именно одного из этих дядей имел в виду сам Грин, когда писал в «Автобиографической повести»: «После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского — моего дяди по отцу — в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг».

Как и почему был убит подполковник Гриневский денщиками и связано ли это было с его умственным расстройством, остается мрачным семейным преданием в духе Достоевского, писателя Грину очень близкого фантастичностью своего реализма. Но известно, что в феврале-марте 1914 года в течение месяца Александр Грин лечился в частной психиатрической клинике доктора Трошина (и по этой причине не смог приехать на похороны отца, умершего 1 марта). Известны и его взрывоопасный характер, и приступы бешенства. И в жизни, и в творчестве, и в отдельных персонажах Грина, таких, как Лебедев-Гинч из «Приключений Гинча», Гез из «Бегущей по волнам», в героях «Крысолова», «Каната», «Фанданго» или «Серого автомобиля» было что-то болезненное, умопомрачительное, и, может быть, именно такое состояние ума подтолкнуло его к созданию собственного фантастического мира. Но и время, в которое жил Грин, было болезненным. Недаром в эти же годы Мережковский говорил одному начинающему писателю:

— У вас биографически: вы не проходили декадентства.

— А что это значит?

— Я — бог. Нужно пережить безумие. А вы здоровый...[9]

Грин не был декадентом, но общую атмосферу безумия начала века очень по-своему, по-гриновски выразил.

Он родился в один год с Андреем Белым и Александром Блоком, умер в одно лето с Максимилианом Волошиным. В сущности — чистые временные рамки Серебряного века, все были дети страшных лет России, еще не знавшие, что самое страшное ждет Россию впереди. Но даже в пестрой картине литературной жизни той поры Грин стоит особняком, вне литературных направлений, течений, групп, кружков, цехов, манифестов, и само его существование в русской литературе кажется чем-то очень необычным, фантастическим, как сама его личность. И в то же время очень значительным, необходимым, даже неизбежным, так что представить большую русскую литературу без его имени невозможно.

Фамилия Гриневских, впрочем, имела и до Александра Степановича литературные заслуги. Тетка Грина Изабелла Аркадьевна Гриневская была поэтессой, переводчицей и автором пьесы об иранском религиозном реформаторе Бабе. Этот факт упоминает в своих мемуарах Виктор Шкловский[10], а Леонид Борисов, автор нашумевшей в свое время повести о Грине «Волшебник из Гель-Гью», в своих воспоминаниях иронически называет Гриневскую «литературной дамой», помещавшей в дореволюционных журналах ответы на анкету «Что такое красота»[11].

На самом деле репутация Гриневской была гораздо серьезней, а художественную и нравственную ценность ее пьес отмечал Лев Толстой. Но какими были и были ли вообще личные отношения племянника и тетушки, печатавшихся в одних журналах, да и приходилась ли Изабелла Аркадьевна Александру Степановичу действительно теткой или же мистификатор Шкловский просто сочинил очередную легенду о Грине, сказать трудно, тем более что в 1906—1910 годах сам Гриневский находился на нелегальном положении и свою настоящую фамилию от всех скрывал. Гораздо важнее оказались для Грина отношения с отцом и связанный с этими отношениями образ детства, для любого писателя ключевой. Не зря Венгеров просил своих корреспондентов как можно больше о детстве писать.

«Детство мое было не очень приятное. Маленького меня страшно баловали, а подросшего за живость характера и озорство — преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки. Я научился читать с помощью отца 6-ти лет, и первая прочитанная мною книга была "Путешествие Гулливера в страну лилипутов и великанов" (в детском изложении). Мать тогда же научила писать. Мои игры носили характер сказочный и охотничий. Мои товарищи были мальчики-нелюдимы. Я рос без всякого воспитания»[12].

Это «рос без всякого воспитания» подхватывается позднее и в «Автобиографической повести»: «Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло хуже».

История была житейски вполне понятная. В течение семи лет супружества у Гриневских не было своих детей, так что в 1878 году они даже взяли на воспитание девочку-подкидыша, найденную на паперти вятского Александро-Невского собора*, в 1879 году родился мальчик, которого назвали Сашей и который вскоре умер. И когда год спустя родился и выжил следующий ребенок, также названный Александром, его забаловали донельзя и потом пожинали горькие плоды этого баловства. В одной из современных статей, посвященных Грину, читаем: «Дома он получил самое отвратительное с точки зрения психологов воспитание: его то безудержно нежили, то беспощадно били или бросали без присмотра»[13]. Насчет беспощадного битья — это, скорее всего, перехлест, но то, что последовательности в воспитании ребенка было мало, факт.

Девяти лет Сашу Гриневского отдали в подготовительный класс вятского земского Александровского училища. Учился он неплохо, но с самого первого года учебы журнал инспектора был полон записей о дурном поведении реалиста Гриневского: вел себя неприлично, бегал по классу и дрался, баловался, передразнивал на улице пьяного, обижал девочку и не сознавался в этом, был удален с урока, по выходе из училища толкался и кидался землей, употреблял неприличные выражения.

Позднее Грин несколько иронически написал о том, что ему просто не везло, его шалости не выходили за пределы

---

* У этой девочки была драматическая судьба, отбрасывающая странный отблеск на семью Гриневских и самого Грина, хотя он нигде об этом не пишет. Наталия воспитывалась наравне с другими детьми (причем на ее содержание приемные родители получали от государства сначала два с половиной, а потом четыре рубля в месяц); в 1887 году поступила в приготовительный класс Вятской Мариинской женской гимназии. А 14 июля 1889 года Анна Степановна Гриневская подала в земскую губернскую управу прошение о том, чтобы от нее взяли Наталию для помещения другому лицу, так как увеличилась их семья и более воспитывать девочку она «не в состоянии». Осенью того же года Наталию исключили из гимназии, и одиннадцатилетнюю девочку отдали на воспитание жене титулярного советника О. И. Ивановой, затем передали к П. И. Рожаневской, а 2 октября 1890 года поместили в Прозоровский приют. Известно, что Степан Евсеевич тяжело переживал разлуку с приемной дочерью. В начале XX века Наталия Гриневская жила в Петербурге, а в двадцатые годы работала в Обуховской больнице, после чего следы ее теряются.

обычных детских проказ, но он всегда становился козлом отпущения: «Если за уроком я пускал бумажную галку — то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: "Франц Германович, Гриневский бросается галками!" ...Если я бежал, например, по коридору, то обязательно натыкался или на директора, или на классного наставника: опять кара.

Если я играл во время урока в перышки (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отделывался пустяком, а меня как неисправимого рецидивиста оставляли без обеда».

Архив училища, впрочем, свидетельствует об ином. Школьные наставники хорошо разбирались в детях. В конце года, когда педсовет подводил итоги, в решении учителей было сказано, что в целом весь класс вел себя вполне благопристойно и «те чисто детские привычки и поступки, кои учениками принесены были с собой из семьи, не могли иметь в себе характера, вызывающего на меры внушений и строгости»[14].

А далее в документах реального училища следовал замечательный пассаж, прямо касающийся будущего писателя-романтика: «Среди товарищей резко выдавался только Гриневский, выходки которого были далеки от наивности и простоты... Поступки Гриневского обращали на себя внимание даже училищного начальства. Поведение Гриневского находим бы нужным аттестовать баллом "3"»[15].

Тройка по поведению грозным сигналом прозвучала для родителей, которым было прямо сказано, что «если они не обратят должного внимания на дурное поведение своего сына и не примут со своей стороны мер для исправления его, то он будет уволен из училища»[16].

Меры принимались — они-то и возмущали позднее Грина, заставляя его писать о деспотизме и жестокости отца — но успеха не имели именно по контрасту с тем, как воспитывали ребенка до школы.

«Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня в минуты раздражения за своевольство и неудачное учение звали "свинопасом", "золоторотцем", прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих... Мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже».

Через много лет, после того как Грин опубликовал «Автобиографическую повесть», одна из его сестер вступилась за

отца и обвинила писателя в клевете: «Сколько я помню свою семью — не помню, чтобы рука отца поднялась для битья кого-либо из нас, ни издевательства над нами, ни угроз выгнать из дому, а тем более Александра, который был долгожданным сыном, любимцем и первенцем... Жили по тогдашнему времени хорошо. Помню, квартира была всегда из 4-х комнат... и отец не был алкоголиком, он был чудесной души человек, и не правда, что он спился, и не правда, что умер в нищете, НЕ ПРАВДА!»[17]

«Все это неправда. Не знаю — зачем так понадобилось унизить отца? Неужели думал, что это принесет отцу ореол мученичества, из которого он вышел? Или это просто литературный оборот?»[18]

На самом деле, если внимательно и беспристрастно прочитать «Автобиографическую повесть», за внешней раздражительностью Гриневского-старшего встает образ человека, глубоко любящего своих домашних, бесконечно им преданного и прожившего тяжелую жизнь во имя других. Грин сохранил детскую обиду на отца, который мог влепить ему затрещину за непонятливость, хотя при этом Степан Евсеевич никогда не отказывался помогать ребенку делать домашние задания; мог оставить его без обеда или заставить простоять на коленях, мог оскорблять, говоря: «Тебя мало убить, мерзавца!», «Что скажут такие-то и такие-то?», и с точки зрения педагогики был, несомненно, плохим воспитателем, но этот же человек был готов душу за сына положить, пойти на прямое преступление — речь об этом еще пойдет — и, читая страницы, посвященные Степану Евсеевичу, помимо обиды Грина и по воле его таланта, начинаешь испытывать сочувствие к человеку, жившему не столько по своему хотению, сколько по долгу.

Все дело в том, что сын у него был очень непростой. Отношения у Саши Гриневского не складывались ни с кем — ни с домашними, ни с учителями, ни с учениками. Но именно последним обязана русская литература появлению псевдонима Грин.

«Меня дразнили двумя кличками: “Грин-блин” и “Колдун”. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля “Тайны руки”, я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.

В общем, сверстники меня не любили; друзей у меня не было».

Переход довольно странный: какая связь между гаданиями по руке и нелюбовью сверстников — разве что участь Кассандры. Очевидно, что Грин многого не договаривал в

своих беллетризованных мемуарах и давал лишь те объяснения, которые отвечали его литературным целям.

После окончания подготовительного класса дела его были так плохи, что отец вынужден был забрать мальчика на год из училища, и Грин провел этот год дома, по собственному признанию «не очень скучая о классе».

В 1891 году он вторично поступил в первый класс, занимался скверно со средней оценкой три с половиной балла, а во втором классе проучился всего два месяца и был исключен. Прочитав шуточные стихи Пушкина «Собрание насекомых», маленький «реалист» в подражание Пушкину сочинил о своих учителях:

Инспектор, жирный муравей,
Гордится толщиной своей
....
Капустин, тощая козявка,
Засохшая былинка, травка,
Которую могу я смять,
Но не желаю рук марать.
....
Вот немец, рыжая оса,
Конечно, — перец, колбаса...
....
Вот Решетов, могильщик-жук...

И так далее про всех за исключением директора, которого юный автор поберег не то из боязни, не то из пиетета.

В «Автобиографической повести» говорится, что эти стихи гуляли по училищу и в конце концов попали в руки школьного начальства. Причем выдал Гриневского его одноклассник и земляк, поляк по национальности Маньковский, который две недели изводил начинающего поэта угрозой «донесу — не донесу», а потом, на уроке немецкого, поднял руку и сказал:

— Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского.

Учитель позволил, прочел, покраснел, побледнел, Гриневского вызвали в учительскую комнату, а дальше последовала — как пишет Грин — сцена в духе гоголевского «Ревизора» или — как могли бы продолжить мы теперь — носовского «Незнайки», сочинявшего вирши про жителей Цветочного города: «Как только чтение касалось одного из осмеянных — он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор».

Это, вероятно, тоже беллетристика — сцена публичного унижения одного за другим учителей в глазах друг друга и уж тем более в глазах учащегося, скорее всего, придумана

для того, чтобы сделать ситуацию драматичнее. Точно так же выдуман и эпизод с предательством — согласно записи в школьном журнале, учитель сам увидел у Гриневского пасквильные стихи, и написаны они были не за две недели до катастрофы, а на самом уроке. Да и те ли это были стихи, которые приводит в своей повести Грин, большой вопрос, но то, что стихи существовали и именно они стали главной причиной изгнания мальчика из училища, подтвердил много лет спустя на допросе в полиции в связи с арестом сына Степан Евсеевич.

«С детства у него была мания к стихотворству. Будучи 10-летним реалистом, он написал пасквильное стихотворение на всех преподавателей. Это обстоятельство и послужило главным поводом к его исключению из реального училища»[19].

Отец старался его спасти. «Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.

Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.

Меня исключили».

Вся эта история напоминает историю еще одного исключенного из-за конфликта с учителями русского школьника и также будущего писателя Михаила Пришвина, описанную последним в автобиографическом романе «Кащеева цепь». Но там, где реалист Пришвин романтизирует, подчеркивает мужество и независимость, моральную победу своего главного героя в противостоянии с учителем географии В. В. Розановым, романтик Грин нарочито снижает образ: «Он говорил, а я ревел и повторял: “Больше не буду!”»

Да и «бегство в Америку», описанное в обоих произведениях, разнится в тоне повествования. У Пришвина это торжество, героическая робинзонада и никаких слез (хотя в реальной жизни были как раз слезы и никакой героики), у Грина — бесславное возвращение домой за куском пирога: «Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег... Ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега. Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог».

В гимназию беглеца не взяли, и в октябре 1892 года Степан Евсеевич подал прошение о том, чтобы его мальчика приняли в число учеников третьего отделения Вятского городского училища, которое пользовалось в городе самой скверной репутацией.

«Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой — не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарища по несчастью всегда приятно...

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам "ты", а не стеснительное "вы", начали мне нравиться».

Нравы среди учеников были такие, что боялись их во всем городе.

«Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

— Постыдитесь, — увещевал он галдящую и скачущую ораву, — гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища... Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: "Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!" — и бегут в гимназию кружным путем».

Но вообще-то, несмотря на поздний юмор и иронию воспоминаний, учеба в училище была для Грина очень тяжелой полосой в жизни. После смерти матери, последовавшей в январе 1895 года (то есть когда Грину было четырнадцать с половиной, а не двенадцать лет, как сообщал он Венгерову, и не тринадцать, как писал в «Автобиографической повести»), отец в мае того же года женился на вдове почтового чиновника Лидии Авенировне Борецкой, у которой был девятилетний сын от первого брака. Вряд ли это была сильная любовь, скорее, и с той и с другой стороны новое супружество было вынужденным шагом и браком по расчету, но отношения с мачехой у Грина не сложились. Как некогда про гимназических учителей, он сочинял про нее сатирические стихи, часто ссорился, отец разрывался между сыном и новой семьей и вынужденно вставал на сторону последней. А потом и вовсе стал снимать для Александра комнату.

«Я должен сказать, что моя настоящая жена, мачеха Александра, последнего знает очень мало, так как с первых же дней он с нею ругался и я удалил его от себя»[20], — показывал он на допросе в 1903 году, и очевидно, что здесь было не только желание уберечь Лидию Авенировну от допросов в полиции, но и констатация действительного положения дел. Может быть, этой скорой женитьбы не мог Грин простить ни тогда, ни позднее своему родителю (неслучайно вдовые отцы у Грина в «Алых парусах», «Золотой цепи», «Бегущей по волнам», «Дороге никуда», и в рассказах «Рене», «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» и

«Крысолове» вторично не женятся) и потому так сгущал краски. Точно так же тенденциозно описывал он Вятку, свои скитания, мытарства и неприкаянность, создавая художественный образ никому не нужного, отвергнутого подростка, хотя, в сущности, ничего плохого ни город, ни отец ему не сделали.

И все же, возвращаясь к выражению «литературный оборот», употребленному возмущенной Екатериной Степановной Маловечкиной, сестрой Грина*, по отношению к тону его воспоминаний об отце, надо признать, что со стороны сестры это был не просто оборот, а точно найденная формулировка. Когда Грин в начале тридцатых годов создавал необычную для себя и своей поэтики и вполне традиционную по литературным меркам критического реализма «Автобиографическую повесть» с ее простыми российскими реалиями и русскими именами — это были его вынужденная попытка вписаться в новое время и одновременно желание переложить на автобиографическое повествование мотивы недавно законченного, чисто «гриновского» романа «Дорога никуда», где среди прочего рассказывается о сложных отношениях между отцом и сыном.

«Автобиографическая повесть» Грина, его «охранная грамота», была написана с оглядкой на автобиографическую трилогию Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты», и во многом, рисуя образ затхлого провинциального города, Грин следовал сложившейся традиции мрачно изображать русскую дореволюционную жизнь, скитания незаурядного молодого человека, среду босяков, несправедливость, грязь. «А больше всего был Максимом Горьким», — сообщал он еще раньше Венгерову[21] и теперь, в повести, именно эту идею развивал.

Другим не менее важным ориентиром для Грина была повесть Чехова «Моя жизнь».

«Чтобы понять это, — писал он о своем самоощущении в

---

* Любопытно, что судьба самой Екатерины Степановны чем-то напоминала судьбу Грина. В гимназии она отличалась недисциплинированностью, дерзостью и плохой успеваемостью, когда ей было восемнадцать лет, сидя на галерке в театре, бросила ком бумаги, который попал в полицмейстера. Гриневскую было решено исключить из гимназии, но отец, чтобы не портить ей будущую жизнь, написал заявление о невозможности дочери продолжать образование по семейным обстоятельствам с просьбой выдать ей свидетельство. Так же, как и у Грина, у нее не сложились отношения с мачехой, и Степан Евсеевич был вынужден снимать для нее комнату. После смерти Степана Евсеевича его вдова Лидия Авенировна некоторое время жила у своей падчерицы на Дальнем Востоке.

молодости все в той же “Автобиографической повести”, — надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту атмосферу напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова “Моя жизнь”. Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке».

О роли «Моей жизни» в жизни Грина свидетельствует и запись, сделанная женой Грина Ниной Николаевной.

«“Особенное”, неизгладимое впечатление произвела на меня повесть А. Чехова “Моя жизнь”, — говорил Александр Степанович. — Я увидел свою жизнь в молодости, свои стремления вырваться из болота предрассудков, лжи, ханжества, фальши, окружавших меня. Стремления мои были в то время не так ясно осознаны и оформлены, как я теперь об этом говорю, смутны, но сильны. Понятен и близок был мне Михаил, его любовь и отвращение к родному очагу “родительского дома”»[22].

Очевидно, что конфликтная ситуация «отец и сын», «герой и город» была пережита Грином очень глубоко, и в пристальном внимании Грина к чеховской повести можно увидеть определенную литературную и житейскую реминисценцию. И там и там мальчик из дворянской семьи не желает жить так, как предписывают ему законы его сословия, и там и там весь город восстает и герой оказывается один против всех.

«Город, негласно, выдал мне уже волчий, неписаный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день».

Чехов фигурирует и в другом месте в «Автобиографической повести»:

«Иногда я писал стихи и посылал их в “Ниву”, “Родину”, никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве, — точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати-пятнадцати лет».

Но и сам мальчик был под стать своим стихам: ни друзей, ни семьи, одиночество, запойное чтение книг («Тысячи книг сказочного, научного, философского, геологического, бульварного и иного содержания сидели в моей голове плохо переваренной пищей»[23]), самолюбивый, независимый и очень замкнутый, конфликтный характер, мечты о Фениморе Купере — таким мы видим Грина в его отроческие годы. Причем, что важно, этот образ идет не только от «Автобиографической повести» с ее покаянным, саморазоблачительным

пафосом, но и от «Автобиографии», написанной в 1913 году Венгерову: «В детстве я усердно писал плохие стихи»[24].

Позднее Грин вспоминал, что полюбил в ту пору ходить на охоту, причем ружье у него было совсем старенькое, он добывал мелкую дичь, а больше всего голубей. С двенадцати лет зарабатывал на жизнь перепиской листов годовой сметы для благотворительных заведений, занимался переплетным делом, делал бумажные фонари для коронации Николая II.

Но во всех этих воспоминаниях настойчиво присутствует один горький мотив: за что бы дитя ни принималось, все выходило у него из рук вон скверно. «Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал...» Или: «За все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы. Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня — никогда».

То же самое относилось и к работе, когда мальчик стал заниматься переплетным делом с целью поднакопить: «Одно время у меня было порядочно заказов; будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать пятнадцать-двадцать рублей в месяц, но старая привычка к небрежности, поспешности сказалась и здесь, — месяца через два моя работа окончилась».

Ладно работа. Она делалась из-под палки, с отвращением, это понятно. Но вот, казалось бы, совсем другое — охота, которой Грин увлекся еще на десятом году жизни: «...не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью: "отпустят" или "не отпустят" меня сегодня "стрелять"». Но и здесь он оставался верен себе: «Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов... Несмотря на мою действительную страсть к охоте у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует... Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу... Впоследствии в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там».

Просто тридцать три несчастья! Недоросль, Митрофанушка, Обломов, если только не наговаривал на себя сам с

некоей целью, если не только не создавал легенду наоборот в противовес тем байкам и мифам, что шли за ним по пятам всю его жизнь.

Каждый писатель — это миф. Грин — миф в квадрате.

В шестнадцать лет Александр Гриневский закончил училище со средней отметкой «3» и сильно преувеличенной пятеркой по поведению, чтобы не портить юноше жизнь, и на этом его регулярное образование было завершено. Оставаться в Вятке смысла не было. Не хотел этого ни отец, ни тем более подобревшая ввиду отъезда пасынка мачеха.

Летом того же 1896 года Степан Евсеевич дал сыну на будущую самостоятельную жизнь не то двадцать, не то двадцать пять рублей. Обремененный большой семьей и новыми детьми, больше он дать не мог, но уплывающему в самостоятельную жизнь Грину казалось, что в руках у него целое состояние.

«Я долго видел на пристани, в толпе, растерянное, седобородое лицо отца, видел, как он щурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди пароходной толпы.

Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я, с сжавшимся сердцем, пошел вниз».

Так пишут о любящих друг друга людях.

Глава II
ПРИШЕЛ И УШЕЛ

Путь Грина лежал на юг, в Одессу, к морю. Он хотел стать моряком. Море казалось ему альтернативой Вятке, убогой провинциальной жизни, скуке, косности, собственной никчемности — море было выходом из «Моей жизни» в тот мир, где все окружающие его «моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде, — были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей...».

«Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой “Дюковской лестницы” в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви, но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным — чужим».

Вот беда — его нигде не хотели брать. Подросток Гриневский был слабогруд, узок в плечах и сутул, плюс к этому страшно инфантилен, вспыльчив и нетерпелив — букет, с которым трудно делать любую карьеру, в том числе и морскую.

«Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества... Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию “мексиканской панамы”), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах».

Деньги, которым он не знал счета и тратил на пустяки, стреляя в тире, покупая апельсины и обедая в ресторане, быстро кончались, он продавал свои вещи, голодал, болел и

чувствовал себя мучительно одиноким, беззащитным, гибнущим, ни одна его мечта не сбывалась, а голод был ужасен.

В автобиографическом рассказе «Случайный доход» Грин писал: «Наконец, нервы мои не выдержали. Я остановил вечером жирного одесского туза, переходившего рельсы как раз против знаменитой лестницы бульвара, и, указав ему на приближающийся паровоз, предложил за вознаграждение в сто рублей положить мизинец своей левой руки на рельсу, чтобы туз имел удовольствие увидеть мои страдания. Почтенный коммерсант дико оглянулся кругом, вздрогнул и побежал вверх по лестнице. Я никогда не думал, что толстяки могут так резво нестись вверх».

В конце концов не осталось ничего другого, как обратиться за помощью к знакомому отца, хотя поначалу хотел всего добиться сам. Что-то вроде гончаровского Штольца: «Я приду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него...»

Подобная коллизия встретится потом и в романе «Золотая цепь», герой которого, шестнадцатилетний безродный юнга попадет в общество богатых и могущественных людей и поведет себя независимо и гордо:

«Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын — даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно, — заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. — Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу».

Но это в сказочном романе, а в жизни все складывалось иначе. Знакомый отца помог — сначала отругал за то, что не пришел сразу, а потом накормил, дал еды и некоторое время спустя устроил учеником на пароход «Платон», совершавший рейсы по Крымско-Кавказской линии. Только моряка из Грина не вышло, как не вышло впоследствии ни рыбака, ни дровосека, ни грузчика, ни солдата. «Одно из двух: или Жюль Верн наглый обманщик, или он, Синявский, еще недостаточно окреп для морских прелестей. Палуба? Брр-р!.. — несколько иронически писал Грин в ран-

нем рассказе “Трюм и палуба” об ощущениях матроса-ученика. — Проклятая жизнь! Над ним издеваются с утра до вечера, прячут его брюки, бросают ему в кружку с чаем фунтовые куски сахара, насыпают соли!.. Он должен чистить гальюны, а в порту неизменно торчать на вахте у сходней, — и все это за свои же девять рублей! Довольно! Он ревет — ну, что же из этого? Нельзя обижать человека, в самом деле — так, мимоходом!..»

В отличие от независимого и смелого Санди Пруэля из «Золотой цепи» герой этого рассказа изображен маменькиным сынком, ябедой и плаксой, но и сам творец обоих юных моряков был плохо приспособлен к любым систематическим занятиям. Грин не стал, а родился писателем, богемным человеком, аристократом духа, сколь бы иронически к этим определениям мы ни относились, а говоря точнее — ему сильно повезло, что он был наделен литературным талантом. Когда б не этот талант, неизвестно, как сложилась бы его судьба, вероятно, она напоминала бы судьбу обитателей горьковского «дна», ибо всякая обыденная деятельность с юности ему претила. Об этом писала и его первая жена: «Из всех человеческих дел Грин любил только литературу и только одно умел делать — писать»[25].

В его произведениях отвращение к регулярному, каждодневному механическому труду, не связанному с творчеством, равно как и некоторое презрение к тем, кто таким трудом занимается, очень чувствуется. Достаточно прочесть рассказ «Наказание» про рабочего по фамилии Вертлюга, который умирает из-за того, что нарушает технику безопасности, и в этом его упрекает инженер, однако сам Вертлюга, умирая, винит себя за другое — за то, что вообще на заводе работал и не выполнил свою волю — уйти. В рассказе «Вперед и назад» про одного из героев, отказавшегося от романтики и трудностей, связанных с добычей золота, и променявшего все это на обыденный крестьянский труд, говорится, что он «был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других». И славная девушка, «красивая, как весенняя зелень» — главный приз в волшебном гриновском мире — никогда такому человеку не достанется. Он будет лишь смотреть «на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе».

Но даже море и тяжелая морская работа, которую воспевал Грин в «Алых парусах», рассказывая о юности Грэя и его

испытаниях юнги, были автору феерии скучны и непосильны. Иное дело Грэй. («Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере "своим", но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление».)

Когда В. Вихров в статье «Рыцарь мечты» с самыми лучшими чувствами писал: «Удивляться надо не житейской неопытности Грина, не тем передрягам, которые претерпевает шестнадцатилетний мечтатель, попавший из провинциальной глухомани в шумный портовый город, а тому поистине фанатическому упорству, с каким пробивался он к своей мечте — в море, в матросы»[26], то этот восторженный пассаж мало соответствует действительности. Гораздо больше доверия оценке самого Грина. «Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я не был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом», — писал он на склоне лет, отделяя себя от своих смелых и настойчивых героев.

Грин сделал всего несколько рейсов, самым интересным из которых было его единственное заграничное плавание в Александрию на судне «Цесаревич» весной 1897 года. После этого территорию России создатель Гринландии никогда не покидал, а о своем африканском путешествии замечательно написал в 1925 году в автобиографическом рассказе «Золото и шахтеры», опубликованном в «Красной ниве».

«Когда еще юношей я попал в Александрию (Египетскую), служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Доде, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не

было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала "селям алейком".

Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам — я не знаю до сих пор. Но я знаю:

1) Пустыни не было. 2) Была канава. 3) Розу я купил за две пар... (4 коп.) 4) Не чувствовал ни капли стыда».

На обратном пути Грин поссорился с капитаном, отказавшись выполнять его требования, и дальше поплыл уже в качестве пассажира. Вероятно, это был момент истины, проверка на пригодность человеческого характера — сдюжит — не сдюжит, вытерпит или нет. В отличие от своего Грэя Грин не сдюжил и летом 1897 года отправился домой в «отпуск». Ни денег, ни багажа при нем не было. Он плыл по Волге от Ростова до Казани сначала зайцем, потом обычным пассажиром от Казани, по милости пожалевшего его капитана, а затем шагал пешком двести верст — эти двести верст отзовутся трагическим марш-пробегом в «Дороге никуда», а путешествие без билета — в чудесной новелле про «зайца» «Пассажир Пыжиков» — и вернулся к тому, от чего ушел: Вятка, обыватели, мачеха, отец, возлагавший на сына свои отцовские надежды и жестоко разочарованный.

«Мой багаж остался на почтовой станции... Знаешь... Понимаешь... Не было извозчика. Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал; а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!

Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие — эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство».

В Вятке Грин прожил чуть меньше года, перебиваясь случайными заработками и отчаянно тоскуя, а летом 1898-го, взяв у отца на этот раз пять рублей, поехал искать счастья в Баку, но и там ему не удалось выбиться в люди. Постоянной работы не было, случайные заработки бродяга проедал, иногда его обманывали, выгоняли из дома, потом началась зима.

«Зима тянулась бесконечно долго. Это был мрак и ужас, часто доводивший меня до слез. Не желая тревожить отца, я иногда писал ему, что плаваю матросом... А его письма из письма в письмо твердили о нужде, долгах, заботах и расходах для других людей».

Весной он устроился к рыбакам, но не выдержал тяжелой работы и ушел, летом едва не погиб от жажды, когда шел берегом моря, и опять, как побитый, вернулся домой. Что-то заколдованное было в Вятке, от которой он мечтал, но не мог уйти.

Грин работал банщиком на Пермь-Котласской железной дороге, в железнодорожных мастерских Вятского депо, служил матросом на барже, а в феврале 1901 года, взяв у отца три рубля (так это было или не так на самом деле, но в «Автобиографической повести» называются именно такие, убывающие суммы, которые вручал отец отправлявшемуся на поиски счастья сыну), пешком ушел на Урал, работал «на Пашийских приисках, на домнах, в железных рудниках села Кушва (г. Благодать), на торфяниках, на сплаве и скидке дров и дровосеком» и мечтал выбиться в люди, но и тут его ждала неудача. О ней он со своей обычной иронией писал: «Когда, по возвращении с Урала, отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему "творимую легенду" приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам, с ними ограбил контору прииска, затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, взглядывая на меня, он внушительно повторял: "Д-да. Не знаю, что из тебя выйдет"».

Косвенный ответ на этот вопрос содержится в воспоминаниях Нины Грин: «И только когда А. С. в 1913 году, уже после ссылки, приехал на несколько дней к старику в Вятку незадолго до его смерти, привез свою книгу рассказов и показал ему договор с издательством, С. Е. заплакал, поверил и сказал: "Саша, Саша, как я радуюсь на тебя, ведь я же думал, что так беспутным и останешься"»[27].

Но до 1913 года надо было еще дожить, а тогда, судя по прожитым первенцем двадцати годам, которые, помимо горького житейского опыта, его ничем не обогатили, перспективы Грина были безрадостными, и жизнь у молодого человека не задалась.

«Я был матросом, грузчиком, актером, переписывал роли для театра, работал на золотых приисках, на доменном заводе, на торфяных болотах, на рыбных промыслах; был дровосеком, босяком, писцом в канцелярии, охотником, револю-

ционером, ссыльным, матросом на барже, солдатом, землекопом...»

Иногда молодость Грина сравнивают с молодостью Горького. Едва ли это удачная параллель. Как хорошо написал в своей книге о Грине Вадим Ковский, «в течение нескольких лет он пытался войти в жизнь, как в штормовое море, и каждый раз его, избитого о камни, выбрасывало на берег — в ненавистную, обывательскую Вятку, унылый, чопорный, глухой город с его догматом "быть как все", с атмосферой напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда; Вятку, где он залечивал раны и вновь отправлялся в "жизнь"»[28].

Про Горького такого не скажешь. В скитаниях молодого Пешкова был некий жизнетворческий жест, своего рода стратегия, нацеленная на узнавание жизни. У Гриневского сплошное отчаяние и никакого расчета. А вот реальная Вятка, в которую выбрасывало Грина после всех его попыток войти в большой мир, на самом деле не была таким уж беспросветным местом, каким он ее позднее живописал — это был культурный российский город с библиотеками, замечательным театром, в этом городе жили не одни только злодеи и мещане-обыватели. Сестра Грина А. С. Лапина вспоминала:

«Я помню Вятку и не забуду никогда Александровский сад на высоком берегу, и музыку по праздникам, и собор, и Соборную площадь, и парады на площади в царские дни, как это было красиво!.. Вятка моего детства и юношества была чудесная!»[29]

Но Грин ничего этого видеть не хотел ни тогда, ни позднее — он оставил лишь мрачные свидетельства и в автобиографической прозе, и в беллетристике. Это отталкивание и противостояние, конфликт с действительностью и обществом изначально стали для него творческим стимулом.

Неслучайно в рассказе «Далекий путь» убежавший из России, живущий в Андах герой — судьба, о которой мечтал Грин и построил ее себе с помощью литературы, как виртуальную компьютерную игру, — с ужасом вспоминает русское провинциальное прошлое:

«Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности — казенных учреждений, тянувшихся по берегу реки от белого, с золотыми луковками, монастыря до губернской тюрьмы; два собора стояли в центре базарных площадей, замкнутых четырехугольниками старинных торговых рядов с замками весом до двадцати фунтов. На дворах выли цепные псы. Малолюдные мостовые кое-где проросли травкой. Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, на-

поминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой — в сугробах, летом — в пыли».

Герой рассказа, как когда-то его создатель, мечтает бежать на край света и, в отличие от своего создателя, действительно убегает аж в Южную Америку, причем протест против родины носит у него не только социальный, но даже географический, климатический характер. «Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки, берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку».

Однако самому Грину до бегства было еще далеко. Его ждали два суровых жизненных испытания — солдатчина и тюрьма.

Летом 1901 года Грин — как написал он Венгерову, «по желанию отца (а отчасти по своему собственному) был сдан в солдаты»[30]. Точные причины, подтолкнувшие обоих к такому решению, не вполне ясны. Обыкновенно вслед за «Автобиографической повестью» считают, что Грин пошел туда добровольно, но недавно, благодаря исследованиям кировских музейщиков, стало известно, что в августе 1901 года Александр Гриневский по просьбе своего друга Михаила Назарьева продал золотую цепочку, украденную у врача В. А. Трейтера, и оказался под следствием по обвинению в сбыте краденого. В феврале 1902 года на заседании Вятского окружного суда А. Гриневский и М. Назарьев были признаны невиновными в «совершении приписываемых им преступных деяний», но можно представить, каким ударом для отца была вся эта история, наделавшая много шуму в тихой Вятке, и на армию возлагались последние надежды сделать из сына человека.

Н. Н. Грин впоследствии писала: «Устав от невозможности найти работу по душе (а без души никакая работа не могла надолго удержать Александра Степановича, благодаря цельности его характера), устав от великой нужды, Грин соблазнился мыслью о постоянной сытости, одежде, жилье, отсутствии мучительных ежедневных забот. А самое главное — ему было стыдно отца, который должен был от своего скудного бюджета уделять еще и ему, неустроенному»[31].

В марте 1902 года Гриневского призвали. Он служил в Пензе в 213-м пехотном Оровайском резервном батальоне. «Жизнь в казарме скоро показала ему оборотную сторону солдатской сытости»[32].

Если предыдущие скитания Грина прямого выражения в его прозе, за исключением «Автобиографической повести» и небольших рассказов, не нашли, и можно рассуждать лишь о том, как причудливо преобразился мотив ищущего свой жизненный путь молодого человека в поздних романах Грина «Золотая цепь» или «Дорога никуда» и как соотносятся, а точнее, нарочито противопоставлены они реальному житейскому опыту писателя, то солдатский период в судьбе Грина напрямую отразился в его рассказах. Было их не так много, как впоследствии эсеровских рассказов, но роль их в творчестве Грина велика.

Солдатчине были посвящены два самых первых текста Грина «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська» с их откровенным революционным пафосом; о службе в армии речь идет в рассказе «Тихие будни», но, пожалуй, ярче всего армейская тема проявилась в рассказе «История одного убийства», написанном в 1910 году и поражающем своей современностью и злободневностью, как если б его написал Олег Павлов. История, которая произошла сто лет назад и которая могла бы произойти сегодня. Вот вкратце ее сюжет.

Трое служивых сидят в караульном помещении во время несения караула. Один из них — Цапля — обойденный званием ефрейтор, помыкающий молодыми, армейский «дед». Другой — находящийся в его подчинении молодой солдат рядовой Банников по кличке Машка. Кличка зловещая, с намеком на гомосексуализм. И шуточки старослужащего Цапли в том же направлении. Третий участник маленькой драмы — безымянный унтер, который ни во что не вмешивается и спокойно наблюдает за тем, как Цапля издевается над Банниковым. Он просто несет службу — как умеет. Банникова, молодого, не жалко ни ему, ни автору. И в самом деле, жалеть «Машку» не за что, потому что «с первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость — козыри в жизненной игре. Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им, своему взводному или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче».

А жизнь у всех трудная. Холодно, голодно, тоскливо, за окном ветер. Унтер и Цапля хотят выпить чаю и посылают Банникова в трактир. В это время заходит разводящий офицер. Не найдя рядового на месте и узнав, что его послали за чаем, наказывает унтера пятью сутками карцера. Когда возвращается Банников, Цапля начинает во всем его винить, что, мол, долго ходил и подвел хорошего человека, потом бьет его по лицу. (В то время как унтер, понимая, что сам не прав, относится к наказанию как к справедливому.) Молодому обидно. Он знает, что ни при чем. К тому же он купил угощение на свои деньги. Так и не успев попить чаю, глотая слезы, он идет на пост сменить другого солдата, а Цапля, все более и более распаляясь, думает, как бы «Машке» еще отомстить, решает его напугать, отняв у него затвор. Он тихо, ползком, подкрадывается к часовому, но тут Банников его замечает. А дальше следует такая сцена.

Солдат стоит с ружьем, безоружный ефрейтор Цапля лежит на земле. Они поменялись ролями. Цапля в руках у молодого. И тогда Банников...

«Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание.

— Вставайте, отделенный! — твердо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения. — Ну!

Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо, с ненавистью в душе продолжал лежать.

Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его сердце.

— Вставайте, отделенный! — настойчиво повторил Банников и, пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет.

Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И оттого, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучитель-

но сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз.

Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженому затылку ефрейтора.

Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми, конвульсивными движениями. Тонкий, лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным, тупым звуком. Шея Цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным, притаившимся телом».

Такая история. Тут нет плоской революционной агитации, как в рассказе «Слон и Моська», где также создан образ замордованного и протестующего солдата из крестьян; нет тут еще ни Зурбагана, ни Лисса, ни «Алых парусов» — это ранний, не слишком известный Грин, только нащупывающий свою манеру, но в то же время удивительно зрелый. И что бы ни говорили и ни писали о будущих достижениях Грина-романтика, жаль, что он с этого пути свернул. Из Грина вышел бы первоклассный писатель-реалист. Он мог пойти по традиционному пути психологической русской прозы, мог оказаться в ее — как теперь говорят — «мейнстриме», с Куприным, Буниным, Горьким, Андреевым — но не захотел и выбрал путь, где его ждали непонимание, обвинения, насмешки, упреки в подражательности и даже прямая клевета, что он-де убил капитана английского судна, украл у него рукописи и стал печатать под своим именем (потрясающая рифма к будущей судьбе Шолохова и «Тихого Дона»), а потом и вовсе обвинили в космополитизме.

Легенд вокруг Грина было сколько угодно, но если читать его прозу непредвзято, то поражает, что часто встречаются убийства. Причем убивают и плохие, и хорошие. От отчаяния, желания отомстить, восстановить справедливость или убрать соперника, как в «Колонии Ланфиер», наказать зло, как в рассказе «Трагедия плоскогорья Суан», защитить родной город, как в «Зурбаганском стрелке», оградить невинную девушку от похотливого старика, как в «Блистающем мире». Даже в «Алых парусах», этой доброй как будто сказке, Лонгрен хладнокровно смотрит, как погибает Мен-

нерс («Черную игрушку я сделал, Ассоль»), и автор при этом на стороне моряка. Грин точно знал, что врагов и негодяев надо убивать. Но если в праве Лонгрена или Астарота на убийство он не сомневается, то случай с Банниковым и его мучителем сложнее, и ощущение от рассказа остается тягостное, неопределенное, неуютное. Тут все неправильно, сама ситуация непосильна, неразрешима. Тут нет хороших и плохих, сильных и слабых, злых и добрых, и непонятно, как ко всему рассказанному относиться. То есть понятно, что армия у Грина — это ужасно и бесчеловечно, но вот с людьми-то как быть? — вопрос, который, к слову сказать, никогда не возникает при чтении армейских вещей Куприна, где, напротив, поражает богатство человеческих натур на фоне полковой казенщины, и эта разность потенциалов создает то напряжение, которое притягивает читателя.

Может быть, именно эта неуютность и неразрешимость, негероичность гриновского реализма отталкивали самого Грина и заставляли его писать так, чтобы отношения между людьми были не то чтобы более простыми, но резче очерченными и внятными. В этом был его свободный и честный выбор. Он создал свою картину мира и установил в ней свои законы. Солдаты — это те, кто убивает. Поэтому их тоже можно и нужно убивать. И чисто гриновские герои-индивидуалисты, не желающие жить по законам общества, именно это и будут делать в «Синем каскаде Теллури», когда смелый любитель «холодного счастья» Рег примется лупить по морякам в шлюпках при том, что сам Рег очевидно нарушает закон, а моряки-то уж точно ни в чем не виноваты, но не с точки зрения Рега, который говорит о них: «Я держусь того мнения, что люди нерасчетливы или тупы. Продавать жизнь за медный грош, тарелку похлебки и железную койку — это верх бесстыдства».

То же самое будет делать смелый и благородный Давенант в «Дороге никуда», на чьей совести останутся шестнадцать безвинных жизней и воспоминание о ярком захватывающем бое, с которым он умрет. Убьет шестерых жандармов, арестовавших Тави Тум, летающий богочеловек Крукс из «Блистающего мира». Солдаты виноваты тем, что они солдаты, представители серой обезличенной массы, которой противостоят одиночки-герои. Вот что вынес Грин из военной службы. А еще страстную ненависть не только к насилию над человеческой личностью, но и к малейшему ограничению свободы.

Как солдат он был полной противоположностью и Банникову, и Моське, хотя бы потому, что хорошо знал свои

права и к тому же, в отличие от тех, кто с ним служил, был дворянином.

«Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина “сделает меня человеком”, не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать — очень чистый), или не в очереди дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в “околодок” (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор», — писал Грин в рассказе «Тюремная старина».

По воспоминаниям, а точнее, показаниям одного из тех, кто служил вместе с Грином, «за время служения в батальоне Александр Гриневский вел себя скверно и совершил несколько серьезных выходок... когда нашу роту повели в баню, Гриневский разделся... повесил на полку свои кальсоны и объявил, что это знамя Оровайского батальона»[33].

«Я был стрелком первого разряда. “Хороший ты стрелок, Гриневский, — говорил мне ротный, — а плохой ты солдат”».

Грин прослужил в армии шесть месяцев, из которых три с половиной провел в карцере на хлебе и воде. Летом 1902 года он пытался бежать, несколько дней бродил по лесу, но его поймали в Камышине и предали суду. В ноябре того же года он убежал вторично, и на сей раз поймали его не скоро.

Помогли бежать революционеры. И эсеры, и эсдеки уже давно вели пропаганду в армии, искали, на кого опереться, и Грин, тогда еще не разделяя их идей — неслучайно в показаниях того же ефрейтора Пикинова читаем, что «Гриневский против царя или же против устройства государства ничего не говорил»[34], — рад был любой возможности избежать солдатчины.

Унтер-офицер Мирошниченко рассказывал, как побег произошел: «27 ноября часов около 10 утра Гриневский заявил, что у него не имеется кисти для письма суворовских изречений, каковые он должен был писать по приказанию ротного командира. Я доложил об этом его высокоблагородию ротному командиру, который велел дать Гриневскому денег и послать купить кисть. После обеда, около 2-х часов пополудни, Гриневский явился ко мне и, получив от меня 5 коп. денег, ушел в город. На Гриневском были: шинель 2-го срока, башлык, барашковая шапка, пояс, мундир и шаровары третьего срока, сапоги на нем были после умершего

нижнего чина нашей роты Козьмы Гордиенко, данные Гриневскому для носки ротным командиром. Затем Гриневский ушел в город и больше не возвращался»[35].

Любопытно, что позднее образы беглых солдат или матросов очень часто будут встречаться в произведениях Грина, например, в известном рассказе «Остров Рено», который Грин считал своим подлинным литературным дебютом, или в чисто русском, реалистическом рассказе «Тихие будни», но эти люди будут убегать сами, без чьей-либо помощи. И напротив, помогать партийцы будут лишь отъявленным негодяям вроде убийцы Блюма из рассказа «Трагедия плоскогорья Суан».

И все же, если бы не эсеры, вряд ли бы Гриневскому удалось так долго скрываться от властей. Плохого солдата снабдили письмом, написанном симпатическими чернилами, дали адрес в Пензе, где он смог оставить выданное ему обмундирование второго и третьего сроков, переодеться в гражданскую одежду и, получив билет на поезд, уехать в Симбирск. Там Грин проработал всю зиму на лесопильном заводе, а потом стал агитатором, и так на родине Ульянова-Ленина началась новая полоса его жизни — революционная. О ней он написал свою первую книгу, с нее, по большому счету, начался как писатель и к ней возвращался всю жизнь, хотя отношение к революции и революционерам у него претерпевало самые разные, по-гриновски фантастические изменения.

Глава III
МИСТИКА БОМБЫ

Русские эсеры действовали в ту пору в двух независимых направлениях — готовили теракты и вели пропаганду. Они считали себя наследниками «Народной воли», но, опасаясь того, что их партию будет ждать судьба народовольцев, чья деятельность в конце концов свелась к террору, после чего партия была разгромлена, создали такую структуру, при которой Боевая организация действовала независимо от всей партии и лишь получала от нее деньги и указания, кого необходимо убить.

Грина поначалу хотели использовать в БО для «акта» и отправили на «карантин» в Тверь, однако он отказался от яркой судьбы террориста-смертника. «Пребывая в карантине в полном покое, он разобрался в своих мыслях и чувствах, увидел, что убийство кого бы то ни было претит его натуре»[36]. Настаивать новые соратники не стали. Одним из краеугольных принципов Боевой организации была полная добровольность, идти в революцию и уж тем более жертвовать собой никто никого не принуждал, благо желающих было и без Грина достаточно. Тем не менее сама ситуация теракта была Грином душевно глубоко пережита и нашла отражение в нескольких его вещах, написанных вскоре после того, как он расплевался не только с эсеровским терроризмом, но и с самой партией социалистов-революционеров. Говоря шире, это была тема жизни-смерти, их странных взаимоотношений, противостояния и выбора героя, не случайно позднее в рассказе «Приключения Гинча» его повествователь скажет: «Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали: “Смерть, жизнь и любовь”».

Такая последовательность неслучайна. Грин начал со смерти и с тех, кто ей служит. Он изначально уловил в терроре самое важное — не социальный протест и не крайнее

средство политической борьбы, а подсознательное патологическое нежелание жить, борьбу любви и ненависти к жизни в человеческой душе, поражение одного чувства и победу другого и — как следствие — стремление убивать себя и других. Увидел — и от этого призрака отшатнулся, но успел его запомнить и запечатлеть.

Эсеры в этом смысле сделали из Грина писателя, но не как борца с угнетателями (скорее наоборот, классовую борьбу Грин отвергал, что отразилось в знаменитых словах Артура Грэя о добром миллиардере, который подарит банковскому служащему виллу, опереточную певичку и сейф в придачу) или сочинителя прокламаций, хотя и этого нельзя сбрасывать со счета, но именно как человека, осознающего метафизическую ценность и связь жизни и смерти и неустанно о них размышляющего. И когда Грин называл одного из эсеровских деятелей Наума Быховского своим «крестным отцом в литературе», это была сущая правда. Эсеры подарили ему биографию, точнее, завершили ее, подведя беглого солдата к границе жизни и смерти, а значит — к литературе.

В одном из самых первых его рассказов, «Марате», показан молодой террорист накануне совершения теракта. Ян обаятелен, смел и молод, он приговорил себя к смерти и хочет провести последний день жизни с друзьями, двое из которых не знают, что его ждет.

«Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица... Так мне будет легче...»

Во время прогулки неожиданно возникает партийный разговор о том, что важнее — пропаганда или террор, и тут милый Ян неожиданно раскрывается:

«— Да! Пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю... Но истребить, уничтожить врагов — необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории... Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что — революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..»

Этот лихорадочный монолог не выражает авторскую позицию. Скорее наоборот.

«— Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, Господь вас ведает... А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали... Такие словеса может диктовать только полное отчаяние... А вы это серьезно?»

Ян — серьезен, хотя и несколько истеричен, и зловещее «без претендентов» в его устах невольно косвенно намекает

и на будущую участь Романовых, и на массовый красный террор по отношению не к отдельным одиозным личностям, но к целому сословию. Ян — жесток, но все же не сразу совершает убийство: в карете человека, которого он должен уничтожить, ехали его жена и дочь. И только на другой день, когда жертва была одна, в городе гремит взрыв.

Ян — это русское Иван. Так звали Каляева, чью историю фактически и рассказал Грин в «Марате».

Об этой истории писал и другой писатель и эсер, только гораздо более высокопоставленный и заслуженный — Борис Савинков, лично принимавший участие в подготовке убийства великого князя Сергея Александровича, хорошо Каляева знавший и описавший его в своих «Воспоминаниях террориста».

В этом смысле любопытно сравнить судьбы и творчество двух писателей и эсеров — Бориса Савинкова и Александра Гриневского, В. Ропшина и А. С. Грина. Они оба были дворянами, ровесниками и современниками, оба ушли в революцию, и хотя выходцу из богатой семьи, закончившему гимназию и учившемуся в университете, привыкшему к сытой жизни Савинкову не пришлось пережить тех мытарств, которые выпали на долю Грина, ненависть к существующему строю в какой-то момент у них была одинаково сильна. Но, быть может, именно жизненный опыт, инстинкт и любовь к жизни помогли Грину избежать того, что его ждало на пути, по которому бесстрашно, оставляя трупы друзей и врагов, шел Савинков.

Грин написал об этом выборе в своем раннем рассказе «Карантин». Герой, молодой человек по имени Сергей, приезжает по заданию партии эсеров в провинциальный город, чтобы убедиться, что полиция за ним не следит. После этого он должен будет совершить теракт, к которому давно готов. Проходит время, и мало-помалу Сергей попадает под обаяние мирной жизни. Наслаждается природой, проводит дни в ничегонеделанье, заглядывается на хорошенькую племянницу своей квартирной хозяйки Дуню и не думает ни о будущем, ни о прошлом, как вдруг все обрывается. Дуня приносит ему письмо с обывательским содержанием и тайным шрифтом, и Сергей, еще не прочитав его, с ужасом понимает, что «завтра приедет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть». И еще до того как этот человек по имени Валериан, «черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбудораженный», привозит похожую на мыльницу бомбу и поздравляет Сергея с тем,

что ему пришлось скучать в карантине всего два месяца, в то время как других товарищей партия выдерживает по пять-шесть, Сергей ясно осознает, что ни на какой теракт он не пойдет, что «умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть...».

Между ним и посланцем партии происходит объяснение, во время которого приезжий упрекает Сергея («Вы надоели центральному комитету! Вы всем уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и клянчили... Ведь были же другие?»), а потом уходит ни с чем, молодой ренегат остается с хозяйкой, самоваром и Дуней, которая «выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира».

Ситуация эта интересна тем, что позднее герои Грина восстанут против обывательской жизни, которую привлекательная Дуня олицетворяет, так же яростно, как восставал Сергей против террористов, и в «Карантине» Грин показывает ростки этого конфликта, но с неожиданной стороны. Не Сергей, а Дуня, по которой он томится и «торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями» расстегивает ее кофту, отталкивает его и убегает, оставляя героя с невнятной, неясной жизнью. Но главное — с Жизнью. Именно так — с большой буквы. В какой-то момент для героя Грина, заглянувшего в глаза смерти, это было важнее всего.

«Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он придет в назначенное место и, побледнев от жути, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он — нет; он будет жить и услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти».

Совсем иное дело Савинков, и человек, и писатель. Этот был профессиональным убийцей, хоть и никого не убивая, но посылая на смерть других. Тут есть что-то от раскольничьих учителей конца семнадцатого века, которые заманивали своих последователей в деревянные церкви и губили в огне, а сами уходили через тайные выходы, чтобы в соседнем скиту отправить на небо следующую партию самосожженцев, о чем, кстати, писал большой поклонник Савинкова Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Савинков воспевал террор и насильственную смерть и служил им потому, что видел в них не просто рычаг поли-

тического воздействия на власть, но определенную религиозную систему, святую жертвенность и экзальтацию — чувства, которые были свойственны всем, кто его окружал, и которые его восхищали и будоражили.

Тут была какая-то душевная патология, особый вид утонченной психологической наркомании на грани жизни и смерти.

«Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотиловым. Мы сидели с ним в театре "Варьете" до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил:

— Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит».

А вот другой террорист — Сазонов:

« — Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна "Народная воля", нужно все силы напрячь на террор, тогда победим».

«Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем, он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал ее. Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о "не убий"».

Дора Бриллиант:

«Ее дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались строгими и печальными. Террор для нее олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в боевой организации».

И наконец, как апофеоз этого культа смерти, — строки, которые Каляев писал из тюрьмы (что самое поразительное — они были опубликованы в открытой русской печати):

«Есть счастье выше, чем смерть во время акта, — умереть на эшафоте. Смерть во время акта как будто оставляет что-

то незаконченным. Между делом и эшафотом еще целая вечность — может, самое великое для человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю красоту, всю силу идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете... как колос... созревший. Революция дала мне счастье, которое выше жизни, и вы понимаете, что моя смерть — это только очень слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез и могу только сожалеть о том, что у меня есть только одна жизнь, которую я бросаю как вызов самодержавию».

Александру Грину этот пафос совершенно чужд, хотя парадоксальным образом и у него, и у Савинкова (у последнего это особенно видно в «Коне бледном») террор перекликается с темой женской любви, только у Грина любовь связана с идеей жизни, а у Савинкова — смерти, в мире Ропшина Танатос обостряет, усиливает Эрос, и Савинков благословляет тех, кто этому Эросу-Танатосу служит.

Последнее подтверждают воспоминания Федора Степуна, который познакомился с Савинковым летом 1917 года и позднее писал: «Оживал Савинков лишь тогда, когда начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю ответственную вещь, и тем не менее не могу не высказать уже давно преследующей меня мысли, что вся террористическая деятельность Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в жизнь, то лишь постоянным погружением в таинственную бездну смерти»[37].

О разном отношении к проблеме жизни-смерти у эсеров (в лице Савинкова) и народовольцев (в лице Веры Фигнер) очень интересно пишет О. В. Будницкий в предисловии к книге «Женщины-террористки в России. Бескорыстные убийцы», изданной в Ростове-на-Дону в 1996 году, и, как мы увидим дальше, все это прямо касается Грина.

«Интересно сравнить отношение к моральной стороне терроризма революционеров двух поколений — народовольцев и эсеров. Легендарная Вера Фигнер пережила 20-летнее заключение в Шлиссельбурге, вышла на поселение и в конце концов перебралась за границу, где сблизилась с эсерами. "На поклон" к ней приехал Борис Савинков. Фигнер и Савинков, по инициативе последнего, вели дискуссии о ценности жизни, об ответственности за убийство и о самопожертвовании, о сходстве и различии в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Фигнер эти проблемы

казались надуманными. По ее мнению, у народовольца, "определившего себя", не было внутренней борьбы: "Если берешь чужую жизнь — отдавай и свою легко и свободно. Мы о ценности жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее, или всегда были готовы отдать, как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или готовы отдать"».

Далее в ее мемуарной книге, где воспроизведены разговоры с Савинковым, следует блистательный по своей откровенности пассаж, многое объясняющий в психологии и логике не только террористов, но и революционеров вообще: «Повышенная чувствительность к тяжести политической и экономической обстановки затушевывала личное, и индивидуальная жизнь была такой несоизмеримо малой величиной в сравнении с жизнью народа, со всеми ее тяготами для него, что как-то не думалось о своем». Остается добавить — о чужом тем более. То есть для народовольцев не существовало проблемы абсолютной ценности жизни.

Рассуждения Савинкова о тяжелом душевном состоянии человека, решающегося на «жестокое дело отнятия человеческой жизни», казались ей надуманными, а слова — фальшивыми. Неизвестно, насколько искренен был Савинков; человек, пославший боевика убить предателя (Н. Ю. Татарова) на глазах у родителей, неоднократно отправлявший своих друзей-подчиненных на верную смерть, не похож на внутренне раздвоенного и рефлектирующего интеллигента. Его художественные произведения холодны и навеяны скорее декадентской литературой, чем внутренними переживаниями. Однако он все же ставит вопрос о ценности жизни не только террориста, но и его жертвы и пытается найти политическому убийству (неизвестно, искренне ли) подобие религиозного оправдания. Характерно, что в его разговорах с Фигнер мелькают слова «Голгофа», «моление о чаше». Старая народница с восхитительной простотой объясняет все эти страдания тем, что «за период в 25 лет у революционера поднялся материальный уровень жизни, выросла потребность жизни для себя, выросло сознание ценности своего "я" и явилось требование жизни для себя». Неудивительно, что, получив как-то раз письмо от Савинкова с подписью: «Ваш сын», Фигнер не удержалась от восклицания: «Не сын, а подкидыш!»[38]

Будницкий приводит еще ряд интересных свидетельств, имеющих отношение к теме жизни-смерти в сознании эсеров: «Приговоренная к смерти в феврале 1908 г. Анна Распутина, член Летучего боевого отряда Северной области, го-

ворила смотрителю арестантских помещений Петропавловской крепости полковнику Г. А. Иванишину, что обвинитель в суде, характеризуя их группу, напал на верную мысль, но только неточно ее выразил. Он сказал, что “в этих людях убит инстинкт жизни и поэтому они не дорожат жизнью других”; это не так, заметила Распутина, “у нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой”». Возможно, в чем-то были правы и прокурор, и террористка-Распутина принадлежала к тем «семи повешенным», которым посвятил свой известный рассказ Леонид Андреев. Среди казненных кроме Распутиной были еще две женщины: Лидия Стуре и «неизвестная под кличками “Казанская” и “Кися” — Елизавета Лебедева. Иванишин отметил у всех «поразительную бодрость духа»[39].

О Лидии Стуре, которой восхищались самые разные люди и в их числе Грин, лично ее знавший, речь еще впереди. Но вернемся к нашему герою, чье отношение к товарищам по партии, судя по тому, как это отразилось в его прозе, было очень неоднозначным.

В рассказах писателя иногда встречаются образы «хороших», вызывающих симпатию рядовых революционеров — это и герои рассказа «Ночь», разоблачающие в своей среде провокатора, и убегающие от полиции, попадающие в мирные, «соловьиные сады» Петунников из «Телеграфиста» и Геник из рассказа «В Италию». Но когда Грин ищет ответа на вопрос — почему и зачем его герои стали революционерами и чего добиваются в жизни, то приходит к выводам парадоксальным, прямо противоположным савинковским, обнаруживая негероическую подкладку в мотивах деятельности боевиков, окруженных в общественном сознании героическим ореолом. Он даже как будто издевается над ними и выворачивает их религиозное революционное подвижничество, о котором с придыханием пишет Савинков, наизнанку. Вот монолог одного из гриновских инсургентов:

«Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантасмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение — близость к взрывчатым вещест-

вам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, — какая прелесть. Живу, пока осторожен, — это делает очаровательными всякие пустяки; улыбку женщины на улице, клочок неба».

Биография Савинкова имеет не много общего с «трудным» детством Марвина из «Приключений Гинча», которому принадлежит приведенная выше исповедь, но самое важное — искусственный подогрев жизни, наркотическая острота ощущений и переживаний на фоне постоянной смертельной опасности — у них общее, и это общее Грин сумел очень точно ухватить и выразить.

Оставались, правда, еще героизм, жертвенность, борьба за свободу народа и прочие атрибуты революционной пропаганды, которые окружали суть террора, как оболочка окружает бомбу, но как будто предугадывая то, что еще только напишет Савинков и что, видимо, постоянно обсуждалось эсерами, Грин создает рассказ «Третий этаж», речь в котором идет о героической смерти трех революционеров, случайно попавших под облаву и безнадежно отстреливающихся от полиции. Описываются последние минуты их жизни.

«Так страшно еще не было никогда. Раньше, думая о смерти и, с подмывающей радостью, с легким хохотком крепкого, живого тела оглядываясь вокруг, они говорили: “Э! Двум смертям не бывать!” Или: “От смерти не уйдешь!” Или: “Человек смертен”. Говорили и не верили. Теперь знали, и знание это стоило жизни».

Три человека — Мистер, Барон и Сурок — сидят в окруженном солдатами доме. Настоящих фамилий их автор не сообщает. Сообщает мысли.

Сурок думает о жене.

«Там, за чертой города, среди полей и шоссейных дорог — его жена. Любимая, славная. И девочка — пухленькая, смешная, всегда смеется. Белый домик, кудрявый плющ. Блестящая медная посуда, тихие вечера. Никогда не увидеть? Это чудовищно! В сущности говоря, нет ничего нелепее жизни. А если пойти туда, вниз, где смеется веселая улица и стреляют солдаты, выйти и сказать им: “Вот я, сдаюсь! Я больше не инсургент. Пожалейте меня! Пожалейте мою жизнь, как я жалею ее! Я ненавидел тишину жизни — теперь благословляю ее! Прежде думал: пойду туда, где люди сме-

лее орлов. Скажу: вот я, берите меня! Я раньше боялся грозы — теперь благословляю ее!.. О, как страшно, как тяжко умирать!.. Я больше не коснусь политики, сожгу все книги, отдам все имущество вам, солдаты!.. Господин офицер, сжальтесь! Отведите в тюрьму, сошлите на каторгу!..”»

Но он знает, что это не поможет, знает, что расстреляют его тут же, и только поэтому от безвыходности, а не от любви к революции, «глухим, перехваченным тоской голосом» кричит:

— Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

У второго — Мистера — свои мысли.

«Он в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько, за что: за централизованную или федеративную республику. Так как-то сложилось все наспех, без уверенности в победе, среди жизни, полной борьбы за существование и политической агитации. Думать теперь, собственно говоря, не к чему: остается умереть».

И наконец третий — Барон. Тот просто плачет.

« — Отчего я должен умереть? А? Отчего?..

— Оттого, что вы хнычете! — злобно обрывает Мистер. — А? А отчего вы хнычете? А? Отчего?..

Барон вздрагивает и затихает, всхлипывая. Еще есть время. Молчать страшно. Надо говорить, говорить много, хорошо, проникновенно. Рассказать им свою жизнь, скудную, бедную жизнь, без любви, без ласки. Развернуть опустошенную душу, заглянуть туда самому и понять, как все это вышло».

Не герои, обычные люди — только ситуация, в которой они оказались, невыносима до жути, и эта ситуация — не народовольческая, а именно эсеровская — делает их героями против их желания и воли. Они не борцы, но заложники революции, и героизм всего-навсего обман. Но свою роль они играют до конца.

«Они жмут друг другу холодные, сырые руки, бешено сдавливая пальцы. Глаза их встречаются. Каждый понимает другого. Но ведь никто не узнает ни мыслей их, ни тоски. Правда не поможет, а маленький, невинный обман — кому от него плохо? А смерть, от которой не увернешься, скрасится хриплым, отчаянным криком, хвалой свободе.

— Да здравствует родина!..

— О, они найдут только наши трупы, — говорит Мистер, — но мы не умрем! В уме и сердце грядущих поколений наше будущее!

Бледная, тоскливая улыбка искажает его лицо. Так когда-то начинались его статьи, или приблизительно так. Все равно.

Барон подымается на локте. Торжественный, страшный миг — смерть, и эти два глупца хотят уверить себя, что смерть их кому-то нужна? И вот сейчас же, сейчас отравить их торжественное безумие нелепостью своей жизни, ненужной самому себе политики и отчаянным, животным страхом! Как будто они не боятся! Не хотят жить?! Лгуны, трусы!..

Мгновение злорадного колебания, и вдруг истина души человеческой, острая, как лезвие бритвы, пронизывает мозг Барона:

Да... для чего кипятиться? Разве ему это поможет?

На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса. Вот-вот... может быть, уже целят. Все равно!

Трусы они или нет, кто знает? Жизнь их ему неизвестна. А слова их — красивые, стальные щиты, которых не пробить истерическим криком и не добраться до сердца. Замирает оно от страха или стучит ровно, не все ли равно? Есть щиты, легкие, звонкие щиты, пусть!

И он умрет все равно, сейчас. А если, умирая, крикнет те же слова, что они, кто узнает мысли его, Барона, его отчаяние, страх и тоску? Никто! Он плакал? Да! Но плакал просто от боли.

— Да здравствует родина! Да здравствует свобода!

Три голоса слились вместе. И души, полные агонией смерти, в тоске о жизни и счастье судорожно забились, скованные короткими, хриплыми словами.

А на улице опрокинулся огромный железом нагруженный воз, громыхнули, содрогнувшись, стены, и дымные, уродливые бреши, вместе с тучами кирпичей и пыли, зазияли в простенках третьего этажа».

Спектакль окончен. Актеры погибли.

Все эти рассказы — «Марат», «Карантин», а кроме них еще «Подземное» («Ночь»), «Апельсины», «На досуге» и другие были опубликованы в первой книге Грина «Шапка-невидимка», с подзаголовком «Из жизни революционеров», вышедшей в начале 1908 года в малоизвестном издательстве «Наша жизнь», принадлежавшем одноименному книжному магазину. Несмотря на несколько поощрительных рецензий большого успеха книга не имела. Зато напечатанная в «Русской мысли» повесть Савинкова «Конь бледный», равно как и его «Воспоминания террориста», стали в литературе событием.

В общем-то это понятно, никто, за исключением нескольких человек из партии эсеров, не знал Гриневского, и вся Россия знала Савинкова. Это был тот самый случай, когда качество текста определялось не столько его литера-

турными достоинствами, сколько тем, что мы теперь называем пиаром. Что бы ни написал Савинков, это было обречено на успех. На этот успех работали бомбы и трупы. К тому же молодому писателю из ЦК партии социалистов-революционеров помогали, ободряли, даже редактировали его тексты такие влиятельные люди, как Мережковский и Гиппиус. У Грина подобных знакомств в литературной среде не было ни тогда, ни позднее. Однако с точки зрения истории литературы и исторической справедливости надо сказать, что именно Грин хронологически был первым в теме террора, как художник Савинкова намного превосходил, и то, что его книга почти не прозвучала в тогдашней литературе, и странно, и обидно, и нелепо.

Грин был так расстроен своей премьерой, что, по свидетельству Корнелия Зелинского, «прочитав свою книгу “Шапка-невидимка”, отложил ее с чувством полного разочарования, с тем ощущением непоправимой неловкости, какое настигает человека, когда он делает не свое дело». А позднее, когда в 1928 году он будет составлять собрание сочинений для издательства «Мысль», то из всей «Шапки-невидимки» в него войдет только один рассказ «Кирпич и музыка», с эсеровской темой не связанный.

Все это несколько напоминает Гоголя, уничтожившего свою юношескую драму, или Некрасова с его первым сборником стихов, и тем не менее эсеровские рассказы Грина, да и сам его литературный дебют вовсе не были неудачными ни по замыслу, ни по исполнению. Грин предвосхищает, предугадывает, опережает не только Бориса Савинкова, но и Андрея Белого с «Петербургом», и Леонида Андреева с «Рассказом о семи повешенных». Даже образ Апокалипсиса, который будет напрямую связан с террором у Белого и Ропшина, встретится сначала у Грина. Так, в «Марате» герой описывает свое состояние: «Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса». И бомба, которая является почти одушевленной в «Петербурге» и похожа на сардинницу, тоже первая, не причинив никому вреда, взорвется у Грина.

«Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, безглазый, тускло, тускло смотрел на него серым отблеском граней. Собравший в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи, — он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины».

В этом описании немало литературщины, которой Грин всегда грешил, много бьющего на эффект — и все-таки мистику бомбы, ненависть к бомбе (которой, к слову сказать, в помине нет у Савинкова, но есть у Андрея Белого) первым выразил Грин.

«Ты бессильна, — тихо и насмешливо сказал он. — Ты можешь таить в себе ужасную, слепую силу разрушения... В тебе, быть может, спрессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу... Вот — я возьму тебя... Возьму так же легко и спокойно, как подымают репу... Где-нибудь в лесу, где глохнет человеческий голос, ты можешь рявкнуть и раздробить сухие, гнилые пни... о ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаз, не раздавишь череп, как разбивают стекло... Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво...»

В русской литературе XX века Грин одним из первых зрело написал о том, что станет лейтмотивом в творчестве многих писателей, раньше других избавившись от иллюзий. Что говорить про Мережковских, людей с довольно смутными нравственными понятиями, которые заигрывали с террором, искали в нем все тот же пресловутый религиозный смысл и поощряли Савинкова, если даже такой нравственно ясный человек, как Блок, писал Розанову: «А я хочу сейчас только сказать Вам в ответ свои соображения по важнейшему для меня пункту Вашего письма: о терроре. Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем "дай полизать крови". Но вот:

сам я не "террорист" уже по тому одному, что "литератор". Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных, будь то Плеве, Трепов или Игнатьев. И, однако, так сильно (коллективное) озлобление и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террора сейчас. Ведь именно "литератор" есть человек той породы, которой суждено всегда от рожденья до смерти волноваться, ярко отпечатывать в своей душе и в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени. Для писателя — мир должен быть обнажен и бесстыдно ярок. Таков он для Толстого и для Достоевского. Оттого — нет ни минуты покоя, вечно на первом плане — "раздражительная способность жить высшими интересами" (слова Ап. Григорьева). Ничего "томительнее" писательской жизни и быть не может; теперь: как осужу я террор, когда вижу ясно, как при свете огромного тропического солнца, что: 1) Революционеры, о которых стоит говорить (а таких — десятки), убивают, как истинные герои, с сияньем мученической правды на лице (прочтите, напри-

мер, 7-ю книжку "Былого", — недавно вышедшую за границей, — о Каляеве), без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни. 2) Что правительство, старчески позевывая, равнодушным манием жирных пальцев, чавкая азефовскими губами, посылает своих несчастных агентов, ни в чем не повинных падающих в обморок офицериков, не могущих, как нервные барышни (...) из Медицинского института, видеть крови, бледнеющих солдат и геморроидальных "чинов гражданского ведомства" — посылает "расстрелять", "повесить", "присутствовать при исполнении смертного приговора".

Ведь правда всегда на стороне "юности", что красноречиво подтверждали и Вы своими сочинениями всегда. Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость: семидесятилетний сифилитик, который пожатием руки заражает здоровую юношескую руку. Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбами вокруг лица. Пускай даже она не созрела, пускай часто отрочески немудра, — завтра возмужает. Ведь это ясно, как Божий день»[40].

Блоку потребовалось увидеть не воображаемое, а истинное лицо возмужавшей революции, революционных нимбов и правду «юности», чтобы написать «Двенадцать», а потом отшатнуться и замолчать. Его ровесник Грин увидел и понял все на десять лет раньше.

Глава IV
ПОКУШЕНИЕ НА РЕВОЛЮЦИЮ

Но это в литературе. А что было в жизни? Как и почему не герои Грина, а сам он ушел из революции и с отвращением писал впоследствии обо всем, что было с нею и ее идеями связано? Грин не любил вспоминать и никогда не ставил себе в заслугу революционную деятельность, даже тогда, когда это могло принести ему моральный капитал в молодой Советской республике, хотя поплатился он за ошибки молодости порядочно, куда тяжелее, нежели, например, такие разные персонажи, как Горький, Бальмонт, Маяковский, Л. Андреев, Клюев, Пришвин или Ремизов, также склонные к революционным грехам.

Журналист Эдгар Арнольди, много раз встречавшийся с Грином в 20-е годы, писал: «Я знал, что Грин был активным участником революционного движения. Вполне естественно было ожидать, что он с готовностью будет об этом рассказывать: ведь революционные заслуги всеми и повсюду ценились, вызывали общий интерес. Но как раз об этом Грин никогда ничего не рассказывал. Наоборот, он совершенно явно проявлял полное нежелание распространяться о своей жизни. Я догадывался, что делалось это не из особой скрытности или желания утаить что-то сокровенное. Нет, насколько я мог понять, он просто считал, что пережитое им не может составить интереса для других, да и сам, по-видимому, не испытывал влечения к погружению в воспоминания»[41].

А между тем история его взаимоотношений с властями была очень драматична и тяжело сказалась на его судьбе. После того как беглый солдат Гриневский отказался участвовать в терактах, эсеры попытались использовать его для пропаганды. Почему Грин не решился на теракт, но при этом остался у эсеров — вопрос, ответ на который дает его проза, о чем говорилось в предыдущей главе, но все же художественное творчество писателя не вполне тождественно

его биографии, равно как и сама биография творчеству, и наверняка тут были какие-то чисто личностные, психологические причины.

В одной из современных статей о Грине справедливо сказано: «Для преступления нужно как минимум мужество поступка, а обыватель немыслим без ощущения почвы под ногами. Ни тем ни другим Грин не обладал. Он мог стать нищим босяком — его выручала осторожность провинциала; он мог стать “профессиональным революционером” — для этого ему не хватило жестокости»[42].

К этому можно было бы добавить свидетельство И. С. Соколова-Микитова: «При всей своей мрачности Грин бывал озорным, дерзким, но, как мне подчас казалось, не слишком смелым»[43]. И хотя это воспоминание относится к более позднему периоду жизни Грина и сопровождено оговоркой мемуариста, что он видел Грина в компании, где «могли быть свои законы и обычаи», само это замечание не лишено наблюдательности и характеризует Грина в целом*. Он не смог переступить через кровь, которая так щедро будет литься в его рассказах. Может быть, потому и будет литься.

А вот деться от эсеров ему было некуда, и скорее всего именно эти, а не какие-либо идейные соображения удерживали его в партии. Нелегал, живущий под чужим именем на партийные деньги, человек, которого ничего не стоило сдать полиции, Гриневский был вынужден выполнять ту работу, которую ему поручали. Однако парадокс заключался в том, что его-то как раз такая жизнь долгое время устраивала. Не надо было больше унижаться, скитаться по золотым приискам, шахтам, вокзалам, пристаням, рыбацким тоням и кораблям, не надо было думать, где преклонить голову и как заработать на хлеб и вино. Обо всем этом заботилась теперь Партия. Он нашел в эсерах то, чего искал в казарме: независимости от отца.

Эсеры были люди не бедные, они получали деньги из самых разных источников и неплохо платили своим штатным сотрудникам. Скорее не устраивал эсеров сам Гриневский, и в его лице организация приобрела не самого полезного члена. Конечно, у него был хорошо подвязан язык и он умел

---

* Ср. в мемуарах Н. Вержбицкого: «Несмотря на свою нервную и вспыльчивую натуру, он никогда не был зачинщиком стычек и даже в сильно возбужденном состоянии часто отходил в сторону. И это вовсе не было признаком трусости, — в трусливой осторожности никто его упрекнуть не мог» (Воспоминания об Александре Грине. С. 218).

произносить зажигательные речи*, но едва ли это компенсировало все его недостатки.

Юный Грин не был похож не только на жертвенных террористов Боевой организации, воспетых Савинковым, но даже на самых обычных, рядовых членов партии. Профессиональный революционер из него был такой же никудышный, как прежде реалист, моряк, золотодобытчик, рыбак, солдат... Это потом, в шестидесятые годы, о Грине станут писать всякие глупости, что, мол, куда бы его ни забрасывала судьба, он везде служил революции, а на самом деле «Алексей Долговязый» тратил партийные деньги на кабаки, совершенно не интересовался теорией, допускал чудовищные ляпсусы, сочинял в прокламациях небылицы (однажды присочинил, будто убил погнавшегося за ним полицейского, товарищи обрадовались, но на всякий случай не стали предавать этот факт гласности, решили его перепроверить и оказались правы в своих подозрениях**), был болтлив, неосторожен и тем очень сердил своих серьезных товарищей, которые насмешливо звали его «гасконцем». Членам организации тех двадцати-тридцати рублей, которые выдавала партия, хватало на месяц, а долговязый «Алексей» тратил их за два дня, да и вообще был в финансовых делах неразборчив.

Однажды в Ялте на даче у писателя С. Я. Елпатьевского, привечавшего революционеров, Грин украл одеяло, правда, кажется, не для себя, а для своего товарища, но вышколенная прислуга сделала круглые глаза, а политический ментор Грина и его «крестный отец в литературе» член ЦК партии эсеров Наум Яковлевич Быховский, которому известный беллетрист и корреспондент Антона Павловича Чехова Елпатьевский выговаривал за подопечных, был вне себя от гнева.

Быховский же (которому, кстати, посвящен рассказ «Третий этаж» и который выведен в образе посланца партии Валериана в рассказе «Карантин») оставил чудесные воспоминания о своем первом знакомстве с Грином, произошедшем в Тамбове в 1903 году:

---

* Ср. в «Автобиографической повести»: «Я сказал им так много и с таким увлечением, что впоследствии узнал лестную для меня вещь: оказывается, один солдат после моего ухода бросил с головы на землю фуражку и воскликнул:

— Эх, пропадай родители и жена, пропадай дети! Жизнь отдам!»

** Но и Грин со своей колокольни был прав. Впоследствии именно этот сюжет ляжет в основу первого легально опубликованного рассказа «В Италию».

«Проснувшись утром, я увидел, что у противоположной стены спит какое-то предлиннющее тонконогое существо. Проснулся и хозяин комнаты, приведший меня сюда.

— А знаете, — сказал я ему, — я хочу у вас тут попросить людей для Екатеринослава, потому что люди нужны нам до зареза.

— Что же, — ответил он мне, — вот этого долговязого можете взять, если желаете. Он недавно к нам прибыл, сбежал с воинской службы.

Я смотрел на долговязого, как бы измеряя его глазами, разглядел, что он к тому же и сухопарый, с длинной шеей, и сразу представил себе его журавлиную фигуру, с мотающейся головой на Екатерининском проспекте, что будет великолепной мишенью для шпиков.

— Ну, этот слишком длинный для нас, его сразу же заметят шпики.

— А покороче у нас нет. Никого другого не сможем дать...

...Товарищ принес чайник с кипятком и разную снедь. Было уже 9 часов утра, но долговязый не просыпался. Наконец товарищ растормошил его.

— Алексей, — сказал он ему, когда тот раскрыл заспанные глаза, — желаешь ехать в Екатеринослав?

— Ну что же, в Екатеринослав так в Екатеринослав, — ответил он, потягиваясь со сна.

В этом ответе чувствовалось, что ему решительно безразлично, куда ехать, лишь бы не сидеть на одном месте»[44].

Из Екатеринослава, где он некоторое время спустя в отсутствие Быховского начал самовольничать, его сплавили в Киев под начало известного эсера Степана Слетова по кличке Еремей, но там повторилась старая история: подпольщик Алексей ходил по пивным и, сидя на шее у рабочих, которых пропагандировал, тихо подрывал авторитет партии. Из Киева Слетов отправил Грина в Одессу, затем в Севастополь, и только в будущем своем Зурбагане он нашел место. Гриневский вел пропаганду среди матросов и солдат севастопольской крепости и имел успех. Быховский позднее вспоминал:

«Долговязый оказался неоценимым подпольным работником. Будучи сам когда-то матросом и совершив однажды дальнее плавание, он великолепно умел подходить к матросам. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней ее языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал все это с большим успехом и сразу же приобрел здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой чело-

век, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог»[45].

Весьма примечательно и другое воспоминание Быховского, прямо касающееся литературных наклонностей Грина. Однажды Наум Яковлевич сочинил прокламацию и продиктовал ее своему подчиненному.

«Некоторые выражения ему, кажется, не особенно нравились. Но я же не знал, что это будущий видный экзотический беллетрист, и потому не придавал особенного значения его критике. Помнится, однако, что ему хотелось придать этой прокламации необычную для такой литературы, своего рода беллетризированную форму»[46].

Быховский первым признал у своего подопечного литературный талант:

«Гм... гм... А знаешь, Гриневский, мне кажется, из тебя мог бы выйти писатель»[47].

Эти слова приводятся в воспоминаниях Н. Н. Грин, написанных со слов самого Грина. Ничего подобного нет в мемуарах самого Быховского, и очень может быть, что Грин вещие слова ему задним числом приписал. Но это и не важно. Если кто-то в жизни Грина и должен был их произнести, то именно революционер Быховский. Творить из собственной жизни легенду и распределять роли в окружающем его автобиографическом пространстве Грин умел не хуже любого профессионала Серебряного века.

«Это было, как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь. Я затрепетал от этих слов, поняв, что то единственное, что сделало бы меня счастливым, то единственное, к чему, не зная, должно быть, с детства стремилось мое существо. И сразу же испугался: что я представляю, чтобы сметь думать о писательстве? Что я знаю? Недоучка! Босяк! Но... зерно пало в мою душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни»[48].

Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В октябре 1903 года в городе начались аресты. В ноябре арестовали Грина. Причем выдали его те самые люди, которых он агитировал. Уже задержанные полицией, двое его слушателей в качестве подсадных уток несколько дней ходили по городу, пока в отхожем месте на Графской набережной не наткнулись на своего пропагандиста. Позднее в «Автобиографической повести» Грин написал, что 11 ноября 1903 года у него было нехорошее предчувствие и он упрашивал свою начальницу и ровесницу Екатерину Бибергаль, чтобы она разрешила ему остаться дома и не ходить на назначенное в тот день собрание, но «Киска» — такой была

партийная кличка Бибергаль — подняла его на смех и назвала трусом. Грин не мог этого оскорбления стерпеть по причинам, к которым мы еще вернемся, и был пойман, как рыба на крючок.

«Меня отвели в участок; из участка ко мне в комнату, сделали обыск, забрали много литературы и препроводили в тюрьму.

Никогда не забыть мне режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий, за спиной, стук и внезапное воспоминание о мелодической песне будильника "Нелюдимо наше море"».

Он вошел в тюрьму в ноябре 1903 года и вышел оттуда два года спустя. В сущности, для человека, дезертировавшего из армии и занимавшегося революционной пропагандой на флоте (в Центральном архиве Военно-морского флота хранится судебно-следственное дело, где Грина обвиняют в «речах противоправительственного содержания» и «распространении» революционных идей, «которые вели к подрыванию основ самодержавия и ниспровержению основ существующего строя»[49]), это не так много. К тому же тюрьма, в которой он сидел, была очень либеральной — начальство хоть и воровало продукты, зато днем двери в коридор не запирались, и заключенные могли общаться друг с другом. Однако подобно тому, как есть люди, которые могут проводить в тюрьме годы, сохраняя выдержку, волю, работоспособность и ясный ум, как, например, народоволец Морозов, отсидевший двадцать пять лет в одиночной камере, занимавшийся толкованием Апокалипсиса и доживший до девяноста двух лет, есть и такие, кому тюрьма психологически противопоказана. Именно к ним принадлежал Александр Грин.

«Отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас, немедленно, начал замышлять побег».

Попыток побега было две, и обе оказались неудачными. Первый раз Грин должен был бежать при помощи Бибергаль, которая добыла тысячу рублей, купила парусное судно, чтобы отвезти беглеца в Болгарию, и подкупила извозчика. Однако побег не удался на самой первой стадии — из-за того, что в тот день во дворе тюрьмы сушили белье, заключенный не смог быстро покинуть территорию тюремного замка. (Любопытно, что три года спустя из Севастополя, правда, не из городской тюрьмы, но из крепости, совершит побег Борис Савинков.)

Посаженный после этого в карцер, Грин объявил четырехдневную голодовку и отказался назвать свое настоящее имя, но, как писал товарищ прокурора Симферопольского окружного суда прокурору Одесской судебной палаты, «когда ему было объявлено, что более строгое содержание его в тюрьме вызвано его же действиями, он изъявил желание принимать пищу и открыл свое имя и звание, назвав себя потомственным дворянином Александром Степановичем Гриневским»[50].

Благодаря сохранившимся документам тех лет мы имеем не беллетризованное, как у Быховского, но сухое документальное описание портрета молодого Грина: рост 177,4 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза светло-карие, правый зрачок шире левого, на шее родинка, на груди татуировка — корабль с фок-мачтой. «Натура замкнутая, озлобленная, способная на все, даже рискуя жизнью»[51]. К этому же можно прибавить характеристику, данную Гриневскому по запросу севастопольской жандармерии его бывшим военным начальством: «Уведомляю ваше высокоблагородие, что рядовой Александр Гриневский, сын дворянина Вятской губернии, действительно служил в командуемом мною полку (бывшем батальоне) с 18 марта по 28 ноября 1902 года, когда и был исключен из списков бежавшим: причина побега, очевидно, нравственная испорченность и желание уклониться от службы... Приметы Гриневского... волосы русые, глаза серые, взгляд коих угрюмый...»[52]

В это же время, в январе 1904 года, военный министр Куропаткин доносил министру внутренних дел Плеве, что в Севастополе был задержан «весьма важный деятель из гражданских лиц, назвавший себя сперва Григорьевым, а затем Гриневским...»[53]. Плеве оставалось жить меньше полугода.

Грин просил, чтобы его отправили судить в Вятку, но потомственного дворянина судил в феврале 1905 года военно-морской суд Севастополя и несмотря на то, что прокурор требовал двадцать лет каторжных работ, а тогдашний вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин мечтал перевести город хотя бы на месяц на военное положение, дабы вздернуть всех смутьянов на рее, Гриневского благодаря блестящей речи адвоката Зарудного (впоследствии он будет защищать лейтенанта Шмидта) присудили к десяти годам ссылки в Восточную Сибирь. Это открывало перед ним новые возможности бегства, но и после решения суда он продолжал находиться в тюрьме, и положение его почти не изменилось.

«Я видел в снах, что я свободен, что я бегу или убежал, что я иду по улицам Севастополя. Можно представить мое

горе при пробуждении! Тоска о свободе достигала иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке. После моего ареста отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму: "Подай прошение о помиловании". Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так».

Второй раз Грин попытался бежать из Феодосии, куда его перевели из Севастополя для рассмотрения еще одного судебного дела и где двадцать лет спустя он поселится, но и эта попытка не удалась. Грин хотел сделать подкоп, но его сокамерники, рассчитывавшие выйти на поруки или под залог, товарища не поддержали. Однако сама идея с подкопом оказалась не напрасной: четверть века спустя Грин использует ее в последнем, самом трагическом своем романе «Дорога никуда». А пока что ему добавили по суду год тюрьмы и отправили назад в Севастополь дожидаться отправки в Сибирь.

Спасла Грина от ссылки первая русская революция. Его освободили по высочайшему манифесту от 17 октября 1905 года, вместе со всеми политическими заключенными.

«Свобода, которой я хотел так страстно, несколько дней держала меня в угнетенном состоянии. Все вокруг было как бы неполной, ненастоящей действительностью. Одно время я думал, что начинаю сходить с ума.

Так глубоко вошла в меня тюрьма! Так долго я был болен тюрьмой...»

Тюрьма и в самом деле стала одним из самых кошмарных воспоминаний, творческих символов и устойчивых мотивов в прозе Грина. Она навсегда изуродовала его характер, но она же и окончательно пробудила в нем к жизни писателя. «Апельсины», «Она», «На досуге», «Загадка предвиденной смерти», «За решетками», «Сто верст по реке», «Трагедия плоскогорья Суан», «Рене», «Черный алмаз», «Бродяга и начальник тюрьмы», «Узник Крестов», «Два обещания», «Блистающий мир», «Дорога никуда», «Автобиографическая повесть», «Тюремная старина» — вот произведения Грина, от самых первых до самых последних, его лучшие, психологические новеллы и романы, где так или иначе встречается описание тюрьмы, преследования и бегства из нее — удачного, как в «Черном алмазе», или же неудачного, как в «Дороге никуда».

С этой темой Грин не расставался, заново ее переживал, вспоминал, негодовал или смеялся, как в обаятельнейшем рассказе «Два обещания», где заключенного отпускают на

день из тюрьмы, взяв с него честное слово, что он в тот же день вернется, и он возвращается, но той же ночью бежит, потому что... дал новое обещание — убежать. Но если в ранних рассказах герой-арестант Грина — это политический заключенный, и особенно ярко эта тема раскрывается в рассказе «На досуге», где чистому, возвышенному революционеру, тоскующему о любимой женщине, противопоставлены похотливые, пошлые тюремщики, которые читают чужие письма и глумятся над чистой любовью (вот характерный разговор между ними: «Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пущает, чтобы не тревожил письмами... — Само собой! — кивает писарь. — Я вот тоже думаю: у них это там — идеи, фантазии всякие... А о кроватке-то, поди — нет, нет — да и вспомнят!..»), то позднее акцент в рассказах Грина меняется. И вот уже Нок из новеллы «Сто верст по реке» попадает в тюрьму за уголовное преступление, пусть даже совершенное из-за любви, и то же самое относится к Трумову из «Черного алмаза». Героя рассказа «Трагедия плоскогорья Суан» убийцу Блюма, напротив, вытаскивают из тюрьмы политики, для того чтобы он выполнял их задания. Политическим заключенным называет себя герой рассказа «Рене» Шамполион, за которым числятся похищения, шантажи, ограбления банков и шесть убийств, но «он надел маску политического заговорщика, чтобы хотя этим объяснить сложную таинственность своей жизни — роль выигрышная даже при дурном исполнении».

Грин очень точно уловил и выразил близость политического террора к уголовщине, и к 1905 году он был внутренне свободен от революционного дурмана, но тем не менее, выйдя из тюрьмы, опять направился к эсерам и снова перешел на нелегальное положение, став на сей раз мещанином местечка Новый Двор Волковышского уезда Гродненской губернии Николаем Ивановичем Мальцевым. И едва ли не самой главной причиной тому была — любовь.

Грин давно любил ту женщину, которая в роковой ноябрьский день 1903 года отправила его на задание вопреки его предчувствиям, а потом безуспешно пыталась вытащить из тюрьмы, но вместо этого сама угодила в ссылку в Холмогоры. Он любил Екатерину Александровну Бибергаль, он томился по ней, когда был в тюрьме, и о ней плакал герой рассказа «На досуге»:

«В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.

Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голу-

бую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные молочные облака. Губы его шепчут:

— Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..»

О ней же писал Грин в рассказе «Она»: «Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.

О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время. Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее».

В рассказе герой видит свою возлюбленную на экране кино и, бросаясь к ней по ту сторону магического занавеса, разделяющего эту и другую жизни, умирает от разрыва сердца. В реальной жизни Грин приехал в конце ноября 1905 года в Петербург, разыскал Бибергаль, к тому времени успевшую бежать из Холмогор в Швейцарию и снова вернуться в Россию. Он умолял ее все бросить и пойти с ним. Он любил ее, а она любила революцию, была ей предана и с ней обручена, и с этим ничего нельзя было поделать даже такому упорному и волевому человеку, как Грин, готовому на любое преступление во имя своей любви. Он и преступил...

Об отношениях Грина и Бибергаль, едва не закончившихся трагедией, рассказано в неопубликованной до сих пор части воспоминаний первой жены Александра Степановича Веры Павловны Калицкой.

«Киска — это партийное имя, так сказать, кличка, под которой скрывалась Екатерина Александровна Б. С этой девушкой была тесно связана полоса жизни А. С. с 1903 по 1906 г. Их первая встреча с А. С. Грином тепло описана в рассказе А. С. “Маленький комитет». Героиня рассказа дана там в очень мягких, привлекательных тонах. К тому же времени относится и другой рассказ А. С-ча “На досуге”...

Е. А. обещала выйти за него замуж. Но в Петербурге начались между ними нелады. Происходило это по-видимому из-за совершенно разного подхода их друг к другу и к революции. Е. А. была дочерью народовольца; и воспитание, и окружающая ее действительность делали ее убежденной революционеркой»[54].

В этом месте есть смысл прерваться и рассказать более подробно об отце той девушки, в которую был влюблен Грин. Александр Николаевич Бибергаль родился в 1854 году в Керчи в зажиточной еврейской семье. Он учился в Керченской гимназии, а затем — в Петербурге, по одним источникам в Ветеринарной, по другим — в Медико-хирургической академии. Бибергаль был арестован в декабре 1876 года за участие в демонстрации возле Казанского собора. Это был знаменитый митинг после литургии в Казанском соборе в день Николая Чудотворца, на котором впервые в истории России было поднято красное знамя «Земли и воли» и публично выступил молодой Плеханов. При Бибергале были найдены преступные стихи, в которых говорилось «о рабочих, возвращающихся после трудов на родину, где ожидает их всех старая бедность и больные в отрепьях дети. Один из числа пришедших, обращаясь к товарищам, говорит: пора перестать работать на врагов, бояр и попов, пора рабочей семье соединиться и перестать кормить злодеев».

Двадцатидвухлетнего Бибергаля судил Сенат, признал виновным в «дерзостном порицании установленного законом образа правления», участником сопротивления полиции и автором возмутительных стихов и неоправданно жестоко (эту суровость, особенно по контрасту с последующим либерализмом властей, понять трудно) приговорил к 15 годам каторги. Александр Николаевич отбывал заключение на знаменитой реке Каре, куда прибыл в 1878 году. За ним следом отправилась жена, а через год там же, на Каре, родилась Катя. (Тоже поразительный штрих той жизни: каторга каторгой, а детей рожали.) По манифесту 1884 года срок каторги был сокращен, и Бибергаль вышел на поселение в Забайкальскую область. Позже переехал на Амур, где служил на золотых приисках. Однако к революционной деятельности, в отличие от польского повстанца Степана Евсеевича Гриневского, не охладел.

В статье А. А. Ромаса «Рабочее движение в Приамурском крае на втором этапе первой русской революции (17 октября 1905-го — 22—26 января 1906 гг.)», изданной в Благовещенском педуниверситете, читаем: «23 ноября 1905 года в Благовещенском затоне проводился молебен, во время которого был поднят красный флаг с надписью “Слава борцам за свободу”. Рабочие исполнили песню “Вы жертвою пали”. А потом выступил человек, которого не все знали, а имени его газетная хроника не сообщила. Он рассказал историю первого в России красного знамени, которое развевалось 6 декабря 1876 года на студенческой демонстрации у Казан-

ского собора. Свою речь оратор закончил словами: “Да здравствует свобода! Да здравствует рабочее знамя!”»[55]

Этим человеком был Бибергаль.

О семье Бибергалей написано и у Александра Солженицына в его книге «Двести лет вместе»: «Революционная традиция иногда выныривает поразительно. Когда-то в 1876 году А. Бибергаль был осужден за участие в демонстрации на Казанской площади. И вот его старшая дочь (это и была любовь Грина Катя Бибергаль. — *А. В.*) поступила в Петербург на высшие курсы — в 1901-м, в точное 25-летие митинга на Казанской площади, арестована там же (а в 1908, в эсеровской группе, получила каторгу за покушение на в. кн. Владимира Александровича)»[56].

Вот с кем хотел породниться беглый солдат Оровайского батальона, едва окончивший городское училище в Вятке.

Но вернемся к мемуарам Калицкой: «Революционная деятельность отвечала характеру ее, мужественному и великодушному. В А. С-че она видела только талантливого агитатора, в моменты увлечения становившегося вождем тех, кто его слушал. В это время Е. А. и сама увлекалась им. Способности А. С-ча к пропаганде Е. А. высоко ценила и всячески поощряла его в этом направлении. Но для А. С. Киска была не только подпольщицей, революционный темперамент которой толкал его на работу, но, главным образом, красивой изящной девушкой, которой он хотел обладать. Время разлуки внесло горечь в их отношения. У А. С. создалось ложное представление, будто бы Е. А. была близка в Холмогорах со ссыльным, который вскоре умер. От этого на отношения легла тень, но все-таки ссора произошла по другой причине.

А. С. участвовал в революционном движении, потому что оно привлекало его своей романтичностью. Кроме того, С-в, вовлекший его в партию, помог ему бежать из полка и таким образом избавил А. С. от ненавистной солдатчины. За свою деятельность революционера А. С. поплатился двумя годами одиночного заключения и приговором к ссылке в Восточную Сибирь. Это очень утомило, измучило А. С. и романтика подвига и риска для него потускнела. Захотелось покоя, отдыха и счастливой личной жизни. Но Е. А. попрежнему цельно отдавалась революционной деятельности. Она работала в военной организации...»[57]

Дальше — по загадочным причинам в хранящейся в РГАЛИ рукописи воспоминаний Калицкой нет одной очень важной страницы, однако восстановить суть происшедшего между двумя революционерами помогают воспоминания, принадлежащие литературоведу В. В. Смиренскому.

«“Киска” была умна, порывиста, эксцентрична. Обоих, естественно, сближала общность взглядов, настроений и мыслей. Она хорошо относилась к Грину, но не любила его. И в первых числах января 1906 года они окончательно разошлись. Разрыв этот мог бы дорого стоить Грину. Несдержанный, вспыльчивый, в ярости бессилия и гнева (в такие минуты Грин был всегда страшен), он выхватил револьвер и выстрелил в “Киску” в упор. Пуля попала ей в грудь. Девушка была доставлена в Обуховскую больницу, где ее оперировал знаменитый хирург — профессор И. И. Греков. Грина “Киска” не выдала...»[58]

Вл. Сандлер приводит в своей книге слова Грина из воспоминаний Калицкой, текст которых, по-видимому, находится в одном из петербургских архивов: «Она держалась мужественно, вызывающе, а я знал, что никогда не смогу убить ее, но и отступить тоже не мог и выстрелил»[59].

А вот как описывается разрядка этой истории в мемуарах Калицкой, хранящихся в РГАЛИ.

«Пуля попала в грудную клетку, в левый бок, но прошла неглубоко.

Е. А. нашла в себе силы выйти в комнату хозяев и попросила их пойти уговорить Алексея покинуть квартиру. Хозяева так и сделали.

Рана оказалась не тяжелой. Оперировал проф. Греков, и Е. А. вскоре поправилась. А. С. несколько раз пытался поговорить с Е. А. наедине, но это ни разу ему не удалось. Е. А. просила своих друзей не оставлять ее одну с А. С. Так кончились их отношения.

В январе 1906 г. А. С. был вновь арестован и попал в Выборгскую одиночную тюрьму “Кресты”, где просидел до мая. В мае он был переведен в Пересыльную тюрьму, а оттуда выслан в Сибирь.

Когда в 1915 г. вышла книга А. С-ча “Штурман четырех ветров”, Е. А. была на каторге по политическому делу. А. С. послал ей туда свою книгу, и Е. А. узнала себя в героине “Маленького комитета”...

Сила и безысходность неразделенной любви изображены А. С-чем в фантастической повести “Земля и вода”...

После ареста А. С-ча в январе 1906 г. они с Киской никогда не виделись»[60].

Потом, когда за Грином потянется шлейф легенд, в одной из них будет утверждаться, что свою первую жену он убил. Это будет ужасно возмущать Нину Николаевну Грин, ведь в действительности не жену, конечно, и не убил — а все же дыма без огня, как видно, не бывает. (Иногда встречают-

ся утверждения, что Грин стрелял не целясь — может быть и так, но то, что пуля попала девушке в левый бок, туда, где сердце, — говорит само за себя.)

Образ Екатерины Александровны Бибергаль вошел в художественную прозу Грина и преломился в ней самым причудливым образом. В ранних рассказах он очень трогателен, нежен и имеет мало общего с революционной Дианой, в которую стрелял будущий писатель.

Так, в рассказе «Маленький комитет», который упоминает Калицкая, Грин написал про революционера Геника, сквозного героя нескольких его рассказов, которого присылают в южный город вести революционную работу. В чертах Геника очень много автобиографического.

«Генику двадцать лет, он верит в свои организаторские таланты и готов померяться силами даже с Плехановым. А романтическое и серьезное положение "нелегального" заставляет его еще плотнее сжимать безусые губы и насильно морщить гладкий розовый лоб».

И вот этот нелегал приезжает по заданию своей партии к молодой девушке-эсерке, в комнате у которой висят «пришпиленные булавками Бакунин, Лавров, террористы и Надсон». Они говорят о революции, и оказывается, что никакой революционной организации в городе нет, все ее члены давно арестованы и письма в центр писала эта девушка, подписываясь словом «комитет».

«На другой день вечером Геник сел писать подробнейшую реляцию в "центр". Между прочим, там было написано следующее: "Комитет ходит в юбке. Ему девятнадцать лет, у него русые волосы и голубые глаза. Очень маленький комитет"».

Продолжением этого нежного рассказа стала новелла «Маленький заговор». В ней снова действует тот же Геник, к которому на сей раз приходит девушка по имени Люба, желающая совершить теракт, и, глядя на нее, Геник понимает весь ужас того, что это молодое существо погибнет. Он отправляет ее в другой город, якобы на «карантин», а на самом деле для того, чтобы она исчезла с поля зрения его соратников из комитета. А потом появляется и сам комитет, на сей раз не маленький, состоящий из трех здоровых мужиков-революционеров, которые начинают обсуждать деловые качества Любы с практицизмом и знанием дела профессиональных сутенеров: послушна, как монета, конспиративный инстинкт, девушка с характером, твердо и бесповоротно решила пожертвовать собой, «глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства» — словом, вполне подходящая канди-

датура для того, чтобы ее разорвало бомбой вместе с каким-нибудь генералом.

Геник пытается отговорить своих товарищей от того, чтобы использовать Любу в теракте.

«Я ведь думал... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что — грешно... Ей-Богу. Ну хорошо, ее повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека... А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изувечат, изломают душу, наполнят ужасом... А потом на детскую шею веревку и — фюить. А что, если в последнее мгновение она нас недобрым словом помянет?»

Характерно разное отношение членов партии к тому, что говорит Геник:

«Маслов слушал и понимал Геника, — но не соглашался; Чернецкий понимал, — но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова и фразы, внутренне усмехаясь чему-то неясному и плоскому».

И вот окончательный вывод, своего рода моральный приговор, который выносит партия Генику:

«Я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер... А вы идите себе с Богом в монахи, что ли... или в толстовскую общину... да!.. Вы говорите, ее могут повесить... Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили, — прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма... Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью!»

Геник уходит от них непонятый, а Любу спешно возвращают из карантина и готовят к заданию*.

Маленькие девушки из обоих «маленьких» рассказов совершенно не походили на решительную Катю Бибергаль с ее потомственными революционными генами, тут была, скорее, попытка выдать желаемое за действительное, Бибергаль ме-

---

* Любопытно, что схожая ситуация есть и у Савинкова, и в данном случае он, скорее, солидаризируется с героем Грина. Вот как описан разговор Савинкова и Азефа о возможном использовании Доры Бриллиант в теракте в «Воспоминаниях террориста»:

«Я сказал, что я решительно против непосредственного участия Доры в покушении, хотя также вполне в ней уверен.

Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, женщину можно выпускать на террористический акт только тогда, когда организация без этого обойтись не может. Так как мужчин довольно, то я настойчиво просил бы ей отказать.

Азеф, задумавшись, молчал. Наконец он поднял голову.

— Я не согласен с вами... По-моему, нет основания отказать Доре... Но если вы так хотите... Пусть будет так».

нее всего была игрушкой в чужих руках, и, год спустя возвращаясь к этой теме, Грин совершенно иначе напишет о своей возлюбленной. На смену кроткой, женственной девушке придет независимая, властная натура одного из самых пессимистических рассказов Грина — «Рай», где собрались вместе за обедом, зная, что он отравлен, несколько самоубийц и каждый из них рассказывает напоследок свою историю. Среди них «женщина неизвестного звания».

«Я состарилась; мне всего 23 года, но иногда кажется, что прошли столетия с тех пор, как я родилась, и что все войны, республики, эпохи и настроения умерших людей лежат на моих плечах. Я как будто видела все и устала. Раньше у меня была твердая вера в близкое наступление всеобщего счастья. Я даже жила в будущем, лучезарном и справедливом, где каждый свободен и нет страдания. У меня были героические наклонности, хотелось пожертвовать собой, провести всю жизнь в тюрьме и выйти оттуда с седыми волосами, когда жизнь изменится к лучшему. Я любила петь, пение зажигало меня. Или я представляла себе огромное море народа с бледными от радости лицами, с оружием в руках, при свете факелов, под звездным небом.

Теперь у меня другое настроение, мучительное, как зубная боль. Откуда пришло оно?.. Я не знаю... Прежде из меня наружу торчали во все стороны маленькие, острые иглы, но кто-то притупил их. Я начинаю, например, сомневаться в способности людей скоро завоевать будущее. Многие из них кажутся мне грязными и противными, я не могу любить всех, большинство притворяется, что хочет лучшего.

Как-то, два года назад, мы шли целой гурьбой с одного собрания и молчали. Удивительное было молчание! Это было ночью, весной. Какая-то торжественная служба совершалась во мне. Земной шар казался круглым, дорогим человечком, и мне страшно хотелось поцеловать его. Я не могла удержаться, потому что иначе расплакалась бы от возбуждения, сошла с тротуара и поцеловала траву...

Потом я любила. Мы разошлись ужасно глупо: он хотел обвенчаться и показался мне мещанином. Теперь он за границей».

В реальной жизни за границу уехала, а потом вернулась в Россию и пошла на каторгу она и никакого разочарования в своей деятельности не испытала. Но то, что Грин заочно записал Бибергаль в клуб самоубийц, обнаруживает его глубокую интуицию по отношению если не к самой Екатерине Александровне, то к тому типу людей, к которому она принадлежала.

«Мотив самопожертвования, сопровождавший террористические акты, привел американских историков Эми Найт и Анну Гейфман к заключению, что, возможно, многие террористы имели психические отклонения и их участие в террористической борьбе объяснялось тягой к смерти. Не решаясь покончить самоубийством, они нашли для себя такой нестандартный способ рассчитаться с жизнью, да еще громко хлопнув при этом дверью. Для тех террористов, которые были воспитаны в христианской традиции, расценивающей самоубийство как грех, подобный выход становился едва ли не единственным», — писал О. В. Будницкий[61].

Мало-помалу Катя Бибергаль все больше стала превращаться в литературный персонаж. Маятник гриновской фантазии качался то в одну, то в другую сторону и подобно тому, как в маленьких рассказах — «Комитете» и «Заговоре» — Грин пытался свою возлюбленную обелить, в «Рае» он ее демонизирует и приписывает то, чего в ней не было, а возможно, переживалось им самим. Кульминацией движения этого маятника становится рассказ «Земля и вода», тот самый, о котором пишет Калицкая, что в нем изображены «сила и безысходность неразделенной любви». Если согласиться с мемуаристкой, что этот рассказ был навеян образом Кати Бибергаль (а Калицкой нет никаких оснований не доверять, ибо она могла знать это лишь от самого Грина), здесь мы встречаем единственный художественный портрет роковой революционерки.

«Эта женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки — нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в своей прелести, так как может свести жизнь к одному желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания».

Именно в эту женщину имел несчастье влюбиться главный герой Вуич, ради нее он приезжает из деревни, где ему было так сладко жить на лоне природы, хотя сама деревенская жизнь описана весьма иронически, как если бы Грин пародировал собственный рассказ «Карантин»: «Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками. Я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как

рыжие разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски-авторитетным видом: "Божья коровка — дождь или ведро?" — пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере, среди лягушек, осоки и водорослей, и пел в лесу, пугая дроздов». Герой бросает эти чудеса и приезжает в город, в котором все ему отвратительно, но он одержим любовью и потребность видеть предмет любви так велика, что, хотя девушка его отвергает, Вуич, переступив через гордость, решается идти к ней опять. Но на пути у влюбленного встает... землетрясение. (Ялтинское землетрясение, остановившее Остапа Бендера, — литературно вторично.)

Описание этого землетрясения, составляющее композиционный центр рассказа, предвосхищает современные фильмы ужасов и катастроф — Грин вообще очень кинематографичный писатель: «Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, — вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, — богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: "Ваня, я здесь!" Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпиль исчез. На месте Полицейского моста блестела Мойка, вода захлес-

тывала набережную, разливаясь далеко по мостовой... Отряды конных городовых, крестясь, без шапок двигались среди повального смятенья неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям».

Самое поразительное, что это грандиозное описание нужно автору лишь для одного. Когда Вуич в этом аду отыскивает свою Мартынову и выносит ее из рушащегося дома, она отталкивает его, потому что не хочет быть ему ничем обязанной.

« — Последнее, что я услышал от нее, было: "Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь". Она скрылась в толпе; где она — жива или нет? — Не знаю».

Вот как преломилось в прозе Грина роковое объяснение между двумя влюбленными в декабре 1905 года. Подобно тому, как в «Рае» автору потребовалось самоубийство, эквивалентом драмы неразделенной любви в «Земле и воде» стало не меньше чем землетрясение. Не всякая женщина похвастает такими ассоциациями.

Но едва ли сама Бибергаль к таким сокрушительным победам над мужскими сердцами стремилась, едва ли полученные ею на каторге рассказы Грина ее сильно тронули и она пожалела о том, что не послушалась Долговязого, не ушла с ним в мирную жизнь. Бибергаль была стойким бойцом. Сохранилась ее фотография 1915 года на нерчинской каторге, куда она попала после неудачного покушения на великого князя Владимира, о котором упоминает Солженицын. На фотографии весь цвет женщин-эсерок — Спиридонова, Школьник, Бронштейн, Измайлович, Зверева, Беневская, Полляк, Бибергаль... Всего тринадцать человек. Чертова дюжина.

В ссылке она пробыла до Февральской революции. В двадцатые-тридцатые годы была членом общества политкаторжан. В журнале «Каторга и ссылка» о ней вспоминали довольно часто. Год ее кончины — 1937-й. А умерла ли она своей смертью или была убита в расстрельном году теми, кого привела к власти ее партия, — неизвестно. Но с Грином они больше не встречались.

Сам Александр Степанович так высоко в партийной иерархии никогда не поднимался и в политзаключенные попасть не стремился. В самом конце жизни, когда ему пришлось совсем худо, знакомые посоветовали обратиться за пенсией для ветеранов революции, на что он замечательно глубоко ответил: «Не хочу существовать на подачку, переходить на инвалидность, а политической пенсии тем более не хочу. Я всю свою зрелую жизнь был писателем, об этом

только и мыслил, этим только и жил. Им я и буду до конца. От политики я раз и навсегда ушел в молодости и питаться за счет того, что стало мне чужим и ненужным, никогда не буду. В молодости отдавал себя политике, но и вырос за этот счет. Следовательно, мы квиты с нею. И вопрос кончен»[62].

Революция и в самом деле стала частью его литературного багажа, где наряду с «роковыми» женщинами, способными спровоцировать уничтожение целого города, встречались и прямо им противоположные, но тоже на свой манер опасные натуры — женщины-обывательницы. О таких Грин написал еще в 1908 году в рассказе «Телеграфист» — очередной истории революционера, который, спасаясь от преследования полиции, — вечный гриновский мотив — попадает в дом к скучающей молодой мещанке, и на миг этот дом кажется ему пристанищем. Он чувствует желание в нем остаться, а потом все-таки уходит из него с печалью, потому что «в комнате, где живет милая, беззаботная женщина, осталась живая боль его собственного, тоскливо загоревшегося желания спокойной, ласкающей жизни, без нервной издерганности и беспокойства, без вечного колебания между страхом тяжелой, циничной смерти и полузадушенным голосом молодого тела, властно требующего всего, что дает и протягивает человеку жизнь...».

Сама по себе ситуация, когда в одном рассказе честолюбивая и неудовлетворенная женщина своей ненасытностью по причинам революционным или каким иным губит героя, а параллельно с ней в другом возникает иной женский образ — девушки-спасительницы, девушки-ангела, в которой нет ничего, кроме любви, жертвенности, кротости, девушки, дающей приют и отдохновение герою, стала для Грина очень важной. «Телеграфист» (позднее «Телеграфист из Медянского бора») был шагом на этом пути. Правда, его героиня для роли ангела-хранителя играющих в политику мужчин не сгодилась и оказалась слишком самодовольна и глуха к чужой боли, в ней не было сострадания, а лишь жажда отвлечься от скуки, она никого не губит и не спасает, она — некий промежуточный тип и, как иронически размышляет о ней главный герой — «все, что было сделано и подготовлено там, в городе, с неимоверной затратой сил, здоровья и самоотвержения, с бешеным упорством людей, решившихся умереть, опасность, страх смерти, сутки звериного шатания в лесу, — все это пережилось и выстрадалось для того, чтобы у пустенькой уездной помещицы стало меньше одним скучным, надоевшим днем...».

Но следом за ней в иерархии женских образов возникает уже бесконечно преданная и готовая спасти неизвестного и любимого человека Нелли из рассказа «Сто верст по реке», рассказа, в котором неслучайно действие из России переносится в условную страну, в таинственный город Зурбаган, где только такие девушки и живут, и в котором в художественной форме Грин поведает историю счастливой любви к Вере Павловне Абрамовой, своей первой жене.

И здесь мы опять вернемся от прозы А. С. Грина к судьбе Александра Степановича Гриневского.

Глава V
ТЮРЕМНАЯ ЖЕНА

Они познакомились в «Крестах», куда Грин попал вскоре после приезда в Петербург и окончательного разрыва с Бибергаль. Это был совершенно случайный и тем особенно досадный арест, но более всего подвело Грина то, что у него был опять подложный паспорт и полиция этот подлог быстро раскрыла, вынудив сознаться арестованного во время облавы 7 января 1906 года мещанина Николая Ивановича Мальцева в том, что никакой он не Мальцев, а дворянин Александр Степанов Гриневский.

Поначалу Грина навещала и носила передачи в темницу его сводная сестра Наталья, та самая, которую взяли в младенчестве из приюта родители Грина, а потом вынуждены были отдать в чужие руки, и которая, как видно, не держала зла на их семью. (В «Автобиографической повести» Грин отмечает, что во время заключения в севастопольской тюрьме его посетила, проезжая из Анапы, сводная сестра: «Оставила мне рубль, просидела с час и ушла».) В мае Наталья Степановна должна была уехать, и ей посоветовали найти для Грина «тюремную невесту» — девушку, приходящую на свидания к заключенным, у которых в Петербурге не было ни родных, ни знакомых. Этой невестой Грина стала Вера Павловна Абрамова, дочь богатого чиновника, сочетавшего успешную карьеру и награды с либеральными убеждениями, выпускница Бестужевских курсов, идеалистка, сочувствовавшая революционному движению и работавшая на общественных началах в «Красном Кресте», при котором и существовала «ярмарка» подобных невест.

Во время второго тюремного заключения Грин был совсем не тот, что два года назад. Тогда ему было понятно, за что он сидит, он был полон ярости и ненависти, отказывался от сотрудничества со следствием и строил планы побега — теперь же писал покаянные письма правительству и просил об одном: его выпустить.

«Ни при мне, ни на квартире моей не было найдено ничего, что могло бы дать повод к такому несправедливому заключению меня в тюрьму. Если раньше, до амнистии, мое заключение и могло быть оправдываемо государственными соображениями, общими для всех политических преступников, то теперь, после амнистии, не имея ничего общего ни с революционной или с оппозиционной деятельностью, ни с лицами революционных убеждений — я считаю для себя мое настоящее положение весьма жестоким и не имеющим никаких разумных оснований, тем более что и арестован я был лишь единственно по подозрению в знакомстве с лицами, скомпрометированными в политическом отношении. На основании вышеизложенного честь имею покорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать надлежащее распоряжение об освобождении меня из тюрьмы, с разрешением проживать в г. С.-Петербурге»[63].

Ему отказали. И в мае 1906 года отправили в ссылку в Тобольск (быть может, именно поэтому Грин напишет, что в Тобольске был в ссылке его отец), оттуда перевели в Туринск, а из Туринска 12 июня того же года политический ссыльный Гриневский то ли воспользовался большим скоплением народа, то ли, как рассказывал он Калицкой, «напоил вместе с другими ссыльными исправника и клялся, что не убежит, а на другой день вместе с двумя анархистами сбежал»[64]. На сей раз удачно. Сначала в Самару и Саратов, потом в Петербург, оттуда в Вятку. Отец (!), пользуясь служебным положением, рискуя карьерой и добрым именем, помог добыть паспорт на имя почетного гражданина Вятки Алексея Алексеевича Мальгинова (сам Мальгинов незадолго перед этим скончался в земской больнице), и с этим паспортом, уже третьим по счету чужим документом в своей жизни, Грин приехал сначала в Москву, а потом в Петербург. И пошел к «тюремной невесте», которая менее всего ожидала увидеть у дверей своей квартиры тюремного «жениха», а от нее — к эсерам. Но ни с Быховским, ни со Слетовым дело не заладилось, видимо, после истории с покушением на Бибергаль, когда партия могла потерять столь ценного человека, как Киска, они были Грином и его «гасконскими» похождениями и неизменными привычками сыты по горло и отказались дать ему работу. Но все же сделали заказ на письменный текст агитационного характера. Именно при таких обстоятельствах был написан и издан под псевдонимом А. С. Г. самый первый рассказ Грина «Заслуга рядового Пантелеева», за который автор от книгоиздательства Мягкова получил свой первый гонорар, 75 рублей — деньги,

которые должны были показаться ему немалыми и изрядно подхлестнуть к занятиям литературным трудом.

Тираж этого рассказа, где описывались карательная операция армии против крестьян и «подвиг» рядового, застрелившего по приказу пьяного офицера ни в чем не повинного деревенского парня, был арестован и совершенно случайно сохранилось лишь несколько брошюр, одна из которых была найдена в архивах и опубликована в шестидесятые годы. Вслед за этим Грин пишет еще один агитационный рассказ «Слон и Моська» также на армейскую тему и также уничтоженный еще в типографии на том основании, что он «заключает в себе возбуждение к нарушению воинскими чинами обязанностей военной службы»[65]. После этого писать по заказу партии прекращает и выбирает путь свободного литератора.

Это вполне понятно: трудно представить Грина партийным писателем, но есть одна подробность, которую приводит в своих воспоминаниях Вера Павловна Калицкая и которая в жизнеописаниях Грина никогда не упоминалась, вероятно, для того, чтобы ничем не замарать облик писателя-романтика. А между тем подробность довольно существенная и многое проясняющая в разрыве Грина с эсерами.

Калицкая рассказывает о том, как однажды Наум Быховский попросил Грина написать некролог для «Революционной России» об одном из казненных революционеров (это была лично знакомая Грину Лидия Стуре, которая впоследствии стала прообразом героини «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева), и приводит собственный рассказ Быховского о том, что из этого вышло.

«“А. С. сел и написал; я плакал, читая, так сильно это было написано. И вдруг Алексей говорит:

— А теперь гонорар.

Это за статью о казненном товарище!

Я разозлился и стал гнать его вон. Алексей пошел к дверям, остановился на полдороге и сказал:

— Ну дай хоть пятерку!”

Сердечный товарищ Н. Я. не мог без ужаса вспоминать о таком цинизме, а между тем этот цинизм вовсе не обозначал бесчувствия. Способность глубоко чувствовать уживалась в Ал. Ст. с неистребимой практичностью»[66].

Для сравнения вспомним, что Л. Андреев от авторских прав на свой «Рассказ о семи повешенных» отказался и разрешил его свободную перепечатку. Разумеется, один из самых богатых писателей своего времени мог себе позволить то, чего не мог Грин. И все же нетрудно представить, какое впечатление это производило на окружающих.

Рассказу Быховского можно было бы и не поверить. Можно было бы усомниться и в достоверности того, что пишет впоследствии обиженная Грином Калицкая. Но если почитать переписку Грина с редакторами литературных журналов как дореволюционных, так и после, а также мемуары Паустовского, Миндлина, Слонимского и других сочувствовавших Грину писателей, везде присутствует один и тот же мотив — романтик Грин всегда был жесток, требователен и даже занудлив в финансовых вопросах, прося деньги у всех, у кого можно — своего адвоката, своего критика, редактора, издателя, при том, что само отношение к деньгам у него было своеобразное: получив их, Грин стремился поскорее от денег избавиться — черта, сохраненная им до конца дней, — часто оказываясь без денег в ресторанах, гостиницах, откуда посылал записки и слезные письма к издателям с просьбой его выручить, иначе «посадят в тюрьму».

Замечательное воспоминание об этом есть у журналиста И. Хейсина. Однажды Грин пришел в редакцию журнала «Жизнь и суд» и заявил, что не уйдет домой, пока не получит аванса. Издатели, братья Залшупины, получившие перед этим звонок из другой редакции с любезным предупреждением: «К вам направляется писатель Грин», — быстро схватывают шляпы и пальто и оставляют на съедение Грину молодого Хейсина. Тот объясняет, что денег нет и не будет, Грин заявляет, что не уйдет, пока не получит аванс, и ложится спать: «Легкое всхрапывание послышалось в комнате». Конец истории: «Получив сто рублей, Грин снисходительно похлопал меня по плечу и назидательно сказал: “Вот как нужно с ними действовать, иначе эти людишки не понимают. Не забудьте, что мы торгуем своим творчеством, силой мышления, фантазией, своим вдохновением! Пока!”»[67]

Может быть, именно эта безыдейная практичность в сочетании с мотовством и стала последней каплей в отношениях между Грином и партией, хотя истинные причины лежали, конечно, глубже — Грин отошел от революции, потому что нашел себе куда более интересное поприще. И сколько бы впоследствии он о революции и революционерах ни писал, отзывался о них насмешливо. Так, в «Приключениях Гинча» выведен сатирический образ подпольщика, который пытается привлечь главного героя к работе, а когда тот отказывается, признается: «Я тоже не люблю людей... И не люблю человечество. Но я хочу справедливости».

Эта жажда справедливости, уживающаяся с ненавистью к людям, — точная черта всего русского освободительного движения, от декабристов до марксистов, и, пожалуй, во

всей нашей литературе начала века ни у кого, кроме Грина, не было такого скрупулезного, критического отношения к революции и революционерам в сочетании с личным революционным опытом и взглядом изнутри, а не извне, как, например, у Бунина или Андрея Белого.

Еще более жестко и насмешливо Грин изобразил революционеров в рассказе «История Таурена», показав, как «от телятины погибла идея» и анархист стал предателем, потому что ему захотелось вкусно пить, есть и любить женщин.

Но один революционный трофей Грину все же достался. Тюремная невеста с именем любимой героини романа «Что делать?» стала Грину женой, сначала гражданской, а потом законной.

«Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? — спрашивала себя Вера Павловна и отвечала: — Ведь из-за меня он сделался нелегальным»[68].

Отец Веры Павловны, на словах пропагандирующий свободную любовь, как у Жорж Санд, и незаконно сожительствующий с некой Екатериной Ивановной Керской, пришел в ужас, когда узнал, что его единственная благородная дочь сошлась с беспаспортным бродягой без образования и определенных занятий, который даже не может с ней обвенчаться. Худо-бедно он еще терпел, покуда любовники не жили вместе, а только встречались, но когда Вера Павловна ушла из дома совсем, это стало для него ударом. Он отказался помогать ей деньгами и написал два письма. Одно — дочери, где говорил о том, что она его опозорила, а второе — Грину: гневное, «обывательское» письмо, смысл которого был в том, что тот нарочно увлек девушку, зная, что не может на ней жениться, и увлек из одного расчета. Однако преграды лишь усиливали чувства, остановить Веру Павловну было невозможно, и письмо отца своему возлюбленному она попросту уничтожила.

Ее можно было понять. Ей исполнилось в ту пору 24 года и, как она пишет в своих воспоминаниях, до сих пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, ее не целовал. Поцеловавший ее вопреки всем правилам приличия еще во время тюремного свидания на глазах у надзирателя пострадавший за счастье народа арестант в потертой пиджачной тройке и синей косоворотке стал первым. «Поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием»[69]. И когда он внезапно вернулся из Сибири, как она могла не поверить в то, что он сделал это ради нее?

Вера Павловна влюбилась в него со всей страстью и благодарностью нерастраченной женской натуры, и — надо отдать Грину должное — он это оценил. Она была совсем не такой, как женщины-эсерки, она не требовала от него подставлять голову под гильотину революции или же красть деньги из банка и предстала добрым ангелом, спасителем, сестрой милосердия, и он щедро отблагодарил ее в своей прозе.

Он был Нок, а она была Гелли. Нок убежал из тюрьмы, куда попал по вине обманувшей его, толкнувшей на преступление злой и хищной женщины, а Гелли его не выдала и спасла. У Нока до встречи с ней были лишь мысли «о своем диком, тяжелом прошлом: грязном романе, тюрьме, о решении упиваться гордым озлоблением против людей, покинуть их навсегда если не телом, то душой; о любви только к мечте, верной и нежной спутнице исковерканных жизней».

А случайно встреченная Ноком на реке Гелли стала воплощением этой мечты. Краснея, багровея и алея, как будущие корабельные паруса, она вытерпела все выходки мужского шовинизма и оскорбления, выпавшие на ее долю как представительницы женского рода («Женщины — мировое зло! Мужчины, могу сказать без хвастовства, — начало творческое, положительное... Вы же начало разрушительное!.. Вы неорганизованная стихия, злое начало. Хоть вы, по-видимому, еще девушка... я могу вам сказать, что... значит... половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает нас в свою пропасть... все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже по тому самому ограниченны. Женщины мелки, лживы, суетны, тщеславны, хищны, жестоки и жадны. Вы, Гелли, еще молоды, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления»), и получила за это свою награду. Заканчивая рассказ «Сто верст по реке», Грин написал: «Они жили долго и умерли в один день».

Этой же фразой заканчивается и другой, более ранний рассказ Грина — «Позорный столб», история человека, который похитил не любившую его девушку, был наказан за этот поступок тем, что его привязали к позорному столбу, а девушка потом ушла вместе с ним из колонии, потому что ей не было уже жизни среди людей.

«Люди ненавидят любовь». Герои Грина ее любят, и потому отвержены обществом, но теперь из политической Грин переносил этот конфликт в абстрактную плоскость, и

не имеет значения, в какой стране и в какое время это происходит. Его герои получают везде свою награду. «Они жили долго и умерли в один день».

Так было в сказке — в реальной жизни Александр Степанович и Вера Павловна прожили то вместе, то порознь семь трудных лет, часто ссорились и с годами все меньше понимали друг друга. Во всяком случае, женские надежды, что Грин устал от бурной жизни и мечтает о покое и уюте, оказались разбиты. Отойдя от эсеров, Грин не успокоился, но все больше увязал в жизни литературной богемы — сначала, как иронически вспоминала Калицкая, в роли «пассажира», потом завсегдатая; он много пил, просаживал деньги, и свои и те, что она зарабатывала, а когда она пыталась экономить, ругал ее за мещанство и показывал пример, как надо к деньгам относиться. Словом, настоящий был писатель. Позднее в рассказе «Приключения Гинча» это отразится в чудесной фразе, обращенной к литераторам и чем-то предсказывающей будущий «праздник жизни» в «Калине красной» Шукшина:

«— Русские цветы, взращенные на отравленной алкоголем, конституцией и Западом почве! Я предлагаю снизойти до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл пятьдесят тысяч!»

Грин, правда, столько никогда не выигрывал. Но «если деньги получал Александр Степанович, он приходил домой с конфетами или цветами, но очень скоро, через час-полтора, исчезал, пропадал на сутки-двое и возвращался домой больной, разбитый, без гроша... В периоды безденежья Александр Степанович впадал в тоску, не знал, чем себя занять, и делался раздражительным... Он одновременно искал семейной жизни, добивался ее и в то же время тяготился ею, когда она наступала... Трудно понять, что было ему нужнее в те годы: уют и душевное тепло или ничем не обузданная свобода, позволяющая осуществлять каждую свою малейшую прихоть»[70].

Она любила, но не понимала его, и честно это признавала: «Его расколотость, несовместимость двух его ликов: человека частной жизни — Гриневского и писателя Грина била в глаза, невозможно было понять ее, примириться с ней. Эта загадка была мучительна...»[71]

«В отношении к своему творчеству А. С. был строго принципиален, тверд и независим, чего нельзя сказать относительно его “личной жизни”. Грин-писатель и Грин-человек совершенно разные личности»[72].

Она пыталась от него уйти еще в 1908-м. Сняла комнату — сначала в том же доме, потом переехала на 9-ю линию

Васильевского Острова, куда ежедневно приходил обедать и оставался допоздна «молодой, плохо одетый» человек. Хозяйки — две чопорные, почтенные немки — были всем этим шокированы и в конце концов указали квартирантке на дверь. Любовники снова зажили вместе. Но лучше не стало.

Гриневский-человек буйствовал, безбожно врал и ни с кем не считался (в театре, например, мог, подвыпив, громко, на весь зал высказывать во время спектакля свои замечания), писатель Грин писал все лучше, и литературная общественность его мало-помалу, нехотя признала. Это произошло не сразу: первые, солдатские рассказы Грина были отвергнуты Короленкой с резолюцией — «жизни мало», можно печатать, а можно и не печатать. Ничего не ответил Грину Горький, когда тот написал самому знаменитому после Льва Толстого русскому писателю начала века почтительное и неловкое письмо:

«Глубокочтимый Алексей Максимович!

Пишу Вам по собственному желанию и по совету В. А. Поссе. Я — беллетрист, печатаюсь третий год и очень хочу выпустить книжку своих рассказов, которых набралось 20—25... Так как я никому не известен; так как теперь весна и так как мне нужны деньги — то издатели или отказывают или предлагают невыгодные до унизительности условия. Давно я хотел обратиться к Вам с покорнейшей просьбой рассмотреть мой материал и, если он достоин печати, — издать в "Знании". Но так как неуверенности во мне больше, чем надежды, — я не сделал этого до настоящего момента, а теперь решился... Умоляю Вас — ответьте мне, если возможно, телеграммой, чтобы я мог скорее, в случае надобности, послать Вам материал и получить от Вас решительный ответ. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за "телеграмму"»[73].

Ни со «Знанием», ни с телеграммой ничего не вышло, но зато Грина публиковал «Новый журнал для всех», издаваемый тогдашним собирателем молодых талантов Миролюбовым, зато Грин получил приятное письмо от популярного в те годы беллетриста А. Каменского, зато в 1908 году «Русская мысль» напечатала «Телеграфиста». А в самом начале 1910-го в издательстве «Земля» вышла вторая книга рассказов Грина, которую сам автор считал первой, навсегда «забыв» о злополучной «Шапке-невидимке».

В этой книге было много мрачного. Одни названия гриновских рассказов 1908—1910 годов чего стоят: «Убийца», «Кошмар», «Маньяк», «Конец одного самоубийцы», «История одного убийства», «Позорный столб», «Смерть». Пожалуй, влияние Леонида Андреева чувствуется в них сильнее всего.

Так, в рассказе «Ночлег», который позднее выходил под названием «Конец одного самоубийцы», Грин рассказывает полуанекдотическую, абсурдистскую историю некоего неудачника, маленького человека по фамилии Глазунов, которого случайно в темном парке веселые, смеющиеся девушки перепутали с неизвестным ему Петей и на которого эта ошибка производит ужасное впечатление:

«Образ Пети преследовал его. Петя — начальник станции, Петя — инженер, Петя — капитан, Петя — купец. Неисчислимое количество Петей сидело на всех крошечных престолах земли, а Глазуновы скрывались в темноте и злобствовали. И хотя Глазуновы были умнее, тоньше и возвышеннее, чем Пети, последние успевали везде. У них были деньги, почет и женщины. Жизнь бросалась на Глазуновых, тормошила их, кричала им в уши, а они стояли беспомощные, растерянные, без капли уверенности и силы. Неуклюже отмахиваясь, они твердили: “Я не Петя, честное слово! Я Глазунов!”»

Заканчивается история тем, что Глазунов вешается.

Тот же мотив самоубийства как протеста против обыденности жизни встречается и в рассказе «Река». Рыбаки находят утопленницу, гадают, как и почему она утонула, а потом обнаруживают записку «Хочу умереть. Рита». Они переносят труп в лодку и, выплыв на середину, долго разговаривают «об упрямцах, предпочитающих скорее разбить о стенку голову, чем примириться с существованием различных преград».

Примечательна заключительная сентенция рассказчика: «А я все не мог оторваться от милого и близкого теперь почему-то лица утопленницы».

Но самыми мрачными стали в той книге два других рассказа — «Рай» и «Окно в лесу», которые, вероятно, именно по причине их беспросветности не включили в изданный в шестидесятые годы «Огоньком» полумиллионным тиражом шеститомник Грина.

В первом так же, как и в «Ночлеге», затрагивается тема бессмысленности человеческого существования и даже определенной философии ненависти и отвращения к жизни, только теперь речь идет не об одном человеке, а о целом клубе самоубийц, куда входят люди совершенно разные — богатый банкир, офицер, бедный бухгалтер, похоронивший жену (тут можно увидеть намек на отца Грина), разуверившийся во всем журналист и, наконец, — «женщина неизвестного звания», образ которой, как уже говорилось, был частично навеян воспоминаниями о Бибергаль.

Второй рассказ «Окно в лесу» — еще более жуткий. Он представляет собой историю об охотнике, заблудившемся в лесу и идущем по «незнакомой, зловещей равнине, поросшей желтовато-белым, угрюмым мохом и редким осинником», среди которого, правда, прыгают мартышки, отчего картина северного леса приобретает какую-то условную аллегорическую окраску, а само путешествие безымянного охотника становится образом пути неприкаянного, бесприютного человечества.

Грин рисует один из самых угрюмых в своей прозе пейзажей, столь непохожий на будущие яркие описания звонких приморских городов, куда заходят только парусные суда: «Свистящий плач ветра соединял небо с землей; все металось и гнулось; почерневшие облака бурно текли вдаль, причудливо изменяя очертания, клубясь, как дым невидимого пожара, разрываясь и сплющиваясь.

Охотник стоял, удерживая рукой шляпу. Сырой, резкий ветер стягивал кожу на покрасневшем лице; озябшие ноги нетерпеливо ежились; тоскливая пустота земли, поражаемой вихрем, сжимала сердце беспредметной боязнью».

Дальше он попадает в лес, сгущается тьма, ночь «свирепствует подобно душе преступника» — и вдруг в этой кромешной тьме человек замечает огонь. Счастливый, окрыленный, он торопливо приближается к неизвестному дому и сквозь окно видит трех людей — старуху, мальчика лет одиннадцати и коренастого мужчину, должно быть, его отца. Он уже готов постучаться, взойти и провести в этом доме ночь, как вдруг взгляду его представляется страшная картина:

«По столу, трепыхая перебитым дробью крылом, бегал в судороге нестерпимого ужаса маленький болотный кулик. Его тоненький клюв непрерывно открывался и закрывался; черные, блестящие глазки выкатывались из орбит, перья, смоченные засохшей кровью, топорщились, как разорванная одежда. Быстро семеня длинными коричневыми ногами, пробегал он до края стола; мужик ловил его, сдавливал пальцами окровавленную головку и, методически, аккуратно целясь, протыкал птице череп толстой иглой. Кулик замирал; игла медленно, уродуя мозг, выходила наружу, и птица, отпущенная лесником, стремительно неслась прочь, бессильная крикнуть, ошеломленная болью и предсмертной тоской, пока те же пальцы не схватывали ее вновь, протыкая в свежем месте маленькую, беззащитную голову.

Охотник перестал дышать. Лесник повернулся, его прищуренные глаза уперлись в то место окна, откуда из темноты ночи следил за ним неподвижный, усталый взгляд. Лес-

ник не видел охотника; отвернувшись, он продолжал забаву. Куличок двигался все тише и тише, он часто падал, трепыхаясь всем телом; вскакивал, пытаясь взлететь, и, совершенно обезумев, стукался о стекло лампы...

Охотник быстро уходил прочь, шатаясь, как пьяный. Стволы толкали его, бесстрастный глухой лес поглощал одинокого человека, а он все шел, дальше и дальше, навстречу голодной, бессонной, полной зверями тьме».

Эта тьма слишком напоминает «Тьму» и «Бездну» Леонида Андреева. Только заканчивается все по-гриновски: пулей, выпущенной охотником в злодея. Как заметил В. Е. Ковский, «герой Андреева не только не сопротивляется подлости, но, захваченный ее стихией, обнаруживает "бездну" подлости и в себе самом. Л. Андреев, говоря словами Горького, сказанными по поводу "Тьмы", "заставлял скотское, темное торжествовать победу над человеческим", Грин же, — развивает эту мысль Ковский, — в избытке обнаруживая в людях "скотское, темное", тут же противопоставляет ему "победу человека над скотом"»[74].

Но одиночество остается, оно неразрешимо, оно ужасно — однако в обществе людей стократ хуже. Особенно если это общество русское.

Такие невеселые были у Грина обобщения. Только зря сделали в шестидесятые годы вид, что их нет: пессимизм, отчаяние, разочарование — все это было нужно для того, чтобы прийти позднее к феерии «Алые паруса». И поскольку в массовом сознании Грин имеет репутацию сказочника, мечтателя, певца Несбывшегося, то, представляя его главным образом по поздним лирическим вещам, с трудом веришь, что нижеследующее было написано «волшебником из Гель-Гью», пусть даже оно выражает взгляд на вещи не самого автора, но одного из его персонажей, членов клуба самоубийц в рассказе «Рай»:

«Послушайте-ка, эй вы, двуногое мясо! Не желаете ли полпорции правды?

Отвратительно говорить правду; гнусно, она мерзко пахнет. Впрочем, не волнуйтесь: может быть, то, что для меня ужас, для вас — благоухание. С какой стороны подойти к вам? Как проткнуть ваши трупные телеса, чтобы вы, завизжав от боли, покраснели не привычным для вас местом — лицом, а всем, что на вас есть, включительно до часового брелока? Жалею, что, убивая себя, не могу того же проделать с вами... От души и от чистого сердца примите мое проклятие.

Я — дитя века, бледная человеческая немочь, бесцветный гриб затхлого Погреба... Признайте за человеком право на

ненависть! Возненавидьте ближнего своего и самого себя. Будьте противны себе, разбейте зеркала, пачкайте себя, унижайте; почувствуйте всю мерзость, весь идиотизм человеческой жизни, смейтесь над лживыми страданиями; обрушьтесь всей скрытой злобой вашей на надоевших друзей, родственников и женщин; язвите, смейтесь, с благодарностью принимайте брань. Ненавидя, люблю вас всей силой злобы моей, потому что и я такой же и требую от себя больше, чем можете потребовать вы, Иуды! Властью умирающего осуждаю вас: идите своей дорогой...

Ухожу от вас. Скверно с вами, нехорошо, страшно. Неужели вам так приятно жить и делать друг другу пакости? Слушайте-ка мой совет вам: окочурьтесь. И перестаньте рожать детей. Зачем дарить прекрасной земле некрасивые страдания? Вы подумайте только, что рождается человек с огромной и ненасытной жаждой всего, с неумолимой потребностью ласки, с болезненной чуткостью одиночества и требует от вас, давших ему жизнь, — жизни. Он хочет видеть вас достойными любви и доверия, хочет царственно провести жизнь, как пишете вы в изящных, продуманно лживых книгах; хочет любви, возвышенных наслаждений, свободы и безопасности.

А вы, на мертвенно-скучных, запачканных клопами постелях, издевательством над любовью и страстью творя новую жизнь, всей темной тучей косности и ехидства встаете на дороге вечно рождающегося человека и плюете ему в глаза, смотрящие мимо вас, поверх ваших голов, — в отверстое небо. И, бледнея от горя, человек медленно опускает глаза. Окружайте его тесным кольцом, вяжите ему руки и ноги, бейте его, клевещите, оскорбляйте его в самых священных помыслах, чтобы лет через десять пришел он к вам в вашем образе и подобии глумиться над жизнью. Перестаньте рожать, прошу вас.

Подумайте, как будет хорошо, когда вы умрете. Останутся небо, горы, степи, леса, океаны, птицы, животные и насекомые. Вы избавите даже их от кошмара своего существования. И дрозд, например, будет в состоянии свистнуть совершенно свободно, не опасаясь, что какой-нибудь дурак передразнит его песню, простую, как свет».

Больше всего, как ни странно, это похоже на Маяковского. Что-то вроде «Нате!», но опять же — прозвучавшее на несколько лет раньше.

Вслед за «Раем» Грин пишет рассказ «Воздушный корабль», ситуативно напоминающий «Рай», хотя не такой надрывный. Шесть человек, шесть «разных людей, утомлен-

ных жизнью, опротивевших самим себе, взвинченных кофе и спиртными напитками, непредприимчивых и ленивых», сидят где-то в Петербурге или Москве и томятся от скуки. «Впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы». В общем, декаденты. Делать им нечего, никакого смысла в их жизни нет, они не способны ни на какой поступок, даже на разврат, не говоря уже о самоубийстве; потом один из них, по профессии беллетрист, начинает говорить о том, что «в данный момент где-нибудь на другой половине земного шара начался день. Тропическое солнце стоит в зените и льет кипящую, золотую смолу. Пальмы, араукарии, бананы... а здесь... мы — люди полуночной страны и полуночных переживаний. Люди реальных снов, грез и мифов... То, что здесь — стремление, т. е. краски, стихийная сила жизни, бред знойной страсти — там, под волшебным кругом экватора, и есть сама жизнь, действительность...».

Но мы — северяне — все равно лучше.

«Да! — ненатурально взвинчиваясь, продолжал беллетрист, — мы, северяне, люди крыльев, крылатых слов и порывов, крылатого мозга и крылатых сердец. Мы — прообраз грядущего. Мы бесконечно сильны, сильны сверхъестественной чуткостью наших организаций, творческим, коллективным пожаром целой страны...»

Он говорит так очень долго, потом одна из участниц этого «декамерона» начинает петь романс на стихи Лермонтова «Воздушный корабль», и ее голос всех подчиняет и увлекает за собой. Степанов, глазами которого описывается эта сцена (и чья фамилия, очевидно, связана с отчеством самого Грина), принимается думать о трагической жизни царственно погибшего Наполеона и чувствует необыкновенное волнение, но вот — «кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место.

Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жалче и бессильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте».

Эта заключительная фраза отбрасывает на все повествование безжалостный свет, обнажающий пропасть между мечтой и реальностью. Но, пожалуй, именно тут мы впервые встретимся с прообразом южного царства — Гринландии, еще так не называемой, и примерно в это же время у Грина появятся рассказы, действие которых перенесется с Севера на Юг, и сам он будет считать, что именно с них начался как писатель. Это прежде всего — «Остров Ре-

но» — история матроса, который убегает с корабля на необитаемый остров в поисках свободы и в конце концов оказывается убитым своими товарищами (это бегство чем-то перекликается с бегством из жизни героев «Рая»), и «Колония Ланфиер» — еще одна история ухода от общества и цивилизации, правда, на сей раз не на необитаемый остров, а в колонию, названную по имени ее основателя — старика Ланфиера, про которого автор сообщает, что «от всей этой фигуры веяло подозрительным прошлым, темными закоулками сердца, притонами, блеском ножей, хриплой злобой и человеческой шерстью, иногда более жуткой, чем мех тигра. Старик, что называется, пожил».

В этих двух рассказах проявилось уже чисто гриновское: экзотическая местность, непривычные слуху имена, необычная ситуация и мужественный решительный герой, теперь уже ни с каким революционным движением не связанный и пытающийся жить по своим законам.

Горн из «Колонии Ланфиер» убегает от цивилизованного мира, но сталкивается с местными обывателями, которые откармливают свиней, используют туземных женщин в качестве наложниц и мечтают разбогатеть. Один из них, Гупи, говорит Горну:

«Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножко пообчистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится».

Горну это все отвратительно, он не сходится ни с кем из обитателей острова, вспоминает прошлое, вспоминает «женщину с мягким лицом, выкроившим его душу по своему желанию, как платье, идущее к ее лицу». И Горн, и эта женщина — хищники. «Вся разница между ними была в том, что одна хотела все для себя, а другой — все для нее». Однако ни найти счастья, ни принести его другому Горн не способен, существование его ущербно. Он — лишний человек на randez-vouz, скрещение двух вечных русских тем. Случайно он находит на острове золото, случайно оскорбляет, как Онегин Татьяну, красивую и забывшую ради него о гордости девушку Эстер, которая им увлечена и первая ему об этом говорит. Он убивает на дуэли ее жениха, а потом, откупившись от разъяренной этим убийством толпы колонистов тем золотом, которое нашел, убегает в неизвестность «ненужной ему жизни». Еще пару лет назад Жизнь была для героя Грина высшей ценностью. Теперь же и в ней он не находит утешения. И никакой гарантии в том, что через некоторое время Горну не захочется пустить себе пулю в лоб, нет.

Грин эволюционировал стремительно, лихорадочно, он обследовал тупики человеческого существования, он отрицал как общественную жизнь, так и попытки от нее уйти, его равно отвращала жизнь больших человеческих сообществ, маленьких заморских колоний и затерянных в лесах избушек, где одинаково царило зло, но для русского 1910 года вся эта мятущаяся эволюция и экзотика выглядела довольно странно.

Критика писала про Грина, что его герои «типичные современные неврастеники, несчастные горожане, уставшие и пресытившиеся друг другом»[75], что его рассказы «плавают в крови, наполнены треском выстрелов, посвящены смерти, убийству, разбитым черепам, простреленным легким. Ужасы российской общественности наложили печать на перо беллетриста. Так сказать, сделали его человеком, который "всегда стреляет"»[76].

Последняя фраза была понята буквально. Про Грина пошел гулять слух, будто бы он не сам все это написал, а перевел с английского. И вообще эта рукопись принадлежала английскому капитану, не то утонувшему в результате кораблекрушения, не то убитому кровожадным Грином, вероятно, так же, как была «убита» первая жена.

Легенда эта, несмотря на свою абсурдность, оказалась столь живуча, что Венгеров долго сомневался, стоит ли принимать Грина в Литфонд и консультировался по этому поводу у Наума Быховского, честно сказавшего, что Грин не знает ни одного иностранного языка, а в тюрьме сидел по политическому делу. Сам же Грин позднее обыграл эту ситуацию все в тех же «Приключениях Гинча», которые начинаются словами: «Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые, случайные знакомства, после того, как один из подобранных мною на улице санкюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги».

«С каторги» так прилипло к Грину, что впоследствии — по воспоминаниям журналиста Е. Хохлова, Куприн, с которым Грин был одно время дружен и которого очень по-

читал, сказал про Грина: «У него лицо каторжника», на что Грин, когда ему этот отзыв сообщили, при встрече с Куприным спросил: «А вы, Александр Иванович, когда-нибудь настоящих каторжников видели? Небось, нет. А вот я видел». Они тогда чуть не поссорились: Куприн таких замечаний не терпел»[77].

Но были у Грина и другие почитатели. Жил в Петербурге, в Бассейновом переулке, замечательный критик, сотрудник «Русского богатства», физически ущербный, но поразительной духовной силы человек Аркадий Георгиевич Горнфельд, про которого есть такая запись в дневнике у Корнея Чуковского:

«Горнфельд живет на Бассейной — ход со двора, с Фонтанной — крошечный горбатый человечек, с личиком в кулачок; ходит волоча за собой ногу; руками чуть не касается полу. Пройдя полкомнаты, запыхивается, устает, падает в изнеможении. Но несмотря на все это, всегда чисто выбрит, щегольски одет, острит — с капризными интонациями избалованного умного мальчика — и через 10 минут разговора вы забываете, что перед вами урод. Теперь он в перчатках, руки мерзнут. Голос у него едкий — умного еврея»[78].

Горнфельд опубликовал две рецензии о Грине — одну в 1910-м, другую — в 1917-м, чем Грин впоследствии очень гордился и, по воспоминаниям Юрия Олеши, заносчиво говорил: «Обо мне писал Айхенвальд!»[79]

Айхенвальд тут, конечно, ни при чем, это Олеша перепутал. Айхенвальд о Грине ничего не писал, а Горнфельд так отзывался о Грине:

«Нынешнего читателя трудно чем-нибудь удивить; и оттого он, пожалуй, и не удивился, когда, прочитав в журнале такие рассказы г. Грина, как “Остров Рено” или “Колония Ланфиер”, узнал, что это не переводы, а оригинальные произведения русского писателя. Что ж, — если другие стилизуют под Боккаччо или под 18 век, то почему Грина не подделывать под Брет-Гарта. Но это поверхностное впечатление; у Грина это не подделка и не внешняя стилизация: это свое. Свое, потому что эти рассказы из жизни странных людей в далеких странах нужны самому автору; в них чувствуется какая-то органическая необходимость — и они тесно связаны с рассказами того же Грина из русской современности: и здесь он — тот же. Чужие люди ему свои, далекие страны ему близки... Грин по преимуществу поэт напряженной жизни. И те, которые живут так себе, изо дня в день, проходят у Грина пестрой вереницей печальных ничтожеств, почти карикатур. Он хочет говорить только о важном, о

главном, о роковом: и не в быту, а в душе человеческой. И оттого как ни много крови льется в рассказах Грина, она незаметна, она не герой его произведений, как в бесконечном множестве русских рассказов последних лет; она — только неизбежная, необходимая подробность, и даже в том рассказе, где изображена гибель трех русских боевиков, отстреливающихся в квартире от войск, читатель забывает, что это недавние события, что это современная тема: он видит обнаженные человеческие души и не связывает их с историей. Не об их смерти он думает, а о жизни. Это хороший результат, и к нему приводит каждый рассказ Грина»[80].

В подтверждение вывода Горнфельда можно привести цитату из еще одного рассказа Грина этого времени «Возвращение “Чайки”», который впервые был опубликован под названием «Серебро Юга»: «Неизмеримо огромна жизнь. И место дает всякому умеющему любить ее больше женщины, самого себя и короткого тупого счастья».

В это же время, в 1910 году, Грин пишет другой замечательный рассказ на экзотическом материале, но с чисто русской фактурой и автобиографическим подтекстом.

Рассказ этот называется «Трагедия плоскогорья Суан» и сопровождается эпиграфом из Библии: «Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего» (Ис. 42, 23).

В этом рассказе несколько героев. Хейль и Фирс — два партийных деятеля, которые вытащили из тюрьмы и используют в своих целях уголовника Блюма, чья биография «укладывается в одной строке: публичный дом, исправительная колония, тюрьма, каторга». Эти двое уверены в своем интеллектуальном и нравственном превосходстве и над Блюмом, и над всем миром, и Блюм им нужен для того, чтобы это превосходство доказать. Утверждать прямо, что этот треугольник повторяет отношения Быховского-Слетова-Гриневского, невозможно, но, скорее всего, глубоко в подтексте такая ассоциация у Грина была. Просто вместо себя, человека, к революции не подошедшего, не преступника — Грин создал образ того, кого эсеры искали и кто бы им подошел.

Кредо Хейля: «Я честолюбив, люблю опасность, хотя и презираю ее; недурной журналист, и — поверьте — наслаждаться блаженством жизни, сидя на ящике с динамитом, — очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение».

Замените «журналист» на «писатель» — чем не Борис Савинков с его культом утонченных психопатических наслаждений и переживаний во имя русской свободы? А между тем сам Блюм этих людей презирает:

«Кровавые ребятишки... В вас мало едкости. Вы не настоящая серная кислота. Я кое-что обдумал на этот счет. В вас нет прелести и возвышенности совершенства. Согласитесь, что вы бьете дряблой рукой».

Все это еще чем-то напоминает отношения Ставрогина, Верховенского и Федьки-каторжника — политика, смешанная с уголовщиной, уголовщина — как политика, к чему уже несколько десятилетий шла и наконец пришла Россия.

Блюм похож и на другого героя «Бесов» — Шигалева, а излагаемая им политическая программа обретает зловещие черты антиутопии:

«Я мечтаю о тех временах, Фирс, когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы... Придет время, — угрюмо произнес Блюм, — когда исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу. Она лжет»*.

Но именно в мир природы попадает этот вынужденный бежать из города человек. Сюжет «Трагедии плоскогорья Суан» чем-то повторяет историю, рассказанную в «Карантине», но с совершенно иными логическими акцентами. После ряда заказных убийств Блюм вынужден скрываться от полиции в тихом, идиллическом месте, а через некоторое время за ним приезжает Хейль и дает новое задание, но Блюм, как некогда Сергей, отказывается. Правда, причины у него другие.

Вот диалог Хейля и Блюма, политика и уголовника, сильно напоминающий то, что пережил Грин в молодости.

«— Вы ренегат, что ли?

— Я преступник, — тихо сказал Блюм, — профессиональный преступник. Мне, собственно говоря, не место у вас... вы решили, что я человек отчаянный, и предложили мне потрошить людей хорошо упитанных, из высшего общества.

---

* Любопытно, что, отвечая на вопрос анкеты журнала «Что будет через 200 лет?» (Синий журнал, 1914, № 1), Грин писал: «Я думаю, что появится усовершенствованная пишущая машинка (компьютер! — *А. В.*). Это неизбежно, Человек же остается этим самым, неизменным. Вперед можно сказать, что он будет делиться на мужчину и женщину, влюбляться, рожать, умирать. Леса исчезнут, реки, изуродованные шлюзами, переменят течение, птицы еще будут жить на свободе, но зверей придется искать в зверинцах. Человечество огрубеет, женщины станут безобразными и крикливыми более, чем теперь. Наступит умная, скучная и сознательно жестокая жизнь, христианская (официально) мораль сменится эгоизмом. Исчезнет скверная и хорошая ложь, потому что можно будет читать мысли других. И много будет разных других гадостей...»

Мог ли я отказать вам в такой безделке, — я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лижет щенят. Вы меня кормили, одевали и обували, возили меня из города в город на манер багажного сундука, пичкали чахоточными брошюрами и памфлетами, кричали мне на одно ухо “анархия”, в другое “жандармы!”, скормили полдесятка ученых книг... Вы бьете все мимо цели, все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий, — они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшее открытие, превосходящее заслуги Христофора Колумба... Вы уйдете с сознанием, что все вы — мальчишки передо мной. Что нужно делать на земле... “Сочинения Блюма. О людях”. Следует убивать всех, которые веселы от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдению, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения».

Это — программа-максимум, доведенный до логического конца катехизис революционера. Бред выродившейся нигилистической мысли, и вслед за обнародованием программы Блюм убивает своего слушателя и воспитателя, как английское чудище по имени Франкенштейн, созданное фантазией Мери Шелли, убивает своего творца. Хейль Блюму больше не нужен. На очереди другие, веселые от рождения люди. Но сама идея убийства — столь значимая для Грина — получает в этом рассказе совершенно фантастическое освещение.

Блюму противопоставлен охотник Тинг — первый, по-настоящему положительный, без нравственной размытости Горна, герой, который живет в уединенном доме со своей женой Ассунтой — будущей Ассоль — и любит «лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню».

Тинг читает Ассунте стихи про любовь. А Блюм, подслушав их — «медленно повторил про себя несколько строк, оставшихся в его памяти, сопровождая каждое выражение циническими ругательствами, клейкими вонючими словами публичных домов; отвратительными искажениями, бросившими на его лицо невидимые в темноте складки усталой злобы...».

С этой минуты Тинг становится его врагом, он ищет, как его унизить, и пытается убить Ассунту и скрыться, а потом, когда Тинг его догоняет, говорит:

«— Две ямы есть: в одной барахтаетесь вы, в другой — я. Маленькая, очень маленькая месть, Тинг, за то, что вы в другой яме».

Блюм — это олицетворение всего скотского, что есть в человеке, что-то вроде маньяка Чикатило или героя американского фильма «Молчание ягнят».

«— Овладеть женщиной, — захлебываясь и торопясь, продолжал Блюм, как будто опасался, что ему выбьют зубы на полуслове, — овладеть женщиной, когда она сопротивляется, кричит и плачет... Нужно держать за горло. После столь тонкого наслаждения я убил бы ее тут же и, может быть, привел бы сам в порядок ее костюм. Отчего вы так дрожите? Погода ведь теплая. Я не влюблен, нет, а так чтобы погуще было. У нее, должно быть, нежная кожа. А может быть, она бы еще благодарила меня».

В финале рассказа — погоня, Тинг догоняет Блюма. Но благородный Тинг не хочет убивать негодяя. Он хочет его отпустить и взять с Блюма честное слово, что тот «спрячет свое жало», а Блюм так же честно и ненавистно отвечает, что убьет Тинга через неделю. И тогда Тинг стреляет. Только тогда. Ассунта меж тем выздоравливает, но ее муж не пишет больше стихов про любовь и счастье жизни, потому что думает о Блюме.

«— Ты жалеешь?

— Нет. Я хочу понять. И когда пойму, буду спокоен, весел и тверд, как раньше».

Это желание понять зло, заглянуть ему в глаза стало своего рода сверхидеей Грина. К этой теме он не раз возвращался, совершенно по-разному ее варьируя и пробиваясь своим путем к одному ему ведомой истине о человеке. Пока что изображать зло у него получалось лучше, чем добро. Блюм написан гораздо убедительнее бесплотного Тинга и наивной Ассунты, о которых трудно сказать что-то определенное, и, быть может, поэтому в шестидесятые годы В. Вихров смело утверждал, что «поэт и охотник Тинг и его подруга Ассунта — люди, близкие к революционному подполью»[81].

Самые лучшие рассказы Грина этого времени — рассказы о зле. Но никакой его эстетизации в них нет — есть только отвращение и желание зло победить. Врага надо знать в лицо — именно к этому стремился писатель с ясной нравственной позицией и загадочными художественными приемами. Было это не вполне по-декадентски. Но и реалисты не могли прописать у себя Грина. Так он и мучился, неприкаянный, среди разнообразных течений и направлений русской литературы Серебряного века, нигде не находя приюта, и позднее писал Миролюбову:

«Мне трудно. Нехотя, против воли, признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непри-

вычен. От этого, т.е. от постоянной борьбы и усталости, бывает, что я пью и пью зверски.

Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе), чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестким более, чем средневековая инквизиция. Иначе нет смысла заниматься любимым делом»[82].

«Трагедию плоскогорья Суан» Грин отослал в «Русскую мысль» Брюсову, где она провалялась почти полтора года. Брюсов долго сомневался, стоит ли этот «Судан» размером в два печатных листа публиковать. Но в конце концов летом 1912 года, когда обычно, на время летних отпусков, даются вещи похуже, напечатал. Грин в это время был в Петербурге, но промежуток времени между отправкой рукописи в «Русскую мысль» и ее публикацией в который раз перевернул его жизнь.

Глава VI
ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС

Четыре года, с 1906-го по 1910-й, Грин легкомысленно и беспечно жил в Петербурге по подложному паспорту покойника Алексея Мальгинова, четыре года печатался в журналах и издавал книги под своим звонким иностранным псевдонимом, который впоследствии доставлял ему порой огорчения*, водил литературные знакомства, вспоминал революцию как давно прошедшие времена и бесстрашно черпал в ней материал для литературных произведений. Казалось, так будет продолжаться всегда. Но 27 июля 1910 года Александра Степановича Гриневского арестовали за бегство из ссылки и проживание по подложным документам. Это был уже третий по счету его арест.

---

* Ср. у Калицкой: «Сначала этот псевдоним нравился Александру Степановичу, но потом он испытал в нем разочарование. Оказалось, что изданы несколько переводных романов англичанки Грин, и первые годы, когда Александра Степановича еще мало знали, его путали с этой писательницей» (Воспоминания об Александре Грине. С. 167). Ср. также в воспоминаниях Э. Арнольди: «Александр Степанович мне рассказывал, как его представляли А. Н. Толстому. Прославленный писатель, пожимая руку, с восторгом отметил поразившее его уменье Грина строить сюжет. Подумав мгновенье, он для примера назвал прочитанный им недавно роман “Рука и кольцо”. Александр Степанович ответил, что, к немалому сожалению, это написала Анна Катарина Грин» (Воспоминания об Александре Грине. С. 279). Наконец, в мемуарах Н. Н. Грин читаем: «В те годы в Одессе жил (так информировали Александра Степановича) врач-венеролог А. Грин, занимавшийся переделкой для театра произведений популярного в то время французского писателя (если память не изменяет) Пьера Бенуа. А. Грин создал таким образом пьесу “Проститутка” и другие. Шли они в театрах и печатались за подписью “А. Грин”. По поводу этих пьес многие обращались с вопросами к Александру Степановичу, считая его автором, некоторые поздравляли с постановкой их, с извлечением порядочного дохода. Александр Степанович обижался (...) хотел написать одесскому Грину — предложить ему выбрать другой псевдоним, так как своим он, А. С. Грин, должен пользоваться по праву старшинства. Но узнав, что Грин — это истинная фамилия венеролога, махнул на все рукой, сказав: “Черт с ним! Ведь не виноват же он, что родился А. Грином”» (Воспоминания об Александре Грине. С. 398—399).

Грин считал, что его выдал некто Александр Иванович Котылев, журналист и издатель, входивший в пестрое окружение Куприна, и позднее рассказывал Н. Н. Грин, что незадолго перед этим арестом встретил цыганку, которая сказала: «Тебя скоро предаст тот, кого ты называешь своим другом. Но пройдут годы, и ты наступишь на врагов своих»[83].

О Котылеве пишет и Калицкая: «Он имел репутацию человека порочного, но я не имела возможности убедиться в этом; на мой взгляд, это был человек умный и хорошо воспитанный. Казалось, они с Александром Степановичем дружили...

— Это он и выдал меня, — ответил Грин.

— Да ведь вы же были друзьями?

— Ну, не совсем... Как-то поссорились, я ему и сказал: “Я хоть с тобой и пьянствую, но этим у нас вся дружба и кончается; мы с тобой, как масло и вода, неслиянны”. Вот этого он мне и не простил»[84].

Вскоре после ареста Грин писал Леониду Андрееву: «Я арестован, вероятно, по доносу какого-нибудь из моих литературных друзей. Мне это, впрочем, безразлично. И за то, что уехал из административной ссылки, прожив эти четыре года в Питере по чужому паспорту. Я сообщаю Вам это для того, чтобы Вы не подумали чего-нибудь страшного или противного моей чести»[85].

Несмотря на независимый тон послания, душевное состояние Грина было ужасно. Он только-только начал устраивать свои литературные дела, как эта неудача! Грин был в отчаянии и снова писал письма Его Высокопревосходительству господину министру внутренних дел, а потом и самому царю. (Вспомним, что в 1903 году Грин отказался писать прошение о помиловании на Высочайшее Имя — теперь его настроение совсем иное.)

«Ныне арестованный, как проживающий по чужому паспорту, я обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшей просьбой не смотреть на меня как на лицо, причастное к каким бы то ни было политическим движениям и интересам. За эти последние пять лет я не совершил ничего такого, что давало бы право относиться ко мне как к врагу государственности. Еще до административной высылки в миросозерцании моем произошел полный переворот, заставивший меня резко и категорически уклониться от всяких сношений с политическими кружками...

Последние 4 года, проведенные в Петербурге, прошли открыто на глазах массы литераторов и людей, прикосновенных к литературе; я могу поименно назвать их, и они подтвердят полную мою благонадежность. Произведения

мои, художественные по существу, содержат в себе лишь общие психологические концепции и символы и лишены каких бы то ни было тенденций...

Организм мой надломлен; единственное желание мое — жить тихой, семейной жизнью, трудясь, по мере сил, на поприще русской художественной литературы»[86].

Последнее — если не лукавство, то условность, с идеалом тихой, семейной жизни литератор Грин разделался и был как никогда от него далек, но пассаж про переворот в мировоззрении и отказ от политических сношений — сущая правда. Правительство пошло писателю навстречу. Вместо четырех лет в Сибири ему присудили два года ссылки в Архангельскую губернию, к тому же министр приказал архангельскому губернатору «при хорошем поведении Гриневского в месте водворения войти в обсуждение вопроса о дальнейшем облегчении участи названного лица»[87]. Еще одним облегчением было то, что Вера Павловна поехала вместе с ним.

Для нее этот арест обернулся одним преимуществом: теперь она могла обвенчаться с Грином и, как говорили в таких случаях, честно смотреть людям в глаза. С венчанием, правда, возникли сложности — прямо не отказывали, но и не разрешали, заставляли бедную невесту стоять в очередях, а потом смотритель арестного дома пригласил Веру Павловну к себе в кабинет и с укоризной сказал:

— Вашего жениха, барышня, скоро вышлют, как это вы не можете добиться венчания?

Вера Павловна принялась ему с жаром жаловаться и клясться, что она делает все возможное, и тогда смотритель посоветовал ей обратиться к жандармскому полковнику Х., большому любителю церковного пения, состоящему ктитором в церкви градоначальства. А дальше последовала история в виде не то святочного, не то пасхального рассказа про добрых жандармов — история, которую, правда, Вера Павловна с ее несомненным литературным даром могла малость и приукрасить.

«Полковник Х., когда я вошла к нему, официально спросил:

— Чем могу служить?

— Пожалуйста, выдайте меня замуж.

— Что-о-о? Садитесь и расскажите.

Я рассказала, что вот уже больше двух месяцев бесплодно добиваюсь разрешения на венчание. Объяснила, почему венчаться в Петербурге для меня так важно.

Полковник ответил:

— Хорошо, приходите ко мне послезавтра, не в приемные часы, а попозже. С Адмиралтейства будет заперто, так

вы идите с Гороховой и скажите, что я назначил вам прийти, вас пропустят.

Когда я пришла в назначенное время, полковник сказал:

— Ну и нагорело же мне от градоначальства за вас!

— Не разрешил?!

— Венчаться-то разрешил, да я просил, чтобы вам позволили устроить в зале, соседнем с церковью, поздравление с шампанским, а градоначальник закричал: "Это еще что? Чтобы они тут еще кабак устроили!"

Я поблагодарила этого доброго человека за помощь и объяснила, что не могу позвать своих родных на свадьбу с арестантом и что поэтому зал для поздравления не нужен. Полковник сказал, чтобы я пошла к священнику церкви градоначальства и сговорилась бы с ним о венчании, а после свадьбы он, полковник, даст мне письмо к своему знакомому вице-губернатору Архангельской губернии.

Священник назначил венчанье дней через восемь — десять в воскресенье после обедни. Наконец-то я могла сказать и отцу, и Александру Степановичу, что венчанье разрешено!

Когда я опять пришла в арестный дом и поблагодарила смотрителя за совет, он ответил:

— А знаете, почему полковник принял в вас участие? Потому что несколько лет назад его дочь сбежала за границу с политическим эмигрантом.

Один несчастный отец пожалел другого»[88]*.

Отец невесты Павел Егорович Абрамов на венчании не присутствовал, но, соревнуясь в благородстве с полковником Х., не подкачал и, по словам Веры Павловны, «первый заговорил о Грине, первый предложил брать у него денег, сколько понадобится»[89]. Таким образом на ближайшие годы молодые были финансово обеспечены, хотя Грин все равно попросил Веру Павловну сходить к Венгерову за пособием по случаю высылки, а тот долго не верил, что пришедшая к нему дама — жена.

«Разве могли быть у Грина другие жены? Я так верила, что Александр Степанович меня любит, что ни слова не сказала ему об этом разговоре»[90].

После венчания, на котором не было и Степана Евсеевича Гриневского, а лишь присутствовали сестры Грина Наталья и Екатерина, молодожены сели в разные кареты и отправились каждый в свою сторону, он — в пересыльную

* Вообще-то ничего исключительного в этой ситуации не было. Вспомним, что и Владимир Ульянов отправился в ссылку с Крупской после того, как они обвенчались.

тюрьму, она — домой укладывать вещи. Местом ссылки был назначен город Пинега в двухстах километрах от Архангельска, что также можно было считать знаком правительственного благоволения. Других революционеров посылали в более отдаленные места.

Гриневские прибыли в Пинегу в ноябре 1910 года, сняли жилье и зажили той самой обывательской жизнью, которой так боялся Грин и к которой втайне стремилась его жена. По ее воспоминаниям, он много читал, писал, спал, ел, играл в карты, ходил на охоту, наслаждался северной природой и впоследствии «не раз вспоминал, что два года, проведенные в ссылке, были лучшими в нашей совместной жизни»[91]. Однако если обратиться к духовной биографии писателя — его прозе той поры, то в ней можно увидеть тоску, не меньшую, если не большую, чем в описании тюрьмы, и это противоречие еще раз косвенным образом подтверждает, насколько Вера Павловна была далека от своего мужа-писателя и как плохо его понимала.

Владимир Сандлер в своей насыщенной документами работе «Вокруг Александра Грина» именно в связи с северной ссылкой Грина писал: «По образованию и воспитанию она была типичной буржуазкой, не способной, в силу целого ряда причин, до конца понять столь сложное, сотканное из противоречий явление, как Грин, окончивший университеты российских дорог»[92].

Оставим «буржуазку» и «университеты российских дорог» на совести Сандлера и тех романтических времен, когда его документальное повествование создавалось, но в его книге приводится замечательный отрывок из воспоминаний других ссыльных, рисующий облик Грина и его первой жены.

«Александр Степанович был высоким худым молодым человеком, с желтоватым цветом лица, живым, веселым и приветливым. Вера Павловна — красивая молодая женщина, всегда подтянутая и молчаливая, производила на ссыльных впечатление "тонкой дамы из аристократической семьи". Часто уезжала из Пинеги в Петербург. В обращении была приветливо-холодновата, так что, собираясь к Гриневским, ссыльные всегда говорили: "Пойдем к Александру Степановичу" и никогда: "Пойдем к Гриневским"»[93].

На самом деле в Пинеге Грин ужасно тосковал. Он писал одно за другим прошения о смягчении своей участи и переводе или хотя бы отпуске на три дня в Архангельск по состоянию здоровья, но ему не спешили ответить; на него нападало отчаяние, толкавшее его на безрассудство и дикие выходки. Однажды во время зимней прогулки по лесу боль-

шой компанией Грин соскочил с саней и, ни слова не говоря, ломанулся в лес. Думали, шутит, вот-вот придет, потом стали искать и звать его, а он вернулся домой только на следующий день. Ночь провел в охотничьей избушке. Как провела эту ночь «буржуазка» Вера Павловна — остается только гадать.

Другой раз летом в тайге, недалеко от деревни, начался пожар. Все население бросилось рыть канавы, и огонь удалось остановить.

«Через несколько дней после пожара, — пишет Калицкая, — рослая краснощекая пинежанка остановила меня на улице и презрительно сказала:

— Ваш муж говорит, что это он поджег лес. Нашел чем хвастаться!

Я попробовала убедить ее, что ни в этот день, ни накануне Александр Степанович в лесу не был, но она мне не поверила. Когда же я спросила Александра Степановича, зачем он возводит на себя такие ложные и вредные обвинения, он ничего не мог ответить. Это было очередное "гасконство"»[94].

Позднее эти воспоминания очень огорчали и даже возмущали вторую жену писателя Нину Николаевну Грин, которая не хотела, чтобы о Грине так писали, но Калицкая была последовательна: у Грина было два лика — добрый и злой, и она стремилась оба запечатлеть.

А Грин томился. Он писал или передавал через жену письма Брюсову, просил у него аванса и хвалил его стихи, называл Валерием Николаевичем, посылал в «Русскую мысль» новые рассказы (которые Брюсов не печатал): где-то в Петербурге была настоящая литературная жизнь и богема, от которой Грин был отрезан. Ему казалось, его забывают. Достаточно сказать, что в 1911 году у Грина вышло всего пять рассказов, в то время как в предыдущие годы выходило по двадцать пять.

Тогда же он писал главному редактору журнала «Пробуждение» Корецкому: «Я грущу. Я вспоминаю Невский, рестораны, цветы, авансы, газеты, автомобили, холодок каналов и прозрачную муть белых ночей, когда открыты внутренние глаза души (наружные глаза души — это мысль). Здесь морозы в 38 гр., тишина мерзлого снега и звон в ушах, и хочется подражать Бальмонту.

Заворожен, околдован,
Отморожен без ушей,
Ярким снегом огорожен,
Получил в этапах
вшей.

Вши давно «отведи с “миром”»
— получили от небес.
Но измучен ими — ... <1 нрзб>
Я смотрю на темный лес.
Граммофон орет в
гостиной.
На стекле — желток луны.
Я нечаянно рябинной
облил новые штаны.
За стеной бушует дьякон:
На Крещенье, сгоряча,
Он, в святой воде
обмакан,
Принял внутрь «Спотыкача».
За окном скрипят
полозья;
Там, на берегу, к реке
Ледяных сосулек гроздья
Едут вскачь на мужике.
Между тем у стен Розетты
Катит волны желтый
Нил.
Пальмы. Финики Галеты.
Зной, чума и крокодил[95].

Бальмонт тут не случаен. В стихах самого нерусского, по определению Гумилева, из русских поэтов, была та же экзотика, что и в прозе Грина, которого впоследствии назовут иностранцем русской литературы. Но, в отличие от Грина, Бальмонт не просто писал о дальних странах и тропических морях, а действительно в них побывал — в Австралии, Южной Африке, Новой Гвинее, на Таити. Ему удалось осуществить в своей жизни то, о чем Грин лишь мечтал. Сближала обоих любовь к Эдгару По, чьи стихи Бальмонт переводил и даже написал предисловие к пятитомному собранию сочинений американца. Да и романтический пафос импульсивного, порывистого Бальмонта был Грину близок. Все это очень важно, потому что обыкновенно творчество Грина рассматривается вне контекста литературной ситуации начала века, и выявление его творческих связей, часто сокрытых, с современниками позволяет точнее определить место Грина под обманчивым солнцем века, которое воспевал Бальмонт.

Но в шуточных подражательных стихах, посланных Грином Корецкому, существенна и фактическая сторона. Почти все здесь взято из жизни: Вера Павловна привезла Грину из Петербурга граммофон, и жили они действительно в доме у священника, где однажды случился пожар, и Гриневские спасались от него в бане. Деревенская молва обвинила их в поджоге, но за своих жильцов вступился батюшка:

— Хороши поджигатели, выскочили на трескучий мороз, накинув на рубашки пальто, в бане одевались![96]

Иногда Грин не выдерживал, срывался и запивал, и это пьянство пугало Веру Павловну. Одно дело в Петербурге, когда можно было куда-нибудь уйти, и совсем другое — в глухой деревне. Она пригрозила ему, что его оставит, да и в самом деле часто ездила домой к отцу, но все равно за разделенную с ним участь, за то, что не бросила его, Грин был Вере Павловне благодарен и в «Автобиографии» для Венгерова писал: «Главное событие моей жизни — встреча с В. П. Абрамовой, ныне моей женой»[97].

Среди произведений Грина, относящихся ко времени ссылки, есть рассказ «Ксения Турпанова». Место его действия — северная деревня на острове с говорящим названием Тошный. На самом деле это был Кегостров, находящийся всего в трех верстах от Архангельска, куда Грина перевели осенью 1911 года после нескольких его прошений и ходатайств жены и отца. Но описана эта местность, точно край света и тьма кромешная. Главный герой, как и автор, политический ссыльный, но, в отличие от ссыльного Гриневского, он «чрезвычайно боялся воды, и ко всему, отмеченному риском, к рекам, лесу, охоте и ружью, относился с брезгливым недоумением интеллигента, — полумужчины, неловкого голодного человека».

Душевное состояние его — тоска, уныние, споры и ссоры с другими ссыльными из-за разного понимания «самоценности жизни», основное времяпрепровождение — игра в карты.

Турпанов живет на Тошном острове не один, а с женой, «маленькой темно-русой женщиной», к которой относится снисходительно, зато она любит «его сильной, думающей любовью». Но Турпанов этого не понимает, не ценит, он все воспринимает иначе, чем она, и Грин ядовито описывает эту инаковость, вновь возвращаясь к теме своего революционного прошлого.

«Мы все-таки с ней разные, — мои идеалы, например, чужды ей». Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными, а остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцовавшейся картине».

Это — экспозиция. А сюжет построен на двойном обмане. Ксения очень любит мужа и хочет подарить ему на день

рождения часы. Для этого, ничего ему не сказав, она с риском для жизни едет на баркасе в город, хотя очень боится «суровой воды, утлого баркаса, загадочных мужиков, льдин, серого неба», и едва не погибает на обратном пути в волнах и льдах. Сам же Турпанов отправляется искать жену, но встречает на берегу другую женщину — ссыльную Мару Красильникову, срок ссылки которой вот-вот заканчивается, и она на прощание говорит Турпанову:

«Довольно с меня. По горло сыта! ... Актеры вы все, и плохие, плохенькие. Ну чего там? Какая еще революция? Живы — и слава Богу».

Поразительно, но это прямая перифраза и ранних эсеровских рассказов Грина с их идеей «просто жизни» как самой высшей ценности, и «Трагедии на плоскогорье Суан» с блюмовским «кровавые ребятишки, в вас мало едкости».

А дальше следует обыкновенная история. Турпанов, решив, что жена сегодня уже не вернется, после недолгой моральной борьбы, заводит Мару к себе домой, и там их застает спешащая к мужу с часами Ксения. Он жалко пытается объясниться, но она уходит от него навсегда. Так, вслед за приговором революции, наступает полный моральный крах ее героев и ветеранов — «революционеров на покое».

В воспоминаниях Е. И. Студенцовой (младшей сестры Александра Ивановича Студенцова, склонившего Грина к побегу из армии в 1902 году) говорится: «У меня в памяти остались разговоры о рассказе Грина «Ксения Турпанова», напечатанном тогда в журнале «Русское богатство». Он (брат Е. И. Студенцовой. — *А. В.*) говорил, что в основу этого рассказа лег действительный случай ухода жены А. С.»[98].

Так это или не так, сказать трудно, во всяком случае в рассказе автор явно дистанцирует себя от героя, а Вера Павловна если и уходила, то возвращалась. Другой поворот темы «ссылки и ссыльных» — рассказ «Зимняя сказка». Через далекую северную деревню проезжает человек, который нашел в себе мужество бежать. Его товарищи по несчастью смотрят на него и с тоской, и с завистью, и с восхищением. А он дает им надежду и излагает свое кредо:

«Я еду, думаю... все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высыпаться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно ненавидеть... на подлости отвечать пощечиной, благородству — восхищением, презрению — смехом, женщине — улыбкой, мужчине — твердой рукой...»

Писал Грин в Пинеге не только о ссылке и ссыльных. В это время создаются такие известные произведения, как «Жизнь Гнора» и «Синий каскад Теллури», в которых талант Грина проявился со всей зрелостью и очевидностью, и стало ясно, что именно экзотическая, фантастическая линия в его творчестве становится центральной. Но все же наибольших художественных удач Грин достигал тогда, когда писал не чисто «реалистические» или же чисто «фантастические» вещи, но когда фантастическое и реалистическое соединял. Так будет в «Крысолове» и «Фанданго», самых совершенных его произведениях двадцатых годов — так было и в маленькой повести «Приключения Гинча» — истории человека, случайно связавшегося с революционерами (причем в качестве причины опять-таки фигурирует бомба) и вынужденного из-за этого поменять имя, фамилию и образ жизни. Лебедев-Гинч принадлежит к числу «гриновских злодеев», только не таких однозначных, как Блюм, а более сложных, изощренных, с более прихотливыми запросами.

Эта сложность иронически передана в жизненном кредо Гинча: «Я хотел жену — для преданности и глубокой любви, высшего ее воплощения; жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье; хотел женщину-хамелеона, бешеную и прелестную; хотел одну-две в год встречи, поэтических, птичьих». Но поступки его столь же отвратительны, как дела Блюма, по его вине кончает жизнь самоубийством поэтическая девушка Маруся, в образе которой есть что-то от Веры Павловны Абрамовой, в то время как сам Гинч наделен чертами характера, именем и фактами из биографии Грина. Он похож на гриновского двойника, самому Грину ненавистного. Об этом хорошо сказано у Вадима Ковского:

«В судьбе Гинча мы, при желании, тоже находим множество деталей гриновской биографии. И тем более важно, что теперь, награждая героя собственным жизненным опытом, писатель уже совершенно отделяет его от себя и выносит ему жестокий нравственный приговор... Компрометируя в образе Гинча мысли и чувства своих прежних героев, писатель, в сущности, расстается со многим, чему поклонялся»[99].

Но особенно любопытно в этой повести то место, где Гинч рассказывает о своих занятиях литературой: «Гордый и самолюбивый, я мечтал быть победителем жизни, но, не обладая никакими специальными знаниями, естественно, стремился открыть в себе какой-нибудь потрясающий, капитальный талант; издавна меня привлекала литература, к

тому же, сталкиваясь почти каждый день с журналистами и поэтами, я воспитал в себе змеиную зависть.

Результатом этих мозговых судорог было однажды то, что я нарезал пачку небольших квадратных листов, на каких, как где-то читал, писал Бальзак, вставил перо и сел. В голове носились гоголевские хутора, обсыпанные белой мучкой лунного света; героини с тонкой талией, классические герои, охота на слонов, павильоны арабских сказок, шекспировская корзина с бельем, провалившиеся рты тургеневских стариков, кой-что из Гонкуров, квадратная челюсть Золя... Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная — Достоевского; величественная — Тургенева; певучая — Флобера; задыхающаяся — Успенского; мудрая и скупая — Киплинга... Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уж, во всяком случае, не подражать никому».

Тут явно речь идет о творческом кредо Грина, которого всю жизнь только что и делали, как обвиняли в подражании, и относиться ко всему этому пассажу только как к разоблачительному значит Грина упрощать. В Гинче и его лихорадочных монологах и поступках отразилось что-то черное и одновременно с этим автору присущее. Это своего рода суд над самим собой, своими страстями и тайными стремлениями. И если вернуться к мемуарам Калицкой, можно сказать, что «поджигал» северный лес именно Гинч.

Он для Грина — как «черный человек» для Есенина, это и борьба с ним, и победа над ним, и очень важная страница в духовной биографии Грина, ищущего выход из того райского тупика, в котором оказались и он, и его герои.

Рассказ заканчивается тем, что после неудачной попытки «купить» благородную женщину и нанесенного ему оскорбления Гинч пытается покончить с собой в Неве, но его спасает простой матрос. В знак благодарности Гинч рассказывает ему историю своей жизни со всеми ее мерзостями.

«Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, острой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворенностью самых будничных испытаний. Я рассказал ему все, все, как на исповеди, хорошим литературным слогом.

Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью, и, сверкая глазами, сказал: — Почему вы не утонули? — затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня, как паршивую собаку (его собственное выражение), и отправился за револьвером».

Финал — может быть, несколько плоский, но зато нравственно ясный, определенный и обнаруживающий все более усиливающуюся с годами страсть Грина к дидактике.

Рассказы «Жизнь Гнора» и «Синий каскад Теллури» в этом смысле менее изощренные и по мысли более простые. Они принадлежат к числу тех гриновских вещей, действие которых происходит неизвестно в какой стране и не важно в какую эпоху.

«Жизнь Гнора» — это «Остров Рено» наоборот. Насильственная робинзонада. История человека, которого обманом завлекли на необитаемый остров, разлучили с любимой женщиной, и вся его жизнь подчинена идее возвращения к ней. Когда через несколько лет, проведенных на необитаемом острове, «робинзона» Гнора обнаруживают моряки с проплывающего мимо корабля, первое, что он делает, — стреляет в них. А на вопрос, почему стрелял, Гнор объясняет капитану, что за эти годы его много раз навещали на острове люди и всегда оказывались призраками. Он стрелял в призраков, чтобы их прогнать.

В «Синем каскаде Теллури» Грин показывает картину осажденного города: чума, карантин, некто Рег пробирается в эту «зону», чтобы забрать важные документы, и встречается с обитателями зачумленного мира. Самый яркий из них лавочник Соррон, который «торговал сорок лет» и которому «надоел порядок, надоел окончательно и бесповоротно».

«Я одинок. Все одиноки. Я умру. Все умрут. Тоже порядок, но скверного качества. Я хочу беспорядка... У меня путаются в голове три вещи: жизнь, смерть и любовь — за что выпить?» «Пью за ожидание смерти, называемое жизнью», — корни этого мироощущения уходят в революционную молодость Грина.

Соррону противопоставлен Рег как человек с неиспорченным взглядом на мир, и его устами автор выносит приговор самой «террористической» философии лавочника, философии примата смерти над жизнью:

«Вы меня обидели. Мои глаза устроены не для этого. Вы больны чумой с детства».

Последнее — своего рода диагноз. Чума не в городе и появилась не только что. Чума в человеческих сердцах и живет

в них всегда, Грин предугадывает важнейшую для литературы тему, впоследствии разработанную Альбером Камю. Но все же отважный Рег не представляется Грину примером человеческого совершенства, как Тинг из «Трагедии плоскогорья Суан». Кредо Рега: «Я равнодушен к людям. В этом мое холодное счастье ... Я и так всю жизнь дразню смерть. А если пристукнет — кончусь без сожаления и отчаяния, вежливо и прилично, не унижаясь до бессильных попыток разглядеть темную пустоту», — не совпадало с позицией самого автора. Грин попыток разглядеть пустоту не прекращал и не был равнодушен к людям: все его дальнейшее творчество тому свидетельство.

Глава VII

АРЕСТАНТ ЖИЗНИ

В мае 1912 года Александр Степанович на законных основаниях и под своим именем вернулся в Петербург, окончательно расквитавшись с грехами революционной молодости (хотя негласное наружное наблюдение велось за ним еще несколько лет), и сразу принялся восстанавливать утраченные литературные связи. Он написал несколько писем Брюсову, ища с ним встречи и называя «дорогим учителем», но Брюсов уклонился и вообще больше Грина не печатал. Солидные журналы были недоступны, и Грин оставался на обочине литературной жизни. Его печатали в основном тоненькие журналы: «Аргус», «Синий журнал», «Солнце России», «Родина», «Геркулес», «Огонек», «Жизнь и суд», «Весь мир», «Пробуждение». Если о нем и писала критика, то не самого первого пошиба, и писала кисло. Литературного праздника не получалось — долгожданная встреча с Петербургом оборачивалась литературными буднями.

За год до этого Грин писал Брюсову из Пинеги: «Мне вообще трудно пристраивать свои вещи, вероятно, в силу этих самых особенностей их, за которые услужливые мои друзья упрекали меня в плагиате сразу всех авторов всех эпох и стран света, до Конан-Дойля включительно. Так в Петербурге знают иностранную литературу»[100].

Теперь же жаловался Куприну: «Дорогой Александр Иванович! Не писал тебе из Москвы, потому что еще свежа была рана, нанесенная мне "Русской мыслью"»[101]. А вслед за этим называл сотрудников всех редакций подлецами, хамами, сволочами трактирными.

Сам Куприн, о дружбе которого с Грином так часто пишут и вспоминают, вряд ли был большим поклонником Грина как писателя. Если и начинал Грин с оглядкой на Куприна и на его военные рассказы, то к этой поре как художники они были очень далеки друг от друга; их объединяли чисто человеческие симпатии, а также интерес Куприна ко

всем необыкновенным людям, далеким от литературы. Последнее — как это ни парадоксально — справедливо.

Грин был писателем, но в большую литературу его не принимали, и как раз это, по его мнению, привлекало к нему Куприна, хотя вряд ли радовало самого Грина. В воспоминаниях Нины Грин приводятся высказывания ее мужа о Куприне, в которых, несмотря на общий хвалебный тон, можно различить ноту осуждения: «Он писал хорошо, знал музыку слов и мыслей, умел осветить и раскрыть их солнцем своего таланта. В нем, озорнике, иногда злом и вульгарном, завистнике к чужим писательским удачам, сидел милый художник. Пестрый был человек Александр Иванович. Одним из главных качеств, определявших стиль его жизни, было желание во всем и везде быть не только первым, но первейшим, непрерывно привлекать к себе всеобщее внимание. Это-то толкало его на экстравагантности, иногда дурно пахнущие. Он хотел, чтобы о нем непрерывно думали, им восхищались. Похвалить писателя, хотя бы молодого, начинающего, было для него нестерпимо трудно. И я, к общему и моему удивлению, был в то время единственным, кто не возбуждал в нем этого подлого чувства. Он любил меня искренне, относился просто, и оттого я лучше других знал его таким хорошим, каким он был вне своей поглощающей страсти, оттого и привязался ко мне сердечно. Он часто мне говорил: “Люблю тебя, Саша, за золотой твой талант и равнодушие к славе. Я без нее жить не могу”»[102].

Грин никогда не строил иллюзий на свой счет и за известностью не гнался: «Я принадлежу к третьестепенным писателям, но среди них, кажется, нахожусь на первом месте»[103]. Михаил Слонимский писал: «Было похоже, что для себя он давно отказался от всякого писательского тщеславия, писательского честолюбия. Было похоже, что для него это навсегда решенный вопрос»[104].

На самом деле, как у всякого писателя, честолюбие у Грина было, но он его тщательно скрывал и знаменитых, относящихся к нему снисходительно литераторов избегал. «С литературными “славами” общался он мало, не чувствовал себя просто. Если происходили встречи, то они чаще всего оставляли в нем чувство неестественности, неправильности. “Смотрят на меня как на зоологическую особь, а сами зачастую кукольники”, — говаривал Грин... Малые друзья Александра Степановича не стесняли его, с ними он и выпьет, и пятерку в нужде в долг возьмет»[105]. Круг его дореволюционных знакомых составляли не слишком именитые поэты Леонид Андрусон, Аполлон Коринфский, Дмитрий Цензор и

Яков Година, прозаики Николай Вержбицкий, Алексей Чапыгин и молодой еще в ту пору Иван Соколов-Микитов. Последний позднее вспоминал: «Путешествия Грина обычно начинались и кончались в знакомых питерских кабачках, встречами с приятелями из петербургской бедной богемы, с людьми, ничуть не похожими на фантастических героев его фантастических рассказов...

Встречались мы довольно часто и почти всегда в компании писателей. Среди них я особенно запомнил поэта Леонида Ивановича Андрусона. Это был очень кроткий, хромой, разбитый параличом человек, с младенческими голубыми глазами. Грин шутя говорил об Андрусоне, что он беден, как церковная крыса. Мне не раз доводилось у него ночевать: он жил на Невском, где-то в чердачном помещении, в крохотной полутемной комнатке. В этой же компании был поэт Яков Гордин, появлялся иногда Аполлон Коринфский — рыжеволосый, косматый человек, с рыжей, как апельсин, бородою. Случалось, из гатчинского уединения приезжал Куприн, вносивший оживление»[106].

Самые известные из тех, с кем он в ту пору водил дружбу помимо Куприна, были два Михаила — Кузмин и Арцыбашев, но отношения между ними и Грином были не творческими, как между Блоком и Белым, Розановым и Ремизовым, Горьким и Леонидом Андреевым, но чисто приятельскими — питейными, застольными, бильярдными.

В литературе Грин оставался одинок, и писательская судьба его складывалась не слишком успешно. В 1913—1914 годах в издательстве «Прометей» вышел трехтомник произведений Грина, но рецензии были скорее неодобрительными. Грина стали все чаще сравнивать с иностранными писателями, обвиняя в эпигонстве, говорить об упадке его таланта. «Дикая и величественная прелесть его первых героев утратила свою тоскующую загадочность... весь его талант ушел в эту игру на эффектах дурного вкуса»[107], — писал критик «Киевской мысли» Л. Войтоловский, который за несколько лет до этого приветствовал Грина: «Вот писатель, о котором молчат, но о котором следует, по-моему, говорить с большой похвалой... Он весь создание нашей жизни, и, быть может, он один из наиболее чутких ее поэтов»[108].

В газете «Утро России» «сурово-экзотическая» фантастика Грина характеризовалась как «не представляющая собой глубокого, серьезного литературного явления» и несколько громоздко сравнивалась со «стаканом, крепкого вина после длинной и пыльной дороги», а также со «строгой и свежей струей воздуха отдаленных горных высот, проникающей в

затхлый, застоявшийся воздух торопливо однообразной тягучести города»[109].

О равнодушии критики к Грину писал позднее поэт Вс. Рождественский: «Удивительным было то, что А. С. Грин, писатель такой тонкой духовной организации и творческого своеобразия, и в начале литературной деятельности, и в период зрелости таланта не принимался всерьез дореволюционной литературной средой. В основном его считали представителем облегченно-занимательного жанра и как автору отводили ему место на страницах малопочтенных еженедельников, не предлагая сотрудничества в тогдашних "толсто-идейных" (насмешливое определение самого Грина) журналах... Несмотря на то, что частное издательство "Прометей" Михайлова уже начало незадолго до революции выпускать Собрание его сочинений, отношение критики к этому своеобразному писателю оставалось высокомерным и даже несколько пренебрежительным»[110].

Н. Н. Грин позднее выдвинула свою версию нелюбви критики к Грину:

«Критика не баловала Грина. Его принимали, охотно печатали, читали, но литературные львы его не замечали, не вдумывались в его произведения или боялись коснуться их, как чего-то настолько не отвечающего общему стилю современной русской литературы, что опасно было, может быть, на статье о нем снижать свой авторитет, да и слова и мысли к нему надо было приложить особые, не отвечающие привычному стандарту. Александр Степанович сам никогда не умел расчистить свой путь к душе и уму — был он для этого достаточно колюч, застенчив и горд — литературного критика»[111].

По воспоминаниям В. П. Калицкой, от Грина ждали большого романа на русском материале (или этого ждала только сама Калицкая), Грин же продолжал гнуть заявленную им в предыдущих рассказах романтическо-экзотическую линию, которая отчетливо противопоставлялась унылой русской жизни.

Показательны в этом смысле две «иностранные» новеллы, опубликованные в 1913 году, — «Дьявол оранжевых вод» и «Зурбаганский стрелок».

В первом рассказе действуют два героя — русский и англичанин. Наш Баранов — ноющий интеллигент с революционным прошлым, чем-то похожий на ссыльного Турпанова, только действие происходит не в Пинеге, а на корабле под названием «Кассиопея», следующем из Австралии в Шанхай, а потом и вовсе переносится в дебри Юго-Восточной

Азии между не существующими на карте городами Порт-Мель и Сан-Риоль.

Англичанин Бангок — полная противоположность Баранову — активен, олицетворяет собой силу воли и мужество. Сближает этих людей то, что оба плывут без билета и обоим грозит высадка в ближайшем порту. Это служит поводом для их знакомства, и Баранов начинает изливать декадентским слогом своему попутчику и товарищу по несчастью душу:

«Человек трагически одинок. Никому нет ни до кого дела. Каждый занят своим. Сложная, огромная, таинственная, нелепая и жестокая жизнь тянет вас — куда? Во имя чего? Для какой цели? Я это почувствовал сейчас в тишине спящего парохода. Зачем я? Кто я? Зачем жить?»

Бангок выслушивает его жалобы, совершенно не понимая, что нужно этому странному человеку. Убийственно безнадежные рассуждения «о человечестве, борьбе классов, идеализме, духе и материи, о религии и машинах» кажутся ему лишенными «центра, основной идеи и убеждения». Он замечает, что его спутник говорит ради того, чтобы говорить, упиваясь собственным красноречием, и испытывает желание свистнуть, ударить кого-нибудь или закричать.

Наутро их ссаживают с корабля в совершенно гиблом месте, и они начинают думать, как быть дальше. Бангок предлагает пробираться пешком в Шанхай, но у Баранова другая идея, основанная на его политическом прошлом. Он предлагает объявить голодовку, но только не тюремной администрации, а... жизни и разражается целым манифестом:

«Мы — арестанты жизни. Я — заезженный, разбитый интеллигент, оторванный от моей милой родины, человек без будущего, без денег, без привязанности, человек, не знающий, зачем он живет. А я хотел бы знать это. Я арестант и вы — тоже. Вы — бродяга, пасынок жизни. Она будет вас манить лживыми обещаниями, россыпями чужих богатств, красивой любовью, смелым размахом фантазии, всем тем, чем манит тюремное окно, обращенное к солнечной стороне и морю. Но это обман... Мы — люди, люди от головы до ног, со всеми прирожденными человеку правами на жизнь, здоровье, любовь и пищу. А у нас — ничего, потому что мы — арестанты жизни. И вот здесь, под открытым небом, на опушке этого сказочно прелестного леса, в стенах этой роскошной тюрьмы, я предлагаю вам объявить голодовку — жизни. Мы ляжем, не тронемся с места и — будь что будет».

Так опять возникает традиционный гриновский мотив жизни-смерти. Но теперь он связан не с волевым усилием

террориста или вспышкой воли самоубийцы, а с усталостью, обреченностью побитого жизнью человека, который пусть даже и смог убежать из ссылки, но это не освободило его от нее, ибо он носит несвободу в своей душе.

«— День будет сменяться ночью, ночь — днем. Мы ослабеем. Болезненные голодные грезы посетят нас. Потом — или чудо, или же...

— Смерть, — сказал я. — Вы предлагаете смерть.

— Да».

Собственно, это и есть то искушение «дьявола оранжевых вод», которое дало название рассказу. А дальше англичанин, этому искушению не поддаваясь, начинает действовать, чтобы показать русскому, «как весело и бойко течет плохая жизнь в хороших руках».

Двое европейцев похищают дрезину, проезжают на ней какое-то количество километров, потом под пулями бегут через пышно описанный тропический лес, добираются до могучей реки, разводят костер, делают плот, охотятся, сначала неудачно, а потом добывают себе на еду обезьяну и до отвала наедаются, словом — живут. Хотя и ведут себя поразному: Бангок пытается победить все препятствия, а Баранов, напротив, испытывает странное удовлетворение, когда у них что-то не получается, и радуется «силе обстоятельств, поддерживающих его холодное отчаяние».

В сущности, Грин рассматривает в этой новелле две модели человеческого поведения, которые можно было бы уподобить известной притче о лягушках, угодивших в кувшин с молоком. Разница лишь в том, что «гриновские лягушки» попали не в разные кувшины, а в один, и одна лягушка, спасая себя, невольно спасает другую. Спасение могло бы быть счастливым окончанием этой истории, победой жизни над смертью, но последовательный Грин предпочел другой финал.

Когда Баранов и Бангок, преодолев немало трудностей, добираются до мифического Сан-Риоля и перед ними открывается выход в мир, Баранов, в страхе перед жизнью, пытается застрелиться, но у него и на это не хватает воли, и он просит своего товарища оказать ему последнюю услугу. Глядя на своего русского спутника, уже давно превратившегося в мертвеца, англичанин находит его просьбу справедливой.

Идея этого немудреного, с трескучим названием рассказа вполне очевидна и, казалось бы, авторская позиция тоже ясна: он всецело на стороне англичанина, и русский ему противен. Но если смотреть глубже, то можно заметить, что, как

и в случае с повестью «Приключения Гинча», Грин попытался в образе Баранова, психологически ему гораздо более близкого и понятного, нежели Бангок (недаром в нем есть что-то от самого Грина: «незнакомец был высок, тощ, сутул»), разобраться с самим собой, понять себя и от себя уйти. Грин видел и не любил в себе Баранова, так же как не любил и Гинча. Литература была для него способом врачевать от недугов собственную больную, измученную и израненную с детства душу. Даже, может быть, не врачевать, но понять. Выслушать ее и взглянуть на себя со стороны. В конце концов — «мы не врачи, мы боль». Это можно сказать и про Грина.

Грин оттого к Бангоку — человеку действия — и тянулся, что психологически ему ближе был Баранов. Особенно явственно эта тяга к поступку и к людям поступка как способу изменить себя и свою жизнь выразилась в рассказе «Зурбаганский стрелок».

«Я был единственным ребенком в семье; воспитание мое отличалось крайностями: меня или окружали самыми заботливыми попечениями, исполняя малейшие прихоти, или забывали о моем существовании настолько, что я должен был напоминать о себе во всех требующих постороннего внимания случаях. В общих, отрывочных сведениях трудно дать представление о жизни моей с матерью и отцом, скажу лишь, что страсть к чтению и играм, изображающим роковые события, как, например, смертельная опасность, болезнь, смерть, убийство, разрушение всякого рода и т. п. играм, требующим весьма небольшого числа одинаково настроенных соучастников, — рано и болезненно обострила мою впечатлительность, наметив характер замкнутый, сосредоточенный и недоверчивый».

Это и про Грина и не про Грина, и про его детство, и про детство другого человека, но — в любом случае — вольное или невольное отражение авторского альтер эго. В дальнейшем судьба Валу — главного героя «Зурбаганского стрелка», от чьего имени ведется повествование, мало похожа на биографию Грина лишь по одной причине: Валу удалось добиться в жизни того, что не удалось, но к чему стремился в молодости его создатель. Позднее эту черту подметил у Грина хорошо знавший его журналист Э. Арнольди: «Я догадываюсь, что Грин часто сам был персонажем своих рассказов и растворялся в них своими влечениями, мечтами, идеалами. Он присутствует в своих рассказах таким, каким ему хотелось стать, но — не удалось!»[112]

Валу именно из таких людей. В отличие от своего творца он благополучно путешествует на корабле, видит разные стра-

ны, находит счастье, не встречая унижения на своем пути; он не ввязывается в бессмысленные и гибельные игры с государством, которое сажает в тюрьму или отправляет в ссылку; наконец, он здоров, свободен и богат и живет так, что для него «не осталось ничего неизведанного в могуществе денег».

Словом, у него все хорошо, а вот дальше возникает ситуация, описанная в сценах из пушкинского «Фауста».

Мефистофель
Желал ты славы — и добился,
Хотел влюбиться — и влюбился.
Ты с жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив?

Фауст
Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
В глубоком знанье жизни нет...

«Да, постепенно я пришел к тому состоянию, когда знание людей, жизни и отсутствие цели, в связи с сухим, ушедшим на бесплодную работу прошлым, — приводят к томлению и отчаянию. Напрасно искал я живой связи с жизнью — ее не было. Снисходительно я вспоминал свои удовольствия, наслаждения и увлечения; идеи, вовлекающие целые поколения в ожесточенную борьбу с миром, не имели для меня никакой цены: я знал, что реальное осуществление идеи есть ее гибельное противоречие, ее болезнь и карикатура; в отвлечении же она имела не более смысла, чем вечное, никогда не выполняемое, томительное и лукавое обещание. Звездное небо, смерть и роковое бессилие человека твердили мне о смертном отчаянии. С сомнением я обратился к науке, но и наука была — отчаяние. Я искал ответа в книгах людей, точно установивших причину, следствие, развитие и сущность явлений; они знали не больше, чем я, и в мысли их таилось отчаяние. Я слушал музыку, вдохновенные мелодии людей потрясенных и гениальных; слушал так, как слушают взволнованный голос признаний; твердил строфы поэтов, смотрел на гибкие, мраморные тела чудесных по выразительности и линиям изваяний, но в звуках, словах, красках и линиях видел только отчаяние; я открывал его везде, всюду, я был в те дни высохшей, мертвой рекой с ненужными берегами».

И вот в таком состоянии герой после долгих лет странствий и разлуки с домом вновь попадает в свой родной Зурбаган. В этом рассказе впервые дается описание города, в котором сплелись черты многих приморских городов, и

прежде всего Севастополя, и хотя прямого отношения к дальнейшему сюжету оно не имеет, описание это ценно тем, что отсюда берет начало Гринландия — мир Грина, у которого и по сей день есть немало поклонников, рисующих карту этой земли и изображающих ее в виде полуострова на юго-восточной оконечности Азии.

«Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, — делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы».

А между тем в этой райской стране идет война, но люди беспечны, они читают газеты, где сообщения об автомобильных катастрофах сопровождаются рекламой шин, и однажды Валу встречает друга детства Фильса, с которым они когда-то часто уходили в лес, жгли костер и читали молитву огню.

Фильс рассказывает ему, как изменились город и страна за эти годы, и эти изменения печальны: «Странные вещи происходят в стране. Исчезло материнское отношение к жизни; развились скрытность, подозрительность, замкнутость, холодный сарказм, одинокость во взглядах, симпатиях и мировоззрении, и в то же время усилилась, как следствие одиночества, — тоска. Герой времени — человек одинокий, бессильный и гордый этим, — совершенно так, как много лет назад гордились традициями, силой, кастовыми воззрениями и стройным порядком жизни. Все это напоминает внезапно наступившую, дурную, дождливую погоду, когда каждый открывает свой зонтик. Происходят все более и более утонченные, сложные и зверские преступления, достойные преисподней. Изобретательность самоубийц, или, наоборот, неразборчивость их в средствах лишения себя жизни — два полюса одного настроения — указывают на решительность и обдуманность; число самоубийств огромно.

Простонародье освирепело; насилия, ножевые драки, убийства, часто бессмысленные и дикие, как сон тигра, дают хроникерам недурной заработок. Усилилось суеверие: появились колдуны, знахари, ясновидящие и гипнотизеры; любовь, проанализированная теоретически, стала делом и спортом».

В этой оценке, по-своему очень точной и имеющей прямое отношение к России Серебряного века с ее сектантством, Распутиным, терроризмом, сказался исторический пессимизм Грина, а потому, по логике вещей, печальная речь должна была исходить из уст человека, герою и автору близкого, отличающегося от большинства, особенного, и Фильс действительно таковым является, но только его особость извращенная. Замечание Фильса о возросшем числе самоубийц не случайно. Фильс и его друзья, с которыми он знакомит Валу, — парафраз участников клуба самоубийц из рассказа «Рай», правда, более утонченных. Они не просто заканчивают жизнь самоубийством, но предаются опасным для жизни развлечениям, как то: намеренно получить укус бешеной собаки и не сделать укол, остановить своим телом трамвай или автомобиль, выпить стакан яду, причем обязательно на глазах у свидетелей — газетчиков, мальчишек, ротозеев, отчего зловещий модус «Рая» исчезает и затея Фильса воспринимается иронически, как некая автопародия.

«Странные на первый взгляд поступки имели для них, в силу болезненного отношения к жизни, значение обыкновенного жеста. Мюргит, прогуливающийся по парапету башни; Бартон, ломающий весла в смертоносных порогах; Фильс с револьвером у виска — все это, по-видимому, бессознательно поддерживало угасающее любопытство к жизни; охладев к ней, они могли принимать ее, как врага, только в постоянных угрозах».

В сущности, это своего рода декадентская капитуляция перед жизнью, и Фильс ее честно признает: «Я думаю, что дальше идти некуда. Мы проповедуем безграничное издевательство над собой, смертью и жизнью. Банальный самоубийца перед нами то же, что маляр перед Лувром. Отвага, решительность, самообладание, храбрость — все это для нас пустые и лишние понятия, об этом говорить так же странно, как о шестом пальце безрукого; ничего этого у нас нет, есть только спокойствие; мы работаем аккуратно и хладнокровно».

Все это любопытно еще и потому, что дает основания полагать: «параллельный» нашему миру Зурбаган, равно как и вся Гринландия, задумывался автором не как утопия и не как страна прекрасной мечты, оппозиционной реальному миру. Изначально Грином владела другая мысль. Зурбаган

появляется впервые в рассказе «Лужа бородатой свиньи», где никакой поэзией не пахнет и сам город скорее напоминает нелюбимую Грином Вятку, нежели Севастополь. То же самое относится к рассказу «Пришел и ушел», герой которого, солдат-дезертир, несет службу в унылом гринландском Покете, ничем не отличающемся от места дислокации Оровайского резервного батальона. Поэзия Гринландии приходила постепенно, рождалась сама собой и жила своей жизнью, как живут художественно совершенные литературные герои. В этом смысле сама по себе Гринландия не есть нечто застывшее — она имеет свою историю, совпадающую с личной историей самого Грина, и в «Зурбаганском стрелке» это можно отчетливо увидеть. Если прежде Грин ничего не противопоставлял философии самоубийства, кроме абстрактных рассуждений о жизни, а порой и вовсе благословлял эту философию, как в «Реке», то теперь, по контрасту с Фильсом, он создает образ охотника Астарота, спасающего город от армии врагов.

Именно к Астароту после трехкратного, как в сказке, испытания присоединяется гриновский герой и в нем видит правду. Астарот своим благородством и чистотой помыслов напоминает Тинга из «Трагедии на плоскогорье Суан», а энергичностью и предприимчивостью Бангока из «Дьявола оранжевых вод» или Рега из «Синего каскада Теллури». Но если Тинг абстрактно-прекрасен и живет вдали от людей полнокровной жизнью в согласии с самим собой, а Бангок и Рег действуют лишь в собственных интересах, то Астарот — воин, защитник города. Он так же, как и Фильс, рискует жизнью, но, как замечает Валу, в отличие от «Фильса и его друзей, проделывающих бесцельно головоломные вещи», «в деле, затеянном Астаротом, требовалось не одно лишь присутствие духа, а напряжение всего существа человека, исключительная сосредоточенность мысли и осмотрительность».

В «Зурбаганском стрелке» Валу и Астарот вдвоем задерживают наступление врагов и спасают родной город, но что гораздо важнее для эгоцентрического Валу — происходит спасение его самого от скепсиса скуки — это тот случай, когда одна лягушка вытаскивает другую: для ищущего опору в жизни гриновского героя ночной бой с врагами относится к — говоря словами Толстого об Андрее Болконском — «лучшим минутам его жизни», выходом из пресыщенности и разочарования: «Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны: увлечения, пренебрегающего даже смертью, и она вернулась ко мне юная, как все-

гда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент; я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь».

Так возникает оптимизм Грина и рождается та философия чуда, которое надо делать своими руками, о чем писатель впоследствии скажет в «Алых парусах». И все это было прекрасно, свидетельствовало о духовной эволюции автора, от отрицания он шел к утверждению, но только в тогдашней литературной ситуации выглядело довольно странно, а для серьезной литературной публики звучало нелепо. Звонкие Гриновы имена — Астарот, Валу, Гнор, Фильс, Горн, броские названия проливов, островов, кораблей, закрученные сюжеты, горы трупов — вызывали в лучшем случае насмешку, раздражение и неудовлетворенность, а в худшем — индифферентность.

Возможно, у Грина были свои, чисто творческие, личностные причины для этого, по выражению В. Ковского, «экзотического нигилизма робинзонад»[113]. Хорошо знавший его в ту пору литератор Н. Вержбицкий позднее вспоминал: «Грин сам мне в этом не признавался, но легко было догадаться, что он и стиль, и сюжеты, и даже внешний облик своих героев изобретал специально для того, чтобы этим сложным камуфляжем не только защищаться от обвинений в дилетантстве, но и самого себя, как писателя, вывести из страшной орбиты действительности.

Кроме того (не будем скрывать этого, может быть, бессознательного умысла), с такого рода литературным реквизитом можно было смелее выступать никому не ведомому новичку, неожиданно появившемуся среди таких серьезных светил, как Чехов, Бунин, Горький, Куприн, Андреев...»[114]

«Когда он “выходит за пределы облюбованного им круга тем и дает типично русские сюжеты”, то перестает быть Грином и теряется в общей массе русских беллетристов», — заключал в «Новой жизни» С. Степанович[115].

Позднее прозаик Михаил Слонимский, защищая Грина, писал: «Толстые журналы и альманахи редко допускали на свои страницы произведения этого мечтателя. Маститые критики редко утруждали себя писанием статей об этом необычном авторе необычных для русской литературы вещей... Негласно было решено, что серьезных проблем этот автор не ставит»[116].

Был или не был в дореволюционной критике «заговор» против Грина, но за неимением «маститых» и приходится цитировать Калицкую, которая уже после смерти Грина взя-

ла на себя труд написать и воспоминания о нем, и нечто вроде литературно-критического портрета. Вероятно, его научная ценность не слишком велика, но, во-первых, Вера Павловна ни на что и не претендовала (хотя и отправила рукопись Ермилову, а тот передал ее Паустовскому, от которого она и попала в архив), а во-вторых, Калицкая что-то очень важное в Грине угадывала или же, скажем так: именно там, где она Грина намеренно упрощала и вульгаризировала, отчетливее видна его сложность.

«Писать он мог только о том, что ему было интересно и только так, как находил нужным, что бы ему ни говорили, как бы ни ругали. Не выносил никаких редакторских замечаний, никогда ничего не переделывал по чьему-либо указанию. Статьи критиков не имели влияния на А. С., хотя нередко, конечно, огорчали его. В рассказе “Табу” он говорит о себе (в лице писателя Агриппы), как о писателе, “не умеющем или неспособном угождать людям”. Оно так и было. Возможность писать, о чем и как хочешь, была для А. С. важнее популярности...

Герои Грина часто путешествуют; кроме того, особенным людям должна отвечать и особенная обстановка. Где же им жить? Чтобы описать какой-нибудь город, его надо знать. Изучать описания, снимки, план и историю города. То же относится и к островам, вообще ко всякой стране. На такую кропотливую, черную работу Грин никогда не мог себя принудить и не хотел принуждать. Над “документалистикой” смеялся, как видно, например, из начала “Крысолова”. Писать так, чтобы его обвинили в “развесистой клюкве”, ему, конечно, тоже не хотелось. Оставалось одно: выдумывать свои города и острова. Никто не сможет уличить Грина в том, что Лисс, Зурбаган, острова Магескон или Рено не таковы, какими он описал их, потому что это — “его города и острова”... Одним из поводов к созданию своих имен является и всегдашнее самоутверждение Грина: “живу с кем и как хочу”»[117].

Осенью 1913 года Александр Степанович разошелся с Верой Павловной. Выносить совместную жизнь с ним она больше не могла и позднее в своих воспоминаниях писала: «Возвращение Грина из ссылки. Теперь Грин — легальный человек и писатель с именем. Я впервые вижу второй, жуткий лик Грина. Мой уход от него после зимы 1912—1913 гг. Его непрерывные кутежи. Грин убеждает меня попробовать еще пожить с ним... Признание А. С., оправдывающее мой разрыв с ним»[118].

Николай Вержбицкий вспоминает, как однажды ночью вместе с Грином они возвращались с дня рождения Купри-

на из Гатчины и Грин жаловался на то, что ему «трудно устроить личную жизнь, а в особенности — поладить с женщиной, которая не может или не хочет его понять»[119].

«Такого рода излияния стали для меня понятны, — продолжает Вержбицкий, — когда я узнал, что Грин везет меня к своей жене Вере, жившей на Зелениной улице. Впрочем, она нас не приняла, и мы снова очутились на улице»[120].

Выгнанные из дома, писатели направились за город и оказались в Старой деревне, в лечебнице доктора Трошина, где, как выяснилось, должен был все это время проходить лечение Грин. У «Ивана Ивановича» — так называлось заведение Трошина — их пустили переночевать, а наутро директор выставил пациента вон.

« — Я, как-никак, несу за вас ответственность, а вы убежали тайком неизвестно куда и пропадали месяц... Давайте расстанемся по-хорошему... Вот ваши вещи и вот вам рубль на дорогу...»[121]

На лечении «под замком у Ивана Ивановича», скорее всего, настаивала Вера Павловна, и побег Грина из больницы мог стать последней каплей в их отношениях. Впрочем, было еще одно обстоятельство, объясняющее, почему Калицкая не выдержала тягот жизни с Грином, в то время как вторая жена писателя Нина Николаевна, которой пришлось хлебнуть не меньше горечи, оставалась с ним до конца.

Калицкая сама была писательницей, а жена Грина должна была отречься от себя и всецело принадлежать ему. Невозможно представить Маргариту литературной дамой при Мастере. Вера Павловна же сотрудничала с различными журналами, преимущественно детскими — «Всходами», «Детским отдыхом», «Всеобщим журналом», «Читальней народной школы», «Тропинкой», «Проталинкой», о ней именно как о детской писательнице упоминает в своих дневниках Корней Чуковский; в начале двадцатых Грин сватал бывшую жену Горькому для написания биографии Коперника, Гальвани или Вольта в издательстве Гржебина. Она была вхожа в дом к Сологубу, переписывалась с ним и позднее присутствовала при его кончине*. Словом, у нее была своя, отдельная от Грина литературная судьба и свои амбиции, и от этого также союз их оказался изначально обреченным.

---

* Так, 7 января 1928 года она писала Грину: «Я должна была по внутреннему чувству долга проводить много времени у Ф. К. Сологуба. Был он до последней степени несчастен, жалок и слаб Приходилось очень много бывать у него, особенно последние недели полторы перед смертью». РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 106.

Нина Николаевна Грин позднее так излагала свое видение причин развода Александра Степановича с первой женой:

«Как я могу судить по рассказам Александра Степановича и Веры Павловны, обе стороны были виноваты. Разница в годах была небольшая — Александр Степанович был на два года старше, но разница в желаниях, привычках, средах, в которых тот и другой воспитывались, была колоссальна. Грин по возвращении сразу же окунулся в литературную атмосферу. Ему, почти до тридцати лет не видевшему нормальной человеческой жизни, все было внове, все хотелось видеть, познать, — от вершины до дна. Сил накопилось много, и он тратил их не жалея. Литературная богема вовлекла его в пьяную распутную жизнь, начал зарабатывать собственные деньги, которые мог тратить бесконтрольно. А Вера Павловна страдала, подруга на нее нажимала, требуя развода; понять чувства и жадность к жизни, владевшие Грином, она никак не могла, часто стыдилась Грина. На пьянство реагировала гордым молчанием. Происходили между ними стычки, ссоры и никогда — товарищеского, искреннего разговора. В результате больше страдавшая Вера Павловна решила разойтись с Грином...

Разойдясь с Верой Павловной, Грин почувствовал себя очень одиноким: разврат не давал утоления душе, и он несколько раз просил ее вернуться к нему. Она категорически отказывалась».

И еще очень важное, хотя и весьма пристрастное свидетельство:

«Вера Павловна не верила в Александра Степановича как писателя. Прожив с ним несколько лет, она осталась чужда его творчеству внутренне и часто, по словам Грина, говорила ему: “Зачем ты, Саша, пишешь о каких-то фантастических пустяках? Начни писать крупный бытовой роман и тогда сразу войдешь в большую литературу”».

Для Александра Степановича эти слова были холодной жестокостью и полным непониманием, он говорил: «Она хотела, чтобы я писал как для недельного приложения к газете “Современное слово”. Мария Владиславовна и другие женщины точно так же смотрели на работу Грина. А его душа искала Ассоль, которой столь же трудно было выйти из сказок своего сердца, как тем войти в них»[122].

Нина Николаевна здесь несколько необъективна и по меньшей мере повторяет пристрастные и необъективные оценки самого Грина. Ставить знак равенства между Верой Павловной Калицкой и другими женщинами, бывшими в жизни Александра Степановича, не вполне справедливо.

Калицкая значила очень много в его судьбе, и, несмотря на разрыв с ней, свою тюремную невесту и жену нелегала и ссыльного Грин очень уважал. По воспоминаниям знакомых, в его просторной комнате на Пушкинской улице висели портрет Эдгара По и большой портрет Веры Павловны — единственное, что взял он в квартире на Зелениной улице при расставании.

В 1915 году он подарил ей книгу своих рассказов с посвящением: «Единственному моему другу — Вере — посвящаю эту книжку и все последующие. А. С. Грин. 11-е апреля 1915 года»[123].

В 1917—1918 годах Калицкая много помогала Грину материально, в 1920-м, когда они уже давно не жили вместе, а Вера Павловна уже три года состояла в гражданском браке с геологом Казимиром Петровичем Калицким, заболевший сыпным тифом Грин написал завещание, в котором все права собственности на его литературные произведения исключительно и безраздельно завещал своей «жене Вере Павловне Гриневской»[124]. Даже в третий раз женившись, Грин упрямо, как талисман, возил по многочисленным питерским адресам ее портрет, чем слегка раздражал Нину Николаевну.

А тот самый день рождения Куприна, о котором вспоминает Вержбицкий, описан в повести Леонида Борисова «Волшебник из Гель-Гью», которую не любили ни вдова Грина, ни наши ведущие гриноведы. Между тем повесть получила высокую оценку писателей в лице К. Паустовского, М. Дудина, Б. Соловьева, Л. Рахманова, а также брата Грина Бориса Степановича, который единственный из всей родни сохранил добрые отношения с Александром, часто с ним общался и хорошо его знал. Эта повесть сыграла свою роль в приобщении многих читателей к творчеству и личности Грина, так что неудивительно, что автор получил в свое время немало восторженных откликов.

Приведу небольшой отрывок из этой вещи, чтобы современный читатель мог себе уяснить, из-за чего полвека тому назад разгорелся сыр-бор в отечественном гриноведении.

«Грина посадили между Буниным и женой первой скрипки из оркестра Мариинского театра, которая в течение длительного, обильного ужина безотказно выполняла обязанности первой скрипки в сумбурном, кто в лес, кто по дрова, оркестре. Грин, не обращая внимания на то, что делали все другие гости, немедленно же приступил к насыщению и выпивке. Первая скрипка произносила речи, устанавливала порядок тостов, к ней ежеминутно подбегали, прикладывались к ее ручке, именовали божественной, восхитительной,

дивной. Кто-то предложил бить бокалы. Скромный, молчаливый Бунин запротестовал, уверяя компанию, что посуду бьют только на свадьбе. Бунина поддержал Уточкин и после этого с размаху трахнул бокал о спинку стула. Андрусону приготовили американского ерша — дикую смесь из шампанского, пива, лимонада и водки, всыпали в стакан ложку молотого перца, влили рюмку уксусу и полсотни валерьяновых капель. Грин попросил слова. Пирующие смолкли.

— Друзья! — сказал он. — Господа! Писатели земли русской, Петербурга и его окрестностей! Я кое-что смыслю в ершах, принимаемых в мокром виде. Изготовленную для Леонида Ивановича смесь пить нельзя. Леонид Иванович или умрет, или с ним произойдет великий конфуз. Я предупредил вас, господа!

Сел, выпил, закусил, обвел компанию взглядом засыпающей рыбы. Бунин мягко заявил, что Грин сделал доброе дело, пожал ему руку и принялся доедать слоеный пирог с капустой. Андрусон, позабыв о ерше, уничтожал все, что ему подкладывали.

Некий шутник в смокинге поставил стакан смеси перед Грином, и гости ахнуть не успели, как он взял стакан и выпил. Наступила тишина.

Куприн подошел к Грину и обхватил его, ожидая того самого конфуза, о котором только что было сказано. Бунин привстал, не дыша и не шевелясь. Измайлов, совершенно трезвый, панически произнес: “О Господи!” Андрусон, перегнувшись через стол, освобождал его от посуды и блюд с едой, всерьез полагая, очевидно, что Грин всей своей громоздкой фигурой ляжет поперек стола.

Грин сидел ни жив ни мертв. Куприн шепотом уговаривал его встать и идти баиньки. Но Грин выдержал. Он попросил первую скрипку сделать ему бутерброд, разведенными пальцами обеих рук показал, сколько нужно положить масла. Куприн налил в бокал лимонаду и просил Грина пить глотками медленными и редкими. Бунин пожал Грину руку и сказал:

— Ничего подобного я не видел, великий мой сосед! То есть видел, но с результатом противоположным. Вы не из Сибири ли, между прочим?

Грин дожевал хлеб с маслом и только тогда ответил:

— Из Зурбагана!

Корректный Иван Алексеевич, чуточку подвыпивший, но не утративший способности нормально соображать и управлять всеми своими чувствами, не в состоянии был все же припомнить, когда и при каких обстоятельствах посещал он

местность, названную его соседом. Иван Алексеевич объездил весь свет, отлично знал все города и страны; он переспросил Грина:

— Простите, что вы сказали?

Грин уже забыл, что именно сказал он минуту назад, — он усиленно заедал ерша хлебом с маслом и был глух и нем. Бунину ответил Куприн:

— Зурбаган — это, мамочка, город, придуманный Александром Степановичем. Разве не читали?

Бунин сконфуженно произнес:

— Нет, не читал. Но теперь непременно прочту. Даже немедленно, сию минуту. Вы дадите мне книгу, дорогой Александр Иванович, и я сейчас же познакомлюсь. Господа! — обратился он ко всем сидящим за столом. — Прошу простить меня, я должен вас покинуть».

Дальше следует история о том, как Бунин принялся Грина читать и за чтением гриновских рассказов... заснул. Грин ужасно обиделся и стал жаловаться на Бунина Куприну, Куприн его утешал — Толстому-де Шекспир не нравился и клялся-божился, что он-то, Куприн, Грина любит, а потом, когда Грин ушел, выговаривал Бунину:

« — Обиделся вчера Александр Степанович на вас. Чуть не плакал из-за того, что вы над его рассказом уснули.

Бунин оживился. Он уверял, что хотя рассказ Грина ему и не понравился, все же уснул он вовсе не поэтому.

— Человек он безусловно одаренный, но — я его совсем не знаю. Что он еще написал?

— Немного, но это первоклассный талант, батенька мой, — сказал Куприн. — Вот увидите, из него выйдет крупная величина. Волшебный талант! Жалею, что он не понравился вам. Совсем напрасно.

— Где он печатается? — спросил Бунин. — Что-то я его нигде не встречал.

— В разнокалиберных журнальчиках, — ответил Куприн. — На верхах его не понимают. Там все больше ананасы кушают. А у нас и наверху много таких, которым я посоветовал бы вовсе покинуть литературу. На пенсию уйти, что ли. Ну-с, ваше здоровье.

Чокнулись. После обеда расположились на диване в кабинете хозяина. Заговорили о литературе западной, о ее влиянии на русскую литературу. Куприн вслух прочел гостю маленький рассказ, не называя имени автора.

— Ну, как на ваш вкус? — спросил Куприн.

— А хорошо! — сказал Бунин. — Голову пьянит. Кто написал эту превосходную вещицу?

— Грин, — ответил Александр Иванович, и гость рассмеялся»[125].

По этому отрывку видно, как любит автор Бунина, сильно его идеализируя (среди литераторов Бунин был скорее заносчив, небрежен и высокомерен, нежели корректен), и как снисходителен по отношению к Грину. Был ли на самом деле знаком Бунин с творчеством Грина, большой вопрос. Единственное указание на возможность такого знакомства содержится в повести Катаева «Трава забвения», о чем написала Л. Михайлова: «Бунин, по воспоминаниям Катаева, саркастически развенчивал музыку Грига, оловянных солдатиков Андерсена и заодно "какого-нибудь гриновского капитана с трубкой и пинтой персиковой настойки". Бунин уверял начинающего Катаева: "Эти дамы — поклонницы Грина и Грига — делают писателю славу, создают репутацию романтика, почти классика"»[126].

Но верить Катаеву — дело ненадежное. А вот почему не понравился «Волшебник из Гель-Гью» Нине Грин, которой довелось прочесть эту повесть в лагере, вполне понятно. В 1955 году она приехала в Ленинград и встретилась первый и последний раз в жизни с Борисовым. О том, как эта встреча произошла, написала со слов самой Нины Николаевны ее душеприказчица Ю. А. Первова.

«Я слышал, вы разгневаны на меня за "Волшебника"». — «Разгневана — не то слово, Леонид Ильич, — отвечала Нина Николаевна. — Я оскорблена за Александра Степановича. Вы создали из него в своей повести нечто патологическое. Изображенный Вами Грин — пошляк и позер. Он никогда таким не был». — «Не надо волноваться, Нина Николаевна, дорогая. Наверное, Вы правы, но и я не так уж виноват. О таком Грине мне много раз рассказывала Вера Павловна, с которой я советовался, когда работал над книгой»[127].

Что она могла на это ответить?

Ей оставалось лишь взять с Борисова слово, что больше он переиздавать эту книгу не будет. Однако легче договориться с алкоголиком, что он не подойдет к бутылке, или с игроком, что тот не увидит ломберного стола, чем с писателем, что он никогда не станет больше публиковать свою книгу, имевшую определенный успех. «Волшебник из Гель-Гью» исправно выходил к очередному юбилею то Грина, то самого Борисова.

«Советую Вам не приобретать Л. Борисова "Волшебник из Гель-Гью", — писала Нина Николаевна одному из своих корреспондентов. — В этой, с позволения сказать, "романтической" повести романтично только заглавие ее, так иду-

щее Александру Степановичу. Все остальное — глубокое незнание, искажение и опошление образа Александра Степановича. Живо, фельетонно написано. Грином там и не пахнет, но зато Леонидом Борисовым отменно и дурно...

У меня эта книга Борисова есть. Когда-то, в лагере, я ее прочла, и мне хотелось умереть от невозможности убить Л. Борисова»[128].

Не зря литературовед Евгений Александрович Яблоков высказал предположение, что новую редакцию «Мастера и Маргариты» Булгаков начал писать в 1932 году под влиянием известия о смерти Волошина и Грина[129]. На счет Мастера тут можно поспорить, но на Маргариту этот характер очень похож.

Так, независимо от воли жены, муж превращался в литературный персонаж. Нина Николаевна протестовала против вольного обращения с образом Грина как могла. Ей было легче бороться с наветами и наговорами, относящимися к периоду их совместной жизни, но и о дореволюционной поре она оставила немало интересных свидетельств, записанных ею со слов самого Грина: «Когда А. С. вошел в литературу, то, — он говорил мне, — он, как дикарь, жадно впитывал в себя все, и муть, и радости, и взлеты, и падения литературной жизни того времени. Это пришлось, главным образом, на 1912—1913 годы. В период самого бурного кипения жизни литераторов, а не литературы А. С. вращался в литературном кругу Арцыбашева и главным образом Кузмина, которого он сердечно любил и вспоминал всегда тепло»[130].

Грин хотел написать об этой эпохе роман, и жаль, что он не был написан. Но в любом случае эти свидетельства очень важны, потому что опровергают расхожую легенду об отшельничестве Грина. Отшельником он если и был, то только после революции, а до нее находился в эпицентре литературной жизни. «А. С. видел тут взрыв последнего русского озорства. Для него это было как безудержная, истерически-веселая, нелепая смешливость, овладевающая человеком незадолго перед тем, как с ним должно случиться какое-либо большое несчастье»[131].

Глава VIII

КОСМОПОЛИТ АСПЕР, ИЛИ ТВОРЧЕСТВО СМЕРТИ

В 1914 году Грин стал сотрудником журнала «Новый сатирикон», издаваемого Аверченкой. Писал он в ту пору очень много. Библиография Грина поражает числом опубликованных текстов, но значительная часть из них, особенно сатирические произведения и фельетоны, писалась скорее ради денег, нежели из любви к искусству, и подписывал их Грин псевдонимами. Да и сам Аркадий Аверченко, несмотря на то, что в качестве приложения к «Новому сатирикону» выпустил книгу Грина «Происшествие на лице Пса», воспринимал его не слишком серьезно.

«Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии, — вспоминала сотрудница “Нового сатирикона” Л. Лесная. — Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережным. Странно было видеть их вместе: излучающий здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всегда элегантный, а рядом Грин — в темном пальто с поднятым воротником, бледный и хмурый»[132].

Звал Аверченко Грина — «господин заядлый пессимист» и призывал бросать «черную мерехлюндию». Однако та его не покидала. В 1915 году в анкете «Журнала журналов» на вопрос, как он живет, Грин желчно отвечал: «Как я работаю? Только со свежей головой, рано утром, после 3 стаканов крепкого чая, могу я написать что-нибудь более или менее приличное. При первых признаках усталости или бешенства бросаю перо.

Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют... Мне хочется жрать...»[133]

Сохранились также замечательные воспоминания о Грине И. С. Соколова-Микитова, относящиеся к этому времени и рисующие портрет тридцатипятилетнего Грина, выглядевшего, по донесениям следивших за ним негласно агентов охранки, на сорок — сорок пять.

«Сухощавый, некрасивый, довольно мрачный, он мало располагал к себе при первом знакомстве. У него было продолговатое вытянутое лицо, большой неровный, как будто перешибленный, нос, жесткие усы. Сложная сетка морщин наложила на лицо отпечаток усталости, даже изможденности. Морщин было больше продольных. Ходил он уверенно, но слегка вразвалку. Помню, одной из первых была мысль, что человек этот не умеет улыбаться»[134].

Соколов-Микитов вспоминал, что, после того как с началом войны в Петрограде запретили продавать алкогольные напитки, петербургская богема отправлялась в ближайшие пригороды, иногда вместе с Аверченко они ходили в ресторан на Большой Морской, где в чайнике подавали портвейн или английскую горькую. Однако, несмотря на большое количество выпиваемого спиртного, «писал Грин быстро, сосредоточенно и в любое время дня. Я не помню случая, чтобы обещанный журналу рассказ он не сдал в срок»[135].

О том, как жил и трудился Грин в эти годы, можно прочесть и у Ларисы Рейснер, чьи сильно беллетризованные воспоминания обычно выпадают из поля зрения исследователей, так что ссылки на них нет даже в максимально полном Библиографическом указателе творчества Грина, составленном Ю. Киркиным.

В 1915 году Рейснер стала издавать журнал «Рудин» и пригласила участвовать в нем Грина. Он согласился и даже взял по обыкновению аванс, однако о его непосредственном участии в вышедших восьми номерах «Рудина» ничего не известно. Однако несколько лет спустя, в 1919 году, Лариса Рейснер написала «Автобиографический роман», и одним из героев этого романа стал выведенный под своей собственной фамилией Александр Грин.

«Грин, трезвый, в невероятно высоком и чистом воротничке, который, впрочем, скоро снял и спрятал в карман, грел возле печки, полной трескучего пламени, свое веселое и безобразное лицо. Смелый путешественник, описавший жаркое небо и дикие леса юга, из своей комнатки в желтых вонючих ротах и ни разу не видевший в жизни ни одного лица, действительно похожего на то, что ему снилось, — наконец чувствовал великое успокоение. Сумасшедший, он был среди своих. Целая куча, целый сноп безумцев окружал его так, как брызжущие искры окружали черное, покрытое трепещущим синим пламенем, медленно и неудержимо пылающее дерево. Никого не пугала смелая сжатость его слога. Никто не сомневался в роскошных видениях, которые

ему доставляли странные музы — голод и алкоголь. Все видели вместе с ним и океан, и далекие острова, и прекрасных голых мужчин и женщин, населявших эти пределы. Он был (*большой*)* поэт. Пламенный культ океана, чистого воздуха и чистой любви, возможной раз в жизни, составлял его веру. "Рудин" признал идеализм, нищету и громадный талант Грина. Он погибал медленно, спиваясь все больше и больше: но с тех пор, как в его комнату в первый раз вошла Ариадна, он падал не без сопротивления. Наконец его перо понадобилось, и, сползая вниз, он цеплялся за всякий светлый час, за каждую крылатую минуту, дабы написать еще повесть, еще главу, хоть строчку.

Любовь и творчество сделали из агонии Грина дикий и великолепный закат. Косые лучи, падая из-за разорванных обезумевших туч, озаряли трагическим блеском его любимый пейзаж: море, острова и людей лучшей породы»[136]**.

Трудно сказать, что здесь правда, а что выдумка, и какими были в действительности отношения между Грином и Рейснер, фигурирующей в «Автобиографическом романе» под именем Ариадны, но в 1929 году, когда Ларисы Рейснер уже не будет в живых, практически отлученный от советской литературы и ищущий, где напечататься, Грин обратится в «Новый мир» с вопросом, может ли он прислать в редакцию свою новую вещь, получит очень скорый и доброжелательный ответ Ф. Ф. Раскольникова, мужа Рейснер, с приглашением присылать любые тексты и обещанием моментально их рассмотреть. Едва ли тут есть какая-то связь, да и ничего в «Новом мире» в ту пору у Грина напечатано не было, но, быть может, в душе самого Александра Степановича шевельнулось воспоминание об одной из самых ярких, вакхических женщин русской литературы, любовницы Троцкого и одной из создательниц теории любви как «стакана воды», с которой спорил Ульянов-Ленин.

О кутежах Грина ходили легенды, с их отзвуком помимо «Волшебника из Гель-Гью» можно столкнуться в свидетельствах многих мемуаристов.

«Пили, сознаться, много и шумно. На этих шумных литераторов смотрел я почтительными юношескими глазами, бывал свидетелем подчас не совсем приятных историй и столкновений...» — деликатно рассказывал Соколов-Микитов[137].

---

* Зачеркнуто.

** Помимо этого стоит отметить, что черты Грина современники находили в незаконченном романе А. Н. Толстого «Егор Абозов».

Или вот другое воспоминание, Екатерины Ивановны Студенцовой, повествующее не столько о пьянстве, сколько о неприкаянности и одиночестве Грина: «...я поехала к нему с братом. Это было в 1915 году... Александр Степанович много говорил, много пил мадеры. Мне он почему-то казался одиноким в этой неуютной обстановке. Он много говорил о людях, о жизни.

Потом Александр Степанович рассказывал всевозможные истории и анекдоты — иногда и не совсем приличные. Ему, по-видимому, нужны были слушатели. Я стойко выслушивала все...

Было уже поздно. Мы собрались домой. Александр Степанович захотел поехать к нам. Поехали на извозчике. Дома все захотели спать. Александра Степановича положили в гостиной на диване. Он долго ходил, пил воду. Потом лежал или спал... Утром горничная сказала, что он ушел еще ночью и ничего не сказал...

А. С. никогда не приходил к нам в наш приемный день воскресенье — поэтому никогда нас не заставал дома. Горничная сообщала иногда тихо: “Барышня, опять приходил этот... писатель... пьяный”»[138].

Все это отражалось и в литературе. «Демонизм — принцип упоения жизнью — делается на долгое время главной идеей, проводимой А. С. Грином в жизни и в литературе, — писала Калицкая. — “Синий каскад Теллури”, “Наследство Мак-Пика”, “История Таурена”, “Зурбаганский стрелок” и ряд эксцентрических рассказов вроде “Нового цирка” характеризуют “период демонизма” в творчестве Грина. В них гордое одиночество и холодное презрение к людям, поиски необычайного, чудесного. Наряду с исканиями силы и красоты рассказы на жестокие темы.

В быту демонизм сводился к разгулу.

Об этом времени своей жизни Грин много пишет сам. Он смотрит на себя в этом периоде как на больного»[139].

Несколько иной взгляд на это же время и на самого себя отражен в мемуарах Н. Н. Грин, которые, повторю, во многом создавались как полемика с мемуарами Калицкой, и большую роль в них занимают слова Грина, приводимые Ниной Николаевной, в то время как никаких дневников ни Грин, ни Нина Николаевна при его жизни не вели, и записаны эти воспоминания были почти через двадцать лет после кончины писателя.

Согласно им, то богемское, купринское, как называл его Грин, время он вспоминал с удовольствием.

« — Ты любишь вспоминать это время, — вернее эти часы. Тебе они доставляли радость? — спрашиваю его.

— Радость, конечно, не всегда, но какую-то внешнюю разрядку внутренней напряженности давал мне ресторан, вся его хотя бы и искусственно-праздничная атмосфера. Все будто друзья или вдруг враги. Отношения в пьяном виде прямолинейнее. Мозг, оглушенный вином, не в состоянии плести интригу. Если все пьяны, то все интересны друг другу и все — герои. Или все — как рыцари, или хамы. Ведь ты не представляешь, каков я был в те времена. Меня прозывали "мустангом", так я был заряжен жаждой жизни, полон огня, образов, сюжетов. Писал с размаху и всего себя не изживал. Я дорвался до жизни, накопив алчность к ней в голодной, бродяжьей, сжатой юности, тюрьме. Жадно хватал и поглощал ее. Не мог насытиться. Тратил и жег себя со всех концов. Я все прощал себе, я еще не находил себя. Глаза горели на все соблазны жизни. А рестораны, вино, легкомысленные женщины, озорство и шутки — было ближайшее к моим жадным рукам. Это время — эпоха в моей жизни, и я к концу своих дней, когда изживу себя, как творец, напишу об этом»[140].

Кто более прав — Калицкая или Нина Грин — сказать трудно. Но в любом случае не одна лишь разгульная, беспорядочная жизнь определяла сущность его «я» или по меньшей мере не все к ней сводилось. В эти годы в душе писателя происходили перемены, новые темы овладевали им, новые герои появлялись в его произведениях. Грин попрежнему писал рассказы, еще не замахиваясь на романы, но теперь в этих рассказах затрагивалась чрезвычайно важная и, к слову сказать, вполне актуальная для культурной ситуации начала века тема соотношения искусства и действительности, и Грин в своих поисках все больше уходил в сторону эстетизации жизни.

Едва ли не самое замечательное его произведение об искусстве жить — новелла «Черный алмаз». К губернатору одной из сибирских губерний приезжает знаменитый скрипач Ягодин и просит дозволения сыграть для арестантов концерт с целью облагородить их души. Губернатор после некоторых колебаний дозволяет, и скрипач-филантроп отправляется в колонию и дает концерт. В этой колонии отбывает срок за взлом «денежного шкафа» и непреднамеренное убийство страдавшего бессонницей курьера некто Трумов, совершивший свое преступление потому, что любил жену скрипача «исключительной, ни перед чем не останавливаю-

щейся любовью». Такой же любовью любила его она и с горя отравилась, когда любовник был посажен в тюрьму.

Тогда-то и выясняется, что обманутый Трумовым Ягодин приезжает не из гуманных побуждений, а ради «жестокой и подлой мести». Свободный, успешливый, знаменитый, он хотел восторжествовать над своим поверженным соперником в арестантской робе, но месть достигает противоположного результата. Трумов, в котором музыка, помимо желания ее исполнителя, пробудила не отчаяние, но волю к жизни, бежит из тюрьмы, и через некоторое время Ягодин получает письмо от свободного, счастливого человека из Австралии.

Рассказ этот, несмотря на свою дидактичность и некоторую заданность, был написан очень живо и психологически достоверно. Тут сказалось умение Грина заставить читателя позабыть об искусственности всей ситуации и пробудить сочувствие к узнику любви. Даже лобовая идея, выраженная Трумовым в письме к Ягодину: «Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство, творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы», — его не портит, тем более что Грин вкладывает эту сентенцию в уста не артиста, не художника, а обыкновенного бухгалтера, который, как оказалось, понимает в искусстве больше, чем прославленный скрипач.

И вот что любопытно: если в тексте заменить Трумова на Трума, Ягодина на Гдона, сибирскую каторгу на тюрьму в Зурбагане, рассказ от этого ничего не выиграет и не проиграет. В этом смысле «Черный алмаз» — прямая противоположность раннему рассказу Грина «Река», где речь идет о рыбаках, нашедших на берегу тело утопленницы и обсуждающих, почему могла покончить с собой молодая женщина. Обстановка того рассказа, характеры персонажей, их разговоры, ночной костер, весенний пейзаж с его половодьем — до того русские, что иностранные имена рыбаков кажутся нелепыми. Какие там Миас, Женжиль, Керн, Благир, когда это Степан, Ермолай, Алешка, Петр! И несчастная утопленница — никакая не Рита, а Катерина или Елизавета. Совсем иное дело — герои «Черного алмаза», включая даже такую популярную в русской литературной традиции фигуру, как губернатор.

К 1915—1916 годам манера Грина писать вещи, не связанные с национальной физиономией, сделалась куда более органичной, нежели прежде, когда по северному лесу рас-

сказа «Окно в лесу» скакали мартышки. Хорошо это или плохо, но творчески Грин «эмигрировал», покидая территорию России даже тогда, когда о ней писал, все больше становясь гражданином своего мира, иностранцем русской литературы, как назвал его в 1915 году молодой критик Михаил Левидов*.

«У героев его русских рассказов “впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы”, или “лицо маленькой твари, сожженное бесплодной мечтой о силе и красоте” (“Воздушный корабль”), а сами они “расколотые, ноющие и презренные”, по яркому выражению Грина — “тяжкоживы” (“Приключения Гинча”). Не любит Грин этих людей, — а только их он и видит в России, — не любит до того, что и природа, породившая их, ненавистна ему...

Почти единственный из писателей русских, Грин выработал в себе психологию иностранца, России и русской душе чуждого, и возлюбил односложную, упрощенную душу людей с бритыми, каменными подбородками и односложными, по-иностранному звучащими именами. Не феноменальное ли это явление? Русский писатель, владеющий хоть подчас и мелодраматичным, но все же ярким, красочным и мощным языком, и тем не менее усиленно притворяющийся иностранцем?!.. Писателю Грину жестоко отомстили за его притворство. Благодаря тому, что вопль чеховских “Трех сестер” — “В Москву!” он сменил призывом “На остров Рено!” — Грин считается как бы вне литературы. Серьезная критика пренебрежительно обходит его, да и для широких читательских кругов его имя звучит не то как Нат Пинкертон, не то как Джек Лондон, только пониже рангом...»

Однако заключительный вывод Левидов сделал все же в пользу Грина: «Слишком темпераментен, динамичен этот

---

* Михаил Юрьевич Левидов был человеком трагической судьбы, и книга о Грине — хороший повод, чтобы о нем вспомнить. Он родился в 1891 году, в годы Первой мировой войны печатался в горьковской «Летописи», во время Гражданской заведовал иностранным отделом РОСТа и отделом печати Наркоминдела. В 20-е годы примыкал к журналам Маяковского «Леф» и «Новый Леф» и поддерживал Маяковского в его полемике с Полонским. В эти же годы прославился знаменитой фразой: «Интеллигенция — это иллюзия, которая очень дорого обошлась стране и революции, с которой давно пора покончить». Часто бывал за рубежом, его политические фельетоны печатали все советские газеты от «Правды» до «Труда». В середине 30-х Левидов оставил журналистику и занялся Свифтом. В 1939 году в «Советском писателе» вышла его книга о Свифте, а в 1941-м он был расстрелян как английский шпион.

писатель, слишком богата и необузданна фантазия его, чтобы удовольствоваться возделыванием серых, унылых огородов нашего быта... Творчество Грина насквозь пропитано волей к действию, динамикой, в то время как литература наша — кладбище страстей, бесконечная повесть о бессильных "тяжкоживах". И в этом совершенно особое и своеобразное значение его рассказов, в которых он поднимает знамя романтического бунта, пусть наивного, но все же важного и ценного бунта против серой, унылой жизни»[141].

В советское время на эти вещи смотрели строже. А. Роскин в своей статье «Судьба писателя-фабулиста», опубликованной в 1935 году в журнале «Художественная литература», констатировал: «Писатель этот работал исключительно на "импортном сырье", с поразительной настойчивостью оберегая свои произведения от всякого вторжения российского материала... Изобретательный фабулист, он не смог обратить фабулу в средство сконцентрированного показа и осмысления окружающей действительности... Он поспешил перенести место действия своих повестей и новелл в далекие экзотические страны — обстановка "родных осин", чрезмерно знакомая читателю, а потому трудно обходимая, слишком часто зацеплялась бы за винтики гриновской фабулы и останавливала бы ее развитие подобно соринке, попавшей в часы с открытой крышкой. Крышку надо было захлопнуть — фабулу надо было совершенно изолировать от реальности, рассматриваемой Грином, как сор... Потеря социальных связей неумолимо обрекала Грина на эстетство. Романтика Грина превращалась в явление чисто формального характера — она оказалась лишенной внутренней силы»[142].

В пятидесятые годы, в пору борьбы с космополитизмом, Грина за его иностранность начали откровенно громить безо всяких скидок на особенности литературной техники: «На самом деле творчество А. Грина представляет собой архиреакционное явление. Этот писатель отказался в своем творчестве от изображения русской действительности. Он постоянно жил в мире условных, выдуманных им самим иностранных персонажей. Имена и географические названия, избранные Грином для своих произведений, носят откровенно космополитический характер. Это какое-то уродливое литературное "эсперанто", с помощью которого писатель отрывается от реальной русской действительности... В основе творчества Грина лежало продуманное презрение ко всему русскому, национальному... Так полутайно, полуподспудно, долгое время продолжал существовать среди

известной части литераторов культ Грина. Это было не что иное, как та же теория искусства для искусства, лишь немного зашифрованная. Это была проповедь отказа от реалистических традиций русской литературы, культ литературного космополитизма»[143].

Вениамин Каверин позднее возражал ревнителям национального: «Изобретательность Грина в его стремлении представить себе земной шар не разделенным пограничными зонами — трогательна и говорит о глубине его человечности. Он не хочет видеть ни сети национальной ограниченности, ни кровавых доказательств мнимого превосходства одной нации над другой»[144].

Ко всему этому можно относиться по-разному, но, снимая явный или подспудный смысл этих обвинений и похвал, признаем, что общечеловеческое сделалось для Грина важнее национального, а родиной его стало искусство*. Однако в отличие от эстетики того же Уайльда (в подражании которому обвинят Грина в пору борьбы с низкопоклонством перед Западом) эстетизм Грина был сильно морализован и совсем не в духе времени консервативен, хотя эту моралистичность Грин пытался скрыть и образ художника был в его прозе крайне неоднозначен.

Свидетельство такой неоднозначности — рассказ «Искатель приключения», где — как это часто у Грина бывает — сталкиваются два противоположных героя, «враг ложного смирения», «нервная батарея» Аммон Кут и живущий жизнью абсолютно здорового и счастливого человека фермер Доггер — люди вне времени и национальности. Кут — путешественник, искатель истины, коллекционер человеческих нравов и ненавистник всяческого вегетарианства; он попадает к Доггеру в гости и оказывается в царстве «светлого покоя». Идиллическая жизнь Доггера с молодой женой на лоне природы несколько напоминает жизнь Тинга и Ассунты из рассказа «Трагедия на плоскогорье Суан», но если Ассун-

* Ср. у В. Е. Ковского: «Проблема эта настолько сложна и спорна, что углубиться в нее — значило бы выйти далеко за пределы поставленных задач. Не вызывает сомнений, что Грин не сумел преодолеть опасностей, подстерегающих каждого писателя на пути чрезмерного увлечения “общечеловеческими ценностями”... И хотя здесь кроется одна из существенных причин, по которым творчество Грина оказалось не на основной магистрали развития русской литературы, а в определенном удалении от нее, и мы, увы, не можем сказать о Грине, что, “окажись в числе его читателей молодая, еще неопытная Баба Яга, она бы все равно воскликнула: “Фу, фу, русским духом пахнет!..”, Грин все же остается писателем русским, художником национальным» (Романтический мир Александра Грина. С. 221—222).

та описана поэтически, то в характеристике Эльмы преобладает хорошая физиологическая ирония: «Избыток здоровья сказывался в каждом ее движении. Блондинка, лет двадцати двух, она сияла свежим покоем удовлетворенной молодой крови, весельем хорошо спавшего тела, величественным добродушием крепкого счастья. Аммон подумал, что и внутри ее, где таинственно работают органы, все так же стройно, красиво и радостно; аккуратно толкает по голубым жилам алую кровь стальное сердце; розовые легкие бойко вбирают, освежая кровь, воздух и греются среди белых ребер под белой грудью».

Проницательный Кут чувствует в этой «несокрушимой нормальности» и «осмысленной растительной жизни» двух совершенных людей какой-то подвох и, выследив ночью Доггера, обнаруживает в доме потайную комнату. В ней находятся картины, созданные гениальным художником Доггером, который попытался убежать от своего предназначения и забыть о своем таланте, потому что:

«Искусство — большое зло; я говорю про искусство, разумеется, настоящее. Тема искусства — красота, но ничто не причиняет столько страданий, как красота. Представьте себе совершеннейшее произведение искусства. В нем таится жестокости более, чем вынес бы человек... Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа — как это говорится — мещанина. В политике я стою за порядок, в любви — за постоянство, в обществе — за незаметный полезный труд. А вообще в личной жизни — за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие».

Но как ни пытается Доггер обмануть свой дар, художник побеждает, оказывается сильнее обывателя, хотя удел художника, трагедия художника, по мысли Грина — неизбежная связь со Злом. В «Трагедии на плоскогорье Суан» это зло воплощено в образе Блюма, который пытается убить молодую девушку и вынуждает хозяина дома покарать его, а покарав — отяготить душу размышлениями о природе зла. В «Искателе приключений» ситуация сложнее: зло само собой, без видимого вторжения извне, проникает в душу художника, который чувствует его в себе и не может не запечатлеть. Доггер обречен на свой талант как на пытку, обречен изображать зло и мучиться им, что, по мнению Кута, справедливо: «Иметь дело с сердцем и душой человека и никогда не подвергаться за эти опыты проклятиям — было бы именно не хорошо; чего стоит душа, подобострастно расстилающаяся всей внутренностью?»

В мастерской Доггера Кут видит три картины, изобража-

ющие три лика жизни. Первая картина — молодая, полная прелести женщина; «сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границы человеческого; живая женщина стояла перед Аммоном и чудесной пустотой дали» — однако лица ее мы не видим. Вторая — «в той же прелестной живости, но еще более углубленной блеском лица, стояла перед ним, исполнив прекрасную свою угрозу. Она обернулась. Всю материнскую нежность, всю ласку женщины вложил художник в это лицо».

И наконец третья: «В том же повороте стояла перед Аммоном обернувшаяся на ходу женщина, но лицо ее непостижимо преобразилось, а между тем до последней черты было тем, на которое только что смотрел Кут. Страшно, с непостижимой яркостью встретились с его глазами хихикающие глаза изображения. Ближе, чем ранее, глядели они мрачно и глухо; иначе блеснули зрачки; рот, с выражением зловещим и подлым, готов был просиять омерзительной улыбкой безумия, а красота чудного лица стала отвратительной; свирепым, жадным огнем дышало оно, готовое душить, сосать кровь; вожделение гада и страсти демона озаряли его гнусный овал, полный взволнованного сладострастия, мрака и бешенства; и беспредельная тоска охватила Аммона, когда, всмотревшись, нашел он в этом лице готовность заговорить. Полураскрытые уста, где противно блестели зубы, казались шепчущими; прежняя мягкая женственность фигуры еще более подчеркивала ужасную жизнь головы, только что не кивавшей из рамы».

Эта последняя имела самую большую власть не только над зрителем, но и над ее создателем. Рассматривая другие картины художника, Аммон убеждается в том, что Доггер подпал в своем искусстве под власть зла, оно более увлекательно, оно художественно сильнее, ощутимее, полнокровнее — чувство, которое, очевидно, испытывал и Грин, особенно в своем раннем творчестве.

«Он видел стаи воронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, как травой, зажженными электрическими лампочками; реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимавших окровавленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными; огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети; мертвецов, читающих в могилах при свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, полный бородатых женщин; сцены разврата, пиршество людоедов, свежующих толстяка; тут же, из котла, подвешенного к оча-

гу, торчала рука; одна за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные, с красными усами, синими шевелюрами, одноглазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его падали золотые украшения; почти все рисунки были осыпаны по костюмам изображений золотыми блестками и исполнены тщательно, как выполняется вообще всякая любимая работа. С жутким любопытством перелистывал эти рисунки Аммон».

Все эти ужасы а-ля Босх есть не что иное, как вариация «Рая», «Приключений Гинча», «Окна в лесу», и все это в конце жизни Доггер уничтожит, оставив лишь первую картину и попросив уже его после смерти выставить ее перед публикой с надеждой, что о картине, может быть, напишут в газетах — честолюбие у художника столь же трогательное, как у женщины желание нравиться.

И вот картина предъявлена: «Готовая обернуться, живая для взволнованных глаз женщина; она стояла на дороге, ведущей к склонам холмов. Толпа молчала. Совершеннейшее произведение мира являло свое могущество.

— Почти невыносимо, — сказала подруга Кута. — Ведь она действительно обернется!

— О нет, — возразил Аммон, — это, к счастью, только угроза».

Любопытно, что, хотя главным героем этой истории является художник Доггер, Грин назвал рассказ в честь Аммона Кута. И в этом был свой резон. Кут и подобные ему персонажи выполняют в произведениях Грина очень важную функцию, они — провокаторы в благородном смысле этого слова. Они превосходно разбираются в людях и умеют управлять человеческими страстями и поступками. Собственно говоря, Ягодин из «Черного алмаза» тоже выступает в этой роли, но он — не ведает, что творит. Он неумелый провокатор, провокатор «наоборот», ибо достигает совсем не того результата, к которому стремится. А Кут — провокатор правильный, умный, как и бывший пират Бильдер из рассказа «Капитан Дюк», безусловно, одного из самых лучших и обаятельных гриновских рассказов, герой которого, отважный капитан по имени Дюк, попадает в религиозную секту и бросает свое поприще. Только умелая провокация в виде слов старого бомжа Бильдера: «Никогда Дюк не осмелится пройти на своей “Марианне” между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются», — помогает вытащить из секты Голубых братьев капитана.

«Капитан Дюк» — рассказ очень солнечный, написанный с большой любовью к людям. Прекрасны образы и самого Дюка, и бродяги Бильдера, и матросов, которые не знают, как спасти своего капитана. Там нет почти обязательных у дореволюционного Грина крови и злодейства, даже отрицательные образы — брата Варнавы с его каким-то детски простодушным фарисейством и прочих сектантов, питающихся вегетарианской пищей и уныло возделывающих землю на манер участников толстовских общин, в которых и метил своей пародией Грин, — даже они не страшны, не отвратительны, а смешны. Но такие рассказы появлялись у Грина редко, как солнечные деньки в хмуром климате: «Три похождения Эхмы», «Продавец счастья», «Как силач Гонс Пихгольц сохранил алмазы герцога Померси» («Покаянная рукопись») — и надолго исчезали, уступая место «возвращенному аду» действительности.

За эту мрачность, соединенную с остротой повествования, Грина часто упрекали в подражании Эдгару По. Не его первого — то же самое говорили и про Брюсова (но с гораздо большим почтением), и, может быть, именно поэтому Грин к Брюсову так тянулся. «По определению одного маститого в то время писателя, Грин в литературе был очень способным имитатором», — вспоминал И. С. Соколов-Микитов[145]. Кого именно имел в виду под «маститым писателем» Иван Сергеевич, не вполне ясно. Это мог быть и Леонид Андреев, и тот же Куприн, и Брюсов, и Горький, знакомые с творчеством Грина. Или же Бунин, которого неплохо знал Соколов-Микитов. Но в любом случае — имитатор! — может ли быть худшее оскорбление для писателя?

«Его учителем был замечательный американский писатель и поэт Э. По, произведениями которого зачитывались тогда в России»[146].

Этот «э-поизм» как проклятье висел над Грином, который, по воспоминаниям Нины Грин, защищал себя: «Говорят, что я под влиянием Эдгара По, подражаю ему. Неверно это, близоруко. Мы вытекаем из одного источника — великой любви к искусству, жизни, слову, но течем в разных направлениях. В наших интонациях иногда звучит общее, остальное все разное — жизненные установки различны. Какой-то досужий критик, когда-то не умея меня, непривычного для нашей литературы, сравнить с кем-либо из русских писателей, сравнил с Эдгаром По, объявив меня учеником его и подражателем. И, по свойству ленивых умов других литературных критиков, имя Эдгара По было плотно ко мне приклеено. Я хотел бы иметь талант, равный его та-

ланту, и силу воображения, но я не Эдгар По. Я — Грин; у меня свое лицо»[147]*.

Защищал Грина от упреков в имитаторстве и А. Г. Горнфельд, некогда приветствовавший его приход в литературу. В 1917 году он писал в рецензии на книгу Грина «Искатель приключений»: «По первому впечатлению рассказ г. Александра Грина легко принять за рассказ Эдгара По. Так же, как По, Грин охотно дает своим рассказам ирреальную обстановку, вне времени и пространства, сочиняя необычные вненациональные собственные имена; так же, как у По, эта мистическая атмосфера замысла соединяется здесь с отчетливой и скрупулезной реальностью описаний предметного мира; так же, как у По, подлинным героем Грина неизменно является мир внесознательного, мир темных предчувствий и разительных совпадений... Кровь, убийство, преступление и ужасы бесчеловечного насилия человека над человеком так же обычны у Грина, как у По, и так же, как у По, они не служат самоцелью и даже средством в изображении характеров, но являются необходимой атмосферой, в которой рождаются и находят нравственное развитие самые роковые загадки духа и жизни... Грин незаурядная фигура в нашей беллетристике; то, что он мало оценен, коренится в известной степени в его недостатках, но гораздо более значительную роль здесь играют его достоинства... Грин все-таки не подражатель Эдгара По, не усвоитель трафаретов, даже не стилизатор; он самостоятелен более, чем многие пишущие заурядные реалистические рассказы, литературные источники которых лишь более расплывчаты и потому

---

* Ср. также слова Грина в мемуарах Д. Шепеленко: «Эдгар По, Стивенсон, Брет Гарт и прочие подобные! А всех остальных — на съедение моралистам и критикам» (РГАЛИ. Ф. 2801. Оп. 1. Ед. хр. 3).

Ср. также у Калицкой: «В первый год нашей семейной жизни Александр Степанович подарил мне томик Эдгара По и сказал:

— Вот гениальный писатель!

Много лет спустя я спросила Александра Степановича, по-прежнему ли он любит Эдгара По. Он ответил несколько снисходительным тоном:

— Да, конечно, хороший писатель» (Воспоминания об Александре Грине. С. 170).

Ср. также у Ю. Домбровского: «Он спросил меня, а понравился ли мне этот сборник, — я ответил, что очень — сжатость, четкость, драматичность этих рассказов мне напоминают новеллы Эдгара По или Амбруаза Бирса. Тут он слегка вышел из себя и даже повысил голос. “Господи, — сказал он горестно, — и что это за манера у молодых все со всем сравнивать. Жанр там иной, в этом вы правы, но Эдгар тут совсем ни при чем”. Он очень горячо произнес эти слова — видно было, что этот Эдгар изрядно перегрыз ему горло» (Воспоминания об Александре Грине. С. 556).

менее очевидны. Шаблон реализма ведь тоже шаблон, лишь более общепринятый, но не более творческий. У Грина же нет шаблона; он не самобытен в манере, которая принадлежит школе, но самостоятелен в процессе создания... Он знает, куда идет и куда ведет своего читателя... В экзотике необычайных приключений небывалых стран и невероятных героев, в горделивом презрении к бытовой повседневности, в бойком отрицании общепринятого в морали и общественности, он все-таки ищет простой житейской правды: правды человеческих отношений, правды элементарной морали. Он тенденциозен и оттого сознателен, и старые формы, предложенные его учителем, оживают и дышат полнотой творческой самостоятельности под пером незаурядного ученика. Конечно, тот, кто вчитается в Грина, кто поймет его возможности и его тоску о недостижимости, тот не раз с болезненным чувством ощутит великую пропасть между способностями Грина — его выдумкой, его умом, его конструктивным даром — и результатом его творчества»[148].

Эта рецензия едва ли не самая глубокая и справедливая, итоговая оценка дореволюционного творчества Грина. В ней очень точно расставлены акценты, указана связь с традицией и определены оригинальность, «гриновость» Грина, его стремление к «правде морали и правде человеческих отношений», наконец, здесь превосходна мысль о «шаблонности реализма», и позднее идеи Горнфельда подхватит Юрий Олеша, который, как мы помним, «заставил» Грина перепутать Горнфельда с Айхенвальдом (или сделал вид, что заставил — Олеша тоже ведь был изрядным мистификатором).

«Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они.

Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что сюжет, выдумка свойственны только англосаксонской литературе, ведь вот есть же и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные...»[149]

Запись Олеши была сделана в тридцатые годы, когда творчество недавно скончавшегося Грина активно обсуждалось, и любопытно, что автор «Иностранца русской литературы» Левидов писал в 1935 году в «Литературной газете», что Грин «беден сюжетами»[150].

И в самом деле, не сюжет и не фабула главное в творчестве Грина, пусть даже он был их мастером. Сюжет у Грина строго подчинен идее. А идея — морали, и в этом еще одно существенное его отличие от По и Бирса, и одна из самых важных его идей есть идея изучения зла для последующей борьбы с ним. «Любой рассказ должен содержать жестокую борьбу добра со злом и заканчиваться посрамлением темного и злого начала», — так, по воспоминаниям писателя В. Дмитриевского, формулировал позднее свое творческое кредо Грин[151].

Сколько бы много в мире ни было зла, с ним надо жить и внутренне его побеждать. В предреволюционном творчестве Грина это звучит почти как аксиома. Это очень хорошо сказалось еще в рассказе 1913 года с замечательным афористическим названием «Человек с человеком», главный герой которого Аносов говорит об особенных людях, «людях — увы! — рано родившихся на свет», потому что «человеческие отношения для них — источник постоянных страданий, а сознание, что зло, — как это ни странно, — естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности».

Эти восстающие против мирового зла люди, по Грину, — уникальны, и хотя частичка их присутствует в каждом человеке, в «чистом» виде они почти не встречаются: «Редко, реже, чем ранней весной — грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона, сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. "Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии, — говорит легенда, — священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором". Это — легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их».

Рассказ этот замечателен тем, что здесь Грин находит или пользуется художественным образом, противостоящим мировому злу, создает антитезу своим ранним горьким рассказам и фактически рисует портрет идеального, по его представлениям, человека, который, впрочем, при внимательном чтении не вполне соответствует поэтическому образу из

легенды, приведенной выше, и это расхождение очень показательно.

Аносов рассказывает о том, как однажды петербургской ночью, в приступе отчаянья, он попытался покончить с собой по причине голода, но был в последний момент остановлен неким человеком, который не только спас его от смерти, но и научил жизни.

Люди тупы, жестоки и злы по отношению друг к другу? — Да, но на это не стоит обращать внимания.

Просить милостыню, если вы голодны и у вас нет работы, стыдно? — Ничего подобного.

И наконец, заключительная мораль, которую формулирует гриновский совершенный человек образца 1913-го года:

« — Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины — лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое — одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало — в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; "К Анне" — Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, — нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

— Эгоизм или не эгоизм, — сказал я, — но к этому нужно прийти.

— Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!»

Три года спустя, в 1916-м, формула закованной в броню личности, которая отгоняет от себя враждебную жизнь, Грина не устроит. Свидетельство нового отношения Грина к отчужденности человека — рассказ «Возвращенный ад».

Главный герой этого рассказа журналист Галиен Марк, раненный на дуэли, теряет способность к обостренному восприятию мира и погружается в блаженное оцепенение. «Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня», и это новое состояние совершенно не похоже на то, что испытывал герой раньше, когда все вокруг его «волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная, — что за ужасное время!».

И вот теперь этого мрака нет, герой свободен, но... счастлив ли?

«Грин уходит от этой пытки сознания в мир мечты и разгула, — писала Вера Павловна Калицкая, бывшая прототипом Визи, преданной любовницы Галиена Марка. — Разгул истощает и мозг и тело, и это истощение Грин опять-таки сознает»[152].

Грин отнимает у такого человека любовь и уважение Визи, и страх потерять ее возвращает его к «старому аду — до конца дней». В действительной жизни все было совсем не так, но литература тем и была для Грина хороша, что позволяла дописывать то, что не удавалось сделать наяву. Грин не строил свою жизнь на манер литературного произведения, как предписывали неписаные законы символистского либо романтического жизнетворчества. Напротив, литература была для него противоположностью жизни, второй реальностью, но это не означало ухода от первой. В 1914—1917 годах его трудно было бы упрекнуть в бегстве от действительности, он как будто наигрался в приключения и робинзонады, в Таргов и Горнов, отдал дань «демонизму», и что-то очень важное происходило с ним в годы войны, которую он остро переживал.

Человек обречен страдать от несовершенства мира и окружающего зла, это страдание есть единственная возможная форма существования. Но человек не пассивен. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за ними в бой». Эти слова Фауста можно было бы отнести пусть не к самому Грину, но к его героям, хотя бы в том же «Зурбаганском стрелке».

«Если бы А. С. Грин был только пошлым прожигателем жизни, только искателем сильных ощущений, то стал бы действительно лишь авантюрным, незначительным писателем, — признавала и Калицкая. — Но “тучи строжайших проблем” всегда заволакивали, вопреки его воле, его небо, будили мысль и наполняли ее тревогой и исканием правды... У А. С. Грина была огромная потребность в искренности с собой, потребность ценная и очищающая»[153].

Именно об этой потребности идет речь в рассказе, который называется «Повесть, оконченная благодаря пуле». Это своего рода рассказ в рассказе. Главный герой писатель Коломб пишет повесть об анархисте и его возлюбленной, которые хотят совершить самоубийство в толпе на карнавале. «Анархист и его возлюбленная замыслили “пропаганду фактом”. В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд, — месть толпе, — казня ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель; напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу».

Но в последний момент девушка передумывает.

«Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы — человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, просто, но, по существу, глубоко человечной жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом».

Смерти опять противопоставляется, казалось бы, обывательская жизнь, но это не вызывает осуждения у Грина. Скорее его волнует другое — причина, по которой происходит переход от одного состояния человеческой души к другому. Та же сюжетная коллизия разрабатывалась в ранней повести «Карантин», но там все определялось эротическим томлением главного героя. Здесь же Грин решает задачу совершенно иначе. Его герой-писатель ищет причину, почему девушка так поступает. Разочарование? Нерешительность? Страх? Все это он отметает как слишком мелкое и недостойное ее. Для того чтобы дойти до сути, Коломб — авторское альтер эго — едет на войну и попадает в ситуацию между жизнью и смертью, которую позднее экзистенциалисты, которых Грин во многом предвосхитил, назовут пограничной. На войне он получает ранение и вместе с раной ему открывается истина, которую он пытался найти за письменным столом и которая является своего рода манифестом Александра Грина и очень важным человеческим документом.

Грин благословляет теперь уже не просто Жизнь, но жизнь осознанную, осмысляемую, жизнь, имеющую цель, и в этом смысле уходит от замкнутого индивидуализма и инфантилизма своих ранних рассказов и характеров героев, которые над жизнью не задумывались вовсе, как Гнор из

«Колонии Ланфиер», или лучше бы не задумывались, как Лебедев-Гинч. Герой Грина переживает ситуацию прозрения, духовного роста.

«Он знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу, — ждал смерти. Он не боялся ее, но ему было жалко и страшно покидать жизнь гакой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию — придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты.

Несовершенства своей жизни он видел очень отчетливо. В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попирание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки — неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям».

Удивительно, но Грин действительно пишет здесь о себе, о всех слабых и уязвимых сторонах своего таланта. Пишет беспощадно, искренне, далеко заглядывая вперед и отрицая тот путь, по которому все равно пойдет, ибо не захочет измениться.

«Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое.

“Я должен выздороветь, — сказал Коломб, — я должен, невозможно умирать так”. Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим.

И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном освещении мысли, то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. Как он — она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей — идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство.

— Наконец-то, — сказал Коломб вслух пораженному Браулю, — наконец-то я решил одну психологическую задачу — это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению».

«Повесть, оконченная благодаря пуле» была опубликована в майском номере журнала «Отечество» за 1914 год. То был рассказ — предчувствие войны. Как и все лучшее, написанное Грином в этот период, он возвращался к теме искусства и жизни, которая не отпускала писателя так же, как не отпускала еще совсем недавно партия эсеров. Война внесла в эту тему свою правку.

В рассказе «Баталист Шуан» описан разоренный город, где живут мародеры, выдающие себя за умалишенных. Это вдохновляет художника Шуана написать картину об ужасах и безумии войны. Когда обман раскрывается и жертвы войны оказываются обыкновенными преступниками, художник понимает, что картины не будет, но это не огорчает его. «И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью».

Но вот что любопытно: даже в многочисленных своих рассказах о войне Грин никогда не переносит действие на Восточный фронт, все они — «Бой на штыках», «Судьба первого взвода», «Ночью и днем», «Забытое» — происходят либо на Западном фронте, во Франции, либо вообще непонятно где. Трудно сказать, испытывал ли Грин нечто похожее на желание поражения своему Отечеству, но патриотического восторга, переживаемого значительной частью интеллигенции, он точно не знал. И когда в «Охоте на Марбруна», едва ли единственном «русском» рассказе на тему Первой мировой, повествователь восклицает: «Москва!

Сердце России! Я вспомнил твои золотые луковицы, кривые переулки, черные картузы и белые передники, сидя в вагоне поезда, бегущего в Зурбаган», — эта патетика отдает фальшью. Зурбаган ему куда милее. Однако в столкновении Германии и Франции предпочтение Грин отдавал последней. (К слову сказать, там же, во Франции, только не виртуальной, а реальной, находился и на ее стороне воевал Борис Савинков, перед тем как в 1917-м вернуться в Россию.) Франция в эти годы становится для Грина чем-то вроде филиала Гринландии. Во всяком случае именно там происходит действие рассказа «Рене» — еще одной несомненной художественной удачи Грина-новеллиста.

Рассказ «Рене» хорош своей укорененностью в литературную традицию. Сюжет о том, как любовь между узником и дочерью начальника тюрьмы помогает заключенному бежать на свободу, существовал в литературе давно: и у Байрона, и у Стендаля, и у Пушкина, и у Лермонтова, но Грин придает ему совершенно неожиданный поворот.

Рене — это имя молодой девушки, чья мать умерла родами, и девочке давали воспитание арестанты, один из которых был «поэт, погубивший свою будущность убийством любовника жены».

Благодаря ли такому специфическому образованию и окружению или же просто от рождения, Рене была весьма своеобразным и весьма инфантильным созданием и, как сказал бы современный психолог-педагог, воспитание получила самое отвратительное.

«Характер ее был замкнутый и печальный. Привычка к чтению, к красивой идеализованности изображаемой жизни создавала в ее душе вечный разлад с действительностью, мелочно хаотичной и скудной. Ее мечтой было яркое возрождение, взрыв чувств и событий, восстание во имя несознанного блаженства.

Шамполион властно занял пустое место ее сознания, место, где должен был гудеть колокол чувств, направленных к означенной цели. Она мало думала об его убийствах. Это были слишком заурядные факты во всем ансамбле необыкновенной биографии. Его преступный авантюризм слишком поражал внимание для того, чтобы укладываться в какие-либо позорящие определения».

В сущности, весь этот пассаж можно рассматривать как своего рода проекцию на детство и молодость самого Грина, где Шамполион — чья фамилия несколько напоминает имя известного французского императора — замещает партию революционеров, соблазнившую душу Грина и толкнувшую его

на путь преступления подобно тому, как сама Рене пойдет на преступление против отца, освободив преступника из тюрьмы.

Но все же Шамполион — не партия, а чувство Рене к толкнувшему ее в грязь человеку, который использовал девушку для побега из тюрьмы и не имел более никаких на нее видов — чувство это: любовь. Когда ее любовь оказывается жестоко поругана, а уволенный из тюрьмы по вине дочери отец спивается, Рене становится проституткой, потом выходит замуж за дряхлого богача и после его смерти остается состоятельной вдовой Полиной Турнейль, которую ничего не подозревающий Шамполион берет в любовницы. Он не смотрит отныне на других женщин и совершенно уверен в ее преданности, не зная того, что ее жизнь подчинена одному — запихнуть негодяя в ту самую тюрьму, откуда она помогла ему бежать. Этого Рене успешно добивается, подкупив его друзей и превратив их в своих шпионов. Кульминацией сюжета является сцена, когда в тюремную камеру, откуда Шамполион бежал, приходит любовница и снимает маску. Пораженный, уязвленный этим предательством и понимающий его причины, он одной фразой перечеркивает месть Рене.

« — Знайте, — сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого, — я снова оттолкнул бы вас... туда!.. прочь!..»

Его казнят, а она казнит себя сама — кончает жизнь самоубийством. Потому что ничего не может поделать со своей любовью и без негодяя Шамполиона ей не жить. Жестокий романс и только. Но это — Грин. Зрелый, жесткий, умелый, профессионально оперирующий романтизмом и увлекающий читателя. Как справедливо сказано в одной из современных работ, посвященных этому рассказу, «казнь в тюрьме — это наказание не только за грабежи и убийства, но и за преступление Шамполиона против любви, наказание за разрушенную юную жизнь»[154].

Преступление, в котором, можно было бы добавить, преступник так и не раскаялся.

В это же время Грин пишет «Создание Аспера» — эстетский рассказ, где обыгрываются мотивы жизнетворчества и литературные мистификации, которыми славился Серебряный век. Главный герой этого рассказа судья Гаккер много лет живет двойной жизнью, создавая не «внутренний мир художественного воображения», как это делают обычные писатели, а — «живых людей» или, как мы сказали бы сегодня — людей виртуальных. Гаккер выдумывает трех персонажей, которые мистифицируют и будоражат городскую об-

щественность, и в выборе по крайней мере первых двух можно увидеть следы литературной полемики. Не принятый в «большую литературу» Грин редко вмешивался в литературные игры и розыгрыши современников, но «Создание Аспера» — как раз тот самый случай.

Первый образ — «Дама под вуалью», таинственная женщина, которая приходит к прокурору города для секретных разоблачений и, покуда слуга ходит с докладом, благополучно скрывается. В газетах пишут, что эта дама — любовница министра, морганатическая жена великого князя, шпионка, наконец, ее объявляют Марианной Чен, «полубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду». Но для читателей того времени была очевидна отсылка к образу Черубины де Габриак, мифической поэтессы, созданной фантазией Волошина и Дмитриевой в 1909 году. Ее стихами зачитывался Петербург, в нее был заочно влюблен редактор журнала «Аполлон» Маковский, ее разоблачение послужило причиной дуэли между Волошиным и Гумилевым.

Гриновская Марианна Чен не поэтесса, а «символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле», зато следующее создание Гаккера, Теклин — поэт, от имени которого Гаккер печатает посредственные стихи: «Это писатель из народа, а художественные требования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность... Теклин продолжал писать строго-идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла».

И наконец, третий персонаж — разбойник Аспер, «тип идеализированного разбойника, романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы».

Последняя выдумка оказывается самой успешной и больше всего поражает горожан, что, по мнению Аспера, вполне понятно:

«Потребность необычайного — может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и народов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Морган, Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин — все они как бы не пахнут кровью, и мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава».

Но и плата за успех оказывается слишком высокой. Автор вынужден погибнуть вслед за героем, или, точнее, вместо героя, чтобы оправдать свой замысел. По сути, выходит притча, смысл которой изложен в заключительном диалоге между рассказчиком и Гаккером.

«— Но ведь Жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.

— У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить».

Так опять возникает гриновская тема жизни-смерти, но на этот раз герой выбирает смерть, потому что того требует творчество, а не революция, как десять лет назад. Вот, если угодно, итог исканий Грина в первое десятилетие его литературного пути.

В противовес творчеству жизни то, что делает герой Грина в «Создании Аспера», можно было бы назвать творчеством смерти.

«— Друг мой, — заговорил Гаккер, — высшее назначение человека — творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны».

От создателя Аспера творчество потребовало смерти. На дворе стоял семнадцатый год.

Глава IX
КРАСНЫЕ И АЛЫЕ ПАРУСА

Отношение Грина к революции долгое время оставалось одной из самых сознательно запутанных страниц его жизни, и мнения исследователей тут расходились. Одни считали, что Грин был более революционен, другие, что менее, но высказывать все до конца не давала цензура, точно так же, как теперь верно расставить акценты порой мешает конъюнктура.

Когда в недавней очень толковой статье Алексея Вдовина «Миф Александра Грина» читаем про нашего героя, что «от социальных потрясений он спасался в тихой заснеженной Финляндии или цветущем Крыму. Верный инстинкт писателя позволял ему вовремя отойти в сторону. Это в конечном итоге и помогло Грину создать свой мир и свой миф»[155], — звучит это красиво, но не совсем точно, ибо наслаивает миф на миф. Мифы с противоположным знаком, придуманные в 60-е годы Вл. Сандлером и Э. Алиевым, напротив, представляют Грина писателем революционным, изображавшим Февральскую революцию сатирически, а Октябрьскую приветствовавшим, «глубже воспринимавшим революционные события, чем кажется на первый взгляд», и верящим в «неизбежность нового революционного переворота»[156].

А потому лучше всего обратиться к фактам и текстам.

Известно, что в декабре 1916-го Грин был выслан из Петрограда за непочтительный отзыв о царе и уехал в «тихую заснеженную Финляндию», известно также его негативное отношение к Распутину. О последнем вспоминает Соколов-Микитов: «Как-то на перроне Царскосельского вокзала встретился нам Распутин. Мы узнали его по фотографиям, печатавшимся в тогдашних журналах, по черной цыганской бороде, по ладно сшитой из дорогого сукна поддевке. Грин не удержался и отпустил какое-то острое словечко. Распутин посмотрел на нас грозно, но промолчал и прошел мимо»[157].

Не исключено, что между этими фактами есть связь и, так же не удержавшись, Грин сказал в общественном месте «острое словечко» про государя. Тогда это было модно.

Некоторый свет на отношение Грина к павшему дому Романовых проливает небольшой рассказ 1917 года «Узник Крестов», в котором повествуется о наборщике Аблесимове, который в предложении: «Его Величество Государь Император Николай II ровно в 12 ч. проследовал в Иверскую часовню» ошибся при наборе в первой букве в слове «ровно», отчего фраза получила «совершенно циничный и оскорбительный для императорской особы смысл». За это Аблесимов отсидел в тюрьме 22 года.

«Я пропадаю за букву "г"! — вскричал он и умер, проклиная правительство».

Правда это или — что более вероятно — анекдот, в любом случае монархистом Александр Степанович не был с той поры, как изготовлял в Вятке бумажные фонарики к коронации последнего русского императора, а потому, когда произошла Февральская революция, не только что не отсиживался в своей ссылке в финском местечке Лоунатйоки, но пришел в Петроград пешком. Он написал об этом путешествии и вхождении в бурлящую имперскую столицу очерк «Пешком на революцию», в конце которого говорилось о «волнах революционного потока» и стройно идущих полках «под маленькими красными значками». Тогда же это настроение отразилось в стихах:

В толпе стесненной и пугливой,
С огнями красными знамен,
Под звуки марша горделиво
Идет ударный батальон.

Или в таких:

Звучат, гудят колокола,
И мощно грозное их пенье...
Гудят, зовут колокола
На светлый праздник возрожденья.
Пусть рухнет свод тюремных стен,
Чертоги сытого богатства,
И узники покинут плен.

Революционный батальон все шел, революционные колокола все звонили, а жизнь становилась труднее, и энтузиазма оставалось все меньше. Соколов-Микитов очень осторожно вспоминает то время: «Встречи наши были короткими. Помню наши разговоры. Все мы жили тревогами и надеждами тех дней. В Петрограде было беспокойно. Люди ждали со-

бытий, конца продолжавшейся войны. Грин скупо рассказывал, что пришел в Петроград из Финляндии. Лицо его еще больше осунулось — уже сильно сказывалась нехватка продовольствия. Но он живо ко всему присматривался, прислушивался»[158].

Двойственность в отношении к Февральской революции отразилась в небольшом рассказе Грина «Маятник души», где, как часто у автора бывает, сталкиваются две позиции — героя и рассказчика.

Первая, минорная — позиция обывателя по фамилии Репьев, на которого революция навевает ужас: «Я ждал, что испытаю историческую влюбленность в это вот настоящее и получу счастье волшебника, отпирающего маковым зерном дворцы и храмы. Однако я отлично видел, у кого на сапоге дырка, кто пьет валериановые капли и кто где достает масло; видел, что идет дождь, что дворники метут улицы и что ноги от ходьбы устают совершенно так же, как уставали они при Цезаре или Марате. Я привык к выстрелам, холодно рассуждаю о голодовках и даже цепелинная бомба, разорвись она на полгорода, весьма умеренно заставила бы меня вздрогнуть. И стало мне так же скучно, как во времена дремлющего на солнцепеке городового, пожарной каски среди кухонного стола и острополитических маевок, с гимназической их любовью и распеванием стихов Некрасова».

Вторая, мажорная — позиция рассказчика, которую едва ли можно отождествлять с авторской и которая при публикации рассказа в журнале «Республика» была опущена: «Через неделю я получил известие, что Репьев застрелился. Мне не было его жалко. Он шел путем зрителя. Между тем грозная живая жизнь кипела вокруг, сливая свою героическую мелодию с взволнованными голосами души, внимающей ярко озаренному будущему».

Так возникает эффект двуголосия, столкновение двух взглядов, и какой из них ближе автору — большой вопрос, но все же к осени 1917 года позиция Грина проясняется и окончательно меняется в сторону полного разочарования в революции. За неделю до октябрьского переворота в газете Амфитеатрова «Вольность», известной своими — как говорилось в советское время — реакционными взглядами, Грин публикует рассказ «Восстание», действие которого происходит в Зурбагане. Там также строятся баррикады и два вождя — Президион и Ферфас борются за власть и голоса избирателей. Однако народ голосует «против всех», оба кандидата кончают с собой, а через некоторое время новый Ферфас и новый Президион начинают все заново. Авторская мысль выражена

совершенно определенно: все революции бессмысленны, потому что представляют собой движение истории по кругу. Замечательно, что та же самая мысль о бессмысленности социальных переворотов прозвучала и в написанном в том же 1917 году рассказе «Рене»: «Какой заговор изменил сущность мира? Коллар, оставь политику, пока не ушла жизнь».

В написанном за год до этого рассказе «Огонь и вода» оппозиционер Леон Штрих, вынужденно живущий за пределами Зурбагана и разлученный с семьей, проклинает себя за то, что занялся политической борьбой:

«Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытьи с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что ввязался в политику — с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника».

Эти настроения Грина вряд ли стоит считать минутными. Минутным был скорее февральский восторг, и с утверждением Вадима Ковского: «Как эсеры в свое время показались ему единственно возможной революционной силой, так и буржуазно-демократическая революция была принята им за единственно возможную и окончательную»[159] — можно согласиться только в том случае, если подчеркнуть недолговечность этого взгляда. Как очень остроумно заметил некогда Пришвин, также приветствовавший революцию Февральскую и проклявший Октябрьскую: «Святая ложь февральских любовников и гнусная правда октябрьского вечного мужа»[160].

Нечто подобное можно найти и у Грина. Причем скорее в стихах, нежели в прозе. Вот стихотворение «В Петрограде осенью 1917 года».

Убогий день, как пепел серый,
Над холодеющей Невой
Несет изведанною мерой
Напиток чаши роковой.
Чуть свет — газетная тревога
Волнует робкие умы:
Собратьям верную дорогу
Уже предсказываем мы.

И за пустым стаканом чая,
В своем ли, иль в чужом жилье
Кричим, душ и сердец вскрывая
Роскошное дезабилье.
Упрямый ветер ломит шляпу,
Дождь каплей виснет на носу;
Бреду, вообразив Анапу,
К пяти утра по колбасу.

Здесь еще звучит ирония, зато публицистика Грина 1918 года была уже откровенно контрреволюционной, свидетельством тому его статьи и фельетоны в аверченковском «Новом сатириконе»: «Реквием», «Буки-невежи», а также фельетон «Лакей плюнул в кушанье», опубликованный в «Чертовой перечнице». В небольшой заметке «Пустяки» герою слышатся ночью голоса: «Бедный русский! Русский! Остановись! Оглянувшись, видел он людей, закрывших лицо руками... они мчались и падали... они в крови». Наконец, в рассказе «Преступление Отпавшего листа», написанном в том же 1918 году, говорится об «огромном городе, кипящем лавой страстей — алчности, гнева, изворотливости, страха, тысячелетних вожделений, растерянности и наглости», — мотив, который позднее отразится в «Крысолове» с его полчищем крыс, и за всем этим нетрудно увидеть не называемый по имени революционный Петроград.

Герой «Отпавшего листа» индийский йог, посланный в бывшую имперскую столицу в наказание за то, что ослушался воли Высшего из Высших, видит грязь, кровь и тьму, военный ад и социальное землетрясение и людей, которые в этом аду живут и погибают. Один из них проходит перед глазами мудреца.

«Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Беспрерывный их ряд в грубой схеме возможно выразить так: тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, пресытился ими, огрубел и умер — стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот волн, среди многоформенной кипучести водных сил, неизмеримо сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда.

Ранум встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешения».

Конечно, такой ярости против большевиков, как у Бунина, Гиппиус или того же Пришвина в 1917-м, у Грина не было, не писал он ничего похожего на «Слово о погибели Русской земли» Ремизова, не погружался в дневниковые записи, не пытался постичь сущность революции через образы музыки, как Блок (хотя именно в это время Грин написал рассказ «Сила непостижимого» о человеке, пытающемся выразить музыкальность мира), и не искал в ней незрелости и преждевременности, как Горький, не протестовал против насилия, как Короленко. Суждения Грина были довольно поверхностны на общем фоне глубокой и трагической оценки революции в дневниках, статьях, «несвоевременных

мыслях» поэтов и писателей тех лет. Не случайно Горький позднее ставил Грину в вину «аверченкоизм», с чем Грин, правда, не соглашался и писал про главного редактора «Нового сатирикона»: «Он смеется *вниз*, а я смеюсь *вверх*»[161].

Сохранились также воспоминания современников, по свидетельству которых Грин положительно относился к большевикам, но стоит ли им вполне доверять — большой вопрос. Так, Вержбицкий пишет о событиях лета 1918 года, когда в Москве случился левоэсеровский мятеж: «Я в очень осторожной форме спросил Грина: как он относится к этой попытке свергнуть большевиков? Мне было известно, что он когда-то примыкал к партии социалистов-революционеров.

Александр Степанович пожал плечами и сказал:

— По-моему, уж если власть, то лучше власть во главе с умным, не тщеславным и умеющим пользоваться этой властью человеком.

— Это — о Ленине!

— Ну, разумеется, о нем...»[162]

Если вчитаться в этот текст, можно констатировать полное отсутствие восторга и приседания перед новой властью, даже скорее некий вздох или пожатие плечами: из всех зол выбирается меньшее.

Любопытно и другое воспоминание Вержбицкого: «Однажды я поместил в “Честном слове” передовицу на тему о русском офицерстве, которое толпами удирало на юг и вливалось в армии белых генералов... В статье у меня с полной искренностью вырвалась фраза относительно того, что нельзя строго судить солдат и матросов, которые совершали насилия над офицерами, не принимавшими революции...

Прочитав передовицу, Грин пристально посмотрел мне в глаза и спросил:

— Ты одобряешь матросов, которые привязывают камни к ногам офицеров и бросают их на съедение рыбам?

Я ответил вопросом:

— Кажется, тебя самого в Севастополе командир корабля хотел отправить в гости к рыбам за твой строптивый нрав?..

Грин промолчал. А вечером, как бы на ходу сказал мне, что в общем-то он готов согласиться с содержанием моей статьи, но только... не стоило бы разжигать и без того накалившиеся страсти...

Мне было ясно, что Грину претит всякая жестокость, несмотря на то, что он сам многие годы был жертвой этой жестокости»[163].

В другом месте Вержбицкий приводит высказывание Грина, характеризующее его отношение к тому, что твори-

лось вокруг: «В моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием. “От палки родится палка!” — говорил мне один дагестанец»[164].

После закрытия всех оппозиционных газет весной 1918-го и наступления полной ясности, что большевики — это всерьез и надолго, Грин прямых выпадов против Советской власти себе не позволял, в эмиграцию «иностранец русской литературы» не стремился, и его политические расхождения с режимом сменялись стилистическими, то есть переносились в область литературной полемики. Только с площадками для этой полемики в 1918 году было туго.

Грин жил в Москве и изредка печатался в «Газете для всех», где его однажды арестовали и чуть было не расстреляли латышские стрелки, увидевшие в одном из номеров прямую «контру»; потом сотрудничал с «беспартийной», а на самом деле находящейся под покровительством наркома продовольствия Цюрупы газетой «Честное слово», той самой, где его товарищ Вержбицкий предлагал в передовой статье топить офицеров. Эту газету издавал известный до революции фельетонист Петр Александрович Подашевский (Ашевский), и Грин приглашал к участию в ней Горького и Блока. Записные книжки последнего лаконично повествуют о судьбе «независимого» издания.

«12 августа. Утром — телефон от А. С. Грина: дать материал для беспартийной левой газеты, редакция П. Ашевского, в Москве, — “Честное слово”. Пошлю “Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве”, строк 100 стихов.

16 августа. Утром будет звонить Грин. (Не звонил. По-видимому мама напрасно трудилась переписывать. Газетчикам* верить пора перестать.)

17 августа. Грин позвонил, что московская газета закрыта»[165].

В «Честном слове» Грин опубликовал два рассказа, «Вперед и назад» и «Выдумка парикмахера», а также небольшую зарисовку под названием «Колосья», в которой отражена очень характерная для той поры ситуация: голодные воруют хлеб, а сытые с винтовками и самопалами его охраняют. «Хлеб... не будет более волновать нас мирными поэтическими образами: вещи изменили смысл, а люди потеряли его», — заключение очень точное и печальное.

Вержбицкий вспоминает еще одну замечательную подробность работы Грина в советской печати: «Ему предло-

---

* Примечательно, что Блок воспринимает Грина исключительно как газетчика.

жили съездить на какой-то большой завод и описать ударный труд энтузиастов. Грин решительно отказался, и главное по той причине, что его "тошнит от техники". Он действительно ничего не понимал и не хотел понимать "во всех этих шестеренках и подшипниках"»[166].

Вот, кстати, почему в написанном в эти же годы рассказе «Корабли в Лиссе» прозвучала фраза, которая впоследствии столь раздражала советских критиков своей аполитичностью и оппозиционностью: «Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства».

А жизнь меж тем становилась все хуже. Осенью 1918 года, вскоре после закрытия «Честного слова» Грин уехал в Петроград и там женился. Его женой стала некая Мария Владиславовна Долидзе, но союз был непрочным, уже зимой Грин и Долидзе расстались. По воспоминаниям Калицкой, в доме у Долидзе от Грина прятали варенье и запирали буфет, и оскорбленный — «не моя вина, что мне негде печататься»[167] — Грин от нее ушел.

Встретил он ее через несколько лет, когда уже был женат на Нине Николаевне.

«На Литейном, в те же дни, А. С., идучи со мной, быстро говорит: "Китася, нам навстречу идет высокая дама, посмотри нам нее. Потом скажу". Я стала вглядываться в подходившую к нам женщину, статную, полную, как мне показалось, светло-русую, очень хорошо по тем временам одетую, в дорогом меху, молодую — лет 35. Ее несколько бледное, округлое лицо было женственно в очертании и холодно во взгляде. Она прошла не взглянув на нас...

— Не удалось ей из меня выгодного мужа сделать, не поняла она меня, я же, видимо, и виноват остался. Это дерево не для меня росло»[168], — пояснил Грин.

Уйдя от Долидзе, он сначала поселился на Невском проспекте, в маленькой комнате, которую нечем было топить. А в январе 1919-го переехал в бывший дом барона Гинцбурга на Васильевском острове, где когда-то еврейская буржуазия принимала Григория Распутина, желая прощупать его истинные настроения, а теперь, под председательством Федора Сологуба и при участии Горького, Блока, Гумилева, Чуковского, Куприна, Замятина, Шишкова и других литераторов, был создан Союз деятелей художественной литературы (СДХЛ).

Это была одна из тех общественных беспартийных организаций, чья недолгая и хрупкая судьба напоминала судьбу

газеты «Честное слово», хотя поначалу задачи у нового союза были грандиозны: стать неким литературным центром, который объединит лучших писателей своего времени и защитит деятелей художественной литературы как морально, так и материально.

13 января 1919 года Горький, Замятин и Чуковский обсуждали «амбициозные планы различных изданий», месяц спустя на заседании Союза было постановлено издать «во вторую очередь» книгу Грина с предисловием Горнфельда, а уже в мае Союз распался (отчасти по вине Горького) и книга «Львиный удар» не вышла.

Но это было не единственное несчастье: пришла беда — отворяй ворота. Летом 1919 года Грина, как не достигшего сорокалетнего возраста, призвали в Красную Армию. По версии В. П. Калицкой, он служил под Витебском в караульной команде по охране обоза и амуниции. Н. Н. Грин пишет о том, что он был причислен к роте связи и «целые дни ходил по глубокому снегу, перенося телефонные провода»[169]. Но где бы он ни был, ничего, кроме отвращения, служба в Красной Армии у него не вызывала, и подспудно в душе Грина жило то же самое желание, что и восемнадцать лет назад, — удрать.

Нина Николаевна Грин сообщает в своих воспоминаниях, как однажды Грин вышел из наполненной шумом, гамом, клубами пара и махорочного дыма чайной, где сидели плохо одетые люди с изможденными, усталыми лицами.

«И я почувствовал, что так больше не могу, что я должен уйти отсюда совсем; пусть лучше меня расстреляют как дезертира, но больше нет у моей души сил на все это»[170].

С подгибающимися от слабости ногами он пошел к станции. Позднее это состояние Грин передаст своему герою из рассказа «Тифозный пунктир».

«С платформы... виден был ряд вагонов проходящего эшелона: светящиеся окна теплушек и раскрытые двери их дышали огнем железных печей, бросающих на засыпанный сеном снег рыжие пятна. Там ругались и пели. Закрывая хвост эшелона, темнели белые вагоны санитарного поезда, маня обещаниями, от которых содрогнулся бы человек, находящийся в обстановке нормальной.

Взглядывая на них, я думал, что нет выше и недостижимее счастья, как попасть в эти маленькие, уютные и чистые помещения, так нерушимо и прочно ограждающие тебя от трепета и скорбей мучительной, собачьей жизни, нудной, как ровная зубная боль, и безнадежной, как плач».

Герой Грина стоит на посту и лишь видит уходящий

поезд, похожий на ускользающую мечту, его автору повезло больше.

Санитарный поезд стоял на третьем пути.

«— Ваш поезд куда уходит? — спросил он.

— В Петроград, — коротко ответил врач.

— Не возьмете меня с собой? — спросил Александр Степанович на всякий случай, безо всякой надежды на положительный ответ.

— А чем вы больны? — спросил врач, по речи не русский.

— Все болит, — неопределенно сказал Грин.

— Поднимитесь в вагон, я вас осмотрю.

Внимательно осмотрев и прослушав Александра Степановича, врач буркнул: "Туберкулез", — и приказал санитару вымыть, остричь и положить Александра Степановича в койку.

Через час Александр Степанович в чистом белье лежал на чистой постели и чувство благодарности к сумрачному врачу-латышу вызвало несколько слезинок на глазах измученного человека. "Ты спас меня, ты спас меня..." — шептал он, засыпая.

Ночью поезд двинулся. Александр Степанович спал мертвым сном. Остановка в Великих Луках (по версии Калицкой, во Пскове. — *А. В.*) — врачебная комиссия. Александр Степанович получает двухмесячный отпуск по болезни»[171].

Он добрался до Петрограда и некоторое время перебивался у своего знакомого по архангельской ссылке Ивана Ивановича Кареля. Возможно, именно этому периоду его жизни соответствует один из фрагментов его рассказов советских лет.

«Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня...»

Герой рассказа выздоравливает, а потом снова заболевает. Так и Грин заболел вторично и попал в Смольненский лазарет. У него обнаружили сыпной тиф и отправили в Боткинские бараки, где он пролежал почти месяц и откуда пи-

сал Горькому: «Прошу Вас, — если Вы хотите спасти меня, то устройте аванс в 3000 р., на которые купите меда и пришлите мне поскорее. Дело в том, что при высокой температуре (у меня 38—40), — мед — единственное, как я ранее убеждался, средство вызвать сильную испарину, столь благодетельную»[172].

По воспоминаниям обеих жен Грина, Горький прислал не только меду, но также кофе и хлеба. Выписавшись из больницы, Грин снова принялся бродить по Петрограду в поисках еды и жилья. Иногда приходилось спать на коврике в кухне, однажды он едва не стал жертвой шайки, которая убивала бездомных людей и продавала человеческое мясо.

Выручил снова Горький. Дал работу в издательстве Гржебина и направил Грина в Дом искусств на Мойке, сокращенно «Диск», ранее принадлежавший братьям Елисеевым и сохранившийся от разбоев и грабежей благодаря тому, что в нем оставалась жить прислуга. Теперь, по решению Петросовета и Наркомпроса, в этом здании с мраморной лестницей, золоченым чугуном, коврами, китайскими вазами, готической мебелью и самым главным сокровищем той поры — ванной — переживали годы разрухи плохо приспособленные к условиям военного коммунизма писатели, музыканты, художники.

В этом доме Грин получил комнату, правда не слишком роскошную. Элита «Диска» жила на втором этаже, Грина поселили на первом, рядом с тремя поэтами — Вс. Рождественским, Николаем Тихоновым и Владимиром Пястом. По имени последнего коридор прозвали «пястовским тупиком». А описание самой комнаты можно встретить у Рождественского: «Как сейчас, вижу его невзрачную, узкую и темноватую комнатку с единственным окном во двор. Слева от входа стояла обычная железная кровать с подстилкой из какого-то половичка или вытертого до неузнаваемости коврика, покрытая в качестве одеяла сильно изношенной шинелью. У окна ничем не покрытый кухонный стол, довольно обшарпанное кресло, у противоположной стены обычная для тех времен самодельная “буржуйка” — вот, кажется, и вся обстановка этой комнаты с голыми, холодными стенами»[173].

Но Грин был счастлив. «Я был так потрясен переходом от умирания к благополучию, своему углу, сытости и возможности снова быть самим собой, что часто, лежа в постели, не стыдясь плакал слезами благодарности»[174], — рассказывал он позднее Нине Грин. Но слез этих не видел никто, и в памяти своих соседей Грин оставил совсем иные воспоминания.

Грин жил отшельником, и большинство обитателей Дома искусств («обдисков») — а среди них были такие известные личности, как В. Ходасевич, Н. Гумилев, О. Мандельштам, Георгий Иванов, М. Зощенко, В. Шкловский, А. Волынский, О. Форш, К. Федин, В. Каверин, И. Одоевцева, Л. Лунц, — считали его грубым и весьма неприятным, неинтеллигентным типом. «Угрюмый, молчаливый, он часами не выходил из своей холодной комнаты. Он не любил общаться с жильцами верхнего привилегированного этажа»[175]. Да и с ним мало кто хотел водиться, его называли мизантропом, циником, говорили, что он похож на маркера из трактира или подрядчика дровяного склада, и внешность его была под стать: «Худощавый, подсохший от недоедания, всегда мрачно молчавший, он казался человеком совсем иного мира... Его скуластое, узко вытянутое, все изрезанное морщинами лицо, с близко поставленными друг к другу глазами, порою становилось мрачным и словно застывало в маске угрюмого и неприязненного презрения ко всему окружающему»[176]. Шкловский, в общем-то ему симпатизировавший, называл Грина «мрачным, тихим, как каторжник в середине своего срока».

Каверин позднее вспоминал: «В ленинградском литературном кругу Грин был одинокой, оригинальной фигурой. Высокий, худощавый, немного горбившийся, он отличался от других обитателей Дома искусств уже тем, что все они куда-то стремились, к чему-то рвались. Он никуда не рвался»[177].

Но «никуда не рвался» — это еще в лучшем случае. Поэт и литературовед Владимир Смиренский так описывает свою первую встречу с Грином:

«Я только что вернулся с фронта и с особенным удовольствием посещал “Дом литераторов”. Это была в те дни единственная писательская организация в Петрограде.

На одном из совещаний, когда присутствующие втайне изнывали от заседательской скуки, но все-таки продолжали высказываться — вдруг у стола появилась фигура длинного и худого человека, одетого в черное, наглухо застегнутое пальто и такую же черную, широкополую шляпу. Лицо его, очень изможденное и усталое, казалось суровым. Говорил он очень немного, но его речь произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Он заявил, что “Дом литераторов” покрыт плесенью, что в нем душно, что его надо просто закрыть. Слова его были достаточно резки, и атмосфера заплесневевшей скуки и приличного благодушия — была нарушена. Кончив говорить, человек надвинул шляпу и разъяренно вышел.

Зал засуетился, загудел:

— Это безобразие! — послышались возмущенные голоса, — очередная хулиганская выходка!... Черт знает что!

Я наклонился к своему соседу, спросил: кто это?

— Александр Грин, — ответил сосед»[178].

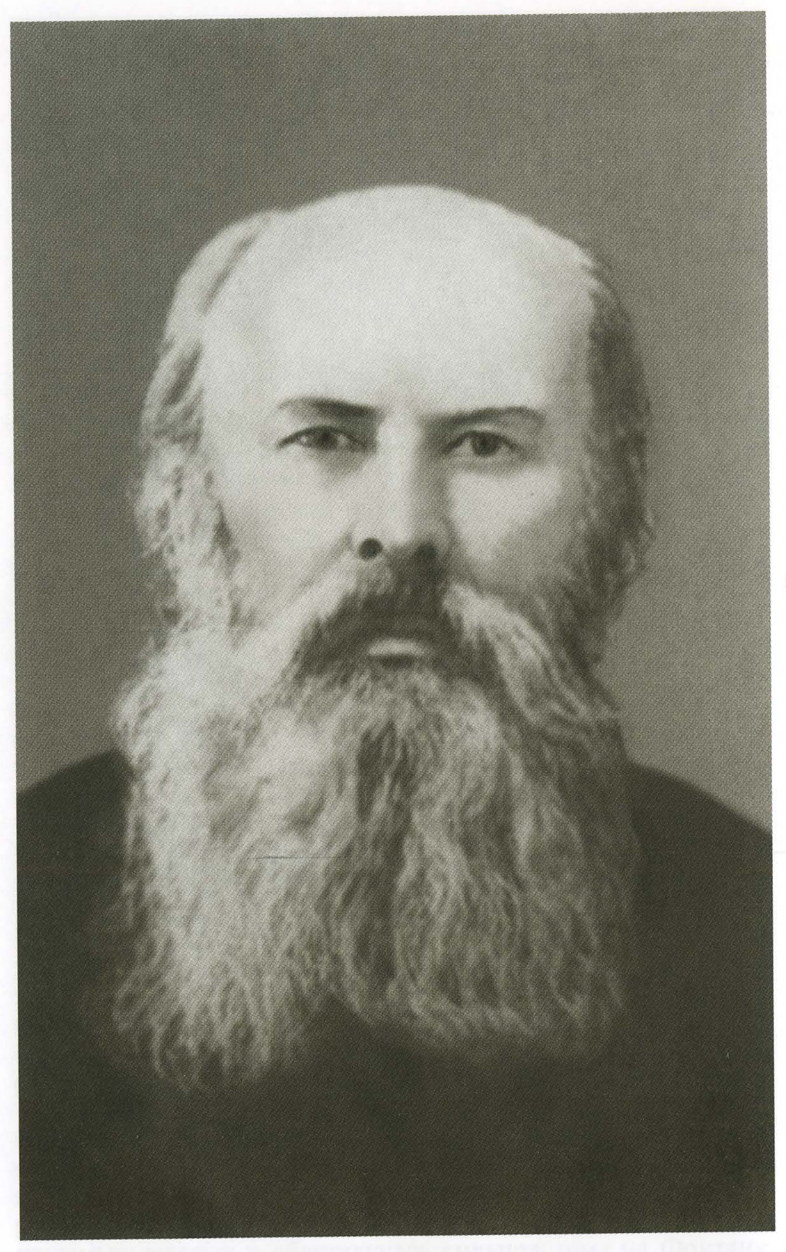
Грин не делал ничего для того, чтобы свою репутацию улучшить, напротив, эта отгороженность его, похоже, устраивала, и такая подчеркнутая нелюдимость невольно отсылает нас к школьному детству Саши Гриневского, у которого также не было друзей. Очень ранимый в душе Грин был не приспособлен к коммунальной, да и вообще любой общественной жизни, от школы до армии, и не вписывался в нее даже тогда, когда коммуна состояла из собратьев по перу. В Доме искусств бурлила жизнь. Там читали стихи Блок, Мандельштам, Сологуб, Кузмин и Маяковский, там выступали с докладами Шкловский и Чуковский, читал свои мемуары о Достоевском и Толстом А. Ф. Кони. Там вел поэтические занятия в возобновленном «Цехе поэтов» вернувшийся из Лондона Гумилев. Там устраивали по пятницам «живое кино» Лев Лунц, Евгений Шварц и Михаил Зощенко. Чем хуже было за стенами «Диска», тем выше возносился дух. Именно там, в первом (из двух вышедших) номере журнала «Дом искусств» Замятин опубликовал свою знаменитую статью «Я боюсь»: «... я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое... настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики».

По крайней мере половина этих определений подходит к Грину, как ни к кому другому, но он, казалось, ничего не замечал и ни в чем не участвовал.

«Грин был мрачен, в длинном своем черном сюртуке смахивал на факельщика. В быту он был хозяйствен и все умел. Как великую милость я принимала от него обычное полено, так им подсушенное, что мне оно шло на растопку в “буржуйку”, а о его растопке я и мечтать не дерзала. Разговаривать о литературе он не любил. В обращении был несколько суров», — вспоминала поэтесса Надежда Павлович[179].

«Грин слушал споры и дискуссии писателей и молчал. Он был неразговорчивый и невеселый человек... Имя “Александр Грин” звучало дико и бесприютно, как имя странного и очень одинокого создателя нереальных, только в воображении автора живущих людей и стран»[180], — писал один из самых веселых и обаятельных жильцов дома на Фонтанке «длинный, тощий, большеротый, огромноглазый» Миха-

Александр Степанович Грин. *1908 г.*



Стефан Евзибиевич (Степан Евсеевич) Гриневский, отец писателя. *1900-е гг.*

Первая страница журнала заседаний педагогического совета Вятского городского четырехклассного училища, где упоминается Александр Гриневский. *1895 г.*

ЖУРНАЛЪ

ЗАСѢДАНІЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАГО СОВѢТА

ВЯТСКАГО ГОРОДСКОГО 4-ХЪ КЛАССНАГО УЧИЛИЩА.

« 18 » Декабря 1895 года.

Здание городского училища. *Вятка. Фото 1966 г.*

Борис Викторович Савинков. *1900-е гг.*

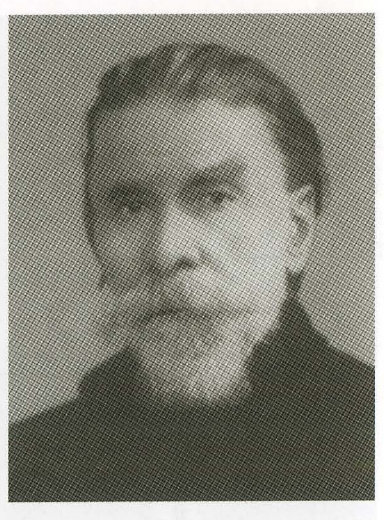
Братья Студенцовы, Александр (стоит) и Николай. *1903 г.*

Наум Яковлевич Быховский. *1890-е гг.*

Григорий Федорович Чеботарев. *1910 г.*

Севастополь, вид с запада. *Начало XX в.*

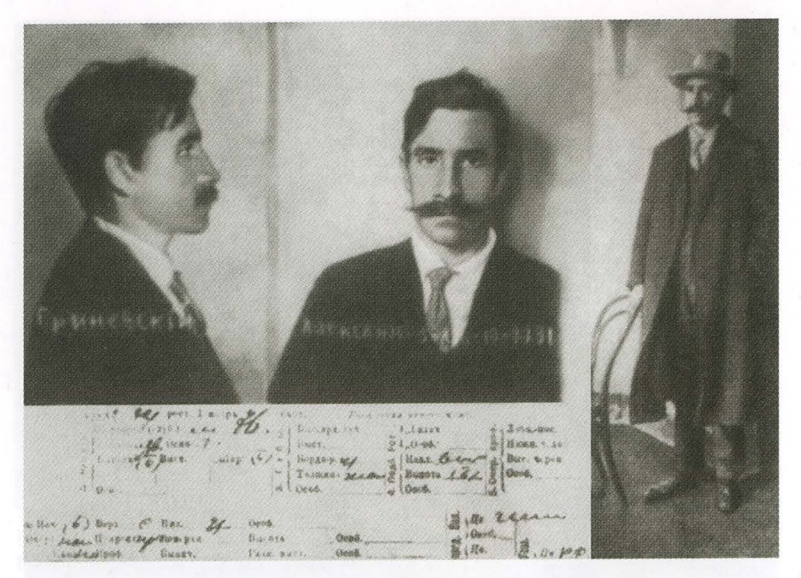
Екатерина Александровна Бибергаль. Севастополь. *1903 г.*



Виктор Сергеевич Миролюбов

Виктор Бибергаль (слева) и Евгений Синегуб. *Москва. 1903 г.*

Вера Павловна Абрамова. *1890-е гг.*



Александр Гриневский. *Фото Петербургского охранного отделения. Август 1910 г.*

Циркуляр департамента полиции о розыске бежавшего из ссылки А. С. Гриневского

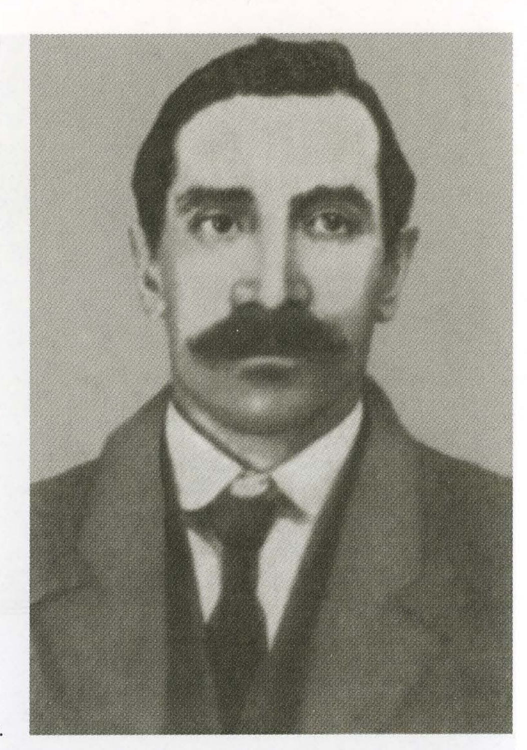
Циркуляръ о розыскѣ отъ 12 Октября сего года за № 19000 9

17. **ГРИНЕВСКІЙ**, Александръ Степановъ, потомственный дворянинъ, проживалъ въ концѣ 1905 года въ С.-Петербургѣ по подложному паспорту на имя мѣщанина мѣстечка Новаго-Двора, Волковыскаго уѣзда, Гродненской губерніи Николая Иванова Мальцева. Въ 1902 году дезертировалъ изъ 213 пѣхотнаго резервнаго Оровайскаго баталіона. Въ 1903 году привлекался въ Севастополѣ къ судебной отвѣтственности по обвиненію въ противоправительственной пропагандѣ среди нижнихъ чиновъ Севастопольской крѣпостной артиллеріи, а въ 1904 году въ томъ же дѣяніи среди чиновъ флота и въ 1905 году былъ приговоренъ Севастопольскимъ военно-морскимъ судомъ за преступленія, предусмотрѣнныя 129, 130 и 131 ст.ст. Угол. Улож. къ ссылкѣ на поселеніе, но затѣмъ въ силу ВЫСОЧАЙШАГО Указа 21 Октября 1905 года освобожденъ отъ опредѣленнаго ему по судебному приговору наказанія. На основаніи утвержденнаго 28 Марта 1906 года постановленія Особаго Совѣщанія, образованнаго согласно ст. 34 Положенія о государственной охранѣ, Гриневскій, за принадлежность къ соціалъ-революціонной партіи былъ высланъ подъ гласный надзоръ полиціи въ отдаленный уѣздъ Тобольской губерніи на четыре года и водворенъ въ г. Туринскѣ, откуда, по сообщенію Тобольскаго Губернатора, 11 Іюня 1906 года бѣжалъ.

Свѣдѣній о примѣтахъ не имѣется.

По задержаніи препроводить въ распоряженіе Тобольскаго Губернатора, увѣдомивъ о семъ Департаментъ Полиціи.

Грин. *1916 г.*

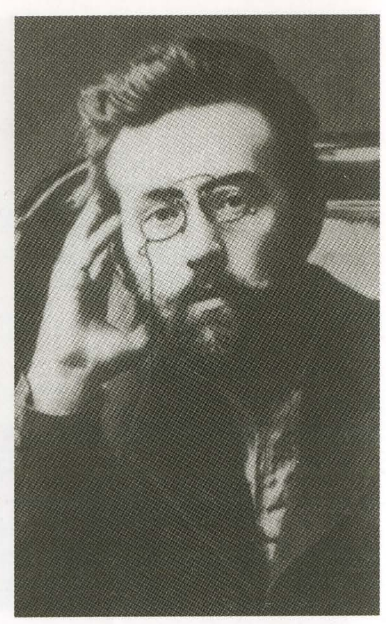


Пинега.
С открытки начала XX в.

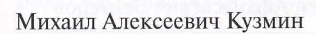
Слева направо:
В. Воинов,
Е. Хохлов,
Н. Вержбицкий.
1910 г.

Сотрудники
альманаха
«Шиповник».
Стоят
(слева направо):
Н. Олигер,
П. Потемкин,
А. Котылев,
А. Грин. Сидят:
Л. Андрусон,
М. Арцыбашев,
Н. Башкин,
В. Ленский,
Я. Годин

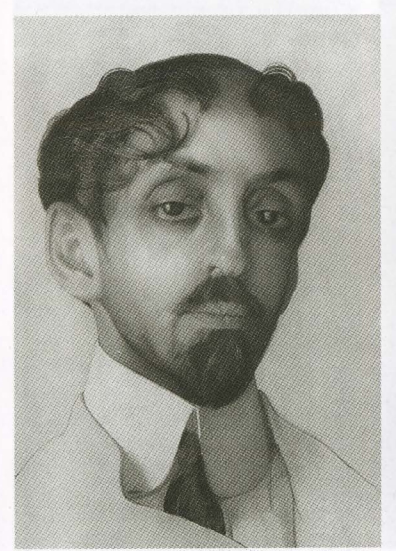
Александр Иванович Куприн



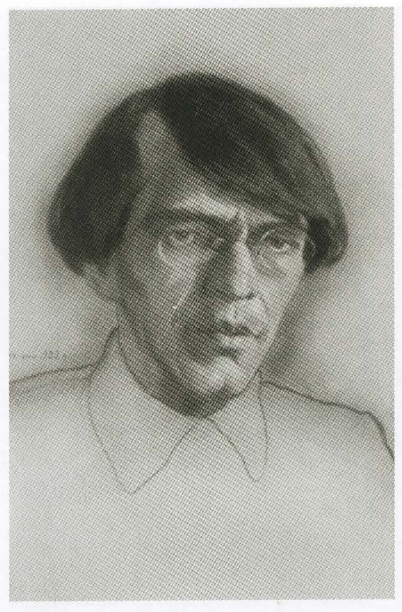
Михаил Петрович Арцыбашев



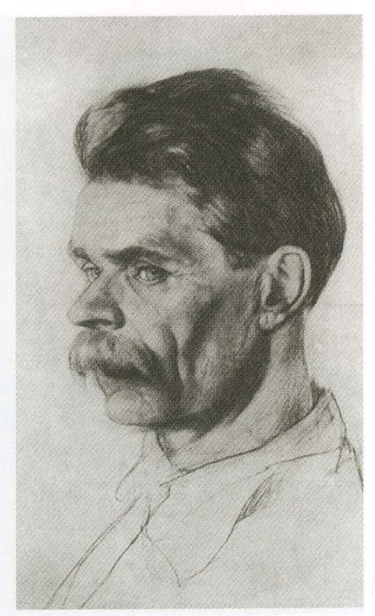
Михаил Алексеевич Кузмин



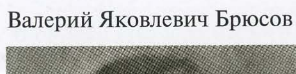
Константин Дмитриевич Бальмонт



Владислав Фелицианович Ходасевич

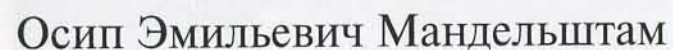


Максим Горький



Валерий Яковлевич Брюсов

Семен Афанасьевич Венгеров



Осип Эмильевич Мандельштам

Лариса Михайловна Рейснер

Билет члена Всероссийского союза писателей А. С. Грина. *1925 г.*

Всероссийский Союз Писателей.

Московский Отдел

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ № 425

Пред'явитель сего Александр Степанович Грин

Состоит членом Всероссийского Союза Писателей.

Председатель

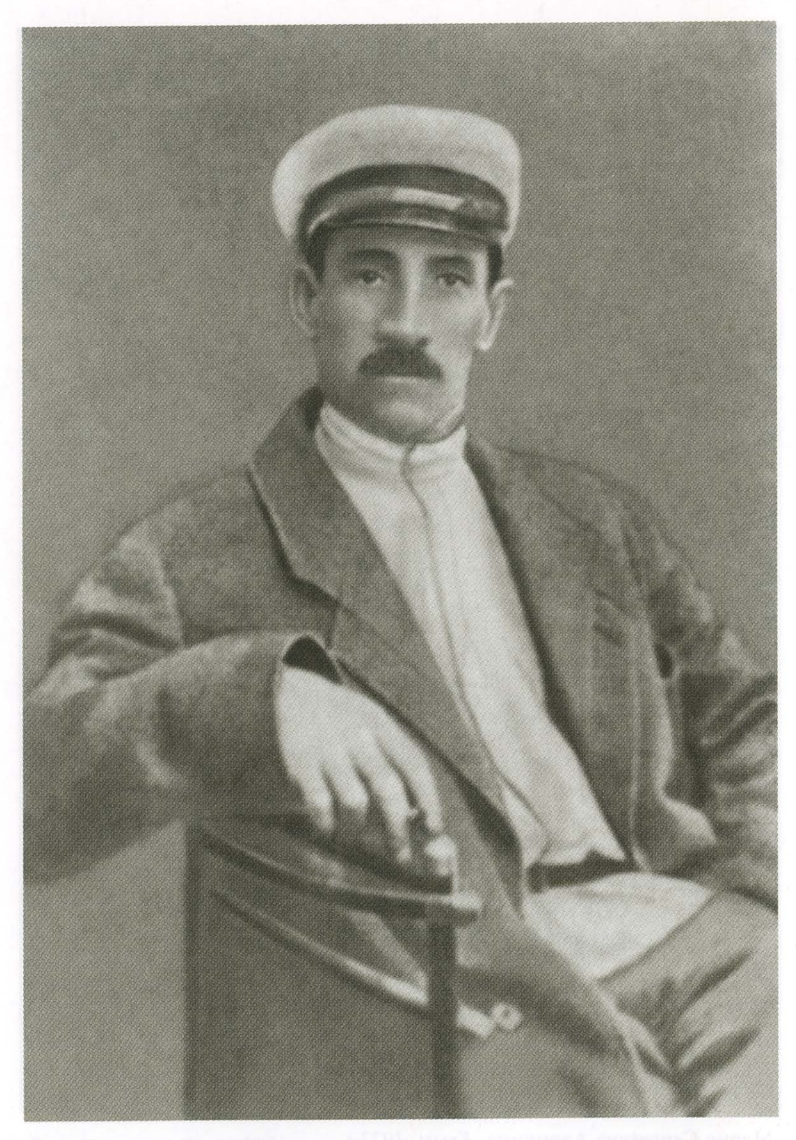
Секретарь

Москва . 6 . 1925 г.

Билет действителен по 31 декаб. 1925 г.

Дом искусств. *Фото 1971 г.*

Мария Сергеевна Алонкина. *Крым. 1923 г.*



Грин. *Севастополь. 1923 г.*

ил Слонимский, племянник Семена Венгерова, прославившийся тем, что «выпьет, а не пьян» и получивший за это у «Серапионовых братьев» прозвище «Брат Виночерпий». Впрочем, устремленные на запад и любившие экспериментировать с сюжетом «серапионы» отдавали Грину должное как «западнику» и мастеру построения сюжета, и иногда он заходил к ним на пирушки, но вовсе не для того, чтобы говорить о литературе.

Грин был влюблен, как и многие обитатели Дома искусств, в семнадцатилетнюю Марию Сергеевну Алонкину, литературного секретаря этого богоугодного заведения; ей подарил он свою книгу рассказов и написал два суровых мужских письма:

«Милая Мария Сергеевна, я узнал, что Вы собирались уже явиться в свою резиденцию, но снова слегли. Это не дело. Лето стоит хорошее: в Спб. поют среди бульваров и садов такие редкие гости, как щеглы, соловьи, малиновки и скворцы. Один человек разделался с тяжелой болезнью так: выпив бутылку коньяка, искупался в ледяной воде; к утру вспотел и встал здоровым. Разумеется, такое средство убило бы Вас вернее пистолетного выстрела, но, все же, должны Вы знать, что болезнь требует сурового обращения. Прогоните ее. Вставайте. Будьте здоровы. Прыгайте и живите...

Желаю скоро поправиться.

А. С. Грин».

«Дорогая Мария Сергеевна!

Не очень охотно я оставляю Вам эту книжку, — только потому, что Вы хотели прочесть ее. Она достаточна груба, свирепа и грязна для того, чтобы мне хотелось дать ее Вашей душе.

Ваш А. Г.»[181]

Едва ли Алонкина отвечала на его ухаживания, окруженная куда более молодыми и веселыми людьми. Марии Сергеевне посвящали свои сборники молодые «Серапионовы братья», она входила в их содружество в качестве «серапионовской девицы», и одинокий, угрюмый Грин на их фоне, должно быть, сильно проигрывал, что не прибавляло ему доброжелательности.

«Один из старых литераторов, сам человек нервный и желчный, заметил однажды: “Грин — пренеприятнейший субъект. Заговоришь с ним и ждешь, что вот-вот нарвешься

на какую-нибудь дерзость", — вспоминал симпатизировавший Грину Вс. Рождественский и продолжал: — В этом была крупица истины. Грин мог быть порою и резким, и грубоватым. Жил он бедно, но с какой-то подчеркнутой, вызывающей гордостью носил свой до предела потертый пиджачок и всем видом показывал полнейшее презрение к житейским невзгодам»[182].

Трудно сказать, кого именно имел в виду Вс. Рождественский под нервным и желчным литератором, так не любившим Грина, но скорее всего им был Владислав Ходасевич, действительно отличавшийся такими чертами характера и оставивший свои очень живые воспоминания о Доме искусств, где есть всего одна фраза, посвященная Грину: «Его (Льва Лунца. — *А. В.*) соседом был Александр Грин, автор романтических повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную борьбу с заправилами "Диска", не водивший знакомств почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов»*.

Конфликтовал Грин не только с заправилами, но и с обслуживающим персоналом Дома. Одна из таких стычек из-за неправильно используемого, по мнению женщины-завхоза, графина (он служил у Грина ночным горшком) привела к тому, что несдержанный Александр Степанович прилюдно обматерил заведующую хозяйством. История эта разнеслась по всему литературно-богоугодному заведению, и дело кончилось тем, что Корней Чуковский, у которого были свои счеты с Грином, нажаловался на скандалиста Горькому. Алексей Максимович возмутился и прислал своему протеже грубую записку с поучением, как надо себя вести. Грин закусил удила, ничего Горькому не ответил, и только Слонимский некоторое время спустя их помирил. Однако былой близости с Горьким у Грина больше не было, единственного своего заступника и покровителя он потерял, что больно отозвалось на его судьбе десять лет спустя.

Так входил в советскую литературу Александр Грин. А между тем этот нелюдимый и нелюбезный, конфликтный человек (тараканы пусть останутся на совести Ходасевича), «нелюдимый молчальник и самоотверженный мученик творческих идей», чем-то похожий своей неразделенной страстью к Алонкиной на влюбленного Кису Воробьянинова, именно в это время и в этом доме писал одну из самых поэтических книг русской литературы — феерию «Алые паруса», которая была навеяна любовью к Алонкиной.

---

* *Ходасевич Вл. Ф.* Перед зеркалом. М., 2002. С. 314.

«Сидя часами в своей совсем холодной комнате, изредка поглядывая в затянутое изморозью окно на унылый каменный двор, он писал в это время самую удивительную солнечную феерию “Алые паруса”, и трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде в зимних сумерках сурового 1920 года, и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутом в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать», — вспоминал Вс. Рождественский[183].

На самом деле все очень логично: такую книгу, как «Алые паруса», только в таких условиях и такой человек и мог написать. Первоначально Грин хотел назвать новое произведение «Красные паруса», причем ничего революционного в этом названии не было: «Надо оговориться, что, любя красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политическое, вернее — сектантское значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, кожица которых так обольстительно пахнет острым летучим маслом, цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен. К нему не пристанут лживые или неопределенные толкования. Вызываемое им чувство радости сродни полному дыханию среди пышного сада»[184].

Однако в дальнейшем, по мнению некоторых исследователей, именно неизбежная идеологическая знаковость красного цвета заставила Грина переменить название*. Точно так же и действие повести сначала должно было происходить в Петрограде, и в черновиках феерии встречается описание революционного города и идущих по нему солдат, уже совсем не похожее на картину Петрограда февральского из очерка «Пешком на революцию»: «Иногда завеса, раскрывшись, показывала малолюдную улицу, с её прохожими, внутренне разоренными революцией. Это разорение можно было подметить в лицах даже красногвардейцев, шагавших торопливо с ружьями за спиной, к неведомым землям... Перед мостом он увидал горы снега, высокие, как для катанья. Длинный деревенского типа обоз поворачивал к Седьмой линии. На той стороне речки туманно выступали умолкшие дворцы. Нева казалась пустыней, мертвым простором города, покинутого жизнью и солнцем. ... в атмосфере грозной подавленности, спустившейся на знакомый, но, теперь, — чужой город было нечто предвосхищенное»[185].

---

* Любопытно, что образ красного паруса встречается в стихах Бальмонта: «Красный парус в синем море, море голубом. Белый парус в море сером спит свинцовым сном».

В окончательном варианте Грин перенес действие в деревню с говорящим названием Каперна, а идею столкновения мечты с революционной действительностью оставил для рассказа «Фанданго».

Сюжет «Алых парусов» хорошо всем знаком и нет смысла его пересказывать, интереснее обратить внимание на то, как это произведение воспринимали разные поколения читателей.

По воспоминаниям современников, Грин впервые прочел один из вариантов в Доме искусств в декабре 1920 года, и «Алые паруса» были хорошо встречены слушателями. От Шкловского известно, что «Алыми парусами» восхищался Горький и любил перечитывать своим гостям то место, где Ассоль встречает корабль с алыми парусами, ибо оно особенно трогало сентиментальную натуру Алексея Максимовича. Критика реагировала по-разному.

В «Красной газете» писали: «Милая сказка, глубокая и лазурная, как море, специально для отдыха души»[186]. В «Литературном еженедельнике» злословили: «Грин... оставаясь верным себе, пишет все те же паточные феерии, как писал когда-то в "Огоньке"... И кому нужны его рассказы о полуфантастическом мире, где все основано на "щучьих веленьях", на случайностях и делается к общему благополучию. Пора бы, кажется делом заняться»[187]. Н. Ашукин восхищался в «России»: «Волшебство феерии сливается с четкостью жизненных образов повести, делая "Алые паруса" книгой, волнующей читателя своеобразным, гриновским романтизмом»[188]. В «Печати и революции» поэт С. Бобров не без поэтических красивостей заключал: «Видно, как автора перемолола революция, — как автор уходит в удивительное подполье, как исчезает красивость, мелкая рябь излишества, как она подменяется глубоким тоном к миру, как описание уходит от эффектов и трюков, — к единственному трюку, забытому нашими точных дел мастерами, — к искусству...» Ему же принадлежит еще одно точное замечание: «Роман этот не столько роман вообще, сколько роман автора с его книгой»[189].

Но подлинным гимном «Алым парусам» стала эпоха шестидесятых годов XX века, которая породила огромный интерес к личности и творчеству Грина. По всей стране возникали клубы молодежи, носившие название «Алые паруса», в противопоставление комсомольскому бюрократизму и заорганизованности, в конце концов узаконенные газетой «Комсомольская правда». «Алыми парусами» назывались детские хоровые и танцевальные студии, футбольные команды, рестораны, кинотеатры, театральные студии. Именно тогда имя Грина сделалось известным буквально каждому советскому

человеку, хотя зачастую «Алыми парусами» знакомство с его творчеством и ограничивалось.

«Алые паруса» стали кульминацией гриновского романтизма, мечты, сказки, победы над грубостью и скептицизмом. Миллионы читателей и читательниц сопереживали одинокой девочке с необычным и звучным именем Ассоль (возникшим, как предполагалось, от испанского *al sol* — к солнцу), восхищались мужественным капитаном Грэем, увозящим ее на своем «Секрете», который только для таких перевозок и был предназначен и никогда не осквернялся грузом мыла, гвоздей или запчастей к машинам. Сотни тысяч людей приняли блзко к сердцу программное заявление Артура: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя».

Впрочем то, что следовало дальше и поясняло мысль «загвоздистого», по выражению матроса Летики, капитана, нравилось уже меньше и во время оно служило мишенью для пролетарской критики и политических обвинений в непротивленчестве: «Когда начальник тюрьмы *сам* выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз придержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем».

В опереточной певице, которую должен условный миллиардер подарить, как вещь, условному писцу, было меньше буржуазного ревизионизма, чем некоторой безвкусицы, но обаяние «Алых парусов» оказалось настолько велико, что на эти огрехи мог обратить внимание только очень черствый или чересчур въедливый человек. «Алые паруса», несмотря на все очевидные недостатки этой вещи — откровенный эстетизм, надуманность, красивость, — все равно победа Грина. И раньше и позднее Александр Степанович написал много качественных, профессиональных текстов, стоящих гораздо выше сказки про хорошую девочку и ее доброго принца, даже если видеть в ней глубокий евангельский подтекст, к чему мы еще вернемся в главе, посвященной религиозности Грина, — но в историю литературы вошел прежде всего «Алыми парусами», и в этом есть своя логика и справедливость: в конце концов читатель всегда прав. Не случай-

но именно по «Алым парусам» снимали фильмы, ставили балет, про них писали стихи и сочиняли песни. Ошибаться может критика — но вряд ли читатель. Особенно молодой. И серьезные литературоведы это понимали.

В 1956 году очень проникновенно написал о Грине и именно в связи с «Алыми парусами» и всей мечтательной доминантой его творчества безвременно ушедший, физически больной и сильный духом литературный критик (тут явно напрашивается перекличка с А. Г. Горнфельдом) Марк Щеглов в статье «Корабли Александра Грина»: «Во многих гриновских рассказах поставлен в разных вариациях один и тот же психологический опыт — столкновение романтической, полной таинственных симптомов души человека, способного мечтать и томиться, и органичности, даже пошлости людей каждого дня, всем довольных и ко всему притерпевшихся...

Романтика в творчестве Грина по существу своему, а не по внешне несбыточным и нездешним проявлениям должна быть воспринята не как "уход от жизни", но как приход к ней со всем очарованием и волнением веры в добро и красоту людей, в отсвет иной жизни на берегах безмятежных морей, где ходят отрадно стройные корабли...»[190]

Однако было время — в 30—40-е годы XX века, когда отношение к романтизму Грина и «Алым парусам» было иным.

23 февраля 1941 года Вера Смирнова опубликовала в «Литературной газете» статью с характерным названием «Корабль без флага», где попыталась «трезво» разобраться в феномене Грина, вокруг которого закипели, уже после его смерти, нешуточные страсти: «Если отнестись к Грину без того смешанного чувства восхищения и возмущения, которое вызывают в нас равно — бродячие акробаты в дырявых трико, жонглирующие пустыми шариками, и герои гриновских рассказов, если отнестись к Грину так, как Чехов относится к его прообразу — трезво, спокойно, даже благожелательно, то ясно видно, что разрыв между воображением и знанием, смешной и трогательный у ребенка, вырастает в настоящую опасность для писателя, становится причиной всех недостатков, почти трагедий... Алый парус, очаровательный на игрушечной яхте, вырастает до размеров огромной нелепости, претенциозной прихоти богача, который может купить две тысячи метров красного шелка, чтобы получить в жены дочь рыбака»[191].

Еще более резко, но в том же духе выразился по поводу Грина и «Алых парусов» В. Важдаев в статье «Проповедник космополитизма», опубликованной в 1950 году в «Новом мире».

«Фантазии Грина — это фарисейская проповедь непротивленчества, проповедь терпеливого ожидания счастья, которым, если найдут нужным, одарят кротких бедняков гуманные тюремщики и щедрые миллионеры... "Алые паруса" представляют собой изуродованный вариант классической "Золушки"»[192].

Последнее замечание Важдаева, надо отдать ему должное, с литературной точки зрения совсем не глупо, хотя вряд ли сам Грин, создавая свою Ассоль, имел в виду Золушку (у Грина, повторю, вдовые отцы не женятся). С тем же успехом можно было бы сказать, что «Алые паруса» — это вариация «Гадкого утенка» — смысловых совпадений не меньше. По-видимому, все сказки про бедных и хороших, несправедливо обижаемых своей средой людей к чему-то подобному сводятся и все они трогают сердце.

Любопытно, что многие из высказываемых в 30—40—50-е годы идей не ушли в прошлое. Так, мысли об инфантилизме Грина встречаются у современной исследовательницы Натальи Метелевой, чья острая, выпадающая из восторженного «хора гринолюбов» статья «Романтизм как признак инфантильности» с многообещающим подзаголовком «Попытка литературного психоанализа личности Александра Грина» была не так давно опубликована в малотиражном вятском журнале «Бинокль» и вряд ли стала известна широкой литературной общественности: «Романтизм Грина совершенно особенный в русской литературе — романтизм от инфантильности. От невозможности владеть ситуацией. Романтизм детей, уходящих в небытие Мечты, в поиски Истины и утраченного рая. Романтизм хиппи. Что главное в мире для А. Грина, что он сделал главным для своих героев, что он предлагает читателю как главное в его, читателя, жизни? — Веру (в Мечту), Надежду (на Чудо), Любовь и Свободу (философию хиппи)...

Подростковый страх перед насмешками и непониманием, детское, со времен жизни в Вятке и Одессе бессилие перед насилием взрослых особенно явно звучит в описании Каперны в феерии "Алые паруса". Что сознание ребенка может противопоставить этой обиде? Полную замкнутость в мире мечты и безусловную веру в чудо. Немедленное чудо. И даже, да простят меня романтики, пошлое чудо. Вот слова Грэя: "*Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно — делать добро людям*", —

продолжает литературовед Е. Прохоров. Добро! Перевожу для добрых "романтиков": когда нарушат закон (свобода), дадут мечту потребителю (равенство), остановят конкуренцию и, тем самым, любую эволюцию (братство).

Неистощимая, нерушимая в веках наивность, наделавшая так много зла. Вечная мечта иждивенца об уравниловке.

"Делайте так называемые чудеса своими руками", — призывает писатель. Да! Но думайте же, в конце концов, о последствиях. Уже поздно спрашивать у писателя, но спрашиваю у читателей, повторяющих, как молитву, этот постоянный рефрен гриновских книг — "делайте добро": вы заметили, за чей счет это добро делается? Как правило, этот счет кем-то оплачен, и, как правило, непонятно кем. Не мной замечено, что гриновские герои — люди без определенных социальных, профессиональных и часто классовых признаков. Но сплошь и рядом как аксиома заявлена их материальная обеспеченность. Ее источники или упоминаются в самых общих чертах, или совсем не обозначены, в духе писателя — чудесные. Он об этом никогда не задумывается.

Все творчество А. Грина, за небольшим исключением — это самоутешение той бесконечной обиды, того страшного разочарования, когда ребенок обнаруживает, что взрослые не всесильны в области немедленного исполнения желаний (чудес), и никто не может дать (!) счастье. Грин о себе: "Я настолько сживаюсь со своими героями, что порою и сам поражаюсь, как и почему не случилось с ними чего-нибудь на редкость хорошего! Беру рассказ и чиню его, дать герою кусок счастья — это в моей воле. Я думаю: пусть и читатель будет счастлив!" Читайте А. Грина и будьте счастливы. Как дети. Ну, а когда необходимо брать ответственность на себя, ибо только это умение делает нас взрослыми? Тогда Грин предлагает игру: "Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Возьмите на себя роль случая". То есть не будем брать случай в свои руки (управлять ситуацией), а поиграем в роль. Детское восприятие мира предполагает игрушечное решение проблем»[193].

И все же самое интересное, самое глубокое и глубоко непримиримое истолкование «Алых парусов» предложил Андрей Платонов: «Народ по-прежнему остался на берегу, и на берегу же осталась большая, может быть самая великая, тема художественного произведения, которое не захотел или не смог написать А. Грин.

Смысл "Алых парусов" в том, что при благоприятных обстоятельствах (богатство одного, юность и сродство поэтически настроенных "странных" душ обоих) человек может

стать источником и средством собственного счастья. Это верно и давно известно. Но для этого ему требуется отделиться ото всех людей, предоставив их "вечной" жалкой судьбе, а самому упиться наслаждением среди солнечного океана. Задача легкая и посильная для всех слабых, точнее говоря — малоценных душ. Из опыта истории известно, что истинное человеческое счастье возможно лишь тогда, когда человек умеет стать средством для счастья других, многих людей, а не тогда, когда он замыкается сам в себе — для личного наслаждения. И даже любовное счастье пары людей невозможно или оно приобретает пошлую, животную форму, если любящие люди не соединены с большой действительностью, с общим движением народа к его высшей судьбе.

Уйдя на корабле в открытое море своего взаимного двойного одиночества, Грэй и Ассоль, в сущности, не открывают нам секрета человеческого счастья, — автор оставляет его за горизонтом океана, куда отбыли влюбленные, и на этом повесть заканчивается. Повторяем, что на самом деле, в истинном значении, свое счастье Грэй и Ассоль могли бы обрести лишь в каком-то конкретном отношении к людям из деревни Каперны, но они поступили иначе — они оставили народ одиноким на берегу. Если Грэй и особенно Ассоль представляют собой, как хотел этого автор, ценные человеческие характеры, то их действия порочны... Из чтения повести мы убедились, что высшая натура Ассоль сложилась из реальных, "низких" элементов — из бедной, несчастной судьбы ее отца, ранней потери матери, сиротства, отчуждения детских подруг и т. п. Но ведь и "высшее" быстро расходуется, если оно беспрерывно не питается "низшим", реальным. А чем питаться Ассоль и Грею в пустынном море и в своей любви, замкнутой лишь самой в себе? Нет, тот народ, оставленный на берегу, единственно и мог быть помощником в счастье Ассоль и Грея. Повесть написана как бы наоборот: против глубокой художественной и этической правды. Может быть, именно поэтому автору приходится пользоваться языком большой поэтической энергии, чтобы отстоять и защитить свой искусственный замысел, и эта поэтическая энергия сама по себе есть большая ценность... К бесспорным достоинствам "Алых парусов" относятся почти все второстепенные персонажи феерии — отец Ассоль, угольщики Филипп, Пантен, Летика и др. Это — люди реального мира, у них другой путь к своему счастью, более медленный и труднее осуществимый, но зато менее феерический и более прочный...

Какова же общая, любимая тема, разрабатываемая А. Грином в большинстве его произведений? Это тема похищения

человеческого счастья. Поскольку мир устроен, по мнению автора, роскошно, обильно, фантастически, речь идет именно о похищении кем-то уготованного счастья, а не о практическом, реальном добывании его в труде, нужде и борьбе... было бы гораздо лучше, если бы поэтическая сила Грина была применена для изображения реального мира, а не сновидения, для создания искусства, а не искусственности»[194].

Прав или не прав Платонов? Если судить художника по тем законам, которые он сам для себя установил, то, пожалуй, не прав. А вот если судить эти законы...

Вадим Евгеньевич Ковский в своей книге «Романтический мир Александра Грина», имени Платонова не называя, но имея в виду его мысль, берет Грина под защиту: «Если мы обозначим население Каперны словом "народ", Грея назовем представителем господствующих классов, а исполнение им роли провидения посчитаем филантропическим мероприятием, посильным только для богача, то тем самым успешно совершим вульгарно-социологическую подтасовку фактов, которые могут стать понятными только в свете эстетического анализа»[195].

И чуть дальше: «И Ассоль, и Грэй переросли свою среду. Одна должна пронести мечту сквозь насмешки и издевательства, проявив колоссальную силу внутренней сопротивляемости. Другой — преодолеть беспощадную равнодушность феодальной касты, стремящейся превратить живого человека в очередной портрет фамильной галереи. И с этой точки зрения для писателя существенны уже не имущественные различия в социальном положении героев, а их этническое единство. Мир богатых и бедных независимо трансформировался Грином в мир хороших и плохих. Способности Ассоль и Грэя творить добро, мечтать, любить, верить противостоит фактически только один лагерь, объединяющий и бедняков-капернцев, и богачей-аристократов — лагерь косности, традиционности, равнодушия ко всем иным формам существования, кроме собственных, говоря расширительно, лагерь мещанства»[196].

Замечательно и абсолютно справедливо сказано. И прежде всего потому, что «Алые паруса» — не просто произведение искусства и уж тем более искусственности. Это человеческий документ. Последнее можно сказать про любую книгу любого писателя, но есть произведения так и при таких обстоятельствах написанные, что степень этой личностной насыщенности выражена в них даже сильнее, чем в дневниках, автобиографиях и письмах.

А что касается народа или даже черни, пренебрежение к которой так задело Платонова, то в «Алых парусах» Грин па-

радоксальным образом высказал почти то же самое, что в это же время вырвалось в Дневнике у его современника Михаила Пришвина (тоже, кстати, Платоновым раскритикованного)*: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков»[197].

Именно туда, в «глубокую розовую долину», где нет мужиков и солдат, а есть музыканты, художники и подлинные аристократы духа — но не те, что жили в Доме искусств, а близкие Грину, маленькие, вроде музыканта из портового кабачка Циммера — отправляет автор своих героев. В утопию, противостоящую реальной жизни. Что они там станут делать, как жить, чем питаться — высшим, низшим — неважно. Главное — спасти, увезти ребенка отсюда. В 1939 году хорошо знающий, что такое утопия, разобравшийся с ней в «Чевенгуре» и «Котловане» Платонов от этой утопии отшатнулся, в каком бы виде она ни предстала. А народу служил, потому что в бытии народа видел высшую земную ценность. И подобно тому, как «без меня народ неполный», у Платонова — и я без народа ничто. Грин исходил из противоположного. Он в утопии видел единственную достойную человека действительность, а своих героев народу, даже черни в пушкинском смысле слова, как пишет, защищая Грина, Ковский, противопоставлял.

Грин и Платонов в этом смысле два полюса. Два антагониста и два ответа на вопрос — что делать, если с ужасом жизни душа не может мириться.

Об этом неплохо написал Каверин: «А. Грин и А. Платонов — писатели, о которых можно сказать, что они полярно противоположны друг другу... Платонов — воплощенье первоначального реального опыта жизни. Грин — воплощенье опыта литературного, обусловленного книжным сознанием. Платонов стирает привычные представления, Грин строит на них фантастические истории»[198].

Что бы ни писал В. Е. Ковский в оправдание Грина, Каперна в «Алых парусах» — конечно, народ. Точнее — и здесь

---

* В судьбах Грина и Пришвина, несмотря на пропасть различий, много общего: изгнание за дурное поведение из школы, революционная деятельность в молодости, тюрьма (очень тяжело пережитая), следующее за ней разочарование и отказ от революционных идей, скитания, поздний приход в литературу, полупризнание в литературе Серебряного века, «народобоязнь» в революцию, стремление к уединенности в советское время, противопоставление себя литературной среде и наконец попытка уйти в мечту: у Грина — в Гринландию, у Пришвина в 30-е годы — в Дриандию. У Грина — Юг, у Пришвина — Север, и у обоих Дом — как итог жизненного пути и последнее прибежище. Только у Грина все эти вехи резче обозначены, а беды больнее били.

Платонова можно было бы поправить: Каперна для Грина — это общество. Общага. Родительский дом с его сумбурным воспитанием, реальное Александровское училище, городское училище в Вятке, команда каботажного корабля, который перевозит не чай и пряности, а бочки с селедкой, Каперна — это ночлежные дома, бараки, золотые прииски, Оровайский резервный батальон с его муштрой и унижением, политическая партия с ее кровавыми приемами, симбирская лесопильня, архангельская ссылка, питерские кабаки, редакции идейно-толстых литературных журналов, где к Грину относились свысока, Красная армия, тифозный барак, это, наконец, Дом искусств с его сумасшедшими, оскорблявшими старомодного Грина нравами, и в этом обществе Грин больше жить не мог, что он к сорока годам окончательно понял и против чего поднял восстание. «У вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, это истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия, с ужасным мотивом...»

Он вложил эту фразу в уста старого, доброго и безответственного сказочника-провокатора и пьяницы Эгля, чьи слова о корабле с красными парусами, грозившие изуродовать жизнь Ассоль, пришлось исправлять аристократу Грэю, но это и взгляд на мир самого Грина, его итог.

Грин писал «Алые паруса» в те годы, когда ему негде было приклонить голову, когда рушился вокруг миропорядок, пусть им нисколько не любимый, — пришедшее на смену оказалось еще ужаснее. Он писал сказку о нищей, всеми обиженной и кажущейся безумной девочке, когда от него запирали буфет в доме его «кратковременной» жены, потому что он не мог ничего заработать литературным трудом; он взял эту рукопись с собой, когда, тридцатидевятилетнего больного, измученного человека, сына польского повстанца, его погнали на войну с белополяками умирать за совершенно чуждые ему, изжеванные идеалы, и можно представить, сколько горечи испытал бывший социалист-революционер, когда в нетопленой прокуренной казарме неграмотный комиссар просвещал его, профессионального агитатора, ненавидевшего революции и войны, светом ленинского учения о классовой борьбе и победе над мировой буржуазией. С этой тетрадкой он дезертировал, ее таскал с собой по госпиталям и тифозным баракам, с нею влюбился на потеху всему «Дому искусств» в Алонкину, которая и думать о нем не хотела, с мыслями об «Алых парусах» собачился с по-советски

вздорной обслугой Дома искусств и наперекор всему, что составляло его каждодневное бытие, верил, как с «невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла» в голодный Петроград войдет корабль с красными парусами, только это будет его, а не их красный свет. Он ни в одну свою книгу столько боли, отчаяния и надежды не вложил, и читатель сердцем не мог этого не почувствовать и Грина не полюбить и не простить ему несуразностей, вроде свадебной песни «Налейте, налейте бокалы — и выпьем, друзья, за любовь», которую, точно в нэпманском ресторане, исполняет ансамбль под управления Циммера, когда «Секрет» приближается к берегам Каперны, и истошного крика боящейся, что ее не возьмут на борт Ассоль: «Я здесь, я здесь! Это я!», да и всех прочих нелепостей.

Сорок лет Грин честно пытался войти в человеческое сообщество и не смог. Революция похоронила эти попытки и расставила все по местам. Она не просветлила его творчество, как наперебой писали современники, а затем почтенные литературоведы («Великий Октябрь и новый мир были безоговорочно приняты А. Грином... Сегодня уже не вызывает сомнения то, что “Алые паруса” явились прямой творческой реакцией писателя на Октябрь. Новая эпоха явилась для романтика осуществленной мечтой. Именно поэтому творчество его окрашивалось в революционно-романтический цвет, а оптимистические настроения становятся определяющим качеством его художнического мироощущения»[199]), но освободила Грина от обязанности в этом обществе жить: со строящим социализм народом ничего общего у него быть не могло.

Революция его как художника спасла. Она оправдала бегство Грина, придала ему смысл и даже некий героический ореол, к которому сам, совсем негероический, несмелый, мнительный, замкнутый, чопорный и стеснительный Александр Степанович Гриневский не стремился. Революция сделала его оппозиционером и инсургентом. Парадоксально, но еще недавно писавший верноподданные письма царскому правительству с клятвами, что ничего дурного против властей он более не замышляет и просивший его простить и строго не наказывать за грехи молодости, Грин вдруг нечаянно взлетел на «третий этаж» и не стал спускаться вниз. А попытался, пока не стреляют, петь оттуда свои красивые песни. И пел, потому что стрелять в него стали уже после смерти. Да и то — это разве стрельба?

Но главное — он был там теперь не один, на своем третьем этаже. С ним была — женщина.

Глава X
ПОРТРЕТ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

«Однажды, придя к Александру Степановичу без предупреждения, я нашла дверь в его комнату полуоткрытой. Я увидела на столе два прибора: тарелочки из папье-маше, бумажные салфеточки; стояла нехитрая закуска и немного сладкого. Лежала записка: "Милая Ниночка, я вышел на десять минут. Подожди меня. Твой Саша"».

Я поспешила уйти. Тщательность, с которой было приготовлено угощенье, напомнила мне первый год нашей любви. Я поняла, что ожидаемая женщина — новая серьезная любовь Александра Степановича»[200].

Так писала Калицкая в своих воспоминаниях. А Нине Николаевне Грин впоследствии рассказывала: «Прочла я эту записочку и не в пример предыдущим связям Грина, возбуждавшим мою брезгливость, вдруг почувствовала что-то настоящее. И стало мне тепло на сердце, что, наконец, этот трудный человек нашел для души. Очень хотелось на вас посмотреть, но боялась смутить вас и поспешно ушла, не оставив ему записку. А через несколько месяцев Александр Степанович нас познакомил, и в смутном предчувствии своем, что вы тот человек, который ему нужен, я утвердилась»[201].

Самому же Грину Вера Павловна наказывала в письме:

«Передавай мой сердечнейший привет и поцелуй милой Нине Николаевне. Право, это я вымолила тебе такую хорошую жену, потому и горжусь ею; береги ее, другой еще такой же не найдешь и 2-й раз молиться не стану»[202].

Они познакомились в 1917-м или самом начале 1918 года в Петрограде, где она работала в газете «Петроградское эхо», у Василевского. Грин показался ей похожим на католического патера: «Длинный, худой, в узком черном, с поднятым воротником пальто, в высокой черной меховой шапке, с очень бледным, тоже узким лицом и узким... извилистым носом». Лицо, как говорил он сам, было похоже на сильно измятую рублевую бумажку, а нос, «в начале формы рим-

ской — наследие родителя, но в конце своем — совершенно расшлепанная туфля — наследие родительницы», довершал запоминающийся портрет писателя, выглядевшего намного старше своих лет. «Лицо испещрено струящимися морщинами, так что в 38 лет, когда я познакомилась с Грином, он казался стариком»[203].

Ей было тогда 23 года, она закончила с золотой медалью гимназию, проучилась два года на Бестужевских курсах, и вряд ли хорошенькой петербургской молодой женщине из почтенной редакции такой герой пришелся по нраву: она была озорна, смешлива, чем-то очень похожа на Алонкину, а он в ее глазах — почти старик, угрюмый, некрасивый, побитый жизнью, и скрытое душевное обаяние его надо было уметь рассмотреть. К той поре она успела побывать замужем, хотя и не очень счастливо. Муж ее, студент-юрист, погиб на Первой мировой, в одном из самых первых боев, но она тогда еще этого не знала и по-прежнему считала себя несвободной. Знакомые Грина поэт Иван Рукавишников и его жена Клавдия Владимировна, заметив интерес Грина к молодой женщине, заботливо предупреждали ее: «Нина Николаевна, Грин к вам не равнодушен, берегитесь его, он опасный человек — был на каторге за убийство своей жены. И вообще прошлое его очень темно»[204].

Весной 1918 года она тяжело заболела, и мать отправила ее к родственникам под Москву. Перед отъездом в мае 1918 года у памятника «Стерегущему» Грин подарил ей свои не слишком уклюжие стихи.

Когда, одинокий, я мрачен и тих,
Скользит неглубокий подавленный стих,
Нет счастья и радости в нем,
Глубокая ночь за окном...
Кто вас раз увидел, тому не забыть,
Как надо любить.
И вы, дорогая, являетесь мне,
Как солнечный зайчик на темной стене.
Угасли надежды. Я вечно один,
Но все-таки ваш паладин.

Обещал к ней приехать, навестить, но не смог. Думал, ее уже нет в живых. Она же большого значения ни Грину, ни его стихам тогда не придала и впоследствии была этому очень рада. «Необходимо было каждому из нас отмучиться отдельно, чтобы острее почувствовать одиночество и усталость. А встретились случайно снова, и души запели в унисон»[205].

Столкнулись они в феврале 1921-го на Невском. За эти три года многое переменилось и в его, и в ее жизни. «Мокрый

снег тяжелыми хлопьями падает на лицо и одежду. Мне только что в райсовете отказали в выдаче ботинок, в рваных моих туфлях хлюпает холодная вода, оттого серо и мрачно у меня на душе — надо снова идти на толчок, что-нибудь продать из маминых вещей, чтобы купить хоть самые простые, но целые ботинки, а я ненавижу ходить на толчок и продавать»[206].

Она была теперь молодой вдовой, перенесла сыпной тиф и работала медсестрой в сыпно-тифозном бараке села Рыбацкого, а жила в Лигове и через Питер ездила на работу. Грин предложил ей заходить иногда к нему в Дом искусств, где было тепло и сухо. Вел он себя очень деликатно. И совсем не пил. Однажды, когда они были на концерте в Доме искусств и ей было поздно возвращаться в пригород, предложил переночевать у него в комнате, а сам куда-то ушел. Когда она пришла к нему в «Диск» в третий раз, поцеловал в щеку и, ни слова ни говоря, убежал. От волнения и неожиданности все закачалось у нее перед глазами, и она стояла посреди комнаты столбом до тех пор, пока в комнату не зашла в поисках сигареты поэтесса Надежда Павлович, у которой из-под юбки торчали штаны.

Было это как раз в те дни, когда совсем неподалеку от Невского, в Кронштадте, вспыхнул и был подавлен контрреволюционный мятеж, последняя серьезная попытка переменить ход русской истории. Именно о Кронштадте и говорили в маленькой комнате ее угрюмый хозяин, его гостья и поэтесса. Но что именно говорили и как относился к тем событиям Грин, неизвестно. Впрочем, если вспомнить, что секретарь Крупской, декадентская поэтесса и знакомая Блока Надежда Павлович, приехав однажды «с сигаретой в зубах» к оптинскому старцу Нектарию, стала его духовной дочерью, а в 1920 году обратилась к своей начальнице и тезке Надежде Константиновне с просьбой не расстреливать Нектария, и просьба эта была выполнена, то примерный характер разговора представить нетрудно. Известно также, что 8 марта 1921 года Грин писал Горькому в связи с арестом из-за кронштадтских же событий поэта Вс. Рождественского:

«Дорогой Алексей Максимович!

Сегодня по телефону сообщили в “Дом искусств” (по военной части), что арестован Вс. Рождественский, поэт. Он жил в Д. И. по последние дни, как и другие удерживался начальством в казарме. В чем он может быть виноват? Нельзя ли похлопотать за него, чтобы выпустили.

Преданный Вам А. С. Грин»[207].

Рождественского освободили, но до самой своей смерти он так и не узнал, что помог ему в этом Грин.

А 8 марта 1921 года было для Грина счастливым. За три дня до этого он предложил Нине Николаевне стать его женой. День она взяла на размышление и ходила по городу. «Ярко-красное солнце садилось к горизонту. От Кронштадта раздавалось буханье орудий»[208]. А про Грина судила так — «не было противно думать о нем»[209]. Но не более того. «Мой первый брак был очень несчастлив из-за ревности мужа»[210]. Второго она боялась, да и в самом Грине, если уж начистоту, говорила тогда не столько любовь к Нине Николаевне, сколько отчаяние — как раз в эти весенние дни Александр Степанович понял всю безнадежность своей любви к Алонкиной.

«Увлекся он самозабвенно. Понимая умом нелепость своего с ней соединения, свою старость в сравнении с нею и во внешнем своем облике, он горел и страдал и от страсти; страдания доводили его до настоящей физической лихорадки. А она увлеклась другим. И тут встретилась я, ничего не знавшая об этом. И все сдерживаемые им чувства и желания обернулись ко мне — он просил меня стать его женой. Я согласилась. Не потому, что любила его в то время, а потому, что чувствовала себя безмерно усталой и одинокой, мне нужен был защитник, опора души моей. Александр Степанович — немолодой, несколько старинно-церемонный, немного суровый, как мне казалось, похожий в своем черном сюртуке на пастора, соответствовал моему представлению о защитнике. Кроме того, мне очень нравились его рассказы, и в глубине души лежали его простые и нежные стихи»[211].

Итак, она согласилась, однако выговорила себе условие, что в любой момент может уйти. 7-го они поженились. Именно это слово Нина Николаевна употребляет в воспоминаниях, деликатно обозначая решающую перемену в их отношениях, сблизившую их не только физически, но и духовно.

«Он не однажды вспоминал ту минуту, когда мы с ним впервые остались вдвоем и я, лежа рядом, стала обертывать и закрывать его одеялом с той стороны, которая была не рядом со мной. "Я, — говорил Александр Степанович, — вдруг почувствовал, что благодарная нежность заполнила все мое существо, я закрыл глаза, чтобы сдержать неожиданно подступавшие слезы и подумал: Бог мой, дай мне силы сберечь ее..."»[212]

Именно эту дату они всегда отмечали как свою годовщину, хотя формально брак был зарегистрирован два месяца спустя, и все это время Грин и Нина Николаевна вместе не жили. Когда была свободна, она приходила в его комнату в

Доме искусств, о которой оставила свои женские, немного ревнивые воспоминания: «На полу во всю комнату простой серо-зеленый бархатный ковер. За шкафом вплотную такое же зелено-серое глубокое четырехугольное бархатное кресло. Перед ним маленький стол, покрытый салфеткой, узкой стороной к стене. За ним железная кровать, покрытая темно-серым шерстяным одеялом. Большой портрет Веры Павловны (стоит в три четверти, заложив руки за спину) в широкой светло-серой багетной раме — увеличенная фотография... На комоде — две фотографии Веры Павловны в детстве и юности, в кожаной и красного дерева рамках... собачка датского фарфора, длинноухий таксик, — подарок Веры Павловны»[213].

Все это ей предстояло стерпеть. Но была она целомудренна, по-женски горда и прошлая жизнь Грина ее не интересовала.

«— Хочешь все знать обо мне, мужчине? — как-то спросил он. — Я тебе расскажу.

Я отказалась. Мне не хотелось затенять светлую радость моих дней чем-то, что не всегда казалось чистым»[214].

За две недели до похода в загс Грин написал письмо Горькому с просьбой «осчастливить его содействием в получении где-либо 1-й бутылки спирта»[215], а сразу после бракосочетания 20 мая без особого сожаления покинул «сумасшедший корабль» и 11 июня поселился с Ниной Николаевной на Пантелеймоновской улице в доме 11. Так началась их общая жизнь, которой им было отмерено 11 лет. Впрочем, Грин больше верил в мистику числа 23*.

«Мы вскоре поженились, и с первых же дней я увидела, что он завоевывает мое сердце. Изящные нежность и тепло встречали и окружали меня, когда я приезжала к нему в Дом искусств. Тогда он не пил совершенно. Не было вина. А мне сказал, что уже два года как бросил пить. О том, что в те дни просил вина у Горького, я узнала после его смерти из писем, находящихся в Ленинградской публичной библиотеке»[216].

---

* «Все знаменательные даты своей жизни Александр Степанович приурочивал к цифре “23”, которую считал для себя счастливой: 23 августа 1880 года — его рождение; 23 июля 1896 года — отъезд в Одессу; 23 марта 1900 года — на Урал; 23 ноября 1894 года по новому стилю родилась я. Александр Степанович говорил: “Значит, ты судьбою была мне назначена”. 23 февраля 1921 года по старому стилю мы с ним поженились» (Воспоминания об Александре Грине. С. 394).

Но в то же время — 11 августа по ст. стилю Грин родился, 11 ноября 1903 года был арестован, 11 июня 1906 года бежал из Туринска. На 11-й линии Васильевского острова он жил в 1908 году с Калицкой и, 11 лет спустя, в доме Гинцбурга.

В их жизни было много разного — и дурного, и хорошего, все как у людей. Только если прочитать не приглаженные мемуары, опубликованные в 1972 году в книге, составленной Владимиром Сандлером (для своего времени книге очень хорошей, можно сказать, революционной — недаром она ни разу с той поры не переиздавалась), а подлинные письма и записи Нины Николаевны, значительная часть которых по сей день находится в архиве, можно увидеть, что и то и другое в своих проявлениях было чересчур крайним, далеким от середины. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Екатерина Александровна Бибергаль так не захотела, Вера Павловна Абрамова не смогла, Мария Владиславовна Долидзе, вероятно, просто ничего не поняла, Мария Сергеевна Алонкина не приняла всерьез, Нина Николаевна Короткова и захотела, и увидела, и смогла, и приняла. Трудное счастье быть женой любого писателя — но того, что выпало на долю Нины Грин, не доводилось переживать, пожалуй, никому из писательских жен. А ведь поначалу она даже не слишком его и любила.

В мае 1921 года он писал ей: «Я счастлив, Ниночка, как только можно быть счастливым на земле... Милая моя, ты так скоро успела развести в моем сердце свой хорошенький садик, с синими, голубыми и лиловыми цветочками. Люблю тебя больше жизни»[217]. Она же, не раз признававшаяся, что сошлась с Грином «без любви и увлечения в принятом значении этих слов, желая только найти в нем защитника и друга»[218], очень скоро писала ему совсем другое: «...Тебя благодарю, мой родной, мой хороший. Нет, не скажешь словом “благодарю” всего, что не может вместиться в душе, — за твою ласку, нежную заботу и любовь, которые согрели меня и дали мне большое, ясное счастье»[219].

А еще позднее в мемуарах так оценивала их встречу: «За долгие годы жизни коснешься всего, и из случайных разговоров с Александром Степановичем я знала, что в прошлом у него было много связей, много, быть может, распутства, вызываемого компанейским пьянством. Но были и цветы, когда ему казалось, что вот это то существо, которого жаждет его душа, а существо или оставалось к нему душевно глухо и отходило, не рассмотрев чудесного Александра Степановича, не поняв его, или же просило купить горжетку или новые туфли, как “у моей подруги”. Или же смотрело на Грина, как на “доходную статью” — писатель, мол, в дом принесет. Это все разбивалось и уходило, и казалось ему, что, может быть, никогда он не встретит ту, которая отзовется ему сердцем, ибо стар он становится, некрасив и угрюм. А тут, на наше счастье, мы повстречались»[220].

Их самая первая квартира, в которой, фактически изгнанные из Дома искусств, они поселились с подачи Шкловского, была нехорошей. Она принадлежала семье действительного статского советника Красовского: «Нам сдали самую большую комнату, в прошлом, должно быть гостиную, выходившую двумя окнами в стену, а потому полутемную. Обставлена она была чрезвычайно бездарно и бесцельно: большой рояль в углу, над ним реет желто-мраморный купидон, будуарный красный атласный диванчик, дешевый зеркальный трельяж и в широкой золоченой раме огромный портрет четы Красовских в подвенечных нарядах. Ни кровати, ни дивана, на котором можно было бы спать. Наш багаж был ничтожен: связка рукописей, портрет Веры Павловны, несколько ее девичьих фотографий, две-три любимых безделушки Александра Степановича, немного белья и одежды. Все. Мы всегда умели мириться с любой скромной обстановкой, но зато не со всякими людьми»[221].

Спали на полу, на набитых сеном матрасах, и белья было действительно так мало, что однажды хозяйка квартиры мадам Красовская, «сухая, небольшого роста старуха, претендующая на великосветский тон, не утратившая еще своего чиновничьего превосходства»[222], стала выговаривать матери Нины Николаевны Ольге Алексеевне Мироновой, куда-де та смотрела, отдавая дочь за нищего.

«Ведь у них даже настоящих постелей и простынь нет. Спят, как собаки, на полу. Это позор!»

Но Грин взял реванш: однажды ночью в дверь позвонили, вошли вежливые сотрудники ЧК в сопровождении весьма пожилой и почтенной дамы и произвели в квартире обыск. В комнате у вдовы были найдены обеденные и чайные сервизы, которые неизвестная дама признала своими. Оказалось, что то была княгиня Нарышкина, чье имущество после революции попало в Петроградский музей по охране памятников старины, а дочь Красовской, работавшая служительницей в этом музее, потихоньку перетаскивала княжеские вещи к себе домой.

Именно так со слов Грина рассказала эту историю Нина Николаевна, при обыске не присутствовавшая, и, судя по тому, что никаких репрессивных мер по отношению к расхитительницам народного достояния не последовало, Грин, скорее всего, эту историю придумал, чтобы утешить молодую жену, как придумал и множество других историй, утешивших впоследствии миллионы людей. Но в любом случае для своей единственной Нины он был очень заботливым мужем и с самого начала поставил дело так, чтобы его жена

ушла со службы и больше нигде не работала. Жена писателя — это уже профессия.

Был у них и свой медовый месяц. Даже не один. Все лето 1921 года Грин и Нина Николаевна прожили в загородном местечке Токсово, где за пуд соли и десять коробков спичек их впустил к себе в дом деревенский староста, финн с русским именем Иван Фомич. Каждый день они вставали на заре, ловили рыбу в озере под названием Кривой нож и приносили домой полную корзину окуней, плотвы, лещей, собирали грибы и ягоду, сушили, мочили, мариновали, солили. Иногда к ним приезжали из Петрограда соседи по «Диску» Пяст и Шкловские. В Токсове Грин заканчивал «Алые паруса» и начал свой первый роман «Алголь — звезда двойная» о петроградской разрухе, роман, который так и не был дописан.

«Роман ему не давался, — вспоминала Нина Николаевна. — Тогда он мне еще ничего не читал, а сидел, курил, думал, писал. Иногда говорил: “Не удается сюжет, опять все выбросил”»[223].

В это же время Грин писал в своих записных книжках в связи с Токсово: «Я заметил одно: как только моя жизнь начинала складываться тревожно, как только моя борьба за существование начинала принимать темные и безжизненные формы, тотчас воскресал детский бред Цветущей Пустыни. Она, издали, обещала отдых и напряжение, игру и поэзию.

Ходить с этим внутри себя было мне не смешно, но грустно, так как я хорошо знал, что не могу стронуться никуда, кроме окрестных дач. Одна из главных ошибок наших состоит в том, что мы ценим природу, насыщенную мечтами, и подходим с усмешкой карикатуриста к той, где живем. Между тем наша пригородная природа — есть мир серьезный не менее, чем берега Ориноко, и, быть может, задумчиво произнося имена неизвестных нам стран, мы смотрим за пределы земли...»[224]

Редкий случай, когда Грин так откровенно спорил со своими собственными мечтами и странами. Токсово действовало на него умиротворяюще и казалось спасением и выходом из холода и голода петербургских зим. Это касалось не одного его, а целого города. Как в блокаду ленинградцев спасали маленькие огороды, которые они вскапывали у себя во дворах, так в революцию кормили пригороды.

«Каждый вечер пригородный поезд Финляндского вокзала изливался шумной толпой, прибывающей, главным образом, из Тэ, Эль и По, — с букетами, связками и ворохами цветов. Можно было подумать, что разорен рай. Однако рай

оказался весьма практическим раем, если присмотреться к остальной ноше, часто весьма тяжелой. Это было царство женщин, выволакивающих из недр природы все съедобное, все годное на продажу. Жестянки с молоком, корзины ягод, грибов, вязки хвороста, ведра с полуживой рыбой, береста для растопки, шишки для самовара, — тысячи рук и плечей расползались по городским улицам, — согревать желудки и кипятить кипятки...»[225]

Природа дарила людям утешение и надежду. После ужасов революции к ней бросались как к матери, сколь бы банально последнее ни звучало.

Это было то дающее надежду на просветление лето 1921 года, о котором Анна Ахматова писала:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Это было то страшное лето, когда в Петербурге умер Блок, а несколько дней спустя был расстрелян Гумилев. «Блок казался жертвой, которую приносила Россия. Зачем? Никто не знал. Кому? Ответить никто не был в состоянии. Но что Блок был лучшим сыном России, что, если жертва нужна, выбор судьбы должен был пасть именно на него, — насчет этого не было сомнений...», — размышлял много лет спустя Г. Адамович[226].

«Удивительно, не то, что умер, а то, что жил. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось, — отделилось. Весь он — такое явное торжество духа, такой воочию — дух, что удивительно, как жизнь — вообще — допустила», — писала в 1921 году Марина Цветаева[227].

И Блока, и Гумилева Грин немного знал. С обоими было у него что-то общее. Что думал об их смерти — неизвестно. Но существует предположение, высказанное Ю. А. Первовой, что две эти смерти подтолкнули Грина начать работу над романом «Блистающий мир» о человеке, который может летать. И, возможно, слова Марины Цветаевой — косвенное тому подтверждение. Хотя В. Вихров в 60-е годы полагал,

что прообразом главного героя в «Блистающем мире» был лейтенант Шмидт. Каждая эпоха ищет свое...

Зимой 1921/22 года жили трудно, как и все, квартира была грязная и холодная. От голода спасал академический паек, и иногда Грин отправлялся на толкучку Александровского или Кузнечного рынков, где можно было обменять часть продуктов на мыло и спички. Но порой и пайка не хватало, чтобы обогреть огромную залу, и дрова приходилось воровать. Позднее все это отразится в его рассказах:

«Дрова... в те времена многие ходили на чердаки, — я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя».

Нина Николаевна вспоминает, как однажды их остановил с дровами и ножовкой милиционер (практически поймал с поличным).

«— Вы откуда? — спрашивает. У меня колени задрожали, а Александр Степанович так спокойно, спокойно:

— Да вот, товарищ, сейчас на Мойке обменяли эту дверь у каких-то мальчишек на хлеб, и сам не рад — еле несу, а живу тут рядом, на Пантелеймоновской.

— А не из этого дома? — показывает милиционер на дом, из которого мы вышли (дом, должно быть, находился в районе его наблюдения).

— Ну что вы, у нас же и силы на это нет!

— Ладно, идите, и только лучше не меняйте хлеб на двери, могут не поверить»[228].

«На Пантелеймоновской мы прожили до февраля 1922 года. Жилось по тогдашним временам материально скудновато, но, Бог мой, как бесконечно хорошо душевно. В ту зиму Грин еще не пил, наши души слились неразрывно и нежно. Я — младшая и не очень опытная в жизни, не умеющая въедаться в нее, в ее бытовую сущность, чувствовала себя как жена Александра Степановича, его дитя и иногда его мать»[229].

Потом стало легче. Если в 1920 году Грин не опубликовал ни строчки, а в 1921-м — всего два рассказа, то уже год спустя, с началом нэпа стали образовываться частные издательства, и у Грина вышло сразу несколько рассказов, которые вошли в его первую послереволюционную книгу «Белый огонь». Это позволило им оставить квартиру на Пантелеймоновской, где замерзли канализационные трубы,

и переехать на 2-ю Рождественскую улицу к интеллигентной старушке, имевшей отношение к Дому литераторов.

«Комната была маленькая, скудно обставленная — "студенческая", грязноватая, на пятом этаже, но зато светлая, с окном-фонарем на улицу. Переезд был несложен. Взяли у дворника салазки, в два фанерных ящика сложили наше имущество, а сверху положили большой портрет Веры Павловны. Александр Степанович вез салазки, я толкала их сзади. С этим отрезком жизни, сблизившим нас на будущее, трудном в бытовом отношении, но таким светло-душевным, было покончено»[230].

Молодая советская критика отнеслась к Грину немногим лучше дореволюционной. К. Локс писал в журнале «Печать и революция» в 1923 году: «Рассказы А. Грина — все об одном — в сущности, развивают одну и ту же тему. Их герой — неизменен... Большей частью это профессиональный отщепенец, какой-то своеобразный последователь Руссо XX века с плохо замаскированной сентиментальностью и явной нескрываемой любовью к природе.

Автор поместил этого странного героя в условную обстановку тропических морей, северных лесов, экзотических колоний. Почти у каждого — трагическое прошлое, — в настоящем только жажда, порыв...

Автор — превосходный стилист, очень умелый рассказчик, всегда сохраняющий твердую основу сюжета, к которому стянуты все нити повествования»[231].

Что тут скажешь? *E semper bene*, господа. И на том спасибо.

Самые лучшие из опубликованных рассказов Грина того времени — «Канат» и «Корабли в Лиссе». «Канат» — история о том, как некий циркач, канатоходец по имени Марч встречает в кафе очень похожего на него и при этом одержимого манией величия человека, называющего себя Амивелехом, жителем страны вздохов, посланным «Пророком Пророков ради страшного труда спасительного злодейства». В образе Амивелеха, от имени которого и идет рассказ, есть что-то от безумных героев Гоголя и Сологуба с примесью ницшеанства, которое испытали на себе, кажется, все творцы Серебряного века, в том числе и Грин. Это было особенное, философское безумство, которым и пользуется Марч. Он предлагает, а точнее провоцирует несчастного выступить вместо на себя на площади Голубого братства (название ее отсылает к рассказу «Капитан Дюк», где «голубыми братьями» именовали себя сектанты во главе с братом Варнавой), чтобы потом, после его неизбежного падения и смерти получить страховку. Выходит что-то вроде вариации на тему

«гений и злодейство», причем злодейство настоящее, а гений — нет.

Наиболее захватывающая часть этого рассказа представляет собой движение Амивелеха над собравшейся на площади толпой. Поначалу, покуда лжеканатоходец, впервые в жизни сделавший шаг над пропастью, воображает себя сверхчеловеком, он движется по канату, но неожиданное происшествие в толпе, где поймали карманного воришку, возвращает его от болезненной мечты к действительности, и герой понимает, что он не более чем «лунатик, разбуженный на карнизе крыши», «чиновник торговой палаты Вениамин Фосс над грозно ожидающей пустотой, в костюме канатоходца, с головокружением и отчаянием».

С этого мгновения, этого перехода от одного состояния к другому, что так часто встречается у Грина, дальнейшие шаги Амивелеха-Фосса оказываются поединком с толпой. которая хочет видеть его падение, и так возникает еще один классический мотив гриновской прозы: герой и толпа.

«Меня попросту желали видеть убитым. Началось это глухо и спрятанно, как чирканье спички поджигателя, опасающегося произвести шум. Желающие не хотели желать. Они рассматривали свои черные мысли, как неответственную игру ума. Однако хотение это было сильнее принципов гуманности. Раздвигая корни, оно укреплялось в податливом состоянии душ с неуклонностью вожделения. Его зараза действовала взаимно среди всех, объединенных раздражающей зрительной точкой — мной, могущим потерять равновесие. Я читал: “Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы, в сущности, явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты. Ты становишься против всех. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания. Надо бы тебе зашататься, перевернуться и грохнуться. Мы будем стоять и смотреть — надеяться. Мы желаем волнения, вызванного твоим падением. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь, кто-то все-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же... ну!.. Падай, а не ходи! Падай!”»

Он падает, и в последний момент двое помощников Марча успевают его спасти. Но жизнь его, подобно жизни Галиена Марка, превращается после этого в возвращенный ад. «Я слышу: “Падай!” — всякий раз, когда при мне произносят сколько-нибудь заметное, отрешившееся в особую жизнь имя. Между тем я очень люблю людей. Их неудержи-

мо страстное отношение к чужой судьбе заставляет внимать различного рода рукоплесканиям с пристальностью запоздавшего путника, придерживающего пальцем спуск револьвера. Кислота, а не помада заставляет блестеть железо».

В «Канате» герой оказывается повержен толпой, в «Блистающем мире» Грин покажет сначала победу героя, а потом такое же падение. Но уже насмерть. Этот конфликт неизбежен и трагичен. Он присутствует почти в каждом произведении Грина и до революции, и после, и в этом смысле революция ничего не изменила — это его вечная тема, его тяжба и вражда с обществом, начиная с самых детских лет, и герой его погибает даже тогда, когда у него нет видимых врагов и он, напротив, окружен друзьями, которым приносит счастье. Именно о таком приносящем удачу человеке, лоцмане Битт-Бое написал Грин в одном из самых поэтических своих произведений — рассказе «Корабли в Лиссе».

По воспоминаниям Нины Николаевны, этот рассказ был написан еще в 1918 году, но рукопись пропала в редакции какого-то журнала, и четыре года спустя неожиданно отыскалась, что стало большой удачей и для Грина, и для русской литературы.

«Это один из лучших моих рассказов, — радовался Александр Степанович, — было бы жаль, если бы он пропал бесследно, так как вторично такого рассказа не напишешь»[232].

«Корабли в Лиссе» — светлая, лишенная плакатности и помпезности «Алых парусов» и жесткой драматургии «Каната» новелла. Это объяснение любви Грина к своим героям, подданным своей страны, не имеющим ничего общего со злыми и тучными обитателями ядовитой, кислотной Каперны.

Когда лоцман Битт-Бой обращается к четырем капитанам, оспаривающим право выйти с ними из гавани Лисса, за его словами стоит сам Грин: «И как мне выбирать среди вас? Дюка? О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и, чтобы всем сказать: нате вам! Согласный ты с морем, старик, как я... А вы, Эстамп? Кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю Эстампа, есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты — “Я тебя знаю”, Чинчар, закоренелый грешник — как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой?.. Двадцать лет разделило вас да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны: всех вас люблю. Капер, верно шутить не будет, однако — какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя».

«Корабли в Лиссе» — вещь радостная и одновременно печальная, потому что в конце рассказа выясняется, что Битт-Бой тяжело болен, ему осталось жить всего чуть-чуть, и поэтому он оставляет любимую девушку, которая ждет от него ребенка. Так опять всплывает мотив жизни-смерти, и последняя выступает в роли врага человеческого счастья, забирая самых лучших, чей ранний уход есть плата за удачу, которую они приносят людям.

Ю. Первова и А. Верхман высказывают предположение, что этот рассказ посвящен Горнфельду: «В августе 1918 года Грин поехал в Петроград с рукописью законченного рассказа; он поспешил к Горнфельду, чтобы прочесть то, что по праву должно было быть посвящено ему — лоцману в литературе, который уверенно вел таланты, оберегая их от рифов, мелей и бурь, как вел он самого Грина.

Догадался ли критик, что он — прототип удачливого лоцмана? Вряд ли Грин сказал ему об этом сам — ведь герой его рассказа смертельно болен.

Александр Степанович простился с Горнфельдом в отосланном перед отъездом письме:

"20. VIII. 1918. ...Завтра я уезжаю из круга уродливой жизни когда-то обворожительного города Санкт-Петербурга.

...Позвольте с искренним, теплым чувством пожать Вашу руку джентльмена, писавшую и пишущую лишь по части тончайших проникновений.

...Остаюсь с исключительным к Вам уважением, с признательностью и с живым чувством духовности Вашей.

Ваш покорный слуга

А. С. Грин"[233].

Судя по приподнятому тону письма, рассказ, привезенный Горнфельду, был им горячо одобрен»[234].

Трудно сказать, так это или не так. Но в любом случае «Корабли в Лиссе» — это программа гриновского романтического консерватизма, его оппозиционности даже не советскому режиму, а всему ходу истории человечества, тому несчастному общему его земному пути, который впоследствии академик И. Р. Шафаревич определит, как «две дороги к одному обрыву». Грин двигался от этого обрыва вспять.

«Раз навсегда, в детстве ли или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо... в одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наив-

ны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей — вагону; свечу — электрической груше; пушистую косу девушки — ее же хитрой прическе, пахнущей горелым и мускусным; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании».

Вслед за этим контрреволюционным объяснением в любви к старым вещам и старым понятиям — и это в 1922 году! — следовало описание города Лисса, и лишь за него Грина можно смело включать во все хрестоматии и учебники, оставив споры о том, к какому ряду или разряду он как писатель принадлежит:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен: где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс. Здесь две гостиницы: "Колючая подушка" и "Унеси горе". Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани — в буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела "Унеси горе". С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему

“Колючая подушка” остановилась как вкопанная среди гиблых оврагов, а торжествующая “Унеси горе” после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.

Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер, ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь».

Эта выдуманная страна, в которой все чаще происходило действие рассказов и романов Грина, написана так, что кажется реальнее самого реального мира. Грин любовно открывал, продумывал и исследовал ее; строил города, прокладывал дороги, наполнял ее реками и омывал морскими заливами, в ее гавани и порты заходили корабли, причем, как уже говорилось, в Лисс — только парусные. Он населял свою страну самыми разнообразными людьми, творил ее историю — он был ее волшебником, демиургом, богом и верил в ее существование так, как верила в сказку про корабль с алыми парусами его маленькая героиня.

Замечательное свидетельство приводит о Гринландии в своих мемуарах Э. Арнольди: «Меня эта страна всегда интересовала, и, понятно, я не раз старался выведать подробности о ней. Грин с готовностью отвечал на мои расспросы. Он уверял меня, что представляет себе с большой точностью и совершенно реально места, где происходит действие его рассказов. Он говорил, что это не просто выдуманная местность, которую можно как угодно описывать, а постоянно существующая в его воображении в определенном неизменном виде. В доказательство он приводил мне разные примеры, которые я, конечно, позабыл. Но один из подобных разговоров мне хорошо запомнился, наверное потому, что произвел большое впечатление своей необыкновенной убедительностью.

Однажды, когда я высказал какие-то сомнения по поводу способности Грина представлять себе свою воображаемую страну в одном и том же виде, он вдруг резко повернулся ко мне (мы шли вдвоем по улице) и каким-то очень серьезным тоном сказал:

— Хочешь, я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в...

Он назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уже не помню, какое именно. Разумеется, я сразу

же выразил желание услышать во всех подробностях о такой прогулке. И Грин стал спокойно, не спеша, объяснять мне, как объясняют хорошо знакомую дорогу другому, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях: указывал на ориентирующие предметы вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и т. п. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой... и замолчал.

Я слушал в крайнем удивлении, чрезвычайно заинтересованный. Я не знал, надо ли этот рассказ понимать как быструю импровизацию, или мне довелось услышать описание закрепившихся на самом деле в памяти воображаемых картин. После краткой паузы Грин, словно догадываясь о моих сомнениях, сказал:

— Можешь когда угодно спросить меня еще раз, и я снова расскажу тебе то же самое!..

Я пригрозил воспользоваться его разрешением, на что он ответил так, как отвечают ребенку, удивленному умением взрослых делать что-то общеизвестное и всем понятное. А я оставался в сомнении, следует ли попытаться проверить услышанное, или это может оказаться бестактным? При последующих встречах я не смог решиться задать Александру Степановичу интересовавший меня вопрос. Но через некоторое время, в какой-то подходящий момент, я напомнил о его обещании еще раз описать дорогу из Зурбагана.

Грин отнесся к моему вопросу так, словно я спрашивал о самом обыденном. Не спеша и не задумываясь, он стал говорить, как и в прошлый раз. Конечно, я не мог с одного раза с достаточной точностью запомнить все детали этого пути и их последовательность. Но по мере того как он говорил, я вспоминал, что уже слышал в прошлый раз, об одном — совершенно ясно, о другом — что-то похожее. Во всяком случае, Грин, безусловно, говорил не теми же словами, как заученное. Дойдя до какого-то места, он спросил:

— Ну как — хватит или продолжать?

Я ответил, что должен полностью признать его правоту, на что он заявил о готовности повторить свой рассказ еще раз, если у меня явится желание послушать. После этого я уже не возвращался к вопросу о зурбаганской дороге...»[235]

Но если с географией Гринландии все было более или менее понятно, то с историей ее оказалось намного сложнее. Вымышленные страны и города первым придумал не Грин. Они встречались у многих писателей, от утопистов Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы до Джонатана Свифта с его Гулливером и Анатоля Франса с «Островом пингви-

нов». В русской литературе девятнадцатого века это был Салтыков-Щедрин, в двадцатом — Платонов («Город Градов») и Чаянов, правда, у них действие происходило в России. Но во всех этих произведениях (за исключением разве что «Чевенгура») преследовалась некая нравоучительная, часто сатирическая цель — показать, как надо или же как не надо жить. У Грина хотя и можно встретить подобные интенции в «Алых парусах», но они касаются конкретного эпизода, а не всей его волшебной страны.

Гринландия — это и не пародия, и не утопия, и не сатира, и не космополитический рай, и не какая-то новая реальность. Даже современные попытки сравнить ее с волшебными мирами Толкиена и Льюиса выглядят натяжкой и попыткой нанести «ответный удар» с целью создать отечественное фэнтези. Гринландия — это Гринландия, и к этой формуле добавить нечего. В советской литературе двадцатых годов Грин был не единственным писателем, переносившим действие своих произведений в условный или не условный капиталистический мир. Нечто подобное можно найти у И. Эренбурга, Б. Лавренева, М. Шагинян, А. Толстого, А. Беляева, К. Федина, у Олеши в «Трех толстяках», не говоря уже об авторах менее известных — В. Гончарове, Н. Борисове, И. Куниной, Ю. Потехине. Но все это делалось с политическими целями: показать борьбу рабочего класса (народа) за свое освобождение (против богачей). У кого-то выходило талантливее, у кого-то все к этой борьбе сводилось, у иных она выступала лишь фоном, как у Олеши, а у некоторых при желании можно было найти сатиру на революцию, как у Эренбурга. Но для всех революция — свершившийся факт. У Грина же ее просто нет, если не считать маленького, полузабытого рассказа «Восстание» и, может быть, рассказа «Огонь и вода», правда, он был написан в 1916 году, и герой, будучи политическим оппозиционером, к пролетарской революции никакого отношения не имеет. Да и рассказ его о любви, а не о политической борьбе.

Социалистической революцией, этим главным событием в истории XX века, в Гринландии и не пахнет. Ее нет настолько, что когда уже в 60-е годы снимался фильм по «Алым парусам», сценаристы буквально впаяли туда сцены рабочих волнений в Зурбагане, что смотрелось весьма неправдоподобно. Впрочем, это была не первая попытка революционизировать Грина.

В Гринландии есть богатые и бедные, добрые и хорошие, бесчестные и благородные, есть продажные газеты, игорные дома, отвратительные капиталисты, тюрьмы, полицейские,

театры, бесчеловечная техника — есть все. И только революционный рабочий класс, возглавляемый своим передовым отрядом, красноречиво отсутствует. Но именно Гринландия, по этой ли или иной причине, лучше всех уцелела от того пестрого времени и дошла до нас. И когда критик А. И. Роскин утверждал, что «страна гриновских новелл и повестей не выдержала самого краткого испытания временем — она предстает ныне обесцвеченной, точно декорация при дневном свете»[236], дело обстояло совсем напротив: испытания временем не выдержала изничтожавшая Грина критика, а вовсе не он сам. Мариэтта Шагинян напрасно сожалела: «Несчастье и беда Грина в том, что он развил и воплотил свою тему не на материале живой действительности, — тогда перед нами была бы подлинная романтика социализма, — а на материале условного мира сказки, целиком включенного в ассоциативную систему капиталистических отношений»[237]: нежелание Грина вмешиваться в «живую действительность» было его счастьем и спасением.

Хотя, впрочем, вот поразительная вещь: в середине двадцатых годов за пренебрежение и высокомерное игнорирование Великого Октября и романтики социализма, за пресловутое бегство от советской действительности Грина особенно не клевали и даже широко издавали. Легкие уколы А. Меча («это удивительное упорное какое-то несоответствие, отсталость от жизни»[238]), равно как и выпады, причем не лишенные основания, С. Динамова («рассказы Грина сделаны в обычном для этого писателя плане — в отрыве от времени и, пожалуй пространства... он безнадежно далек от нашей современности»[239]) не в счет*. Особенно по сравнению с тем, как доставалось другим, как более, так и менее просоветски настроенным.

---

* См. также у Ю. Первовой и А. Верхмана: «В “Правде” от 23 октября была опубликована статья известного журналиста Зорича, а в “Известиях” рецензия Б. Арватова на один и тот же недавно вышедший сборник “Гладиаторы”.

“...Грин пишет вне жизни — вне времени и пространства, вне стран, классов и быта; рассказы его фантастичны, люди его кажутся придуманными, ...обстановка действия нереальна... Рассказ не увлекает, не интригует, не захватывает”.

“...На этой книжке, — вторит в “Известиях” Арватов, — как-то неожиданно и неприятно убеждаешься, что Грин все выдумывает: герои его ‘Гладиаторов’ даны вне времени и пространства.

...Книгу закрываешь с неудовольствием и досадой. До сих пор, читая Грина, не приходилось думать, в какое время живут описываемые им люди, а голая выдумка исчезала за интересным, развернутым сюжетом. ...Новая же его книга не удовлетворяет”» (Грин и его отношения с эпохой).

Всерьез, как за врага за Грина взялись, когда его уже не было в живых. Он протащил свою кричаще несоветскую, внереволюционную прозу в революционную советскую литературу примерно таким же манером, как капитан Грэй по остроумной, хотя и не состоятельной догадке его помощника Пантена провез под видом цветных парусов контрабанду красного шелка. «Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!»

Грин издал при жизни почти все! Пусть некоторые вещи в конце 20-х годов шли с большим трудом, но напечатаны они все же были. Этим не могли похвастать ни Булгаков, ни Платонов, ни Пришвин, ни Вс. Иванов, ни Замятин, ни Пильняк.

Восемнадцать лет должно было пройти после смерти Грина, чтобы борец с космополитами, опытный таможенник Виктор Моисеевич Важдаев возмущенно воскликнул в январском «Новом мире» за 1950 год: «Нелишне приглядеться к своеобразному культу Александра Грина, третьестепенного писателя, автора "фантастических романов" и новелл, писателя, которого в течение многих лет упорно воспевала эстетская критика. 350 произведений — то есть все, что было написано Грином, — было напечатано. Всего было издано 64 книги этого автора! Из них — 8 названий романов и повестей и под разными названиями 46 книг рассказов... "Чистая" фантазия, как мы видим, является отнюдь не уходом от борьбы, а ее *формой.* Не только признать — *констатировать* революцию А. Грин не хотел. Он превратил "формулу умолчания" в свой творческий метод. Он пытался "закрыть" революцию, сделав вид, что ее как бы и не было». И чуть дальше: «Легенда о слабой воле, тонкой духовной организации А. Грина весьма любезна сердцу его почитателей, но не соответствует делам А. Грина. Поистине нужно было иметь упорную, злую волю, для того чтобы много лет подряд — как это делал А. Грин — вопреки революционной действительности, вопреки героической жизни советского народа вести идейную борьбу с действительностью, пропагандировать реакционнейшие космополитические буржуазные теории, раздваивая мир, деля его на грубую реальность и "иррациональную мечту", на сбывшееся и несбывшееся!»[240]

И почему только говорят, что «вульгарно-социологический» метод не имеет никакой ценности? Кто еще так ясно и доступно объяснил то главное, что было в Грине советского времени? Ну разве что критик А. Роскин, писавший в середине тридцатых: «"Фигура умолчания" в творчестве Грина приобретала с каждым годом существования Советской страны все более выразительный характер. Каждая новая

вещь Грина превращалась в глухую тяжбу с советской действительностью, с революцией...»[241].

Или почтенный муж, академик Корнелий Зелинский, который несколько мягче, но по сути так же верно писал о Грине в 1934-м: «Он вел постоянную тяжбу с жизнью действительной, он оглядывался, он оправдывался, он постоянно вел неуловимую линию противопоставления, которому хотел придать значение моральное... Грин не просто мечтатель. Он — воинствующий мечтатель»[242].

И продолжал: «Грин, в сущности, никогда не был с революцией. Он был случайным попутчиком в ней. Одинокий бродяга, люмпен-пролетарий, "галах". Боками изведавший нары и ямы российской азиатчины, внутренне слабый, лишенный чувства класса и даже коллектива, Грин, проходя по низам, был тем сказочником, утешителем, горьковским актером, но никогда организатором и борцом. Жизнь его "довнула" беспощадно и крепко и из столкновения с ней он вынес для себя одну истину: уйти»[243].

Только надо уточнить, что последними «довнули» его все-таки большевики. Товарищи. Больнее всех. И уходил он от них.

Нельзя сказать, чтобы они не пытались его догнать, переделать, приспособить под себя, на худой конец хоть каким-нибудь боком использовать в своем хозяйстве. Весной 1923 года на экраны вышел художественный фильм «Поединок», к Куприну никакого отношения не имеющий, а снятый по раннему рассказу Грина «Жизнь Гнора». Грин об этом ничего не знал и, по воспоминаниям Нины Николаевны, однажды увидел большую афишу, где упоминалось его имя. А кино он очень любил. Это чувствуется даже в самых первых рассказах, например, в том, где герой видит на экране кинотеатра любимую им и давно утраченную в реальной жизни женщину (рассказ «Она»). Или в замечательном рассказе «Как я умирал на экране», герой которого, будучи доведенным до нищеты, принимает предложение застрелиться перед камерой за 20 тысяч условных единиц (валюта в рассказе не названа), но его товарищ по имени Бутс отговаривает его: «Как? Хладнокровно вертеть ручку гнусного ящика перед простреленной головой? Друг мой, и так уже кинематограф становится подобием римских цирков. Я видел, как убили матадора — это тоже сняли. Я видел, как утонул актер в драме "Сирена" — это тоже сняли. Живых лошадей бросают с обрыва в пропасть — и снимают... Дай им волю, они устроят побоище, резню, начнут бегать за дуэлянтами».

Бутс инсценирует свою смерть, и эта инсценировка производит на хозяев киностудии куда более сильное впечатление, чем если бы он застрелился на самом деле: «Я видел, как действительно застрелился один человек, и, знаешь, в этом было не много выразительности. Он просто выстрелил и просто упал, как пласт. Подражание правдивее жизни, но “Гигант” еще не дорос до такого, милый мой, понимания».

Последнее вообще можно считать творческим кредо Грина, которому принадлежит афоризм «жизнь — это черновик выдумки», и легко представить, как обрадовался писатель, когда его собственный рассказ был экранизирован.

«Вот чудеса-то! — воскликнул Александр Степанович. — Без меня меня женили. Интересно. Пойдем посмотрим. И какой ведь хороший, именно для кино рассказ выбран».

Это до просмотра. А вот что было после:

«Как оплеванные, молча, мы вышли из кино. Грина никто не знал, а ему казалось, что все выходящие из кино, смотря на него, думали: “Вот этот человек написал длинную повесть, которую противно смотреть”»[244].

Нина Николаевна описывает свои впечатления от увиденного уклончиво и довольно сумбурно: «Все в целом представляло собою антихудожественную вульгарную смесь южных, видимо, кавказских пейзажей, сентиментальных, вымышленных переживаний и современности», но изданная в 1969 году «История кино» лаконично и точно повествует об этом произведении искусства: «В сценарии и фильме любовный колорит был заменен социальным. Энниок выступал в качестве фабриканта, Гнор — рабочего, ставшего инженером. Любовное соперничество ушло на второй план. В решающем эпизоде происходит игра в карты между вдохновителем бастующих рабочих Гнором и капиталистом Энниоком; ставкой в этой игре является жизнь проигравшего. Действие картины развивается на необитаемом острове, куда Энниок, чтобы избавиться от врага и соперника, посылает Гнора искать руду. В финале Энниока убивают восставшие рабочие»[245].

Как деликатно выразился по этому поводу Е. А. Яблоков, «нам не довелось видеть фильма “Поединок”, однако даже простое сопоставление этого резюме с действительным сюжетом гриновского рассказа заставляет думать, что слово “халтура” не будет слишком резким — по крайней мере, по отношению к работе сценариста»[246].

Впрочем, и тогдашняя критика «Поединок» не приняла. Об этом пишет В. Е. Ковский: «В рецензии на фильм справедливо отмечалось, что от сильного “подкрашивания” сю-

жета революцией “не выиграла ни основная фабула, ни революция”»[247].

Что касается самого Грина, то он был вне себя от возмущения.

«На следующий день Александр Степанович отнес в вечернюю “Красную звезду” заметку, в которой требовал изменения заглавия “драмы” и снятия своего имени. В редакции были удивлены:

— Чего вам, Александр Степанович, беспокоиться. Все же это реклама.

— Я считаю такую рекламу оскорблением и предпочитаю обойтись без нее, — сердито ответил Грин»[248].

Заметку так и не напечатали.

Возможно, именно после этого случая Грин вложил в уста одного из своих персонажей весьма презрительную оценку кинематографа как вида искусства: «Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления — все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, — так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет».

Грин не вписывался в советскую жизнь ни с какой стороны: «Принимайте меня таким, каков я есть. Иным я быть не могу. Есть много талантливых людей, с радостью пишущих о современности, у них и ищите того, что просите у меня»[249].

«Когда его просили высказаться на каком-либо собрании, он угрюмо буркал под нос:

— Простите. Говорить умею только с пером в руке»[250].

«Александр Грин умел внушать страх иным людям. Он умел отвечать резко, сговорчивостью и ложным добродушием не отличался. И в литературе он был несговорчив, упрямо, от книги к книге, прокладывая свой, особый путь. В нем долго жило убеждение, укоренившееся с дореволюционных лет, что только на себя и можно полагаться.

Один поэт, решив использовать Грина для своей группировки, адресовался к нему как к родственному якобы этой группе писателю.

— Объединитесь с нами, — предложил он.

— Нет, — с тихой яростью ответил Грин и прошел мимо»[251].

Точно так же он прошел мимо всего, что могло осквернить его литературное достоинство.

Это уже позднее, в тридцатые годы, Паустовский, Грина очень любивший и много сделавший — как прежде говорилось — для пропаганды его творчества, напишет слова, которые обязательно повторялись во всех книгах о Грине советского времени как момент истины: «Революция пришла не в праздничном уборе, а пришла, как запыленный боец.... Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел»[252].

Тут сразу три неправды. Грин умел ждать, вся его жизнь была не чем иным, как ожиданием чуда, и именно о таком ожидании он написал в «Алых парусах». И знал, что чудо не расцветает, а делается своими руками. И то, что революция придет не в праздничном уборе, а зальет страну кровью, знал тем более — даром что ли он пробыл несколько лет в партии социалистов-революционеров. Но главное даже не это: во всей его прозе, письмах, черновиках — нет ни строчки, говорившей о его малейшей гипотетической симпатии к социалистическому строю.

Вульгарно-социологическая критика была честнее либеральной: никаких попыток стать советским писателем Грин не предпринимал, если только не считать написанной в конце жизни «Автобиографической повести», да и то, при всем отрицании старой жизни, никаких реверансов в сторону новой в ней нет. А за то, что позднее, в 60-е годы, его запишут с самыми добрыми чувствами в советские писатели и романтики социализма наши лучшие гриноведы, Грин ответственности не несет, подобно тому, как, по меткому и печальному выражению Бориса Пастернака, Маяковский неповинен в том, что его стали, точно картофель при Екатерине, принудительно вводить во времена Сталина.

«Октябрь открывает А. Грину безграничные перспективы в утверждении эстетического идеала. Романтик всем существом своим ощутил историческую новизну социалистической яви и скоро осознал бесповоротную обреченность извечной романтической антиномии: противоречия идеала с действительностью. Открывалась блистательная возможность для утверждения осуществленного идеала»[253], — утверждал Н. А. Кобзев.

«*Переход от формулы "человек с человеком" в формулу "человек для человека", сопровождающийся изживанием прежнего скептицизма, общим просветлением взгляда на мир, а также сильнейшим приливом творческой энергии, и был главным, принципиальным итогом развития гриновской концепции чело-*

века, итогом, в подведении которого огромную роль сыграла социалистическая революция. Писатель не изобразил ее непосредственно, как не изобразил непосредственно и других реальных событий эпохи. Но ее великое гуманистическое, созидательное начало проникло в святая святых творческого метода Грина и ускорило происходившие здесь процессы органической перестройки. Все наиболее значительные произведения Грина написаны после Октября. Трагическая безысходность "Окна в лесу" и "Рая" сменилась ослепительным ликованием "Алых парусов". Их цвет, невзирая на отрицание писателем какого-либо "политического, вернее — сектантского значения", был отблеском зарева революционных преобразований»[254], — писал Вадим Ковский, самый глубокий и объективный из наших гриноведов, которому как раз за эту объективность часто и доставалось.

Что на это сказать? «После» не значит «потому что». Творчество Грина просветлело не благодаря революции, а вопреки ей, просветлело по иным причинам и очень ненадолго. В оценке Ковского, вернее всего, сказалась эпоха шестидесятничества с ее иллюзиями и надеждами, стремлением к социализму с «человеческим лицом», и в Грине тогдашняя интеллигенция искала и находила союзника.

«Появившись вновь на книжных прилавках в 1956 году, произведения Грина не просто вернулись к ожидавшему их читателю, но прозвучали особенно сильно в обстановке общественного подъема, переживаемого страной. Благотворные процессы роста общественного сознания, подъем чувства личности, усиление внимания к внутреннему миру человека, вопросам этики, эстетическому идеалу — все это способствовало обострению внимания к романтическому направлению в искусстве вообще и к творчеству в частности... Гриновская концепция человека поразительно соответствует обостренному интересу наших современников к проблемам нравственного и эстетического идеала, проблемам, выдвинутым на первый план, как мы уже упоминали, определенными сдвигами в общественной жизни страны за последнее десятилетие»[255].

Стремление использовать Грина в качестве союзника в борьбе с культом личности, опираясь за здоровые силы в обществе и партии, исторически понятно, но сам Грин тут ни при чем. Реальные факты говорят о том, что он не принял советскую жизнь и эту литературу еще яростнее, чем жизнь дореволюционную: он не выступал на собраниях, не присоединялся ни к каким литературным группировкам, не подписывал коллективных писем, платформ и обращений в ЦК

партии, рукописи свои и письма писал по дореволюционной орфографии, а дни считал по старому календарю. Он не ездил в писательские поездки и командировки, не участвовал в дискуссиях, этот фантазер и выдумщик — говоря словами писателя из недалекого будущего — жил не по лжи, был одинок и твердо знал, что его внутренний мир интересен лишь немногим.

Если С. Есенин искренне, нет ли, писал в 1923 году в «Известиях»: «Я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в своих поэмах, я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве»[256], ничего похожего у романтика Грина не найти.

Все вышесказанное не следует понимать как апологию Грина. У всякой медали две стороны, и в неприсоединении Грина были свои провалы, о которых речь впереди. Но только он не был и тем счастливцем, который спрятался в «башню из черного дерева», заполз, как улитка, в свой домик в Гринландии и там блаженствовал в мире выдумки и мечты. У него была тяжелая, мучительная жизнь, хотя причины его страдания лежали не столько в окружающем его несовершенном, населенном бескрылыми людьми мире, сколько в нем самом. Грин был не просто противоречивым человеком, в его душе уживались вещи несовместимые, и, быть может, от своего «раздрая» он страдал куда больше, чем от всех ужасов и дореволюционной, и послереволюционной России, и этого надлома мы еще коснемся.

О его действительном самочувствии в советскую пору и в среде советских писателей очень хорошо написал Вл. Лидин:

«Бледный, уставший и одинокий, мало кем из московских литераторов знаемый в лицо, он сидел один на скамеечке.

— Александр Степанович, может быть, вам нехорошо? — спросил я, подойдя к нему.

Он поднял на меня несколько тяжелые глаза.

— Почему мне может быть нехорошо? — спросил он в свою очередь. — Мне всегда хорошо.

Я ощутил, однако, в его словах некоторую горечь.

— У Грина есть свой мир, — сказал он мне наставительно, когда я подсел к нему. — Если Грину что-нибудь не нравится, он уходит в свой мир. Там хорошо, могу вас уверить»[257].

В начале двадцатых он уходил в свой первый роман. В «Блистающий мир», где главным персонажем стал летающий человек.

Глава XI
БОГОИСКАТЕЛЬСТВО

«Блистающий мир» — книга не столь очевидная, как «Алые паруса», и не слишком простая для толкования, но из всех романов Грина — пожалуй, самая интересная и наиболее насыщенная литературными ассоциациями.

Она состоит из трех частей. Первая называется «Опрокинутая арена». Главные ее герои — мужчина и женщина: Человек Двойной Звезды по имени Друд и Руна Бегуэм — племянница всемогущего министра Дауговета, в чьем огромном доме «можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой».

Имена раздражают. Надо признать, что имена Грин выдумывал отвратительно, с ними просто беда, их неловко повторять. Горн, Гнор, Друд, Крукс, Торп — просто ужас какой-то.

Итак, Руна и Друд*.

Поначалу кажется, что Руна — этакий капитан Грэй в юбке по статусу и Ассоль по характеру. «Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанности и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство».

Но вот эта благополучная, не испытавшая любви женщина попадает в цирк, где дает единственное представление Летающий человек. Он действительно летает. Сам. Безо всяких летательных аппаратов и цирковых приспособлений, образ, который позднее появится у советского писателя-фантаста Александра Беляева в романе «Ариэль», у Карела Чапека в «Человеке, который умел летать», у Ионеско в «Воздушном пешеходе», у болгарина Павла Вежинова в «Барьере», наконец, у Леонида Бородина в рассказе «Посеще-

* По мнению Ю. Царьковой, это имя может иметь отношение к роману Ч. Диккенса «Тайна Эдвина Друда».

ние» и у Валентина Распутина в «Наташе». Но Грин в этом ряду будет первым. Однако отразит не столько счастье полета, сколько ужас тех, кто на этот полет смотрит. Снова герой и снова толпа. Но теперь герой не безумный, не самозванец, а подлинный. Безумна — толпа.

«Вопли “Пожар!” не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завыла; крики: “Сатана! Дьявол!” подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал “Страх”».

Позднее серьезные литературоведы увидят в этой сцене, да и во всем романе Грина, связь с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Точно так же все смешается на сцене театра «Варьете», и в панике станут выбегать люди на московские улицы, и переклички будут почти буквальные; у Грина в момент панического бегства директор цирка Аггасиц, едва сознавая, что делает, закричит: «Оркестр, музыку!!», а в «Мастере и Маргарите» «кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом:

— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!»

Вряд ли это совпадение. Булгаков, внимательно следивший за литературой 20-х годов и лично Грина немного знавший (они встречались в Коктебеле у Волошина, хотя дружны не были), действительно мог его пародировать, как спародировал фильм по «Жизни Гнора» в «Багровом острове», или вступать с ним в диалог, но у него на сцене будет Сатана, а у Грина — человекобог, и смотреть на все Друд будет не со снисходительным и холодным пониманием Воланда (люди все те же, только квартирный вопрос их испортил), а с презрением и разочарованием самого Грина. Потому что перед ним чернь, Каперна, обыватели-мещане, не способные воспринять чуда, относящиеся к нему враждебно (дядя Руны, министр, отдает приказ своим охранникам в тот же вечер убить Друда) и тем жестоко разочаровывающие героя.

«Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился, — тоже, — наверх, но жир удержал его». Эта женщина в платье из белых шелковых струй — Руна. Но сравнение с жирной гусыней с головой выдает отношение к ней автора.

Назавтра в газетах нет ничего про Друда. «Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания за-

гадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий “забыть” необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи — плоды бессонной ночи, — украшенные самыми заманчивыми заголовками».

Газетные статьи и цензуру заменяют самые фантастические слухи, опять-таки заставляющие вспомнить Булгакова и нелепости, которые передавались по Москве про злостную шайку Воланда. «В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка», — язвительно писал Грин о проникающих в Гринландию советских порядках, яростно им сопротивлялся, издевался над новой пролетарской культурой со снобизмом человека культуры старой и походя касался литературных споров и лозунгов нового времени: «Литература фактов вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности...»

События в романе разворачиваются по законам боевика. Правительство ищет Друда и арестовывает его. Руна приходит к увлекающемуся мистическими книгами министру Дауговету и вмешивается в участь узника, допытываясь у дядюшки, за что его схватили. Мистик Дауговет, идеально трезво выражая точку зрения властей предержащих на чудо, объясняет своей племяннице, почему человек, который не причинил никому зла и в ком нет никакой вины, должен находиться в тюрьме. Потом такая же коллизия возникнет — но будет иначе решена — в треугольнике Пилат — Иешуа — Каифа у Булгакова.

«Никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу. Кто он — мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру — предположительно — злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто мо-

жет распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может — уничтожению».

Этот монолог государственного человека — свидетельство глубокой зрелости Грина и постижения им сущности нового тоталитарного миропорядка, воцаряющегося в России, и отвращения к этому миропорядку. Но дело не только в России. Говоря шире, Грин, как и в «Кораблях в Лиссе», выступает в «Блистающем мире» против позитивизма, рационализма и того пути научного прогресса, по которому идет развитие человеческой цивилизации по обе стороны железного занавеса. Вот как министр продолжает свою мысль:

«Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это — состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию — уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававшей ему по крайней мере характер восстания; короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они — в корне, в своей сущности — Ничто, давшее Все. Предоставим простецам называть их “энергией” или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу... Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказанья и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы».

Невозможно, разумеется, ставить знак равенства между автором и его героем, но то, что писатель Александр Грин с его крылатой, летучей прозой чувствовал себя в новом обществе в опасности — несомненно, как верно и то, что «Блистающий мир» есть своего рода зашифрованное посла-

ние властям: ни автор, ни его герой им не опасен. События в романе развиваются таким образом, что Руна, обманув коменданта тюрьмы, который из-за нее лишается работы, освобождает узника. Это несколько напоминает рассказ «Рене», но в «Блистающем мире» Друд, пробивающий стеклянную крышу тюремного замка, не губит, но щедро награждает своего тюремщика золотом и оставляет ему записку со словами «Будьте свободны и вы», а сам остросюжетный роман начинает насыщаться, пропитываться идеологией, которая тормозит его действие, но углубляет смысл.

«Стоит мне захотеть — а я знаю тот путь, — и человечество пошло бы все разом в страну Цветущих Лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха», — говорит Руне Друд, который может облагодетельствовать мир, но не хочет. Почему? Вероятно, по той же причине, по которой уплывают из Каперны Грэй и Ассоль: людей, которые боятся и ненавидят чудо, спасти невозможно. Самые умные из них в лучшем случае способны попытаться это чудо эксплуатировать для корыстных интересов земной юдоли, но ничего не могут добиться.

Гриновский Друд — вообще один из самых нарочито загадочных образов его прозы. Если с прежними сильными героями — Тартом, Бангоком, Блюмом, Астаротом, Кутом, Аспером, Грэем, Битт-Боем — все было более или менее понятно, их цели и поступки прозрачны и ясны, и независимо от того, добро или зло несли эти люди, они знали, чего хотели, то Друд, превосходящий своим могуществом их всех вместе взятых, в душе самый из них слабый и страдающий. В этом смысле Человек Двойной Звезды как человек — это какое-то скрещение напористого Бангока и рефлексирующего Баранова из рассказа «Дьявол оранжевых вод», синтез образов несовместимых, и история создания романа отражает мучительные поиски Грина, который сам не знал, куда приведет его герой.

В обстоятельной статье Ю. Царьковой, посвященной этому роману, читаем:

«Друд — "Двойная Звезда" — в восприятии различных персонажей представляется то силой дьявольской, то силой божественной. "Двойственность" чудесной природы особенно ярко подчеркивается на уровне именования героя. На визитной карточке Друда — две буквы: "Э. Д.", которые можно расшифровать по-латыни и как "*Ecce Dominus*", и как "*Ecce Diabolus*"; другое имя героя — Симеон Айшер, первая часть которого напоминает о лжепророке Симоне-волхве; третье имя — Вениамин Крукс: лат. *crux* — "крест",

имя Вениамин также вписывается в круг библейских ассоциаций.

Возникающая в образе героя внутренняя оппозиция, возможность усмотреть в нем одновременно и дьявольское, и божественное начала обусловливает и сюжетно-фабульный план повествования; перед нами две основных линии: Друд в восприятии Руны и Друд в восприятии Тави, Друд "ложный" и Друд "истинный".

После выступления Друда в цирке появляются рассказы о черте и ангелах. Кто-то рассказывает "легенду о черте, выехавшем на белом коне", другие говорят, что "дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно". Наряду с этими слухами возник и "слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира". В одном из черновых вариантов романа о подобном восприятии полета Друда в цирке героя предупреждает его друг Гедлин: "Мне кажется, что лучше бы вам оставить эту затею <...> Она будет не по силам многим, многим из зрителей. Быть может, затея ваша жестока. Все всколыхнется, и один Бог знает, что может произойти <...> Воскреснет легенда о черте"»[258].

Согласно другому варианту, Друд должен был утратить человеческое сознание и заставить своего друга юности Стеббса, который работает смотрителем маяка, погасить маяк, потому что о стекло часто разбиваются птицы, его «сестры и братья», а судьба людей на кораблях, «гибнущих при свете точного знания, вооруженных капитаном», ему не важна. Эта незаинтересованность Друда в людских делах особенно остро дает о себе знать в разговоре между Руной и Друдом, напоминающем сцену в духе Легенды о Великом Инквизиторе, только относится она не к средневековой Испании, как у Достоевского, а чуть ли не к нашему времени.

Руна, которая помогла Друду бежать, теперь призывает его действовать:

«Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет, — она рано или поздно появится... Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; исступленно завоет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному... начнут к вам идти, чтобы говорить с вами люди всех стран, рас и национальностей...странники, искатели "смысла" жизни, мечтатели всех видов, скрытные натуры, разочарованные, страдающие сплином и тоской, кандидаты в самоубийцы, неуравновешенные и полубезумные... Газеты в погоне за прибылью будут печатать все, — и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт преж-

них веков. Вы напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров, довольном, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших: чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное... Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс... в клубах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление, в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которую так давно и бездарно ловят посредством систем, заслуживающих лишь грустной улыбки».

В сущности, она предлагает ему стать не просто сверхчеловеком, а кем-то вроде антихриста, которому поклонятся народы. Но Друд отвергает планы Руны, однако как-то надменно, полупрезрительно, причем надменность эта адресована не только Руне, но и всему людскому роду: «Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите — что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством?»

Тут все смешалось: пресловутая инфантильность, ницшеанство, и в то же время усталость и элегичность. Друд настолько бесплотен и вял, что более похож на отвлеченный и не слишком добрый символ. По справедливому замечанию В. Ковского, «он не говорит с людьми, а почти вещает им»[259]. При этом в его «вещих» словах сквозит порой такой нечеловеческий холод, что Друд кажется гораздо страшнее Руны — ощущение, которое, быть может, возникает помимо воли автора.

«Перед тем как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; схороните их: “Возьми меня на руки и покажи мне все — сверху. С тобой мне будет не страшно и хорошо”... Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо этого хочешь быть только упрямой гусеницей!»

Странное удовольствие доставляет ему унижать Руну не только за то, что она хочет власти, но и за то, что она не наделена даром его понять и в ней нет его духовного аристократизма и избранности.

«— Все или ничего, — сказала она. — Я хочу власти.

— А я, — ответил Друд, — я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя».

Не берусь утверждать, но готов предположить, что все это отголоски разговоров и споров Грина с Катей Бибергаль, которая так же, как Руна, стремилась переделать человечество на свой лад, так же пыталась Грина спасти из тюрьмы, а беглый солдат звал ее в сочиненную им утопическую страну личного счастья. И вот вывод, который делает Руна, заканчивая им письмо к министру:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это — мечтатель».

Нечто подобное мог бы сказать о себе Грин и большевикам. Но вспомним Корнелия Зелинского: он — воинствующий мечтатель.

А затем, во второй части, и на смену Руне приходит другая девушка, Тави Тум, подобно тому как в «Ста верстах по реке» на смену безымянной коварной любовнице Нока приходила Гелли. Имя это — Тави Тум — по просьбе Грина придумала Нина Николаевна, это было ее посвящением в жены писателя. Тави Тум родом из простой семьи; она простодушна, смешлива, «вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы». Она приезжает в Лисс, чтобы работать чтицей у богатого и очень развратного человека по имени Торп, который заставлял своих чтиц читать ему порнографические романы, а потом превращал их в любовниц («гнилое, жирное сердце... под черепом свернулись мертвые черви мысли»), но в то самое утро, когда Тави приходит к нему в дом, он умирает, и позже выясняется, что его волшебным образом убил Друд, дабы никакая грязь не осквернила Тави.

У Друда теперь другое имя — Крукс. Но и здесь он летает. Только теперь с помощью летательного аппарата, странного, непохожего ни на одну известную модель самолета, которые он вовсе отрицает.

«Его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен, его поворот нелегок; его вид некрасив; его полет — полет мухи в бутылке: ни остановиться, ни парить; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, и это — полет?... Немного надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершенны и как грубы те аппараты, которыми вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так — в отношении к истинному

полету — происходит ваше летание. Оно — сами вы. Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; в любой момент в любом направлении и с любой скоростью, — вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить долее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших, перейдем к опыту».

Этот опыт касается не только и не столько летательного аппарата Крукса, который должен преодолеть притяжение земли за счет мелодичного звона четырех тысяч колокольчиков (Друду, понятно, вообще аппаратов не надо), это — испытание собравшейся на летном поле толпы: найдется ли в ней хотя бы один человек, кто в Крукса-Друда и его машину поверит. Хоть один не жирный гусь.

Он находится. Но только один. Это — Тави, которая кричит: «Я! Я! Я!» — так же, как кричала Ассоль, завидев корабль с алыми парусами, и за этот крик и свою веру Тави получает в награду счастье, проплывшее мимо Руны: она превращается из гусеницы в бабочку, а вернее в птицу и улетает с Круксом в «блистающий мир».

Тема летящего вне самолета человека была для Грина важна еще с дореволюционных пор. О полетах тогда писали многие — Леонид Андреев, Блок, Куприн. Последний даже сам летал и едва не погиб. Летали поэт-футурист Василий Каменский и писатель-реалист И. С. Соколов-Микитов. Авиация поражала воображение людей начала XX века. Они видели в ней гораздо большее, чем достижение научного прогресса. Но, пожалуй, никого из русских писателей сама возможность оторваться от земли и полететь не потрясла и лично не задела так сильно, как Грина. Вера Павловна Калицкая вспоминает, что еще в 1910 году, когда они ходили с Александром Степановичем на авиационную неделю, проводившуюся в окрестностях Петербурга, Грин, в отличие от большинства посетителей салона, был глубоко разочарован и возмущен видом тогдашних самолетов[260].

Он возненавидел авиационную технику ревностью оскорбленного любовника неба. Он искренне верил и хотел, чтобы человек летал сам и воспринимал самолеты как нечто враждебное и не расставался с этим чувством ни в тридцать лет, ни в сорок пять. В своей прозе он с поразительным удовольствием писал о катастрофах самолетов, издевался над «знаменитостями воздуха», в рассказе «Тяжелый воздух» назвал самолет «трагическим усилием человеческой воли, созданием из пота, крови и слез», а в романе «Джесси и Моргиана» один из героев роняет фразу, чем-то напоминающую

порыв Друда погасить все маяки: смерть авиатора «не трагична, а лишь травматична. Это не более, как поломка машины».

Именно это так огорчило уже упоминавшуюся Наталью Метелеву и заставило ее написать: «С упрямством, достойным любого ребенка, Грин кричит свое “хочу!” следующие 20 лет, начиная с рассказа “Летчик Киршин”, где летчик и машина погибают от столкновения с детским воздушным шариком. Это не случайный образ. Это ответ на посягательство всего человечества на чистоту неба, в облаках которого А. Грин мог позволить парить только птицам и своей Мечте. Это романтический протест хиппи против цивилизации»[261].

Идея уподобления Грина хиппи, высказанная Метелевой, кажется довольно проницательной. Тут, по-видимому, не что иное, как еще один пример опережения им своего времени, очередное «точное попадание в ничто», как выразился бы академик Зелинский. Не даром в «Дьяволе оранжевых вод» один герой Грина говорил другому: «Люди страшны, человек бесчеловечен. Бесчисленные, жестокие шутники злой жизни ждут нас. Вернемтесь. Купим, или украдем ружья и, при первой возможности, уйдем от людей. В тихом одичании пройдут года, в памяти изгладятся те времена, когда мы были среди людей, боялись их, любили или ненавидели, и даже лица их забудутся нам. Мы будем всем тем, что окружает нас — травой, деревьями, цветами, зверями. В строгости мудрой природы легко почувствует себя освобожденная от людей душа, и небо благословит нас — чистое небо пустыни».

В том рассказе Грин не был вполне солидарен с этим взглядом. Теперь, пожалуй, его отношение изменилось. Однако запальчивость писателя по отношению к летчикам-пилотам как квинтэссенции человеческой жестокости объяснялась не только особенностями его характера или склонностью к пацифизму в духе лозунга «*Make love — not war*», весьма понятного для человека, дважды насильно загнанного в армию. Об этом он едва ли задумывался и не ведал, чьим крестным отцом назовут его придирчивые потомки, но каково было Грину читать у своего современника Аркадия Аверченко описание летчиков: «Живые, на диво сработанные механизмы, исправно, без перебоев, стучали их моторы-сердца, а в жилах холодной размеренной струёй переливался бензин». Фразу Грина про смерть авиатора нельзя вырывать из времени. Это скрытая полемика с теми, кто первыми принялись уподоблять человека машине. Грин возвращает своим литературным противникам и соперникам их же образ, ничуть не злорадствуя.

То, что другим казалось возвеличиванием человека, для Грина было его поруганием, и этому поруганию он противился со всею страстью своего существа и, как умел, защищался. В «Состязании в Лиссе» он прямо описывает мечту о полете и сравнивает ее с грубой реальностью самолета: «Хорошо летать в сумерках над грустящим пахучим лугом, не касаясь травы, лететь тихо, как ход шагом, к недалекому лесу; над его черной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг, а в лесу гаснет алая ткань последних лучей. Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное, безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это — материя, распятая в воздухе, на неё садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки и, ещё не взлетев, думает, что упал. Перед ним целая кухня, в которой, на уже упомянутом бензине, готовится жаркое из пространства и неба, на глазах, на ушах клапаны; в руках железные палки, и вот, в клетке из проволоки, с холщовой крышей над головой, поднимается с разбега в 15 сажен птичка Божия, ощупывая бока».

Грин очень хорошо чувствовал опасность, которая исходила от самолетов для жителей земли. В рассказе «Преступление Отпавшего Листа» над объятым разрухой городом летит самолет с человеком очень недобрым.

«Ранум услышал над головой яркий, густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы и, не вставая, приблизился к человеку, летевшему под голубым небом на высоте церкви.

Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым, сытым лицом с напряженными, налитыми злой волей чертами и за всем его хорошо развитым, здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищением перед этим ужасным, какое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силой гипноза».

Наделенный сверхъестественными способностями йог Ранум Нузаргет (видимо, единственный йог во всей прозе Грина) его останавливает и отводит угрозу. Эти экстрасенсорные способности Грин пытался отыскать и в самом себе. Однажды, встретившись с литератором В. Ленским, Грин

остановился, расправил руки в стороны, затем поднял их и вытянул, подобно пловцу, бросающемуся с вышки. Ленский наблюдал за ним с восхищением и изумлением. Грин закрыл глаза и тянулся, тянулся вверх:

— Не получается. Пока не получается. Но должно получиться. Верю в это крепко. А пока что пусть получается в рассказах и романах[262].

Об отношении Грина к теме человека летающего хорошо рассказано и в воспоминаниях Михаила Слонимского: «Сразу после "Алых парусов" он принес мне однажды небольшой рассказик, страницы на три, с просьбой устроить его в какой-нибудь журнал. В этом коротеньком рассказике описывалось, как некий человек бежал, бежал и, наконец, отделившись от земли, полетел.

Заканчивался рассказ так: "Это случилось в городе Р. с гражданином К.".

Я спросил:

— Зачем эта последняя фраза?

— Чтобы поверили, что это действительно произошло, — с необычайной наивностью отвечал Грин.

Он увидел сомнение на лице моем и стал доказывать, что в конце концов ничего неправдоподобного в таком факте, что человек взял да полетел, нет. Он объяснял мне, что человек, бесспорно, некогда умел летать и летал. Он говорил, что люди были другими и будут другими, чем теперь. Он мечтал вслух яростно и вдохновенно. Он говорил о дольменах, как о доказательстве существования в давние времена гигантов на земле. И если люди теперь — не гиганты, то они станут гигантами.

Сны, в которых спящий летает, он приводил в доказательство того, что человек некогда летал, — эти каждому знакомые сны он считал воспоминанием об атрофированном свойстве человека. Он утверждал, что рост авиации зависит от стремления человека вернуть эту утраченную им способность летать.

— И человек будет летать сам, без машин! — утверждал он.

Он всячески хотел подвести реальную мотивировку под свой вымысел.

Рассказ не был напечатан.

— Он не имеет сюжета, — вежливо, но непреклонно сказал мне редактор. — От Грина мы ждем сюжетных рассказов»[263].

От него ждали и понимали его совсем не так, как он хотел. Замечательно, что даже близкий Грину писатель Юрий Олеша, который использовал многие его сюжетные ходы и приемы и, пожалуй, даже чересчур этими заимствованиями

злоупотреблял — тот же канатоходец, идущий над площадью в «Трех толстяках», те же волшебные страны и диковинные имена, те же девочки-куклы, да и Гинч из «Приключений Гинча» во многом предвосхищает Кавалерова из «Зависти» — восторгался «Блистающим миром», но его оценка не совпадала с мнением Грина о своем детище.

«И вот, когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился:

— Как это для фантастического романа? Это символистский роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает, это парение духа!»[264]

Обида Грина вполне понятна — он действительно никогда не считал себя писателем-фантастом, он глубоко верил в то, что сочинял, и не считал свои произведения чистым вымыслом. Этой верой, почти религиозной, насыщены его лучшие книги. Фантастика же, кого бы мы ни взяли, от Жюля Верна и Уэллса до Ивана Ефремова и братьев Стругацких, к религии относилась либо враждебно, либо равнодушно. (Примечательно, что на основе фантастического, но нерелигиозного романа С. Лема «Солярис» Андрей Тарковский снял нефантастический, но религиозный фильм с одноименным названием. То же самое относится и к «Пикнику на обочине» — «Сталкеру»). Для Грина очевиден «богочеловеческий» подтекст его главного героя, и в конце второй части «Блистающего мира» эта мысль звучит совершенно явственно. И себя он скорее равнял с Андреем Белым, неслучайно в «Блистающем мире» упоминается граф W., отсылающий к роману «Петербург», а Дауговет чем-то напоминает сенатора Аблеухова[265]. Для Грина Серебряный век с его метафизическими прениями был куда более авторитетной инстанцией, нежели молодая советская литература. И хотя «иностранец» Грин не вписывался ни в то, ни в другое, не зря он в молодости писал стихи, в которых влияние символизма ощущается сильнее, чем в его прозе:

За рекой в румяном свете
Разгорается костер.
В красном бархатном колете
Рыцарь едет из-за гор.

Ржет пугливо конь багряный,
Алым заревом облит.
Тихо едет рыцарь рдяный,
Подымая красный щит.

И заря лицом блестящим
Спорит — алостью луча —

С молчаливым и разящим
Острием его меча.

Но плаща изгибом черным,
Заметая белый день,
Стелет он крылом узорным
Набегающую тень.

Потом все эти цвета будут обыграны в знаменитой сцене в «Алых парусах», когда Грэй примется выбирать расцветку шелка для Ассоль.

«Обрати внимание, какое у меня богатство слов, обозначающее красный цвет»[266], — говорил Грин с видимым удовольствием Вере Павловне, а она немного ревниво замечала, что все это было у него уже раньше, то есть до женитьбы на Нине Николаевне.

С точки зрения истории литературы Грина можно рассматривать не столько даже как писателя символистского толка, сколько как ответчика по иску символизма (причем символизма первой волны) к делам и заботам людского племени. Когда Николай Минский еще в восьмидесятые годы девятнадцатого века писал:

Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещится вдали —
Несуществующий и вечный,
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал
Среди пустыни бесконечной —

за эти строки воздал в своей прозе Грин.

Когда Зинаида Гиппиус жалобно, как эхо, взывала: «Мне нужно то, чего нет на свете, Чего нет на свете», — это мог бы сказать о себе и герой Грина, но на констатации этого факта он не останавливался, созидая то, что было ему нужно.

И Мережковскому с его строками из программного стихотворения «Дети ночи»:

Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах, —

Грин мог ответить хотя бы теми же «Алыми парусами»: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».

В этом смысле романтизм Грина был обогащен опытом русского символизма и явился реакцией на него, хотя совсем иного рода, нежели акмеизм. Другое дело, что ответ

оказался несколько слабее иска, но ведь и силы были изначально неравными. Один романтик против целой когорты символистов.

Но обратимся к дальнейшему сюжету «Блистающего мира» — созданного мира, в котором идея «Алых парусов» получает неожиданное развитие. Параллельно с образом Тави, которая верит в то, что Крукс полетит сам, полностью ему доверяет и не ставит перед ним великих целей, в романе развивается линия Руны Бегуэм, ненавидящей Друда все сильнее.

«Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль; нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как, в стороне от правильной мысли, часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала положение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то, как молнии, внезапно сверкали они, то тихо и исподволь, накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию... тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет... Чем дальше, тем страшнее было ей жить».

Она обращается к врачу, который говорит, что ей необходим брак (любопытно: то же самое говорит Друд смотрителю маяка Стеббсу, своему хорошему другу и плохому поэту): «Брак и дети — словом, семья — выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано, пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, чернейте от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смейтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую траву, вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб, — и вы станете такой же, как все».

Правда, вслед за этим благоразумным обывательским советом доктор обрисовывает иной путь и иную реальность. Догадываясь об истинных причинах тоски Руны, которые сама она ему не объясняет, он призывает ее, дает ей еще один шанс: «Если только у вас есть сила, — терпение; есть сознание великой избранности вашей натуры, которой открыты уже сокровища редкие и неисчислимые, — введите в свою жизнь тот мир, блестки которого уже даны вам щедрой, тайной рукой. Помните, что страх уничтожает реаль-

ность, рассекающую этот мир, подобно мечу в не окрепших еще руках».

Но Руна этих слов не слышит, эти слова говорит сумасшедший, а она трезва и нормальна. Она — жирная гусыня, которая не может полететь, и Грин жестоко расправляется с ней за это бессилие и глухоту, за неизбранность. Руна переезжает в деревню, занимается тяжелым трудом, и однажды заходит в деревенскую церковь — редкий случай, когда в прозе Грина звучит открыто церковная нота. Не случайно именно эту сцену впоследствии исключили из отдельного издания романа, при том, что она принадлежит к одной из самых важных и совершенных.

«Хотя свечи догорали в приделах, сообщая лиловеющими огнями лицам святых особенное выражение тайной, ушедшей в себя жизни, алтарь был освещен ярко; блестели там цветные и золотые искры сосудов; огромные, снежной белизны свечи вздымали спокойное пламя к полутьме сводов, отблеск которого золотой водой струился по потемневшим краскам образа Богоматери бурь, лет тридцать назад заказанной и пожертвованной моряками Лисса. Буйная братия украшала драгоценность свою, как могла. Не один изъеденный тропическими чесотками, почерневший от спирта и зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав, как это сказать, волосатый верзила, разучившись крестить лоб, а из молитв помня лишь "Дай", — являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел захватить. На деревянных горках лежали здесь предметы разнообразнейшие. Модели судов, океанские раковины, маленькие золоченые якоря, свертки канатов, перевитые кораллом и жемчугом, куски паруса, куски мачт или рулей — от тех, чье судно выдержало набег смерти; китайские ларцы, монеты всех стран; среди пестроты даров этих лежали на спине с злыми, топорными лицами деревянные идольчики, вывезенные бог весть из какой замысловатой страны. Смотря на странные эти коллекции, невольно думалось и о бедности и о страшном богатстве тех, кто может дарить так, сам искренне любуясь подарком своим, и ради него же лишний раз заходя в церковь, чтобы, рассматривая какого-нибудь засохшего морского ежа, повторить удовольствие, думая: "Ежа принес я; вот он стоит".

Среди этого вызывающего раздумье великолепия, воздвигнутого людьми, знающими смерть и жизнь далеко не понаслышке, взгляд божественной девушки был с кротким

и важным вниманием обращен к лицу сидящего на ее коленях ребенка, который, левой ручонкой держась за правую руку матери, детским жестом протягивал другую к зрителю, ладошкой вперед. Его глаза — эти всегда задумчивые глаза маленького Христа — смотрели на далекую судьбу мира. У его ног, нарисованный технически так безукоризненно, что, несомненно, искупал тем общие недочеты живописи, лежал корабельный компас.

Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. Но не сливалась ее душа с озаренным покоем мирной картины этой; ни простоты, ни легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих, единственно-нужных слов, ни — по-иному — лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. Что-то неуловимое и твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам. И страстно слез этих хотелось ей. Как мысли, как душа, стеснено было ее дыхание, — больше и прежде всего чувствовала она себя, — такую, к какой привыкла, — и, рассеянно наблюдая за собой, не могла выйти из плена этого рассматривающего ее, — в ней же, — спокойного наблюдения. Как будто в теплой комнате, босая, на холодном полу стояла она.

— Так верю ли я? — спросила она с отчаянием. — Верю, — ответила себе Руна, — верю, конечно, нельзя не знать этого, но отвыкла чувствовать я веру свою. Боже, окропи мне ее!

Измученная, подняла она взгляд, помня, как впечатление глаз задумавшегося ребенка подало ей вначале надежду увлекательного порыва. Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь, единственный за все это время раз — без тени страха, так как окружающее самовнушенной защитой светилось и горело в ней, — увидела она, сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она. Пришедший взял острую раковину с завернутым внутрь краем и приложил к уху. “Вот шумит море”, — тихо сказал он.

“Шумит... море”... — шепнуло эхо в углах. И он подал раковину Христу, чтобы слышал он, как шумит море в сердцах. Мальчик нетерпеливым жестом схватил ее, больше его головы была эта раковина, но, с некоторым трудом удержав

ее при помощи матери, он стал так же, как прикладывал к уху Друд, слушать, с глазами, устремленными в ту даль, откуда рокотала волна. Затем палец взрослого человека опустился на стрелку компаса, водя ее взад и вперед — кругом. Ребенок посмотрел и кивнул».

Эту сцену можно толковать по-разному, но едва ли в ней, равно как и во всем образе Друда, присутствует богоборчество, о котором пишет Вадим Ковский («Герой Грина теперь — богоборец, а не просто устроитель чьей-то частной судьбы»[267]) или «демонизм», как предположила Анна Шушакова: «Не исключено, что на создание образа главного героя Грина повлияла поэма Лермонтова "Демон". Друд так же, как и лермонтовский Демон, бросает романтический вызов миру, всем законам на земле. Без сомнения, Друд и Демон — образы разного времени и разной степени художественного обобщения, но влияние гениального вымысла Лермонтова как толчка для создания героя Грина весьма вероятно...»[268]

Скорее, у Грина мы видим сближение Друда и Христа и, быть может, попытку создать своего бога или поставить его рядом с Богом истинным*, сделать Друда учителем Учителя, утешителем Утешителя, дополнить совершенное — своего рода богоискательство на гриновский манер, новую гринландскую церковь. А о том, что из этой попытки и из судьбы Друда выходит, рассказывает третья, самая печальная и непонятная часть романа «Вечер и даль».

За Друдом продолжается охота. Арестовывают Тави в надежде на то, что это поможет его схватить. Но Друд всемогущ. Он освобождает Тави, ибо находит в ней свою мечту, и дает ей награду, которую чистотой своего сердца и верой в него («Терпи и верь», — говорит он ей) она заслужила. Эта награда даже не царская, это большее — так может награждать один Всевышний, чью функцию выполняет в романе герой Александра Грина.

«Я тебя зову, девушка, сердце родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается, как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?»

Блистающий мир в романе находится в таком отношении к Гринландии, в каком сама она находится к миру реальному. Это Гриново Царствие небесное, а Гринландия — его земная проекция. «Как все звуки земли имеют отражение

---

* Ср. у В. Е. Ковского: «Его монологи... звучат как нагорные проповеди» (Романтический мир Александра Грина. С. 78).

здесь, так все, прозвучавшее в высоте, таинственно раздается внизу». В описании этого мира Грин очень лиричен, и дом, в который зовет он Тави, чем-то напоминает дом, который достанется булгаковскому Мастеру.

«У меня есть дом, Тави, и не один; есть также много друзей, на которых я могу положиться, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хороших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним, как утешение».

Герои Булгакова печалятся, когда покидают землю, и покидают ее от усталости, два состарившихся человека, да и по большому счету их полет, конечно, — описание смерти, чему соответствует реальный план романа, у Грина же Тави и Друд то радуются, то плачут, как дети, и обретают жизнь. А строчки, которые неожиданно всплывают в голове оставляющей земной мир Тави, передаются некоему поэту, которому приоткрывается блистающий мир.

«Как все звуки земли имеют отражение здесь, так все, прозвучавшее на высоте, таинственно раздается внизу. В тот час, — в те минуты, когда два сердца терпеливо учились биться согласно, седой мэтр изящной словесности, сидя за роскошным своим столом в сутане а-ля Бальзак и бархатной черной шапочке (вспомним Мастера с его шапочкой. — *А. В.*), среди описания великосветского раута, занявшего четыре дня и выходящего довольно удачно, почувствовал вдруг прилив томительных и глухих строк мелькающего стихотворения. Бессильный отстранить это, он стал писать на полях что-то несвязное. И оно очертилось так:

Если ты не забудешь,
Как волну забивает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.

Он прочел, вспомнил, что жизнь прошла, и удивился варварской версификации четверостишия, выведенной рукой, полной до самых ногтей почтения, с каким пожимали ее.

Не блеск ли ручья, бросающего веселые свои воды в дикую красоту потока, видим мы среди водоворотов его, рассекающего зеленую страну навеки запечатленным путем? Исчез и не исчез тот ручей, но, зачерпнув воду потока, не пьем ли с ней и воду ручья? Равно — есть смех, похожий на наш, и есть печали, тронувшие бы и нашу душу. В одном движении гаснет форма и порода явлений. Ветер струит дым, флюгер и флаг рвутся, вымпел трещит, летит пыль; бумажки, сор, высокие облака, осенние листья, шляпа прохожего, газ и ки-

сея шарфа, лепестки яблонь, — все стремится, отрывается, мчится и — в этот момент — одно. Глухой музыкой тревожит оно остановившуюся среди пути душу и манит. Но тяжелей камня душа; завистливо и бессильно рассматривает она ожившую вихрем даль, зевает и закрывает глаза».

Интонационно схож эпилог и у Булгакова: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

Тави улетает вместе с Друдом прочь из этого мира, но, в отличие от «Алых парусов», в романе устройством одной женской судьбы Грин не ограничился. Друд возвращается, и за ним снова начинается охота, причем на этот раз ведет ее не правительство, а заговорщики, по описанию очень похожие на конспиративную не то эсеровскую, не то масонскую организацию.

«В течение пяти месяцев шесть замкнутых молчаливых людей делали одно дело, связанные общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые, единственно, золотым громадным мечом, — треск телеграмм перебегал по стране... Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу — отчетливее, приемы — просторнее. Они все были связаны и в то же время каждый был одинок».

Во главе заговора стоит Руна, «душа которой подошла к мрачной черте». Она «искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека... она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору в уверенности, что смерть Друда освободит и успокоит ее».

Руну находит некий загадочный инфернальный человек, называемый в романе Руководителем, чьи глаза «выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно резкому звуку; ...кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джоконды»*.

Он называет себя единомышленником Руны: «Я, как и вы, — враг ему, следовательно, — друг ваш ... Друд более жить не должен. Его существование нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он — прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы. Может быть, я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы — сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он, — одно, другое. третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобоваримейшей простоте; поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судьбу. Неподвижную, раз навсегда данную, как отчетливая картина, жизнь волнует он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть».

Так «Блистающий мир» превращается ближе к концу в роман идеологический, едва ли не политический. Вопрос о человеческом существовании и свободе человека поставлен в нем с той же остротой, что в замятинском «Мы». Творческим людям, тем, кто ощущает связь со сверхчувственным миром, противопоставлены ненавидящие их руководители, желающие уничтожить ту силу, которая насылает вдохновение и нашептывает стихи. Это отчаянная схватка обывате-

* Картина, которую Грин очень не любил. См. далее в романе «Джесси и Моргиана».

лей и творцов, на которых делится мир Александра Грина, — и так к концу романа проясняется образ Друда*, который есть не что иное, как воплощение творческой энергии, своего рода Муза мужского рода, ненавистная тем, кто творческих способностей лишен. «Бездарными глупцами» называет их Тави. Не между богатыми и бедными, не между добрыми и злыми проходит, по Грину, водораздел, а между одаренными и неталантливыми, между теми, кто способен внимать шепоту Друда, и теми, кто его не слышит, между музыкальными людьми и немузыкальными — вот «страшный суд» над человечеством под председательством Александра Грина** и вот его приговор: тот, кто называет себя Руководителем и воплощает всю земную власть и силу обывателей, терпит фиаско. Он не может поймать Друда и уходит. Творчество неуничтожимо. И Друд по этой логике должен быть непобедим. Но когда в «Большой советской энциклопедии», изданной в 1952 году, писали: «Воспевая “сверхчеловека” ницшеанского типа, Грин тенденциозно противопоставляет своих героев — “аристократов духа”, людей без родины — народу, который предстает в его произведениях в виде темной, тупой и жестокой массы», это была полуправда, которая порой бывает хуже лжи. Да, героев человеческому обществу Грин противопоставлял, но чистого, победного ницшеанства у него нет и сверхчеловека он не воспевает, а скорее оплакивает.

Финал романа печален и неожидан, как лопнувшая струна. Сразу после ухода вмиг превратившегося в старика Руководителя Руна идет по улице и видит своего врага, лежащего на улице в луже крови.

«Безмолвно, глубоко и тяжко вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль другой, пока, молниями сменяя друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но

---

* Любопытно, что в самом романе Друд показан не как автор, а как источник вдохновения. Но в черновиках идея Друда-творца у Грина была. «...Друд перечитывал и исправлял написанное. Это был ряд отрывочных мыслей, являющихся на высоте, нечто интимное и столь неодолимое, что освободиться от него он мог лишь путем записывания...

...С пером в руке он переводил речи воздушных скитаний на язык Земли, сыном которой был» (Санкт-Петербургская публичная библиотека. Арх. Ф.1. Ед. хр. 3).

** Ср. с воспоминаниями Н. Вержбицкого: «И охота вам делать из чудаков каких-то белых ворон, людей не от мира сего! Да ведь это же — основа основ, костяк, на котором держится вся рыхлая и податливая мякоть, составляющая массу так называемых средних, нормальных, уравновешенных людей» (Воспоминания об Александре Грине. С. 215).

видела, для себя, с истиной, не подлежащей сомнению, — того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем».

Как и почему погиб Друд, какая сила швырнула его о землю, остается непроясненной загадкой, которую можно как угодно толковать. Иногда пишут о том, что на самом деле Друд не погиб, и Руна либо по ошибке принимает за него другого человека, либо — это разбивается Друд Руны, ложный Друд, а настоящий, Друд Тави, остается целым.

«Финальная сцена романа, в которой Руна видит разбившегося человека, зачастую трактуется как смерть Друда. Однако можно сказать, что здесь погибает лишь “Друд Руны”, который принципиально “нежизнеспособен”: совершается падение того божества, которое она пыталась создать, — и завершается падение ее самой, оказавшейся неспособной к “полету”, — заключает Ю. Царькова. — Отказавшись от пути, предложенного Руной, Друд выбирает “страну Цветущих Лучей”, не желая перестраивать мир и подчинять людей своей воле. В мире Руны, Дауговета и Руководителя, чуждом веры, настаивающем на дихотомии “естественного” и “сверхъестественного”, пытающемся “освоить” и “присвоить” Чудо, все чудесное неизбежно оказывается антигуманным и враждебным, поскольку ограничивает возможности человека, лишая его свободы. Вместе с Тави Друд уходит по “призрачной дороге” в мир, в котором нет границ, где главным становится внутренняя свобода человека и творческая игра, в котором *всё есть чудо*»[269].

Подобное предположение о спасении Друда и гибели кого-то другого, на первый взгляд, не лишено оснований, тем более что позднее, в рассказе «Встречи и приключения», Грин напишет от имени героя-повествователя, в котором нетрудно увидеть черты самого автора: «Тогда же я послал телеграмму Друду в Туз близ Покета, получив краткий ответ от его жены Тави: “Здравствуйте и прощайте”». Ничего более не было сообщено нам, причем несколько позже Гарвей получил известие от доктора Филатра, гласившее, что Друд отсутствует и вернется в Тух не раньше июля».

И все же едва ли мысль о том, что Друд остался жив, присутствовала в сознании Грина в 1923 году. Это все более поздние, хотя бы и любопытные интерпретации. Да и сама Н. Н. Грин, по свидетельству В. Ковского, говорила: «Отчего погибает Друд? Я думаю — от потери “чувства невесомости”...Его не убивают»[270].

Друд погибает. Литература факта вступает в свои права. И торжествует... но победу ли?

«Вот он — враг мой. Земля сильнее его; он мертв, да; и я вновь буду жить как жила», — говорит Руна, глядя на поверженное сильное красивое тело. А после прижимает к губам его руку со словами:

«Прости...В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну».

Этот прощальный поцелуй странным образом напоминает, а точнее композиционно противопоставлен поцелую Тави, когда та склоняется над мертвым Торпом и, как констатирует автор, «этот поцелуй был единственным поцелуем Торпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза». Праведная Тави целует грешника Торпа. Грешная Руна — праведного Друда, и в финале именно за этот поцелуй Грин прощает Руну.

Словами «земля сильнее», «отдохну», «покоем» заканчивается роман, и в небольшом эпилоге, что потом снова отзовется в «Мастере и Маргарите», на сей раз в образе поэта Ивана Бездомного (ученика Мастера, подобно тому, как есть ученик, тоже плохой поэт у Друда — Стеббс) и в метаморфозах его судьбы, сообщается, что Руна совершенно выздоровела, вышла замуж за Квинсея, «твердой рукой протянувшего ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности, — и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черты птиц от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои; но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь издали, шептала слова, — подслушанные ли где, или возникшие чужой волей? — быть может, слышанные еще в детстве:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...»

Глава XII
«ВОЛШЕБНИК ИЛИ СУМАСШЕДШИЙ»

«“Блистающий мир” — одна из наших блестящих литературных неожиданностей — камень из творческой пращи, прилетевший к нам издалека и оставляющий след даже на бурном море нашей современности, полном таких непредвиденных и вдруг широко раздвинувшихся перспектив»[271], — писал в духе времени молодой поэт Д. И. Шепеленко, речь о котором пойдет чуть ниже.

Роман был опубликован в «Красной ниве». На полученный гонорар Грин закатил пир на пятьдесят с лишним персон.

«Он сделал поистине грандиозное угощение. По тем временам, когда только-только прошел голод, хлеб давали еще по карточкам, это произвело прямо-таки ошеломляющее впечатление. Был снят целый зал ресторана и приглашено более полусотни гостей. Самые изысканные закуски и блюда сменялись на столе. Дорогие вина, сохранившиеся невесть как еще с дореволюционных времен, вызывали общее удивление... Наверное, все, что мог тогда дать “Блистающий мир”, было проедено и пропито в этом зале!» — писал один из участников банкета[272].

На самом деле все, конечно, пропито и проедено не было. По воспоминаниям Нины Николаевны Грин, Александр Степанович привез домой множество бумажных ассигнаций, хранить которые смысла не было, потому что из-за инфляции через месяц они могли обесцениться. Вера Павловна Калицкая, неизменный советчик молодой пары, сама жившая в ту пору весьма обеспеченно благодаря успешному замужеству, посоветовала обменять ассигнации на золотые пятирублевки на «черной бирже», которая располагалась на Васильевском острове.

Они накрыли стол белой скатертью, разложили деньги полукругом, и Грин предложил жене «сделать из “Блистающего мира” не комоды и кресла, а веселое путешествие».

«— Не будем думать о далеких завтрашних днях и сегодняшних нуждах, а весело и просто поедем в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его. Едем в Крым и, пока не истратим всего этого блеска, не вернемся»[273].

Ехали в мягком вагоне, жили в дорогом частном пансионе, которые как раз с началом нэпа стали возрождаться в Крыму, расплачивались своими золотыми, были в Севастополе, Балаклаве, Ялте; Грин с удовольствием показывал молодой жене места своей юности — Графскую пристань, где его арестовали, севастопольский базар, возил северянку на водопад Учан-Су, в Ливадию и Алупку и только тюрьму, в которой просидел два года, смотреть не захотел.

«Скажу тебе — невеселое это место, съедающее прекрасные минуты короткой человеческой жизни, — горько смотреть. Вспомнить — можно, смотреть нет»[274].

«Долго бродили по городу, смотрели на него и удивлялись — что в этом цветущем белом городе, легко взбегающем на прибрежные кручи, дает такое сильное впечатление? Все ли пережитое им, но не обугрюмившее его лица; улыбка ли мудрости и простоты, лежащая на нем», — вспоминала Нина Николаевна много лет спустя.

«А севастопольский базар тех времен! Живая картина! Под огромными зонтиками кучи разнообразнейших товаров; базар блистал сочной яркостью серебристо-разноцветных рыб, фруктов, овощей, цветов; а сзади, как фон, голубая бухта, где сновали или стояли на причале разные мелкие суда — от лодок до шхун с белыми, желтыми, розовыми парусами. Базар пел, кричал, завывал и по-южному беззаботно веселился, — в ее строках, чем-то напоминающих описание Грином Лисса или Зурбагана, чувствуется несомненный литературный талант. — Какие голоса! Какие рулады торговцев и живописнейших торговок — песня, да и только! Казалось бы, весь город радуется существованию этой своей утробы... Нам после усталости, серости и скудности много лет голодавшего Петрограда, его вялого климата казалось, что и всем здесь так хорошо, как нам»[275].

А между тем это был тот самый Крым, который три года назад большевики освободили от Врангеля, залив кровью тысяч белых офицеров. И едва ли Грин мог этого не знать и не содрогаться. Вспомним еще раз в мемуарах Вержбицкого: «Ты одобряешь матросов, которые привязывают камни к ногам офицеров и бросают их на съедение рыбам?»

Тот страшный Крым описал в своем «Солнце мертвых» Шмелев, чей единственный сын был убит там большеви-

ками, с Крымом была связана судьба поэта и художника Максимилиана Волошина, оставившего хрестоматийные строки:

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Ничего подобного у Грина не найти. Нина Николаевна вспоминает, что когда в другой свой приезд в Ялту они наняли извозчика и тот принялся рассказывать господам, в которых опытным глазом увидел бывших, «страшные истории, происходившие в этих местах в первые года революции», она и Грин слушали не слишком внимательно: «рассказы его воспринимались ухом, а не сердцем, которое радовалось окружающей красоте. И так изо дня в день»[276].

Едва ли тут был страх, скорее — нежелание в «страшные истории» погружаться. Грин был сыт политикой по горло. Он, перефразируя Волошина, был не за тех и не за других. Одни его к тюрьме подвели, другие в тюрьме держали. Он за них не молился, но от них уходил. Вот почему его оппозиционность к советскому строю не имела ни капли примеси открытого или даже скрытого противостояния или тайной симпатии к эмиграции, куда уехали многие из его литературных друзей, к Белому движению, монархии, антисоветскому подполью*. Политически Грин был лояльнее всех русских писателей вместе взятых и позволял себе лишь иногда аккуратные литературные выпады. Он только хотел, чтобы ему не мешали жить и писать. А история за ним насмешливо гналась:

«И так как в эти счастливые дни у нас не хватало времени и сил даже газету прочесть, то случившееся было для нас полной неожиданностью: Александр Степанович, зайдя вечером в погребок за белым вином, вернулся в большом возбуждении с газетой в руках:

---

* Ср. в воспоминаниях Э. Арнольди: «При всех возводимых на Грина обвинениях в аполитичности нельзя, однако, умалчивать о том, что свою юность он отдал активной революционной борьбе! Действительно, он вышел из этой борьбы надломленным, разбитым. Жестокие условия жизни раздавили его, превратили борца в наблюдателя. Но он не переметнулся в годы спада, как многие другие, на ту сторону баррикад» (Воспоминания об Александре Грине. С. 296). Не переметнулся и позже.

— Керзон предъявил нам ноту, — взволнованно сообщил он, — должно быть, в ближайшие дни начнется война. Город в панике; все автомобили нарасхват. Я пойду искать какую-нибудь машину: а ты быстренько соберись в дорогу. Немедленно возвращаемся в Москву.

Часа через три, когда у меня уже все было готово к отъезду, вернулся Александр Степанович, уставший и нервный, машины не достать, все разобраны теми, кто лучше знает Ялту или давно живет в ней. Бегут и старожилы и курортники... Все волновались; слухи, один другого страшнее, переходили из уст в уста»[277], — ситуация чем-то напоминающая перепуганный цирк в «Блистающем мире».

В неопубликованных фрагментах воспоминаний Нины Николаевны встречается любопытная фраза Грина, относящаяся к этим событиям: «Знаешь, надо сматываться, иначе мы будет отрезаны от Союза»[278]. В контексте благополучного для Грина 1923 года она вполне понятна — никогда ему не было в жизни так хорошо, как эту в пору.

Керзон не напал, Гринам удалось уехать; находясь проездом в Москве, зашли к Арцыбашевым, которые, в отличие от Гринов, мечтали уехать за границу (и в том же, 1923 году уехали в Польшу), и разница между двумя литературными «богемщиками» десятых годов была очевидна: Грин — успешлив, относительно богат, счастливо женат и с оптимизмом смотрит в будущее, Арцыбашев — «вахлаковат», свою славу пережил и никому в молодой советской литературе не интересен.

«Люблю Мишеньку как приятеля, но не люблю Арцыбашева-писателя. Он — писатель — умрет вместе со своей физической смертью, как Л. Андреев, потому что противоестественен», — говорил Грин жене[279].

Там же, в Москве, в письме сотруднику «Красной нивы» И. Касаткину Александр Степанович главной причиной спешного отъезда из Ялты называл опасную болезнь тещи и просил у издательства 5 тысяч рублей аванса[280], весь «золотой блеск» романа истратив, ибо в Крыму ни в чем себе не отказывал.

С авансами выходило по-разному, в одних издательствах давали, в других нет — прежнего упорства в выколачивании денег из мерзавцев-издателей у Грина не было, но в 1923 году Грины купили четырехкомнатную квартиру в Петербурге и сообща сделали в ней ремонт. Сами ходили покупать обои, стекла, дверные ручки, краски. Грин выбирал цвета обоев с той же придирчивостью, с какой Грэй — шелк парусов для Ассоль. «Для своей комнаты серебристо-серые обои,

блестящие, без отчетливого рисунка, и широкий бордюр в темно-синих орнаментах, такие же гладкие светлые маме и в столовую, только бордюры разные, а мне он выбрал белые в широкую голубую полоску, — с удовольствием вспоминала Нина Николаевна эти подробности тридцать лет спустя. — Тут я впервые увидела, что Грин живописно хозяйственен»[281].

Из-за этого ремонта странник Грин даже не поехал летом 1923 года на Северный океан. Дом значил для него больше, чем скитания, и его можно было понять — на сорок четвертом году жизни он впервые обзавелся своей квартирой, деньгами, молодой женой. Да и она до той поры знала только «квартиры своих родителей да матери первого мужа».

Казалось бы, вот оно, счастье, пусть даже с легким привкусом мещанства, как у Доггера из «Искателя приключений», но Грину это благополучие не мешало и охоты писать не отбивало. Скорее наоборот.

«1922—1924 годы были наиболее плодотворны в творчестве Грина. Я считаю с 1921 года, года нашей женитьбы, так как манеры Александра Степановича работать в молодые годы я не знала, но он сам о себе молодом говорил: "Я был заряжен темами, сюжетами, образами, словами, мог писать много и часто". Такого Александра Степановича я уже не знала. В нем уже не было пожара, треска, неожиданности. Пламя творчества горело ровно, сильно и спокойно. Иногда даже как бы физически ощутимо для меня. В эти годы Александра Степановича любезно встречали в редакциях и издательствах. Мы пользовались плодами этого хорошего отношения, жили покойно и сыто...»[282]

Покойное счастье дома засветилось в его до сей поры бездомной прозе. В марте 1923, нумерологически счастливого для себя года Грин опубликовал один из самых чудесных, печально-светлых и обаятельных своих рассказов, «Словоохотливого домового», где изображен классический любовный треугольник — двое мужчин и одна женщина, которые любят друг друга, стараются не причинить друг другу зла и погибают от любви, а бедный домовой, за ними наблюдавший и рассказывающий их историю, не может ничего понять.

«Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся, — в этом есть магия, великое знание прекрасной души, но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки; люди непроницательны».

Так счастливо начинается эта история и совсем иначе, печально заканчивается:

«— Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шел за ее гробом, полуседой, потом он исчез; передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого?.. Зубы болят, и я не могу понять...

— Так и будет, — вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, немытую лапу. — Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца; домовые — непроницательны».

Этот рассказ был опубликован в «Литературном листке» «Красной газеты». Это одна из вершин гриновского творчества, одна из тех его вещей, которая безо всяких скидок входит в золотой список века, и к ней мы еще вернемся. Здесь важно лишь заметить, что неслучайно дом домового в рассказе оказался разорен.

«Мы жили покойно и сыто, но Александр Степанович начал втягиваться в богемскую компанию»[283], — писала Нина Николаевна в мемуарах.

«Начало года, появилась водка. А. С. снова стал пить. Маленькая записка лиловым карандашом зовет меня в ресторан на углу Невского и Владим. проспекта, где А. С. был с М. Л. Слонимским. А. С. был пьяненький», — скупо отмечала она в своих коротких записях, сопровождающих их переписку с Грином[284].

Чем больше было денег, тем круче, с дореволюционным размахом пил Грин. Вот воспоминания его товарища, а если называть вещи своими именами — собутыльника, писателя Дмитрия Шепеленко, о котором Нина Николаевна Грин писала: «Был около Александра Степановича молодой в то время человек Шепеленко Дмитрий Иванович. Он где-то работал, трудно жил и для души своей написал и издал крошечную книжечку “Прозрения” — что-то ультра-философски литературное с претензиями. Александр Степанович был к нему расположен, любил его ядовитые рассуждения, бывал у него частенько; видимо иногда это бывало его выпивальной штаб-квартирой»[285].

Эту штаб-квартиру Дмитрий Иванович и описывал:

«Пробуждение. Утром чуть свет опять за водкой. Кооператив у меня напротив. Высокий, всклокоченный, тощий, с бутылкой белоголовки в левой руке и непостижимым бредом в голове Грин.

Светлое майское утро блаженствует за окном.

Воробьи чирикают на решетке балкона, обсуждая меню завтрака.

— Птички чирикали, как чайные ложечки, — растерянно

бормочет А. С. Грин, поглядывая на растрепанных непричесанных воробьев удивленным, смущенным взглядом.

Опустошив бутылку и причесавшись зубной щеткой, Грин стал спокойно пить чай и всячески убеждать меня не забывать прежде всего кормить птиц»[286].

Воспоминания Шепеленки, озаглавленные им «Писатель-антиобыватель», долгое время находились в архиве под замком, чтобы не омрачать образ светлого романтика Грина. Но Александр Степанович не только пил. И если писать о Грине, стараясь не лакировать его образ, придется коснуться не только прекрасных черт его лица. Вспомним еще раз Калицкую: «Я впервые вижу второй, жуткий лик Грина».

«Раньше я всегда знала — сейчас ты хорош, а сейчас сорвешься в истерику; не было от тебя ощущения надежности, уверенности...», — писала мужу и готовая всегда защитить его Нина Грин в 1929 году, окидывая взглядом их прошлое[287].

Этот второй лик, эту истерику видели многие. Вот еще один сюжет, рассказанный в непричесанных мемуарах Шепеленки, — история о том, как Грин мистифицировал известного пушкиниста Благого.

В московском Доме Герцена, где жил Благой и где Грин останавливался во время своих приездов в Москву, прошел однажды слух, что пьяный Грин собирается влезть к Благому в окно. Благой публично об этом заявил литературной общественности, Грин пообещал, что «проучит» его и прислал заказное письмо с пустым листом бумаги. Потом звонил и молчал в трубку. Раз, другой, третий... Благой занервничал. А Грин продолжал его изводить. Продолжалось это до тех пор, пока Благой не принес Грину письменные извинения, а Грин все не мог взять в толк, как такой трусливый человек может заниматься Пушкиным.

Правда это или очередная легенда о капитане и присвоенных рукописях, сказать трудно. В архиве Грина имеются два письма.

Одно от Благого:

«Уважаемый Александр Степанович!

Как я уже сказал Вам при встрече в Москве, ни о том, что Вы пытались проникнуть через окно в нашу комнату, ни чего-либо подобного я Д. Н. Шепеленко не говорил»[288].

Другое от самого Шепеленки:

«Дорогой Александр Степанович!

Произошло недоразумение. Вы меня не поняли. Фраза "пытался проникнуть к Вам через окно" ни в коей мере не

принадлежит ни мне, ни Дм. Дм-чу. Мне было сказано, что Вы заходили и все.

Я лично сожалею, что Вы уделяете этому такое внимание»[289].*

Что было на самом деле, за давностью лет не скажет никто, но жесткая щепетильность в сочетании с непредсказуемостью поведения Грина несомненна.

Шепеленко также вспоминает, как однажды они с Грином пошли во МХАТ. О том, как непросто было в ту пору во МХАТ попасть и как публика предпочитала билеты не покупать, а брать контрамарки у администратора, хорошо известно из «Театрального романа» Булгакова, где «заведующий внутренним порядком Независимого театра» выведен под именем Филиппа Филипповича Тулумбасова. Именно к этому всемогущему человеку направился Грин, и, судя по всему, чем-то они друг другу не понравились. Грин получил свои билеты, после чего нагнулся к окошку и сказал:

— В Гражданскую войну вы служили в отряде Дроздовского.

Администратор побледнел и стал отнекиваться, но Грин стоял на своем.

— Это, несомненно, белый офицер: жесты и взгляд выдают его с головой, — говорил он потом Шепеленке[290].

Вечером, по дороге в театр Грин предсказал своему спутнику, что администратор будет ждать их у входа. И в самом деле, когда шли по Камергерскому, от стены дома отделилась одинокая фигура. Грин подошел к «Филиппу Филипповичу», коротко переговорил с ним и вернулся:

— Все в порядке. Он действительно белый офицер. Но я его вполне успокоил...

Положим, Шепеленке можно и не верить, хотя какой был ему смысл «чернить» Грина, неясно. В целом его воспоминания написаны сочувственно, и та их часть, которая касается последних лет жизни Грина, звучит, как обвинительный приговор советской литературной общественности, равнодушно наблюдавшей за тем, как умирал Грин.

---

* Любопытно, что Благой вызывал яростную неприязнь не только у Грина. Мандельштам писал в «Четвертой прозе»: «В Доме Герцена один молочный вегетарианец, филолог с головенкой китайца — этакий ходя, хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина. А я говорю — к китайцам Благого, в Шанхай его — к китаезам — там ему место! Чем была матушка филология и чем стала... Была вся кровь, вся непримиримость, а стала псякрев, стала всетерпимость...»

Можно допустить, что эта жестокая шутка — плод гриновского воображения и произошла она только в фантазии писателя, который хотел наказать высокомерного театрального чиновника. Но Шепеленко был не один...

Вот еще одно воспоминание и еще одна грань личности Грина, которую, вслед за эсером Быховским, условно можно назвать «гасконской», либо в память о ранней повести «Приключения Гинча» — гинчевской. Это воспоминание принадлежит бывшему владельцу старинной фирмы книгопродавцов, впоследствии петроградскому киоскеру Илье Ивановичу Базлову, который хорошо знал Грина и много общался с ним в первые послереволюционные годы:

«Степаныч как-то зашел ко мне в киоск. Я когда-то давно рассказывал, как в первые дни революции горел окружной суд. На этом месте теперь большой дом, а я жил почти рядом и все, что видел, рассказал Степанычу. В этот раз он почему-то опять об этом вспомнил. Я снова стал рассказывать, как шпики и жандармы под видом рабочей дружины таскали корзины с бумагами и бросали их в пламя. Но кто-то догадался, какая это дружина, и что тут было! Начали жандармов дубасить, а они выскакивают из дома, а на некоторых под рабочими балахонами мелькают жандармские мундиры. Ну тут их прогнали сквозь строй! Бегут жандармы и натыкаются на кулаки да палки. Вдогонку им улюлюкают. Все даже о пожаре забыли. Несколько жандармов так и остались лежать на панелях и торцах. Люди мимо нас со Степанычем идут в церковь, а мы хохочем. Потом я его спрашиваю: для чего тебе это понадобилось? “По твоим рассказам, отвечает, хочу написать рассказ, отомстить им!” А вот как он сказал это “отомстить”, тут он был не только серьезный, но и страшный»[291].

Этот мемуар говорит сам за себя, но в нем схвачено самое важное: чопорный Грин не просто подшучивал — злобно или беззлобно — над другими людьми, не просто порой не слишком остроумно развлекался, давая волю презрению и гневу или мстя своим тюремщикам. Он работал в эти моменты писателем. Смешение жизни и литературы, мистификация и провокация входили в его писательскую стратегию и превращались в своего рода орудия творчества. Были специфическим инструментом, при котором он попеременно выступал в роли то палача, то жертвы и так строил свою прозу.

В 1923 году Грин опубликовал два рассказа о мистификаторах «Сердце пустыни» и «Пропавшее солнце». Насколько радостна история первая, настолько же мрачна вторая. Два лика романтизма Александра Грина.

В «Сердце пустыни» три героя — Гарт, Вебер и Консейль, для которых «мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства... Видения, возникающие в рисунке из дыма крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь». Разные люди становятся жертвами этих людей. Иные кончают с собой, когда обман раскрывается. Для других жизнь оказывается отравленной, подобно тому, как отравлена жизнь Руны Бегуэм после встречи с Друдом.

И вот однажды один из них, Консейль, встречает некоего Эммануила Стиля, типичного гриновского романтика, отличающегося от трех африканских снобов «красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах». Консейль рассказывает ему историю о том, что где-то в глубине африканских джунглей, среди лесов, «высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом», где живет семь семейств, тесно связанных «одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности — большей заброшенности среди почти недоступных недр».

Колония белых людей, окруженная миром туземцев, заставляет вспомнить ранний рассказ Грина «Колония Ланфиер». Но если там было показано маленькое человеческое сообщество, столь же жадное, гадкое, злобное, как и то большое, от которого бежит главный герой рассказа Горн, то в «Сердце пустыни» все совсем иное: «Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись *петь.* И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева — маленькая рука, махающая с балкона, впереди — солнце и рай».

Замечательно, что повествующий об этом утопическом уголке мистификатор Консейль постепенно все больше сбивается на поэтический лад, и его голос начинает звучать как авторский: «Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит *отрывком*, полным очарования, вырванной из *неизвестной* книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите

вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы *не* вошли в эту жизнь, и потому овеяна она странной поэзией».

В описании этого оазиса Грин изменяет здесь своей Гринландии, переносит действие в Африку и называет конкретную страну Конго. Это было связано с тем, что как раз в это время Грин работал по заказу Горького над историческим романом «Сокровища африканских гор» про экспедицию Ливингстона, хотя роман получился малоисторический, чем-то напоминающий историю про Али-Бабу и сорок разбойников, и главным героем его оказался не английский путешественник, а отважный авантюрист по имени Гент, строящий утопические планы по исследованию Африки.

Но вернемся к «Сердцу пустыни». Итак, Стиль уходит в поисках заповедной страны, про которую так вдохновенно наболтал ему Консейль, и его рассказ подтвердили два других шалуна. Они же предупреждают Консейля, что такие обиды Стиль не прощает, и когда через два года Консейль случайно встречается с жертвой своего обмана, то готовится к самому худшему — мести, расправе, вызову на дуэль.

Но происходит удивительное.

«Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

— Да нет же, — вскричал он, — не то! Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. ...не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, — есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, — только звенит...

— Дальше, — тихо сказал Консейль.

— *Нужно* было, чтобы он был там, — кротко продолжал Стиль. — Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я *не мог* не найти, раз есть такой я, — это понятно. Так вот, поедемте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, *так* ли *вы* представляли.

Шутка была красива...»

И тут снова можно вспомнить Минского:

Но всех бессмертней тот...
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал
Среди пустыни бесконечной.

Ответ героя провокатору, романтика символисту. У Грина не мираж. У Грина — реальность.

В отличие от «Сердца пустыни», в «Пропавшем солнце» шутка — отвратительна. Там тоже фигурируют три негодяя «с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой». Главный из них, миллионер Авель Хоггей, «мистификатор и палач вместе», который «не преследовал иных целей, кроме забавы». Однажды Хоггей взял у нищей женщины на воспитание ребенка с тем, чтобы поставить над ним жестокий эксперимент: мальчик растет в условиях, когда ему не показывают солнца. Он получает домашнее образование, но так, что из учебников и книг исключаются любые упоминания о солнце, а также луне и звездах.

А потом Хоггей и его друзья заключают пари: что будет с этим мальчиком, когда сначала он увидит солнце, а потом оно на его глазах исчезнет и ему скажут, что больше оно никогда не появится. Четырнадцатилетнего хилого мальчика выводят на улицу, и с его глаз впервые в жизни снимают повязку.

«Подняв голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нем, зазвучав вихрем, и догадка, что до сих пор от него было отнято все, в первый раз громовым ядом схватила его, стукнувшись по шее и виску, сердце. В этот момент переливающийся раскаленный круг вошел из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки, по глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах».

Этот рассказ приводил в восхищение Юрия Олешу.

«Юноша, разумеется, ошеломлен красотой мира. Но не это важно. Рассказ сосредотачивается на том, как поведет себя это никогда не видевшее солнца человеческое существо при виде заката. Наступает закат. Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика и не замечают, что он поглядывает на них! Вот солнце уже скрылось... Что происходит? Происходит то, что мальчик говорит окружающим:

— Не бойтесь, оно вернется!

Вот что за писатель Грин!

Его недооценили»[292].

Олеша в своем пересказе не совсем точен. В словах гриновского мальчика нет утешения и слов «не бойтесь» он не говорит — это был бы уже другой рассказ, может быть и не

хуже, но другой. У героя «Пропавшего солнца» после четырнадцати лет страдания есть лишь торжество над своими истязателями. Проведя ночь в темном саду, он дожидается восхода солнца, однако конец истории трагичен.

«— Вот! — сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться. — Оно возвращается оттуда же, куда провалилось! Видели? Все видели?

Так как мальчик спутал стороны горизонта, это был единственный — для одного человека — случай, когда солнце поднялось с запада.

— Мы тоже рады. Наука ошиблась, — сказал Фергюсон.

Авель Хоггей сидел, низко согнувшись, в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец, бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, заставил его прижать руки к глазам; сквозь пальцы потекли слезы.

Проморгавшись, мальчик спросил:

— Я должен стоять еще или идти?

— Выгнать его, — мрачно сказал Хоггей, — я вижу, что затея не удалась. А жаль. Фергюсон, ликвидируйте этот материал. И уберите остатки прочь».

Разумеется, ставить знак равенства между Грином и его героями-мистификаторами — Консейлем и уж тем более Хоггеем, в образе которого идея эксперимента над человеческим естеством доведена до изощренности фашизма, немыслимо. Очевидно и отвращение Грина к этому персонажу, но любопытно, что во «Встречах и приключениях» Грин напишет: «Уже я знал о гибели Хоггея, крупного миллионера, бесчеловечные опыты которого с живыми людьми (см. “Пропавшее солнце”) возбудили наконец судебный процесс. Хоггей застрелился, приказав, чтобы его сердце было помещено в вырезанный из целого хрусталя сосуд с надписью: “Оно не боялось ни зла, ни добра”».

Писателю должно быть свойственно низко падать и возноситься душой, говорил когда-то Толстой. Грин был в этом смысле настоящим писателем. «Чем шире в писателе способность проникать через себя в сущность других людей, тем он талантливее и разнообразнее. Он как бы всевоплощающий актер»[293], — утверждал он и играл свои роли, возносясь и падая не в одной лишь душе, но и в жизни, а эксперименты над людьми, разумеется, не такие жестокие, как Хоггей, однако порой не слишком приятные, ставили не только герои Грина, но и их создатель.

Об этих опытах, от которых веет холодком, пишут почти все мемуаристы, и тем объективнее, несмотря на кажущуюся порой фантастичность, выглядят их свидетельства. Но такой была «кухня» Грина, кулисы его романтического театра.

«Однажды он рассказал мне, как где-то под Петербургом вместе с Л. Андрусоном за двадцать девять копеек нанял извозчика, — вспоминал поэт Г. Шенгели: — Расплатился с ним, а потом вынул рубль, показал... и зашвырнул его в кусты. Извозчик был очень обижен.

— Я хотел послушать, как ругается извозчик, доведенный до высшей степени раздражения, — сказал Грин»[294].

Писатель Леонид Борисов приводит свой разговор о Грине с некой дамой:

« — Он чудак, этот Александр Степанович! Он шутит. Он однажды чуть не убил моего мужа. Подошел к нему и сказал: "Ты будешь убит, готовься". И пошел на кухню за топором. Подошел к мужу, муж говорит: "Александр Степанович, брось дурить! Топор острый!" — "Это и хорошо, что острый". — Дама захохотала. — А через неделю Александр Степанович прочел нам главу из рассказа. Там один человек убивает топором другого. Редкий оригинал!»

И чуть дальше:

« — Это он работает, — сказала дама. — Так нужно для его рассказа.

Дама была из наблюдательных», — заключает мемуарист, сам ставший жертвой гриновской мистификации[295].

Михаил Слонимский писал: «В процессе творчества, создавая свой фантастический мир, Грин сам начинал жить воображаемой жизнью, вымышляя никак не соответствующие истине отношения между людьми, с которыми он встречался. И случалось, что, поверив в собственные свои домыслы, он вторгался в жизнь человека с поступками несообразными и нелепыми.

Мне привелось однажды стать жертвой его воображения. Как-то поднявшись ко мне поздно вечером, он очень чопорно попросил разрешения заночевать у меня. Он был абсолютно трезв. И вот среди ночи я проснулся, ощутив неприятнейшее прикосновение чьих-то пальцев к моему горлу. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной Грина, который, весьма мрачно глядя на меня, задумчиво сжимал и разжимал сильные свои пальцы на моей шее, соображая, видимо: задушить или нет. Встретив мой недоуменный взгляд, он, как очнувшийся лунатик, разогнулся и, не молвив ни слова, вышел.

Мне потом удалось выяснить причины этого внезапного и фантастического поступка. Грину представилось, что я

обязан жениться на одной девушке. Он построил в воображении своем отчаянный сюжет, в котором я играл роль злодея, и, побуждаемый добрыми намерениями, в моем лице решил наказать порок»*.

А заканчивается этот сюжет характерным признанием мемуариста: «Я не стал бы поминать тут об этом глупом происшествии, если б не хотелось мне показать на конкретном эпизоде фантастичность поведения, которая иной раз проявлялась у Грина в жизни»[296].

«О его чудачествах и странных, на первый взгляд, поступках можно было бы рассказывать часами. Сейчас я не собираюсь этого делать, но считаю нужным заметить, что чудачество никогда не было для него чем-то надуманным, напускным, игрой, позой. Это шло у него от самого строя души — сложной и капризной, — писал Николай Вержбицкий, очень точно подмечая те обстоятельства, которые влияли на психику Грина: — Больше всего его беспокоило все нарастающее и у всех на глазах происходящее усложнение жизни... И он уставал от этого. До такой степени уставал, что ему хотелось сделаться сумасшедшим и на все отвечать блаженно-идиотской улыбкой»[297].

Ко всему этому можно было бы добавить строки из показаний Степана Евсеевича Гриневского, относящиеся к детству Грина, которые, возможно, были, повторю, написаны с целью отвести от сына удар и смягчить наказание, и все же:

«Как на примеры ненормальности указываю следующие факты: 1) не однажды Александр без всякого повода и один на один захохочет; 2) иногда встанет и начнет целовать косяки; 3) без всякого повода раздражался, готов был драться со мной и в особенности с мачехою»[298].

Да и сама Нина Николаевна Грин, которую, несомненно, все эти воспоминания ужасно б возмутили и она объявила бы их очередной легендой в стиле Л. И. Борисова, говорит об

---

* Трудно сказать, о каком рассказе идет речь. Но сцена удушения, весьма похожая на ту, о которой говорит Слонимский, встречается в рассказе «Ученик чародея»: «Я встал и с холодным затылком, вытянув, как слепой, руки, подошел на цыпочках к старику. Пол скрипнул два раза, и каждый раз мучительно хотелось мне провалиться сквозь землю. Наконец, мои пальцы остановились над обнаженным, сухим горлом, и я быстро клещами свел их, сжав горячее тело таким усилием, что заметался, как под непосильной тяжестью. Д'Обремона словно подбросило; весь выгнувшись, разом открыв с ужасным пониманием во взгляде белые, широко сверкающие глаза, глядел он на меня в упор, цепляясь до боли неожиданно сильными пальцами за мои руки. Удвоив усилия, я потряс жертву, — и она стихла».

автобиографическом подтексте в рассказе «Брак Августа Эсборна», который был ей посвящен. Приводя из этого рассказа несколько цитат, характеризующих, по ее мнению, личность Грина, она сопровождает их своими комментариями:

«“Он не был ни жестоким, ни грубым человеком, но, случалось, что им овладевала сила, которой он не мог противиться, отчего объяснял ее как причуду. Это была неосознанная жажда страдания и раскаяния. Эсборн вспоминал, как еще мальчиком он любил прятаться в темный шкаф и выскакивать оттуда лишь тогда, когда тревога в доме достигала крайних пределов, когда слуги сбивались с ног, разыскивая его. Сам радуясь и терзаясь, с плачем кидался он к матери...”

Это ответ Александра Степановича на мои вопросы: “Но почему, Сашенька, ты не позвонил мне по телефону, не прислал записку с посыльным, зная, как я жестоко терзаюсь в ожидании?!”

“Отойдя к скверу, Эсборн подумал, как обрадуется Алиса, когда он вернется...”

“Все время было при нем это тоскливое, мучительное противодействие — непокорная черная игла, направленная к его рвущемуся домой сердцу”.

“...И в Алисе навсегда остался бы страх перед его душой, о которой он и сам знал очень немного. Он не чувствовал себя способным солгать так, чтобы ложь имела плоть и кровь живой жизни”...

Это наши мысли, наши разговоры с Александром Степановичем о сохранении жизни любящих людей, о ненужности знать о близком абсолютно все и только точно истину»[299].

Как к этим особенностям поведения Александра Грина относиться, наверное, лучше скажет психиатр. Недаром, по свидетельству Л. Михайловой, именно психиатры очень высоко оценили рассказ «Возвращенный ад», где показана клиническая картина амнезии: «Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своём единстве... держали меня... последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: всё, что я видел, чувствовал или обсуждал, — состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциаций... Всё приблизилось, всё задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность... ринулись несчисленной армией фактов на осаду

рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я против воли должен был держать в жалком и нервном порядке, в относительном равновесии — весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений».

Этот же мотив психического расстройства повторяется в одном из самых загадочных рассказов Грина середины 20-х годов «Сером автомобиле», герой которого, глядя на самые обычные и в ту пору довольно еще редкие автомобили, испытывает к ним чувство враждебности не меньшее, чем сам писатель к самолетам: «У меня поднималось к сердцу ощущение чужого всему, цинического и наглого существа ради цели невыясненной. Обычно продолговатые ямы этих массивных, безумных машин были полны людей, избравших тот или другой путь доброй волей, — но у зрения есть своя логика, отличная от логики отвлеченной... Проходя улицей, я был всегда расстроен и охвачен атмосферой насилия, рассеиваемой стрекочущими и скользящими с быстротой гигантских жуков сложными седалищами. Да, — все мои чувства испытывали насилие; не говоря о внешности этих, словно приснившихся машин, я должен был резко останавливать свою тайную, внутреннюю жизнь каждый раз, как исступленный, нечеловеческий окрик или визг автомобиля хлестал по моим нервам; я должен был отскакивать, осматриваться или поспешно ютиться, когда, грубо рассекая уличное движение, он угрожал мне искалечением или смертью. При всем том он имел до странности живой вид, даже когда стоял молча, подстерегая. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно, как полагают благодушные простаки, воспевающие культуру или, вернее, вырождение культуры, ее ужасный гротеск...»

Автомобиль — символ обезличенной, механической жизни, которая подменяет живую жизнь и наступает на человечество. По воспоминаниям Д. Шепеленко, Грин часто говорил: «Бойтесь автомобилей! Это орудия дьявола!»[300]. В письмах Нины Николаевны к мужу, когда Грин уезжал в Москву или Ленинград выбивать гонорары, встречается то же самое предостережение: «Береги себя, бойся автомобилей».

Наконец, в черновиках Грина встречается характерный образ отвратительной женщины: «Взять мне что ли женщину-прохвоста, с золотыми зубами, кокаином и шелками, отдающуюся на аэроплане, в автомобиле... Прочь чудовище!»[301]

Подобно тому как самолетам Грин противопоставлял образ летающего человека, этой новой жизни его герой противопоставляет идею медленного роста и постепенного созревания: «Именно то, что совершается медленно, конечно,

относительно медленно, так как мерила быстроты различны по природе своей, в зависимости от качества движения, — именно это наиболее ценно... Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят, иногда, начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру?! Оно сталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться».

Отсюда, кстати, проистекало непримиримое отношение Грина к футуристам, которые, по его мнению, были идеологами механической безблагодатной жизни. Ничего, кроме отвращения, смешанного с ревностью, фигура поэта и летчика Василия Каменского, ходившего с изображением самолета на лбу, у Грина вызвать не могла. Точно так же неприязненно относился он и к Маяковскому, с которым работал в годы Первой мировой войны в одной редакции — аверченском «Новом сатириконе». Общения между ними не было никакого, при том что очевидно их роднила, хотя бы и по-разному проявлявшаяся и описанная, ненависть к мещанству и обывательской жизни.

«Черт знает! Непонятен мне этот молодой человек. Начал с футуризма, ходил в желтой кофте с деревянной ложкой в петлице. Это желание прежде всего привлечь к себе широкое внимание, хотя бы и скандальное. Умеет, видимо, из всего извлечь материальную выгоду, даже из рекламы обыкновенной. Стихи сильны, грубы, завоевывает... Не моего представления об искусстве человек. Демагог, политик, — да, сильный и смелый. Нечист в любви, вернее, не брезглив. Брак втроем... бр...[302]»*

Маяковский также не жаловал Грина. В 1926 году в статье «Подождем обвинять поэтов» он писал о своих впечатлениях после путешествия по Закавказью: «Осматриваюсь. Прилавок большого магазина “Бакинский рабочий”. Всего умещается 47 книг... Из умещенных — 22 иностранных... Русский, так и то Грин. И по возможности с иностранными действующими лицами и местами»[303]. Впрочем, стоит отметить одну парадоксальную деталь. Борис Пастернак, описы-

---

* После самоубийства Маяковского Грин переменил свой взгляд на поэта: «Что-то просмотрел я в этом человеке. Тот извозчик в поэзии, который виделся мне в его лице, не смог бы покончить самоубийством. Значит, была в душе рана, боль, скрывал ее под буйством слов и не выдержал борьбы этой» (РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед хр. 17).

вая молодого Маяковского, апеллировал к образам Грина: «Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором»[304].

«Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, — говорит один из героев Грина в «Сером автомобиле» в адрес футуристов, — подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это — здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего».

«Футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то, — соглашается с ним другой. — Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это — явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве — с нашей, с человеческой точки зрения — здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в единый рисунок сточных труб, дверей, вывесок и углов... В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно — человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг».

Последнее есть камешек в огород абстракционизма, но при этом замечательно, что Грин не просто его отрицает — не нравится, и все тут, — а подводит под это отрицание определенную основу. Впрочем, как мы увидим в «Фанданго»,

Грин и Левитана не жаловал. Часто говорят о том, что Грин противопоставлял урбанистическую цивилизацию и природу. Это очень верное замечание, тем более что оно позволяет рассматривать Грина не как «иностранца» в русской литературе, а видеть в его творчестве проявление общих, присущих литературе начала века черт. Но мысль эта нуждается в уточнении. Конфликт цивилизации и природы встречается у многих авторов рубежа веков — у позднего Льва Толстого (да и у раннего — в «Казаках»), Пришвина, Клюева, Есенина, но для них антитезой городу выступает либо действительно природа как таковая, либо уходящий мир деревни.

На младенца-березку,
На кузов лубяной смиренный
Идут: Маховик и Домна —
Самодержцы Железного Царства.
Господи, отпусти грехи наши!
Зяблик-душа голодна и бездомна,
И нет деревца с сучком родимым
И кузова с кормом-молитвой!

Так о гибели «избяной Руси» под натиском города писал Клюев. Схожие интонации можно найти и у Есенина в «Сорокоусте»:

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

В сущности, вся проза Грина есть протест против этой победы механического начала (равно как и против бесплодных мечтаний символистов о неведомых мирах). Но он не просто оплакивает уходящую натуру, а моделирует такую ситуацию и такую реальность, при которой история идет по другому пути. Можно спорить о том, как это назвать — фантастикой, романтизмом, инфантилизмом, — но если у Есенина и Клюева речь шла именно о столкновении двух реально существующих миров, двух социумов, к одному из которых принадлежат или принадлежали эти поэты, то Грин

ни к одному из этих сообществ не принадлежал или по крайней мере свою принадлежность к ним не признавал. Для него в прошлом России нет ничего, за что можно было бы уцепиться и противопоставить настоящему — вероятно, поэтому свою утопию он искал не в русской деревне, не в расколе, не в опрощении или уходе в народ, а в выдуманном тридевятом государстве. Но даже оно не самоцель. Грину важен по большому счету человек и только человек вне его связи с историей, национальностью, богатством или бедностью, религией и политическими убеждениями. Грин как бы абстрагирует, очищает своих героев от этих наслоений и стерилизует свой мир, потому что так человек ему лучше виден.

Человек был его религией, но для Грина он — гораздо большее, чем горьковская формула «Человек — это звучит гордо», иронически обыгрываемая в рассказе «Фанданго» («Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что “человек — это звучит гордо”»). Человек для Грина — великая тайна. Отрицая или скептически относясь к потустороннему миру как таковому («Занимаюсь спиритизмом, причем от скуки; выстукивал разные похабные слова», — писал он Куприну[305]), Грин очень внимателен к миру человеческой души, ее необъяснимым проявлениям и возможностям, и провести границу между писательским вымыслом и фактом довольно трудно. В рассказе «Загадка предвиденной смерти», герой которого приговорен к казни на плахе и последние дни своей жизни думает только об одном — топоре и шее, пограничная ситуация написана настолько убедительно, что, кажется, автор вселился, как дух, в своего протагониста и не хочет либо не может быть оттуда изгнанным. О необъяснимых свойствах человеческой психики идет речь в рассказе «Убийство в рыбной лавке», герой которого совершает убийство, подчиняясь зову бессознательного, или в рассказе «Днем и ночью», где загипнотизированный туземцами офицер колониальной армии убивает своих солдат, и примечательно, что во всех трех новеллах финал одинаков — смерть.

Пяти человеческих чувств Грину мало. Мало и шести, если подразумевать под последним то, о котором писал Гумилев. Скорее тут есть что-то от шекспировского «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам».

Нечто сверхъестественное, экстрасенсорное, парапсихологическое, как мы сказали бы сегодня, было свойственно и самому Грину. Вл. Смиренский вспоминал: «Иногда Грин поражал меня своей удивительной способностью подчинять человека. Мне думается, что его внимательный и тяжелый, как у Лермонтова, взгляд обладал гипнотической силой. Он

легко мог заставить прохожего оглянуться. Я наблюдал, как в магазине терялись перед ним продавщицы. Попросит он, например, двести граммов сыру, а продавщица отвешивает ему пятьсот. Грин только усмехнется и скажет: "Вы так проторгуетесь" или "Мне этого много"»[306].

Николай Вержбицкий приводит свой пример одержимости в сознании Грина, с возможно подобными сверхъестественными способностями связанной, причем здесь все, как и в рассказах, заканчивается смертью: «Он любил девушку, и она отвечала ему большим чувством. Как-то вечером, когда он был совершенно один, среди полной тишины, она совершенно ясно сказала ему, как бы на ухо, несколько раз одно только слово: "Прощай!" Можно было с полной несомненностью различить тембр ее голоса и даже легкую картавость при произнесении буквы "р".

Грин записал час и минуты. На другой день утром послал телеграмму. Ему ответили, что девушка скончалась накануне вечером во время сердечного припадка»[307].

Вержбицкий верит или делает вид, что все именно так и было, Владимир Сандлер в своем комментарии к этому эпизоду рассудительно эту версию опровергает, утверждая, что «весь этот эпизод выдуман Грином», который «писал в то время рассказ "Голоса и звуки", сюжетно очень напоминающий рассказанную историю, и хотел на слушателе "проверить" органичность своей выдумки»[308].

Правы оба. Разумеется, Грин сочинил историю про умершую девушку. Разумеется, сочинил не просто так, а потому, что писал рассказ. Но Грин не был бы Грином, если бы сам не поверил в свою выдумку. В этом смысле он был действительно дитя или же должен был вогнать себя в некий творческий экстаз, без которого не мог писать, должен был сам пережить то, что происходит с его героями. Граница между мирами — реальным и воображаемым — проходила в опасной близости от его рассудка.

Это особенно хорошо видно все в том же «Сером автомобиле», где определить степень психического расстройства героя и отделить его позицию от авторской гораздо сложнее, чем в «Канате». Как точно подмечено в книге Вадима Ковского, у Грина были произведения первой степени сложности («Алые паруса», «Сердце пустыни») и второй («Крысолов», «Фанданго», «Дорога никуда»)[309]. К последним можно отнести и «Серый автомобиль».

Но прежде чем перейти к этому рассказу, следует сказать еще об одной доселе никому из гриноведов неизвестной мистификации Грина, напрямую связанной с историей со-

здания «Серого автомобиля». Об этой мистификации совсем недавно написала в газете «Смена» питерская журналистка Марина Мелкая: «В нашем городе живет женщина. Ей 93 года, но у нее разумная речь и ясный взгляд. А в 1923 году Ольге Ивановне Емельяновой было 13. Она уверена, что в декабре того далекого от нас года ее встретил писатель Грин. Тот самый, автор "Алых парусов". Встретил при чрезвычайно удивительных обстоятельствах...

— Представьте — мне 13 лет. Я приехала с Урала, дома оставила мать с восемью братьями и сестрами мал мала меньше, отец-агроном умер за месяц до моего отъезда от скоротечной чахотки. Мы обменяли почти всю мебель и даже одежду на еду и все равно голодали. Ничего не оставалось, как только послать меня, старшую, в Петроград. Если ничего не заработаю, так хоть на шее висеть не буду... Я приехала в ноябре, без пальто, вместо него — шерстяной цыганский платок, драный, но громадный. На ногах — деревянные чеботы, точно как у Золушки... Но я была совершенно уверена: "Я — красивая! Значит, не пропаду!" При этом никаких дурных мыслей и в помине не имела! Просто такое очень юное ощущение счастья от собственного отражения в карманном зеркальце...

Оля поселилась у дальней родственницы в углу комнаты, она же устроила ребенка на побегушки в нэпманский ночной ресторанчик в районе Сенной. Там было сытно, Оля осталась довольна. Вот только мерзла она без теплого пальто все сильнее.

— А на Невском, в витрине, пальто было! Как раз на меня. Одета в него была девочка-манекен, совсем как живая, и такое у нее было выражение лица, как будто пальто ей до лампочки и вообще все безразлично. Вы представить себе не можете, как я этой кукле завидовала! Сколько же должно быть у нее вещей! Свой выходной я около той витрины простаивала. Вечером за стеклом ставили лампу, и пальто казалось просто сказочным. Синего цвета оно было, с серебряным отливом, а через плечо перекинут шарф чуть-чуть посветлее тоном, с пушистой бахромой. Цену тогда не принято было выставлять, а зайти внутрь я робела: прогонят, еще и побьют! У нэпманов с этим строго! Стою, пока совсем не закоченею. Так и длилось до 24 декабря. А 24 декабря, в самый Сочельник, со мной познакомился Грин. У меня выпал нерабочий день. Рождество тогда уже запретили, тетка ушла в ночь на завод, я взяла из дома горбушку хлеба и, несмотря на мороз, бегом побежала к своему пальто. Простояла уже порядочно, как вдруг на мое сокровище уставил-

ся еще один зритель! Странный такой дядька: лицо сморщенное, как у старика, но видно, что молодой. На плечах вроде шинели что-то, а на голове — летняя фуражка, как в книжках у капитанов дальнего плавания. Глядит на манекен и не шевелится.

Оля подождала, отступила от темной стены и встала в луч от лампы. Дяденька посмотрел на нее.

— Это мой манекен, — сказала Оля совершенно серьезно.

Дяденька промолчал.

— Вы же все равно не можете его купить, — объяснила Оля.

— Тебя как зовут? — хриплым от мороза голосом спросил дяденька.

— Оля, — ответила Оля.

— А меня Грин.

— Просто Грин? Так не бывает.

— А вы хотите горячего чаю, Оля?

Этот диалог Ольга Ивановна помнит дословно. А дальше было вот что. Удивительный знакомый отвел ее в чайную, заказал сайку с изюмом и два стакана чая. Потом внимательно смотрел, как ребенок прихлебывает кипяток посиневшими губами и жадно вгрызается в булку. А потом задал вопрос: “Ты хочешь пальто?”

— Я просто ответила: “Да!”

Он помолчал, потом говорит: “А по-моему, ты хочешь другого...”

Я очень удивилась и сказала: “Это чего же?”

Он опять помолчал и вдруг таинственным таким шепотом, как *волшебник или как сумасшедший* (выделено мной. — *А. В.*), сказал: «Ты хочешь превратиться в шикарный манекен с кудрями и капризными губками, стоять в витрине и не обращать внимания на тех, кто сходит с ума от твоей красоты. Ты хочешь быть красивой вещью, да, Оля?”

“Вы кто?” — спросила Оля человека со странным именем Грин.

“Я — писатель, — ответил Грин. — Я напишу о тебе рассказ. В рассказе ты будешь жить в витрине. А теперь идем”.

Человек взял девочку за руку и снова отвел к магазину одежды. Свет в витрине еще горел. Грин велел Ольге постоять на улице, а сам вошел внутрь. Буквально через минуту чьи-то руки убрали куклу с витрины и задернули портьеру. У Оли душа ушла в пятки. Неожиданно начался снегопад. Еще через пару минут Грин вышел. В руках у него был шарф с пушистой бахромой. Он неловко надел его на Ольгину шею и пояснил: “На пальто моего пайка не хватило”. Потом коротко приложил руку к фуражке и быстро пошел прочь.

Ольга Ивановна уверена, что видела именно Грина.

— Я была потрясена до... не знаю чего. Просто впала в ступор. Когда кинулась следом — никого впереди уже не было. Как назло, от Нового года и до Крещения ни одного выходного мне не выпало: клиентов было много. А как только я вырвалась, сразу помчалась в библиотеку. Там долго рылись и вытащили наконец тоненькую книжку "Шапка-невидимка". Автор — Александр Грин. Но я же была уверена, что Грин — это имя. Книжку, правда, все равно прочитала. Очень она мне понравилась. А жизнь покатилась дальше. Красивой вещью я не стала. В 20 лет вышла замуж за государственного служащего. Через год похоронила новорожденную дочь. В блокаду потеряла мужа. Сама пережила войну в оккупации, далеко от Ленинграда. И там же украли мой ненаглядный шарф. Стыдно сказать, но горевала я, как по родному человеку. Прошло еще 20 лет. Я жила одна, работала на почте, и вот в 1965 году пришла подписка на собрание сочинений А. С. Грина. Я вспомнила детство и подумала: "Дай подпишусь!" Получаю книги, открываю первую страницу и вижу портрет автора... Сердце екнуло, но я понимала, что, вероятно, обозналась. Начинаю читать. С большим, кстати, удовольствием. И дохожу до рассказа "Серый автомобиль"... А точнее, до описания главной героини.

"Она жила скверно, то есть была полным, послушным рабом вещей, окружавших ее. Эти вещи были: туалетными принадлежностями, экипажами, автомобилями, наркотиками, зеркалами и драгоценностями. Я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей... Когда я думал о ней, мне легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим под стеклом. Воск с механизмом внутри, — это были вы, — вы дышали и улыбались. Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание".

В тот вечер 55-летняя одинокая Ольга Ивановна заплакала впервые после войны...»[310]

Зная Грина хотя бы чуть-чуть, в этот сюжет невозможно не поверить. Когда-то точно так же, увидев в витрине магазина игрушечную яхту с красными парусами, Грин задумал самую известную свою феерию «Алые паруса». Мотив витрины как иной реальности и толчка для создания художественного образа присутствует и в «Сером автомобиле»: «Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Бир-

жи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина».

Общество потребления, общество витрины и рекламы, в котором мы имеем теперь счастье жить, было впервые описано Грином. Воистину этот недооцененный писатель был пророком, которому никто не верил и к которому не относились всерьез ни до, ни после революции — горькая судьба, как тут не сойти с ума, оттого что твои предчувствия никого не интересуют!

Герой «Серого автомобиля» — название является прямой противоположностью «Алых парусов» и по цвету и по сути — Эбенезер Сидней безнадежно влюблен в женщину с говорящим и весьма нелепым именем Коррида Эль-Бассо. Коррида — существо странное: «Она не любила растений, птиц и животных, и даже ее любимым чтением были романы Гюисманса, злоупотребляющего предметами, и романы детективные, где по самому ходу действия оно неизбежно отстаивается на предметах неодушевленных. Ее день был великолепным образцом пущенной в ход машины, и я уверен, что ее сны составлялись преимущественно из разных вещей. Торговаться на аукционе было для нее наслаждением... Немного, — о, совсем немного хотел я: живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости».

Однако девушка к нему холодна. Ей с ним скучно. Она его не понимает. У нее совсем иная жизнь. Но однажды Сидней становится богат благодаря выигрышу в казино. Поединок между Сиднеем и загадочным мулатом, который до этого всех обыгрывал, описан захватывающе и живо и оказывается чем-то вроде «Пиковой дамы» наоборот. У Пушкина Германн вместо дамы видит туза (или же туз мистическим образом оказывается дамой), а у Грина герой не сразу разглядывает, что у него на руках самая лучшая из всех возможных комбинаций, и эта заминка вводит его проницательного соперника в заблуждение, заставляя пойти ва-банк, сокрушительно проиграть и покончить с собой.

Внезапное богатство Сиднея меняет его отношения с Корридой, которая теперь испытывает к консерватору и ретрограду интерес и соглашается отправиться на конную прогулку в горы с неизвестной для нее целью.

«Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас», — роняет она ему, записывая Сиднея в традиционный ряд гриновских персонажей — заговорщиков и провокаторов. Но если с другими персонажами этой породы из «Искателя приклю-

чений», «Создания Аспера», «Черного алмаза», «Сердца пустыни» и «Пропавшего солнца» у Грина все более или менее понятно, и нам ясно, чего эти люди хотят и как автор к ним относится, то в «Сером автомобиле» ситуация много сложнее, и окончание рассказа может быть прочитано двояко.

Первое: там, на природе, герой окончательно убеждается в том, что подозревал и раньше. А именно — девушка, в которую он влюблен, на самом деле не живое человеческое существо, но сбежавший из магазина манекен (и отсюда становится понятен рассказ жительницы Петербурга о ее встрече с Грином), которому Сидней говорит:

«Вам нечего притворяться более. Карты открыты, и я хорошо вижу ваши. Они закапаны воском. Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нем, как воск вспомнил прежнюю свою жизнь в цветах. Но истинная, истинная жизнь воспламенит вас только после уничтожения, после смерти, после отказа! Знайте, что я хотел тоже ринуться вниз. Это не страшно! Нам следовало умереть и родиться! ... Стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумертв сам, движусь и живу, как машина; механизм уже растет, скрежещет внутри меня; его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении, и, воскреснув мгновенно, мы оглушим пением сердец наших весь мир. Вы станете человеком и огненной сверкнете чертой. Ваше лицо? Оно красиво и с желанием подлинной красоты вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза? Блеск волос? Характер улыбки? — Увлекающая энергия, и она сказалась бы в жизненном плане вашем. Ваш голос? — Он звучит зовом и нежностью, — и так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть!»

Весь этот монолог разбит схваткой между героями, во время которой он стремится столкнуть ее в пропасть, после падения в которую она должна возродиться, а она — стреляет в него, потому что он узнал ее страшную тайну. Сидней ранен, Коррида покидает его, направившись якобы в город за помощью, а на самом деле чтобы привести убийц, и он в отчаянии восклицает: «Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, — в жизнь, ей ты нанесла рану! Вернись!»

Заканчивается же весь этот душераздирающий сюжет тем, что, отдав весь свой выигрыш незнакомым бедным людям, Сидней попадает по воле преследующих его в сером автомобиле врагов в сумасшедший дом и пишет оттуда посла-

ние Королевскому прокурору, которое, скорее всего, до него не дойдет. Выходит что-то вроде антиутопии в духе Замятина или более поздних по времени и вполне жизнеподобных сюжетов, где главного героя ждет судьба диссидента, которого упекли в брежневскую психушку.

Но можно предположить и иное прочтение рассказа. Некий человек на фоне резко убыстряющейся жизни и на почве несчастливой любви да плюс еще фантастического выигрыша в карты сходит с ума (так опять возникает перекличка с пушкинским Германном) и воображает, что девушка, в которую он влюблен, — сбежавший из магазина манекен. Он заманивает ее в горы и собирается столкнуть в пропасть якобы для того, чтобы ее спасти, а на самом деле потому, что безнадежно болен. Она сопротивляется, стреляет в него в целях самообороны и спешит в город за помощью, после чего его как сумасшедшего отправляют в психиатрическую лечебницу, где он под наблюдением опытного врача может беспрепятственно рассуждать о «заговоре окружности против центра».

Вот его монолог, обращенный к лечащему врачу, к которому (монологу) не знаешь, как относиться: то ли это программное заявление автора, то ли гениальный бред сумасшедшего героя: «Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости, — диска, все точки которого заполнены мыслящими, живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками, происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение: Диск — это время, Движение — это жизнь и Центр — это есть истина, а мыслящие существа — люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно по времени движению точек окружности, — следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке.

По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру, существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть, по существу, страдание исступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко — всегда далеко — от них.

И слабые, — подобные мне, — как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых — пустота.

Меж тем одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайшие к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга, — неподвижные, ибо они есть цель, — и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена: Любовь, Свобода, Природа, Правда и Красота».

Так кто же он, пророк или сумасшедший? Какое прочтение имеет большее право на жизнь?

Вероятно, это тот самый случай, когда нельзя ставить вопрос «или — или». Грин вложил сюда оба смысла, он играет с читателем, запутывает его и при этом следует в рамках западной литературной традиции, правда, связанной на сей раз не с Эдгаром По, а с другим известным писателем. О соотношении этих мотивов хорошо написала автору этой книги проживающая ныне в Париже исследовательница творчества Грина Ольга Максименко.

«"Серый автомобиль". Да, на первый взгляд, это и есть один из его самых загадочных рассказов. По крайней мере сразу встают вопросы: что было, а чего не было? Во что верить, а во что нет? Исходя из элементарной логики и здравого смысла, получается, что Сидней увидел когда-то куклу, похожую внешне на Корриду, а потом спроецировал на нее свою философию и нелюбовь ко всякого рода автоматам, машинам и вообще неживым организмам. Живая фантазия и восприимчивое воображение превратились в бред и навязчивую идею, он помешался и угодил в психушку. Серый ландо — объект случайный, совсем случайное совпадение. Герой боится машин и внутренне отождествляет это авто с машиной смерти. У него даже возникает мания преследования. Но во что веришь, то и случается. Это повсеместный девиз фантастических произведений. Но это, если отбросить всякую чертовщину и символику (хотя они и составляют философскую начинку рассказа).

Вообще безумие — это либо следствие от встречи со сверхъестественным, либо безумец сам является предвестником прихода этого сверхъестественного. В данном случае это явное следствие. Но если вы заметили, чудеса происходят лишь с теми, кто им открыт. (Например, Воланд воздейст-

вует только на тех, кто с ним связан изначально. Скептиков он умерщвляет, со святыми держится на расстоянии.)

"Серый автомобиль" можно читать и понимать исключительно в совокупности с "Песочным человеком" Э. Т. А. Гофмана, а никак иначе. Во-первых, в этой фантазии в стиле Калло (заметьте, что у Грина ущелье Калло) тоже говорится об оживлении восковой куклы Олимпии, также упоминается песок, Коррида действует машинально, говорит односложно и т. д. Серый автомобиль — это явный субститут Копполы-Коппелиуса (оба рассказа названы по имени объекта, внушающего страх, навязчивую идею), продавца оптики, барометров и песочного человека, который вырывал всем глаза (у Грина это фары авто, круглые, как у куклы, глаза Корриды). Заметьте, что у шофера глаз нет. Вместо них надеты черные очки. Куча деталей чисто лингвистического характера. А также сумасшествие и падение обоих героев. Натаниэль, правда, обезумев, срывается с башни, потому что видит Копполу и стремится к нему и погибает. Сидней также бросается под авто. Коррида — это, наверное, слитые воедино обе героини Гофмана (Клара и Олимпия), нечто среднее между живым и неживым существом. Натаниэль тоже пытается броситься вниз с Кларой, та остается в живых, спасенная братом (брат есть и у Корриды). Но Натаниэль не в себе, Кларе не удается его спасти. Сидней и Натаниэль пытаются тем самым избавиться от своего безумия, обрести покой, наконец, возродиться для новой жизни. Грин, как и Гофман, оставляет конец рассказа туманным, пытаясь доказать читателю, что это не бред. Этим, скорее всего, он хочет, чтобы люди обратили внимание на опасность омеханизирования жизни и поняли, что есть мир истинный, живой. По моему мнению, Грин решил сымпромизировать на тему Гофмана. Возможно, настоящие гриноведы скажут иное».

А гриноведы говорят вот что: «В жанре "загадочных историй" описано у Грина множество явлений, которые проходят сегодня по ведомству неизвестного тогда понятия парапсихологии: внушение и чтение мысли на расстоянии ("Преступление Отпавшего Листа"); творческая реализация личности под гипнозом ("Сила непостижимого"); чудеса самовнушения ("Загадка предвиденной смерти") и т. п. Нередко сюжеты "историй" опираются на медицинский диагноз, который любой психиатр без труда установил бы по поведению персонажей: амнезия ("Возвращенный ад"); почти клинический случай депрессии (главка "Вечер" в "Наследстве Мак-Пика"); "двойная ориентировка" ("Рассказ Бирка"); делирий со зрительными галлюцинациями и

бредом преследования (“Серый автомобиль”); онейроидное расстройство сознания (“Путь”); бред величия (“Канат”); “сумеречное состояние” с агрессивным поведением и амнезией (“Ночью и днем”)...

Объем знаний Грина в этой области, точность изображения сложнейших психических процессов, подчас превосходящих уровень представлений и возможности его времени, вызывают сегодня удивление специалистов».

А далее автор делает важное уточнение:

«Необходимо подчеркнуть — речь идет отнюдь не о том, что писатель замыкает содержание отдельных произведений сферой психопатологии, испытывает к ней “особое” пристрастие и пр. В этом Грина можно обвинять не с большим основанием, нежели Достоевского... Впрочем, острый интерес Грина к психологии и психиатрии вовсе не нуждается в оправданиях — это экспериментальное поле наблюдений для каждого литератора, самой профессией поставленного перед необходимостью заглядывать в “тайное тайных” человека»[311].

В оправдании, конечно, Грин не нуждается. Но в объяснении — да. Не все литераторы-экспериментаторы душили своих друзей, чтобы поглядеть, как процесс удушения выглядит на практике.

Несомненно одно: если и было в натуре Грина что-то психически болезненное, то он умел эту болезненность замечательно, хотя и с риском для окружающих, творчески использовать: иногда он владел ею, иногда она владела им, порой он конфликтовал со своей душевной немочью, порою объединялся. Но так или иначе это было сущностью его таланта, одной из самых важных его составляющих.

«Я и Гарвей, и Гез, и Эсборн — все вместе, — говорил о себе Грин, называя имена своих, условно говоря, положительных и отрицательных персонажей. — Со стороны на себя смотрю и вглубь, и вширь. Только на самом себе я познаю мир человеческих чувств... Через них я вижу весь свой мир, темный и светлый, свои желания и действительность. И, какова бы она ни была, она вся выразилась в образах, мною созданных. Оттого я и говорю смело: в моих книгах — моя биография. Надо лишь уметь их прочесть»[312].

Что бы Грин ни вытворял над собою и другими как в жизни, так и в литературе, быть может, именно благодаря пережитому состоянию безумия, бесстрашному и опасному, разрушающему личность погружению в добро и зло он создавал шедевры, подобные двум рассказам, речь о которых пойдет в следующей главе.

Глава XIII
ОХОТА НА КРЫС

Крысы — должно быть, не только самые злобные и умные, но и самые литературные животные на свете. Сколько существует человеческий род, столько он с крысами безнадежно борется и об этой борьбе повествует. В известном смысле историю нашего пестрого крикливого племени можно рассматривать не с точки зрения многочисленных человеческих войн, начиная с греков и троянцев и заканчивая американцами и иракцами, но как войну людей и крыс (а также комаров, тараканов, мух), победитель в которой до сих пор не определен, и если встать на ту точку зрения, что человечеству грозит погибнуть от ядерной войны, терроризма, экологической катастрофы и т. д., то именно крысы останутся в выигрыше.

Крысы разносили чуму, крысы плодились во время революций и войн. Крысы покидали тонущие корабли, их невозможно обмануть, поймать, отравить — словом, крысы — это сверхраса, ближе всего стоящая к неведомому. Вот отчего фигура профессионального борца с крысами — крысолова — всегда была окутана тайной. О крысах и об их истребителях писали братья Гримм в «Старинных сказках», Гёте в «Крысолове», Гейне в «Бродячих крысах», Гийом Аполлинер в «Музыканте из Сен-Мерри»...

В русской литературе двадцатых годов прошлого века известно, по крайней мере, три появившихся почти одновременно, независимо друг от друга «Крысолова», на европейскую традицию ориентированных, но своих. Два поэтических, один — прозаический.

Самый первый написан Грином, второй — Цветаевой, третий — Георгием Шенгели.

С москвичкой Цветаевой петербуржец Грин знаком не был, а Шенгели, поэт и теоретик стихосложения, чья книга «Как писать статьи, стихи и рассказы» взбесила Маяковского («Зачем нужна такая затхлая книга? По моему мнению,

это сюсюканье интеллигента, забравшегося в лунную ночь под рояль и мечтающего о вкусе селедки»[313]), был его хорошим знакомым. Они встречались как раз во время той самой первой поездки в Крым в 1923 году, когда Грины спасались от ноты Керзона.

«Как-то на берегу, у Графской пристани, встретили красивого молодого человека в тропическом шлеме. Оказалось, это старый знакомый Александра Степановича московский поэт Георгий Шенгели. Два дня всюду ходили вместе, а добрые отношения с ним остались надолго»[314].

Если поэму Цветаевой Шенгели прочел уже после того, как написал про своего «крысолова» (любопытно, что именно Шенгели первый публично прочитает поэму Цветаевой в СССР, это случится в июле 1927 года в Коктебеле у Макса Волошина[315], где теоретически мог быть и живший по соседству Грин), и повлиять прямо она на него не могла, хотя и заставила переменить название — первоначально поэма называлась «Гаммельнский Волынщик», а потом «Искусство» — то рассказ Грина он, разумеется, читал и, быть может, именно в честь Грина и с Грином полемизируя, место действия своей поэмы назвал Гринок, чей пейзаж чем-то напоминает Гринландию.

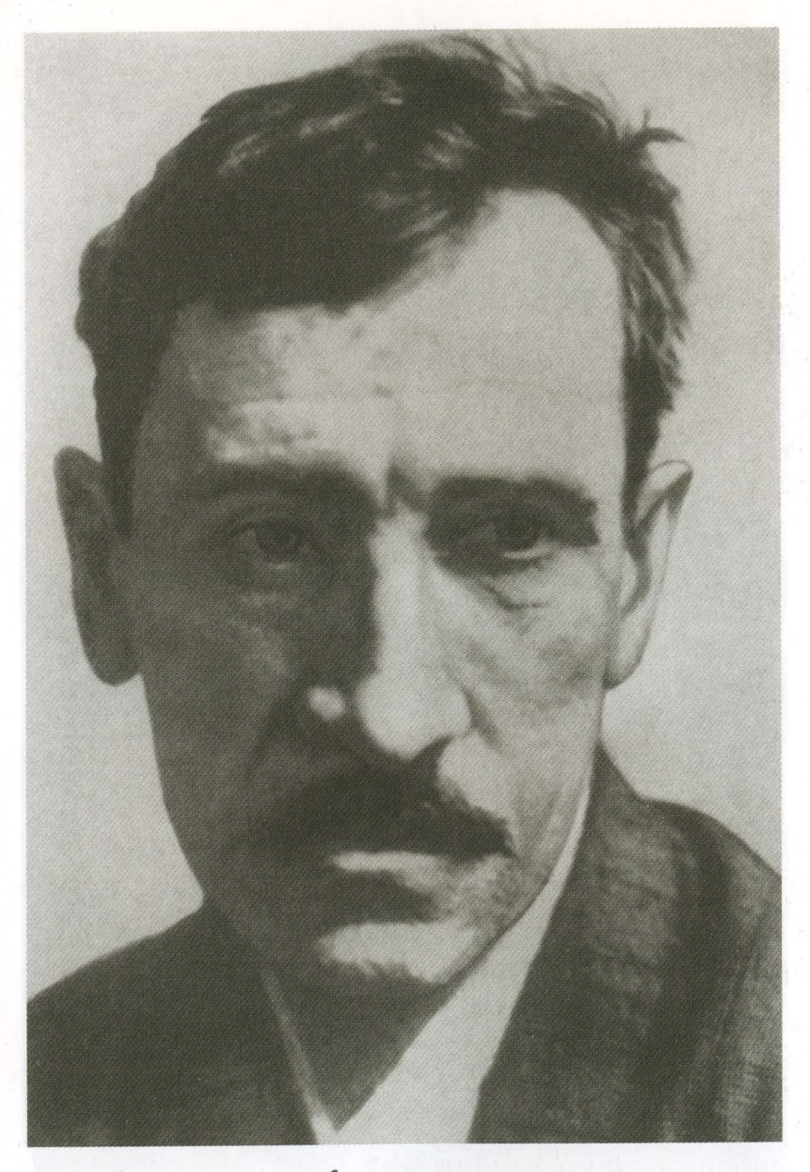
Это было в стране, где струится Клайд,
Травяной прорезая дол...
Он пришел по зеленым и свежим лугам,
Он в старый Гринок пришел

У Грина никакой Гринландии в «Крысолове» нет, а есть Петроград 1920 года.

Об истории создания гриновского «Крысолова» рассказывают очень многие мемуаристы.

Стояло рядом с Домом искусств на Фонтанке огромное здание банка. Один фасад его выходил на улицу Герцена, другой на Невский проспект, третий на Мойку. Как пишет Вера Павловна Калицкая, которую однажды Грин повел на экскурсию в этот дом, «банк занимал несколько этажей и состоял из просторных светлых и высоких комнат, но ничего особенного, красивого или таинственного, что отличало бы его от других банков средней руки, не было. Когда позднее Александр Степанович читал нам “Крысолова”, я была поражена, как чудесно превратился этот большой, но банальный дом в настолько зловещее и фантастическое помещение»[316].

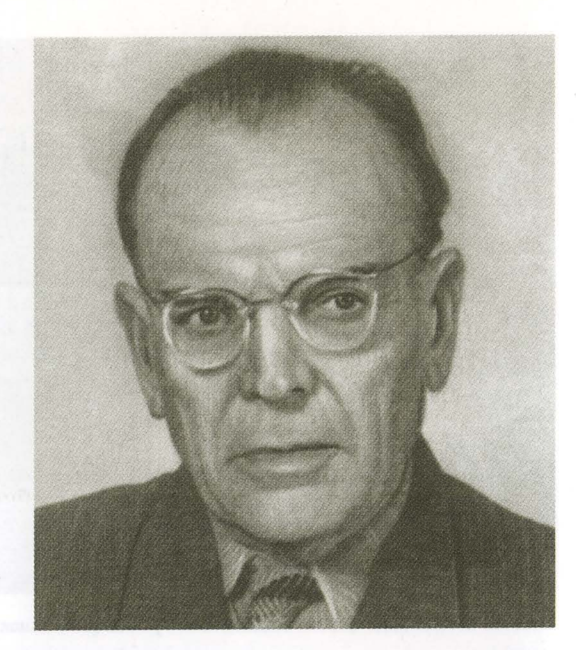
По воспоминания Вс. Рождественского, обитатели Дома искусств спускались в нижние этажи этого здания для того,



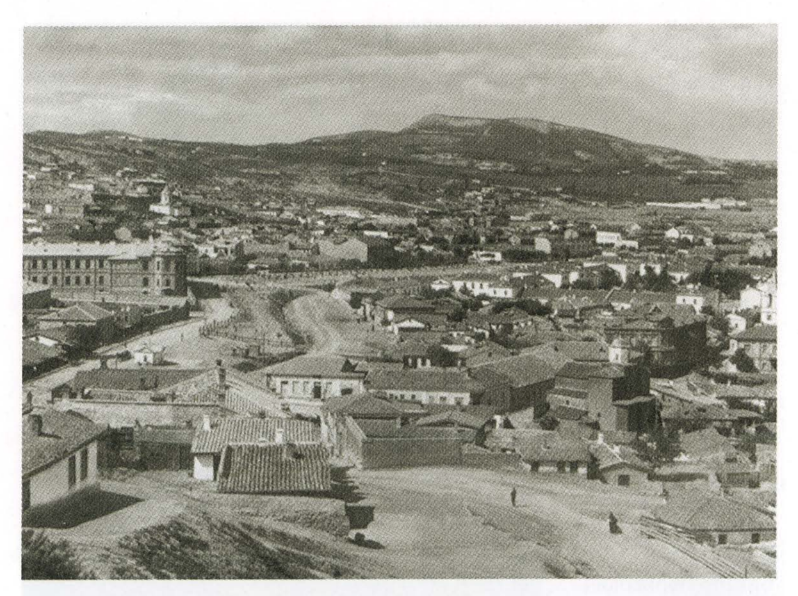
А.С. Грин.

Нина Николаевна Грин. *1920-е гг.*

Константин Георгиевич Паустовский



Виктор Борисович Шкловский



Вид на Феодосию. Вдали виднеется гора Лысая. *С открытки начала XX в.*

Феодосийский вокзал. Разрушен в годы Великой Отечественной войны. *С открытки начала XX в.*

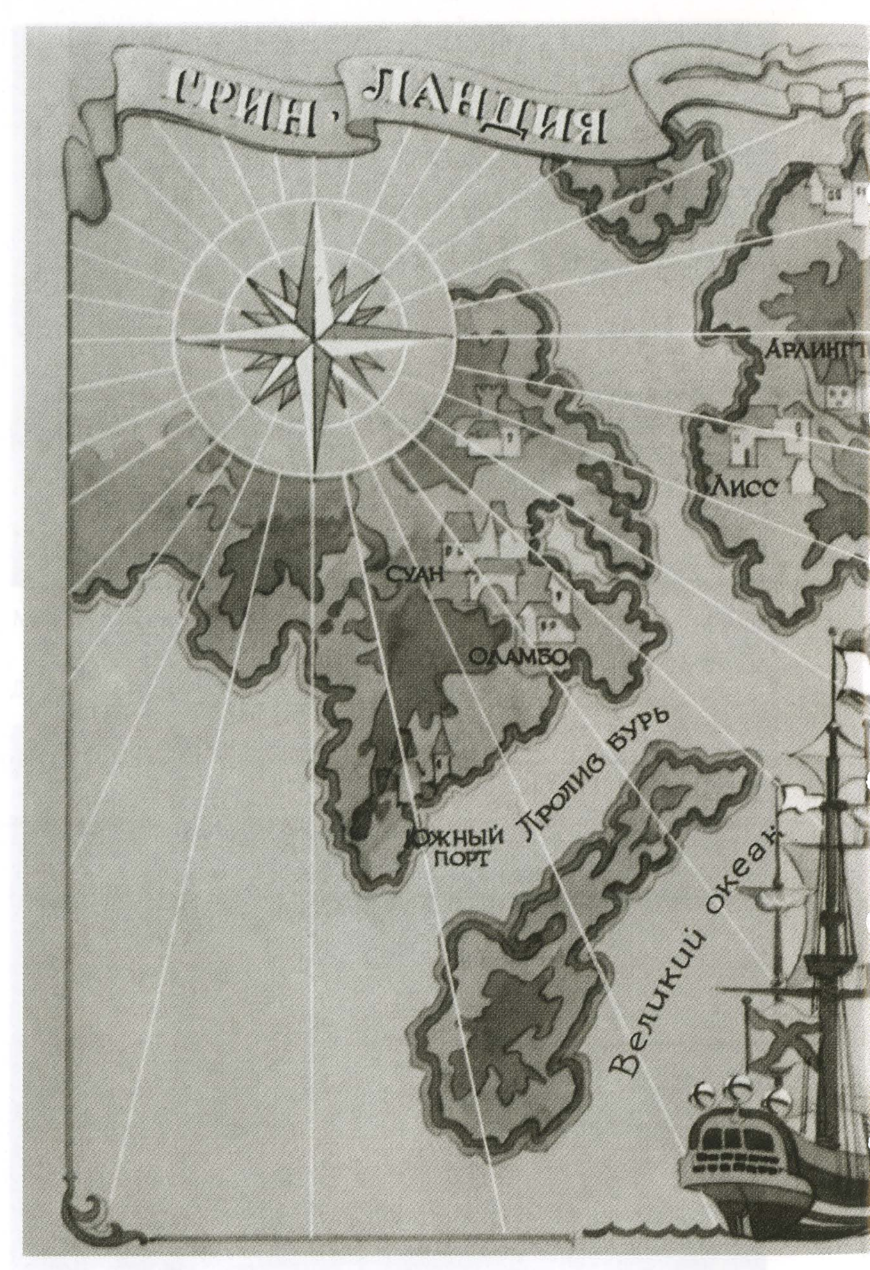
Феодосийская гавань. *С открытки начала XX в.*

Феодосия. Вид на море со стороны Генуэзской башни.
С открытки начала XX в.

М. А. Волошин и В. А. Рождественский в Коктебеле. *1929 г.*

Дом Волошина в Коктебеле

Александр и Нина Грин в Крыму. *1920-е гг.*



Карта Гринландии

Гертон
Зурбаган
Гель-Гью
Покет
Архипелаг
о. Рено

Грин. *Фото Оцупа. 1924 г.*

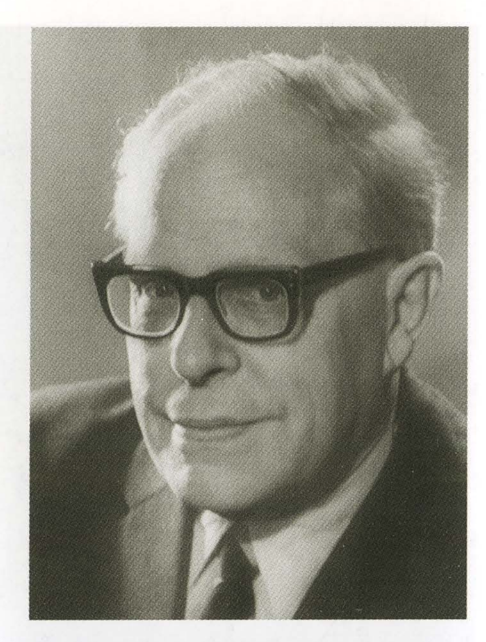
Грин с женой и тещей в своем доме в Старом Крыму

Грин на смертном одре

Вера Павловна
Калицкая,
первая жена Грина.
Конец 1940-х гг.

Нина Николаевна
на могиле мужа.
1960-е гг.

Виктор Николаевич Ильин.
Фото Н. Кочнева. 1974 г.



Сергей Сергеевич Смирнов

Н. Н. Грин и Ю. А. Первова, исследовательница творчества Грина. *1960-е гг.*

Дом-музей А. С. Грина в Феодосии. Художник-архитектор С. Г. Бродский

Внутреннее
убранство музея
разработано
в стиле старинного
парусного корабля;
на таких кораблях
путешествовали
герои Александра
Грина

Вход в Дом-музей А. С. Грина. *Фото И. Гыскэ. 2004 г.*

чтобы брать там бумагу для топки печей. «В то время было плоховато не только с едой, но и с пищей для “буржуйки” — приходилось довольствоваться щепками и бревнышками, приносимыми с улицы, с окраин города, где еще существовали недоломанные заборы. Выдавались, правда, дрова, но не столь уж часто и не в достаточном количестве. Большим подспорьем служили нам толстенные, облаченные в толстые переплеты конторские книги, которые в изобилии валялись в обширных сводчатых комнатах и переходах пустого банка, находившегося в нижнем этаже нашего огромного дома Путешествия в этот лабиринт всеми покинутых, заколоченных снаружи помещений были всегда окружены таинственностью и совершались обычно в глубоких сумерках Грин любил быть предводителем подобных вылазок. Мы долго бродили при свете захваченного нами огарка, поскальзываясь на грудах наваленного всюду бумажного хлама, подбирая все годное и для топки и для писания. Помещение казалось огромным, и в нем легко было заблудиться Не без труда мы потом выбирались наружу. Когда я читаю один из лучших рассказов А. С. Грина, “Крысолов”, мне всегда вспоминается этот опустевший лабиринт коридоров и переходов в тусклом мерцающем свете огарка, среди груд наваленной кучами бумаги, опрокинутых шкафов, сдвинутых в сторону прилавков. И я поражаюсь при этом точности гриновского, на этот раз вполне реалистического описания»[317].

Художник В. Милашевский уточняет, что это было здание «Лионского кредита» и там имелся огромный зал для финансовых операций, но ходили туда не под предводительством Грина, а Шкловского, у которого были ключи. А место было загадочное. «Меня поразил чистый, снежный, какой-то пустой свет, льющийся из этих окон. Это свет ровный и жесткий, белый свет математических абстракций, может быть, финансовых крахов и катастроф»[318].

Именно в этом здании и происходит основное действие рассказа, хотя начинается оно на Сенной площади, с конкретного указания времени:

«Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, — дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет расспрашивать в редакциях — я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года».

Это не только витиеватая литературная насмешка над актуальной в ту пору «литературой факта», за которую Грина будет пинать советская критика. Если вспомнить биографию

самого автора, то 22 марта 1920 года — время его демобилизации из Красной армии и возвращения в голодный Петроград, где у него не было ни денег, ни работы, и будущее его было неопределенно. В таком же состоянии находится и вышедший на рынок герой рассказа, о котором, правда, ничего не известно — ни социальный статус, ни профессия, ни чем занимался, ни в каких партиях состоял до семнадцатого года.

Известно только, что он болен и что «давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему». Еще дан его портрет и краткая, но исчерпывающая характеристика, в которой много личного, и примечательно, что, вводя в текст это описание, Грин пользуется приемом, который впоследствии Виктор Шкловский назовет «обнажением приема».

«Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. “Он смугл, — пишет Репин, — с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом”. Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, — она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне».

Последняя мысль для Грина не нова. Еще в рассказе «Тихие будни» он писал: «Человек, скрывший себя от других, больше и глубже вникнет в жизнь подобных себе, подробнее разберется в сложной путанице души человеческой... в великой боли и тягости жизни редкий человек интересуется чужим “заветным” более, чем своим, и так будет до тех пор, пока “заветное” не станет общим для всех, ныне же оно для очень многих — еще упрек и страдание. А людей, которым и теперь оно близко, в светлой своей сущности — можно лишь угадать, почувствовать и подслушать».

И вот этот нелюдимый, сторонившийся всех человек случайно знакомится на улице с девушкой, которая оставляет ему на память булавку, скрепляющую воротник на его пальто, и номер своего телефона.

« — Вы простудитесь, — сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. — Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин».

Нина Николаевна Грин вспоминает о том, что этот случай имел место в действительности, только Грин торговал не книгами, а академическим пайком, и булавку ему прикрепила она сама. Так это или не так, но любопытно, что булавка, которую девушка передает мужчине, а потом между ними начинается любовь, фигурировала и в более раннем по времени рассказе «Сто верст по реке», навеянном образом Веры Павловны Калицкой, только там галантерейное изделие использовалось в качестве рыболовного крючка, на который герой ловил рыбу и угощал свою смущенную спутницу. Две женщины по-прежнему соперничали если не в мужском, то в писательском сердце Грина.

Однако революционное обращение «гражданин», равно как и вся сцена на толкучке, и мотив голода — все это точная примета нового времени.

Георгий Иванов, еще один обитатель Дома искусств 1920 года, писал в «Петербургских зимах»: «Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь. К 1920 году Петербург тонул уже почти блаженно. Голода боялись, пока он не установился "всерьез и надолго". Тогда его перестали замечать...

Гражданина окликает гражданин:
Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин или нет?..
Я сегодня, гражданин, плохо спал —
Душу я на керосин променял».

Булавку безымянный герой его рассказа хранит, а книгу с телефонным номером в тот же день продает «андреевскому» старику и вскоре заболевает тифом. Три месяца жесточайшего бреда, галлюцинаций, и медленное выздоровление.

«Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел».

Последняя оговорка самая точная. В ней весь Грин. Он умел проявлять настойчивость только в редакциях, когда надо было получить аванс.

Вслед за этим, благодаря случайному дореволюционному знакомству, герой попадает в таинственный дом, до революции принадлежавший банку, и в этом доме начинается его одинокая, фантасмагорическая жизнь.

«Крысолов» — рассказ не о крысах, не о любви, не о революции и голоде, хотя все это тут есть. «Крысолов» — рассказ об одиночестве, о его «холодной пустыне». Описание громадного дома, по которому ходит, перефразируя самого Грина, страдающий бессонницей «человек неизвестного звания», завораживает, в нем есть что-то глубоко мистическое, подготавливающее читателя к тем событиям, которые здесь должны произойти.

А впрочем, вот вопрос: что более всего могло бы поразить жителя Петрограда в 1920 году? Какое чудо должно было случиться, чтобы измученный болезнью и вынужденным ночным бдением человек «вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил»?

Он был готов закричать, потому что увидел... еду: «склад ценной провизии — шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, — отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием».

«Крысолов» — удивительный рассказ. И гриновский, и не гриновский. Иногда кажется, что человеку, а особенно такому упертому романтику, как Грин, необходимо было пройти через тюрьму, солдатчину, тиф, голод, чтобы не только одни «Алые паруса» после него остались. И описание сыров, «от сухого зеленого до рочестера и бри», окороков, колбас, копченых языков и фаршированных индеек, «восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари» — все это звучит такой же песней, что и самые волшебные виды Лисса или все оттенки красного цвета, от алого до багряного.

«Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор».

Это было написано тогда, когда голод миновал, и обеспеченный, ненадолго благополучный Грин мог позволить себе любую покупку в нэпманском Петрограде, но если вспомнить о том, что будет ждать этот город двадцать с небольшим лет спустя, в блокаду, то на страницы «Крысоло-

ва», этой совершенной русской готики и гофманиады советского времени, ляжет еще более зловещий пророческий отблеск.

Насытившись, неизвестный человек начинает думать о том, кому может принадлежать это богатство, и приходит к выводу, имеющему отношение к юности его создателя:

«По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов».

Но эта мысль так и остается подозрением, которое не получает продолжения, потому что гораздо больше его волнует девушка, с которой он познакомился на Сенной площади в день весеннего равноденствия 1920 года.

«Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием».

Он должен ее найти, чтобы поделиться с ней своим кладом, подобно тому, как она поделилась с ним булавкой. Тоска по простому человеческому участию выражена в «Крысолове» едва ли не сильнее всего. В одной из комнат человек случайно находит телефон. Не помня оставшегося в проданной книге номера, он называет телефонистке наугад несколько цифр, телефонистка его переспрашивает, поправляет и чудом соединяет с незнакомкой. Чудо двойное, потому что телефон в квартире у девушки уже давно не работал, и так двое получают возможность встретиться.

«Но они были еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов».

Дальше начнется самое невероятное. Но прежде надо сделать одно отступление. Неработающий телефон, который неожиданно прозвонил в петроградской квартире, не был чистой выдумкой Грина. Вот что пишет в своих воспоминаниях Эдгар Арнольди:

«Не помню по какому поводу, я рассказал Александру Степановичу о случае, приключившемся с моим знакомым. Звали его Яков Петрович, работал он в штабе Башкирской

бригады, расквартированной в 1918 году в Петрограде. Был он молод, но успел заслужить в кругах Красной армии репутацию специалиста по военному снабжению.

Жил он неподалеку от Кузнечного рынка в большой, холодной, старой барской квартире. Работы было много, и после службы он еще до глубокой ночи разбирал документы при свете крохотного огонька керосиновой коптилки. Вся квартира, нетопленая, погруженная в тьму и тишину, говорила о разрухе и лишениях. Со времен исчезнувших прежних хозяев на стене одной из комнат остался давно замолкший телефон. По своему служебному положению Яков Петрович мог бы добиться включения телефона в действующую сеть, но беда была в том, что его квартира находилась в стороне от "броневого кабеля", связывавшего наиболее важные учреждения. Надо было прокладывать специальную соединительную линию, что представляло слишком большие трудности.

И вот в одну из ночей, когда Яков Петрович, по обыкновению, работал у своей коптилки, случилось невероятное... Внезапно из гулкой тишины темной квартиры послышались резкие трели телефонного звонка! Эти звуки были настолько неожиданны, непривычны и нарушали обычную обстановку, что Яков Петрович не сразу понял, что произошло. Он так растерялся, что не сдвинулся с места. Но телефон продолжал настойчиво звонить. Наконец Яков Петрович вскочил и бросился в тьму навстречу призывному звону. Натыкаясь на косяки дверей и мебель, он добрался до неумолкавшего аппарата и снял трубку. К немалому изумлению, он услышал, что спрашивают именно его. Строгий голос произнес:

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Авров.

Д. Н. Авров был комендант Петроградского укрепленного района, человек необычайно сильной воли, непререкаемого авторитета и огромной власти. Его приказания выполнялись беспрекословно и без промедлений. Через минуту Яков Петрович услышал голос Аврова, задавшего без всяких предисловий несколько специальных вопросов по военному снабжению. Выяснив все, что его интересовало, он закончил разговор и повесил трубку. Яков Петрович услышал кряканье, щелчок, а затем наступила мертвая тишина. После этого телефон больше не подавал признаков жизни...

В последующие дни Яков Петрович постарался через знакомых в штабе укрепленного района разузнать, что же произошло с его телефоном. Оказалось, что Аврову срочно потребовались какие-то сведения по военному снабжению.

Ответить на возникшие вопросы никто толком не сумел. Ему назвали Якова Петровича как специалиста по этим делам. Авров распорядился узнать, есть ли у Якова Петровича телефон. Выяснилось, что телефон имеется, но не действует.

— Значит, надо сделать, чтобы он действовал! — лаконично решил Авров.

Этого было достаточно для немедленного указания из штаба телефонной команде воинской части, расположенной вблизи квартиры Якова Петровича, о присоединении к прямому проводу требуемого телефона. Телефонисты отыскали проводку квартирного телефона, забрались на крышу дома и на живую нитку подключили линию к воинской части. Затем в штаб поступил рапорт о выполнении приказа. Как только разговор Аврова был окончен, телефонисты, ожидавшие на крыше, сразу же оборвали связь, и на том таинственное происшествие кончилось.

Я заметил, что вызвал оживленное внимание Грина.

— Знаешь, мне понравился бездействующий телефон, зазвонивший в пустой квартире! — сказал он, когда я закончил. — Я об этом напишу рассказ.

Через некоторое время Грин как-то мимоходом сказал мне:

— Рассказ о телефоне в пустой квартире я уже пишу!

Никаких подробностей к этому он не добавил. Я счел неудобным расспрашивать, хотя меня очень интересовало, что получится из рассказанного мною происшествия. Я представлял себе, что Грин обратит зазвонивший телефон в какую-нибудь кульминацию психологического конфликта.

Довольно долго я ничего не слышал о готовящемся рассказе. Потом Грин вдруг поведал мне:

— С рассказом о телефоне в пустой квартире получается что-то совсем другое... Но бездействующий телефон все-таки будет звонить!»[319]

И написал. И зазвонил. Однако как далеко увел его вымысел от реальности! Вместо товарища Аврова на том конце провода оказалась загадочная девица, дочь старика-крысолова, продававшая тайком от отца на питерской толкучке книги. Вместо революционной воли — подвалы старого банка. А какую замечательную, в духе времени, вещь можно было бы сделать на этом материале! Но Грин предпочел мистику. На первый взгляд — еще один пример ухода от революционной действительности. На самом деле — приближение к ней. Только с другого конца.

Итак, начинается мистика. Человек в пустом доме слышит чьи-то легкие шаги. Он гасит свет и затаивается, но ша-

ги неумолимо приближаются. Как в детской страшилке. Или в рассказах Э. По, но уже безо всяких оскорбительных намеков на подражание.

Кто-то идет сквозь анфиладу темных комнат. Осталось три комнаты, две, одна. Он снова едва удерживает готовый сорваться крик... Но вместо чудовища раздается женский голос, который зовет его за собой: «Идите, о, идите скорей!...Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая... Сюда, скорее ко мне!»

Он идет на этот голос, просит женщину показаться ему, но слышит только голос, идет дальше и, за мгновение до того как упасть в провал с высоты 12 метров, поскальзывается. Это его спасает. А женщина исчезает, и кто она, непонятно.

Новый бред настигает его. В огромной зале ему мерещатся сотни голосов, как если бы там собрались богатые гости из прошлого — банкиры, продажные женщины, просто женщины, он слышит звон бокалов, звуки музыки.

Вслед за этим герой становится тайным свидетелем тайного разговора двух неизвестных.

«— Он умрет, — сказал неизвестный, — но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, — бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию».

Но дом не выпускает его. Его преследуют какие-то люди, новые анфилады, этажи, лестницы, переходы, все мелькает перед его глазами. «Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более что за мной гнались, — я слышал торопливые переходы сзади и спереди, — этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов».

Наконец через крышу ему удается выбраться на улицу. Однако испытания на этом не заканчиваются. Те призраки,

которые населяют огромный дом, настигают его и здесь и стараются остановить, не дать ему перебраться на ту сторону Невы, пока мосты еще не разведены.

Сначала это семилетний ребенок, который цепляется за его руку и не отпускает, потом на Конногвардейском бульваре он видит девушку, ту самую, к которой спешит.

«Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

— Но ведь это вы! — сказала она. — Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, — милее было бы мне прийти к ней, туда.

— Слушайте, — сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, — я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

— Сейчас рано, — значительно сказала она, — или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, — нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

— Нет, ты не обманешь меня, — сказал я, — она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах».

И он снова бежит по пустому голодному городу и в последний момент успевает перебежать уже поднявшийся мост и достигает заветного дома. После этого наступает провал, а когда герой приходит в себя, то видит, как «из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке

небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался».

И только теперь, в конце рассказа становится понятно, что все, что с ним происходило, все, кого он слышал и даже видел, включая ребенка и девушку на Конногвардейском бульваре, похожую на дочь старика, — все это были крысы, которые хотели его уничтожить, а эта, зловещая, черная и есть тот самый Освободитель, о котором говорили двое неизвестных в коридоре старого банка.

История как война крыс и людей — вот что такое написанный в 1923 году «Крысолов». Но крысы важны не сами по себе, а как примета и суть времени.

Ключ к разгадке рассказа дается в стилизованном фрагменте древней книги «Кладовая крысиного короля», принадлежащей перу некоего Эрта Эртруса, еретика, сожженного на костре в Бремене четыреста лет назад:

«... "Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза, и движения подобные человеческим и даже не уступающие человеку, — как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей".

— Но довольно читать, — сказал Крысолов, — и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. Вы были окружены крысами».

Едва ли в русской литературе есть такое фантасмагорическое и точное описание не только бессонницы и голода, но и чувств человека, захлестнутого революцией и разрухой. Когда-то революция в образе эсеров сделала Грина писателем, теперь она же в образе большевиков давала ему новые сюжеты и темы. В этом смысле он, конечно, был революционным писателем, и революция мимо него никак не про-

шла. Но удельный вес таких рассказов у Грина невелик, и, при всем уважении к Гринландии, к выдумке и мечтам Александра Степановича, об этом можно лишь пожалеть*.

Точно так же и образ самого крысолова занимает в тексте немного места, тем важнее звучит название рассказа, относящее творчество его автора к целому направлению мировой литературы. Замечателен скупой портрет истребителя крыс, по контрасту с которым напишет своего юношу-крысолова, музыканта-крысолова с лицом, как «причастное вино», Шенгели.

А он прошел по зеленым лугам,
И было лицо его
Такое, какое снится нам
В детстве, под Рождество...

У Грина же это воин, боец без малейшей примеси артистизма: «Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий».

В. Перельмутер, предваряя публикацию «Искусства» Шенгели в журнале «Октябрь», обращал внимание читателей на следующее обстоятельство: «В совпадении идей обыкновенно принято искать некую закономерность. На совпадение дат внимания, как правило, не обращают. Между тем история любит рифмовать.

Поэма Шенгели написана в июле.

Поэма Цветаевой прочитана в Коктебеле в июле.

Крысолов увел детей из немецкого городка Гамельна, что близ Ганновера, в июле. Жители Гамельна отметили семисотлетие этого события в июле 1984 года»[320].

К этому можно было бы добавить, что основные события в рассказе Грина также приходятся на июль. Июль 1920 года.

А о подлинном крысолове, прообразе гриновского стари-

---

* Впрочем, не исключено, что у Грина просто не получалось больше или не складывалось из-за переезда в Крым писать в такой манере. Нина Грин вспоминала: «В 1924 году, еще до отъезда из Петрограда, Александром Степановичем был задуман и начат роман “Король мух” (тут сразу вспоминается Голдинг с его «Повелителем мух», Грин и Голдинг, герои на необитаемом острове — вот, кстати, еще одна заслуживающая внимания литературная параллель. — *А. В.*). Порядочно было написано заметок. Как крысы в “Крысолове”, так и в начатом, но ненаписанном романе “Король мух”, мрачную и сильную роль играли мухи, плодясь, распространяясь, заражая и уничтожая все человеческое, человечное, прекрасное...» (Воспоминания об Александре Грине. С. 399).

ка, уж точно не имеющего никакого отношения ко всем этим литературным традициям и перипетиям, пишет все тот же Арнольди, поведавший Грину историю про волшебный телефон: «... Крысолов был человек хорошо всем известный... Он был "частным предпринимателем", владельцем "предприятия" по борьбе с грызунами. Попросту говоря, он выполнял работы по уничтожению крыс и мышей. Мы называли его Крысолов и неизменно приветствовали его появление, зная, что он всегда успеет заплатить за выпитое пиво быстрее, чем мы сумеем достать свои кошельки. К тому же это было, по нашему убеждению, вполне допустимо потому, что он являлся представителем "частновладельческого сектора" и, следовательно, располагал соответствующей материальной базой.

Несомненно, ассоциации Грина связывались именно с этим Крысоловом, но какое тот мог иметь отношение к зазвонившему телефону?»[321]

И в самом деле, какое?

Арнольди в своих воспоминаниях высказывает предположение, что Грин заменил историю со звонком всемогущего товарища Аврова Якову Петровичу на старика «Крысолова», потому что «необычайная история с телефоном имела очень обычное объяснение, и это могло оказаться непривлекательным для Грина».

Но дело, конечно, не в этом. В истории с Авровым обычного мало. Прокладывать специально кабель ради одного короткого разговора вместо того, чтобы послать за Яковом Петровичем машину — чего уж тут обычного? Товарищ Авров всемогущ, ему все подвластно и для него все возможно. Его поступок — жест неограниченной власти. Точно так же всемогущ гриновский Крысолов. Именно эту идею мистической власти выразил Грин в своем рассказе. Власти, которая рождается из голода, разрухи, нетопленных домов. Власти, которая способна победить власть крыс, но никакого политического содержания в этом сюжете нет. Грин подчеркнуто аполитичен, война, революция, крысы — все это для него одно: стихия, смута, в которой тяжело приходится обычному человеку, но чувства свои, любовь, заботу, нежность он сохраняет и тем спасается, не превращаясь в крысу сам. И даже, пытаясь спасти другого, спасает себя. Выходит из одиночества, из которого не могли выйти герои его ранних рассказов. Побеждает «дьявола оранжевых вод». Когда-то у Грина была «мистика бомбы», ей на смену пришла «мистика власти». То было не только его личное движение, но движение всей страны, и в этом смысле в нача-

ле двадцатых Грин ненадолго оказался в «мейнстриме», что очень хорошо почувствовал один из самых лучших и проницательных издателей того времени — И. Лежнев (Альтшуллер), чей образ запечатлен в «Театральном романе» Булгакова.

«Крысолов» был напечатан в журнале «Россия», где впоследствии печаталась «Белая гвардия» — так заочно встретились два великих произведения о разрухе в умах и сердцах и о ее преодолении через образ Дома.

Там же, в «России», должна была появиться, но так и не была опубликована, третья рецензия А. Г. Горнфельда на прозу Грина. Об этом рассказывается в статье Ю. Первовой и А. Верхмана: «Он (Горнфельд. — *А. В.*) просил Лежнева взять ее целиком, а тот настаивал на сокращении: «Помилуйте, пол-листа, и об одном Грине! Статья, конечно, прекрасна, но места не хватает!» — писал Лежнев критику. Горнфельд сократить отказался, и она осталась в его фонде, в архивах Ленинградской Публичной библиотеки.

Лежнев боялся. В одном из разговоров с Грином Исай Григорьевич сказал о возможности ночного стука в дверь.

Что же писал Горнфельд в своей статье?

«... В произведениях Грина поражает прежде всего тон; это — тон глубокой сосредоточенности и чрезвычайной значительности. ...Для него это не рассказ о других, это роковое событие из его собственной жизни.

...Грин пытается раскрыть картину мира. Для этого он создает мир, и мы должны его принять целиком или целиком отвергнуть, но каждая подробность этого создания необходима. ...Вместе со своими героями он верит в правду человеческих отношений, отвергая угрюмую отъединенность»[322].

«Крысолов» с его пафосом преодоленного одиночества — тому лучшее доказательство.

В двадцатые годы на рассказ посмотрели сквозь пальцы. Разве что Г. Лелевич, обозревая журнальную прозу, писал, повторяя зады дореволюционной критики: «“Русский современник” и “Россия” переполнены фантастикой самой разнообразной. Вот, например, — фантастика старого подражателя заграничным “писателям ужаса” Грина. Его рассказ “Крысолов” (№ 3 “России”) отличается от фантастических новелл Эдгара По и Вилье-де-Лиль-Адана, главным образом, меньшей талантливостью, меньшим мастерством и более бредовым характером вымысла... иного сорта фантастика Каверина, который — в рассказе “Бочка” — ухитрился весь земной шар поместить в огромную пустую винную боч-

ку... Если Грин спасается от своей неспособности художественно показать нашу современность в фантастику жуткую, то Каверин спасается в фантастику легкомысленную. Грину страшно, Каверину весело. Но и этот страх, и это "веселье" одинаково далеки от здорового мироощущения, одинаково болезненны и упадочны...»[323]

В тридцатые спохватились. Литературный критик А. И. Роскин, возмущавшийся тем, что Грин работает «исключительно на "импортном сырье", с поразительной настойчивостью оберегая свои произведения от всякого вторжения российского материала», писал о «Крысолове»: «В сборнике есть только одна новелла на "отечественном сырье" — "Крысолов". Здесь читатель наталкивается на упоминание о 1920 годе, голодном Петрограде и Сенной площади. Именно только упоминание, и то и в этой новелле Грин, бросив, кстати, несколько ехидных фраз по адресу реалистического духа советской литературы, использует это сырье для создания полуфантастического фона событий вполне уже фантастических... Вот и все, что счел нужным сказать Грин об эпохе, заполненной событиями всемирно-исторического значения»[324].

В 1950 году В. Важдаев с присущей борцам с космополитизмом обостренной проницательностью обронил в своем обвинительном акте: «Идея рассказа в том, что только через "крещение" ирреальным, через познание его и приятие может очиститься человек от "скверны" жизни и стать достойным счастья»[325].

«Крысолов» — это действительное доказательство того, что лучшие свои произведения Грин писал тогда, когда скрещивал фантазию и действительность. Перенеси он действие этого рассказа в любой из своих городов — хоть в Покет, хоть в Лисс, хоть в Гель-Гью — все пропало бы. «Крысолов» хорош и силен именно своим петербургским контекстом. Об этом неплохо сказала Вера Панова: «"Крысолов" замыкает цепь величайших поэтических произведений о старом Петербурге-Петрограде, колдовском городе Пушкина, Гоголя, Достоевского, Блока, — и зачинает ряд произведений о новом, революционном Ленинграде»[326].

То же самое можно сказать и про написанный несколько позже рассказ «Фанданго», который Грин также отослал в «Россию» Лежневу, но тот не смог его опубликовать, так как в 1925 году «Россия» закрылась, а ее издатель уехал за границу.

«Фанданго» провалялся без движения два года и был опубликован лишь в 1927 году с предисловием автора: «На-

стоящий рассказ есть, конечно, фантастический, в котором личный и чужой опыт 1920—22 годов в Петрограде выражен основным мотивом этого произведения: мелодией испанского танца “Фанданго”, представляющего, по скромному мнению автора, высшее (популярное) утверждение музыки, силы и торжества жизни. Автор».

Это предисловие имеет форму камуфляжа, «Фанданго» — рассказ менее всего фантастический. Место действия опять Петроград. И время — все тот же голод и холод «петербургских зим». И тема его — как люди выживали.

У героя «Фанданго», в отличие от героя «Крысолова», есть имя. Александр Каур занимается посреднической деятельностью, связанной с куплей-продажей картин, он хорошо знает романские языки, и мелодия фанданго, это «ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества... транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости» для него — воспоминание о дореволюционном Петербурге, о том веселом времени, когда он ходил по ресторанам и «был весел по праву человека находиться в любом настроении» — нота настолько ностальгическая, а право до такой степени отнятое, что непонятно, как весь этот пассаж на излете нэпа пропустили. Фанданго для него — средство отгородиться от того, что его окружает в революционном городе.

«Я боюсь голода, — ненавижу его и боюсь. Он — искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью».

Новый мир ему чужд и непонятен даже на уровне языка, он в нем иностранец. Однажды на улице Каур подходит к человеку этого нового мира, задает ему самый простой вопрос и получает ответ почти платоновский:

«— Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?

— Что такое? — сказал тот после долго натянутого молчания. — Я не могу, это слом на артель, а дело от учреждения.

Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут и, не настаивая, удалился».

В сущности, в этом коротком диалоге вся формула гриновского поведения в советскую эпоху. Не понял и удалился. Точнее даже не формула, а — обманный жест. На самом деле — все понял и удалился.

«Фанданго» — рассказ эстетский. В отличие от «Крысолова», на первый план здесь выходит не мистика, а искусство, которым занимается главный герой, и благодаря этому образу Грину удается выразить свои представления о живо-

писи — мотив, с годами все более часто проникающий в его прозу.

Вот как описывается одна из картин, которую заказали купить гриновскому протагонисту: «Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным, безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя. С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная "идея". Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, — в чем предполагался, однако, порыв.

— Сумерки, — сказал Брок, видя, куда я смотрю. — Величайшая вещь!»

Кауру унылое искусство реализма так же ненавистно, как снег, мороз, лед — «эскимосские радости чужды моему сердцу».

Милы его сердцу совсем другие полотна: «Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами; их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города.

Слова "нечто ошеломительное" могут, таким образом, показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да, да! — И тем не менее эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч. Тени прозрачны и сонны. Тишина — эта особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни — была передана неощутимой экспрессией; солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки — ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей.

В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой, в данном случае,

немедленно заявил о себе. Эффект этот был — неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы так, что я чувствовал себя стоящим в *этой* комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде».

Так мы опять сталкиваемся с резкой поляризацией гриновского мира, с тем, что в литературоведении называют романтическим двоемирием. Об этом двоемирии, о столкновении двух миров, их конфликте в человеческом сердце и идет речь в «Фанданго» с его карнавальным сюжетом. Противопоставление мечты и действительности имеет в этом рассказе географическое выражение. Это противопоставление Севера и Юга, отсылающее к раннему рассказу Грина «Воздушный корабль», но теперь усталых безжизненных декадентов «начала века» сменила бывшая русская и молодая советская интеллигенция. Основные события в рассказе разворачиваются в КУБУ — Комиссии по улучшению быта ученых, к которой с подачи Горького был прикреплен Грин, которая спасла его от голода в начале двадцатых и о которой несколько лет спустя он писал довольно иронически: «Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу (была здесь и особая разновидность — пайковые авантюристы), взрыл наконец груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии.

— Еще дело ваше не решено, — сказал он. — Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница».

Тут необходимо сделать одно отступление. КУБУ была, пожалуй, одной из самых популярных среди творческой интеллигенции двадцатых годов прошлого века аббревиатур, и в документах этого времени, письмах, дневниках эта организация упоминается очень часто. Созданная по инициативе Горького в 1920-м либо 1921 году, она спасла от голодной смерти многих деятелей культуры, но платой за эту помощь были унижение и страх, что в любой момент тебя могут сократить.

Так, примерно в то же самое время, когда разворачиваются события в рассказе «Фанданго», поэтесса Софья Парнок писала своей подруге Евгении Герцык: «Дорогая моя, в КУБУ я бываю почти каждую неделю. Свободных пайков

нет. Наши пайки тоже сокращены, ожидается еще сокращение и пересмотр списков»[327].

Эта угроза была более чем реальной. В комментариях к переписке Парнок и Герцык, опубликованной в журнале «De Visu», приводится письмо писателей-коммунистов, направленное в 1922 году в Агитпроп: «Мы заявляем отвод против нижепоименованных писателей, предложенных так называемым Всероссийским Союзом Писателей на получение академпайка по следующим мотивам: <...> Мандельштам — поэт с мистико-религиозным уклоном, республике никак не нужен. <...> Шершеневич — литературное кривляние. <...> Соболь Андрей — резко враждебен советскому строительству, вреден. <...> Парнок — поэтесса, бесполезна, ничего ценного. <...> Лидин — мелкобуржуазное освещение людей и событий, мало даровит. <...> Айхенвальд — вреден во всех отношениях. <...> Кроме коммунистов, академпайком должны быть удовлетворены те писатели-художники, которые приемлют революцию и могут работать в интересах развития литературы под углом новой для них идеологии и не будучи коммунистами. <Подписи:> Серафимович, Фалеева, М. Журавлева, Чижевский»[328].

Грина в этом списке нет, но очевидно, что и его кандидатура была среди получателей пайка не самой прочной. А что касается Мандельштама, то, хотя он сам услугами КУБУ пользовался, в «Шуме времени» довольно презрительно писал о белом полковнике Цыгальском, выражая свое отрицательное отношение к нему, в том числе и через образ горьковской богадельни: «Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или дома ученых».

Этим своим высокомерием Мандельштам ужасно возмутил Цветаеву, которая ответила ему гневной отповедью из-за границы: «Запасные лаковые сапоги просились на базар... Вывод: Цыгальский был нищ. Цыгальский ухаживал за больной женщиной и скармливал ей последний паек. Вывод: Цыгальский был добр. Пайки Цыгальского умещались в скромных кулечках. Вывод: Цыгальский был чист. Это мои выводы, и твои, читатель. Вывод же Мандельш-

тама: зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии».

Однако и сама Марина Ивановна хорошо знала, что такое КУБУ. В письме от 16 марта 1922 года, направленном в Комиссию, она жаловалась на то, что, несмотря на наличие документов, подтверждающих ее квалификацию «научной работницы в области литературы», Московское отделение КУБУ не предоставило ей никаких льгот по жилью и не выдало жилищное удостоверение; ввиду этого Цветаевой вместе с 9-летней дочерью Ариадной грозило выселение из квартиры. ЦЕКУБУ немедленно удовлетворила просьбу Цветаевой, однако 11 мая 1922 года Цветаева с дочерью уехала в Берлин[329].

Наконец, Мандельштам писал про ЦЕКУБУ в «Четвертой прозе» и, более того, в тексте этого запальчивого произведения упоминается Грин (правда, здесь имеется в виду ЦЕКУБУ не питерская, а московская, но суть от этого не меняется):

«Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор. Днем я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москва-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку. По утрам я пил стерилизованные сливки прямо на улице из горлышка бутылки. Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам, и ни разу не был пойман. Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее. Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно. Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам не съехал в середине лета. Когда я переезжал на другую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или у выпущенных из тюрьмы».

Таким образом, поместив ЦЕКУБУ в центр своего повествования, Грин попал в самое яблочко, надавил на больную мозоль всей творческой и научной интеллигенции молодой советской республики. В «Фанданго» в эту бюрократическую и всемогущественную, всех подкармливавшую КУБУ, куда еще только стремится попасть главный герой, приезжает делегация с острова Куба — незатейливая игра слов и

очень затейливая — образов. Во главе делегации некто Бан-Грам — «высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...».

Бам-Гран у Грина — «сквозной персонаж» подобно тому, как в рассказах эсеровского цикла фигурировал революционер Геник, а в рассказах десятых годов — учитель Пик-Мик. Этот же волшебник действует в рассказе «Ива», где у него есть стекло, позволяющее видеть мир в ином свете. Нечто подобное происходит и в «Фанданго», но тема оптического обмана звучит в этом рассказе очень щемяще и как вызов Гофману. Возглавляемая магом делегация привезла с собой два вагона сахара, пять тысяч килограммов кофе и шоколада, двенадцать тысяч — маиса, пятьдесят бочек оливкового масла, двадцать — апельсинового варенья, десять — хереса и сто ящиков манильских сигар. А кроме этого она доставила в голодный Петроград курительные свечи, кораллы, куски шелка, раковины, гитары, мандолины, и происходящее в КУБУ действо, связанное с демонстрацией и раздачей этих подарков, начинает «принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом».

Два мира — две морали сталкиваются на уровне вещей.

«Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные плащи, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в КУБУ, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии “общественного снабжения”».

Все это снова сильно напоминает «Мастера и Маргариту»: и сатирическим пафосом, и образом похожего на Воланда иностранца — воистину Булгаков, как и Олеша, шел по следам Грина. Но никакой инфернальности у последнего нет. А есть смесь нежности, грусти и иронии по отношению к обеим сторонам — и той, что дарит, и той, которой

предназначен этот дар, и горечь от того, что понять друг друга они не могут.

«Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых — все мы! Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья! Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы!

Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода не переводимая ни на какие языки речь. Молча течет она...

"Далекие сестры..." Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Двенадцать пар черных глаз склонились издалека над Розовым Залом. Юг, смеясь, кивнул Северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком, — легкая рука нервного, как коза, создания, носящего двенадцать имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон-Томпсон: арабеск из лепестков и лучей».

Это полотно и эта сцена в рассказе — кульминация повествования, та высокая пронзительная нота, которая должна обернуться своей противоположностью. Гремучая смесь из Кубы и КУБУ, из голодного Петербурга и бессмысленно-прекрасных даров Бам-Грана не может не взорваться, и она взрывается. Когда-то на глазах у изумленных жителей Каперны появился корабль с «Алыми парусами» и восторжествовал над приземленностью и грубостью тучных обитателей прибрежного селения, когда-то в «Сердце пустыни» среди африканских лесов возникло человеческое поселение, но в «Фанданго» Грин, как ни странно это звучит, — объективнее, и конфликтом высокой мечты и низкой обыденности с убедительным поражением последней дело не ограничивается. Автор уже не оставляет народ на берегу, но дает ему право голоса и делает его героем.

На сцену выходит обыватель, тот самый, который в рассказе «Маятник души» проклинал революцию. Однако, в отличие от покончившего с собой Репьева, статистик Ершов в

«Фанданго» проклинает мечту и, надо признать, получается это у него весьма убедительно и эмоционально:

«Это какое-то обалдение! Чушь, чепуха, возмутительное явление! Этого быть не может! Я не... верю, не верю ничему! Ничего этого нет, и ничего не было! Это фантомы, фантомы! — прокричал он. — Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей и горностаев! Нет ничего, никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно, можете меня выгнать, проклинать, бить, задарить или повесить, — я говорю: ничего нет! Не реально! Не достоверно! Дым!.. Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?! Я говорю: это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я, я — испанец, в таком случае! ... Я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, — вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я... эх! Вас нет, так как я не позволю! Скройся, видение, и, аминь, рассыпься!»

В ответ на этот гениальный крик исступленного человеческого сердца кудесник Бам-Гран исчезает, перед этим вынеся свой приговор:

«Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более — ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабалерро Ершов, в страну, где вы не будете никогда!»

А его переводчик и, вероятно, авторское альтер эго Александр Каур — деталь очень точная и символичная, Грин тоже осознавал себя переводчиком между этими двумя мирами, да и в литературном сообществе не зря имел репутацию толмача убитого им же английского капитана, у которого он похитил манускрипты, — так вот полиглот Александр Каур, как некогда Ассоль, как некогда Тави Тум, получает приглашение посетить волшебную страну, из которой прибыл в революционный город маэстро Бам-Гран.

Грин пишет не просто феерию. Он обнажает и эстетизи-

рует свой метод. Окном в страну Бам-Грана оказывается картина, которая фигурировала в начале рассказа, через нее герой попадает в весенний Зурбаган, когда в нем цветут апельсины.

«Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря, блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие.

Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте и в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной.

Стая голубей перелетела с крыши на крышу. Пальнула пушка, и медленный удар колокола возвестил двенадцать часов.

Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора».

Это тоже пейзаж, но психологический, отражающий состояние человеческой души, отблеск того мира, в котором спасался и Грин, и его герои. Этот мир противопоставлен миру реальному, как «да» и «нет». В Питере декабрь, темно и холодно, в Зурбагане май, тепло и солнечный свет. Там играет музыка барселонского оркестра Ван-Герда и цветут апельсиновые деревья — ни в одном из посвященных описанию Гринландии произведений страна Александра Грина не показана в таком щемящем, волшебном, ирреальном свете.

Но пробыть в этом земном раю герой может не вечность — лишь полчаса — и после должен вернуться в действительность. Как справедливо, хотя и несколько наукообразно написал А. А. Фомин, «персонаж не может остаться в этом, столь привлекательном для него мире. Сюжетное движение не закончено, так как герой по ряду признаков не совпадает с миром, где он оказался. И прежде всего персонаж отличается от него по признаку определенности хроно-

топа. Каур — человек из мира с определенным фиксированным хронотопом; будучи сам человеком детерминированным в пространственно-временном континууме (носитель русского языка и культуры, сложившийся как личность в определенную историческую эпоху, физически и духовно регламентируемый ею), он не способен, оставшись собой, отказаться от "своего" времени и пространства, выйти навсегда за их пределы. Мир же Зурбагана — это материализовавшийся, овеществленный мир мечты, он идеален в своей сущности; материализоваться он мог только за счет сведения к полной неопределенности пространственной и временной координат. Аналогичный способ материализации идеального мира можно обнаружить, например, в фольклоре, когда идеальный мир правды и добра помещается в тридевятое царство, за тридевять земель, а действие развертывается при царе Горохе. Именно поэтому герой не может остаться в Зурбагане, подобно тому как оказавшийся в раю праведник, не закончивший еще земную жизнь, не мог бы остаться там навсегда, а должен был бы вернуться на землю. Каур находится в Зурбагане лишь тридцать минут, по истечении которых ему приходится покинуть этот город»[330].

Однако возвращается он не в голодный 1921-й, а в куда более милосердный 1923 год, где теперь живет не один, а со своей женой Елизаветой Александровной. Голода и холода больше нет, он может ходить обедать в частный ресторан, в котором ему готовят жирного и неуязвимого, как факт, леща.

В сущности, «Фанданго» — это история со счастливым концом. История о том, как с помощью мечты о чуде один человек сумел пережить голод и разруху. История о другом человеке, который был доведен до отчаяния и мечту отверг и неизвестно, сумел ли эту пору пережить. Но в том не вина его, как в «Алых парусах» или «Блистающем мире», а — беда.

К «Фанданго» как, может быть, ни к какому другому рассказу Грина подходят его собственные слова: «Фантазия всегда требует строгости и логики. Я менее свободен, чем какой-либо бытописатель, у которого и ляпсус сойдет, покрывшись утешением: "Да чего в жизни не бывает!" У меня не должно быть так. Это не происходило, на взгляд обывателя, но произошло, и именно так, единственно так, как должно было, для читателя, в душе которого звучит то же самое, что и в нашей душе. Всякий выход за пределы внутренней логики даст впечатление карамельности или утопичности или просто "врет, как сивый мерин"»[331].

Если в «Алых парусах» и «Блистающем мире» Грин за пределы внутренней логики порой выходил, то здесь этого не происходит, и как художник в двух своих фантасмагорических петроградских новеллах Грин безупречен.

Однако кончается в рассказе все тем, что на улице промозгло и идет дождь. И в Петрограде счастья герою не найти. Петербургский, петроградский период жизни Грина на рассказе «Фанданго» закончился, и к образу этого города Грин более не возвращался. Мандельштамовское «В Петербурге мы сойдемся снова / Словно солнце мы похоронили в нем» написаны не про Грина, и свое солнце он хранил очень далеко отсюда. Но про Грина у вечно гонимого и вечно странствующего, бездомного Осипа Мандельштама нашлись другие стихи.

Глава XIV
ЮГ И СЕВЕР

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

Так писал Мандельштам о Феодосии. Такой увидели ее Грины. Они уехали из Петрограда в мае 1924 года. Спешно продали за бесценок только что купленную и отремонтированную квартиру и все, что в ней находилось, и уехали. Уехали, потому что мечтали о Крыме с тех пор как побывали в нем год назад, уехали, потому что там была дешевле жизнь, но самое главное, уехали потому, что Нина Грин хотела уберечь мужа от петроградского пьянства, и переезд их был не чем иным, как бегством.

«Александр Степанович начал втягиваться в богемскую компанию, и это привело нас к переезду на юг...»[332] — вот и все, что было написано об этом в опубликованных в 1972 году доступных широкой общественности мемуарах Нины Николаевны Грин. Но в архиве Грина и в маленькой книжице ее воспоминаний, что вышла тиражом 300 экземпляров в Симферополе в 2000 году, есть одна глава. Называется она «Грин и вино». К ней и обратимся.

«Эта страница нашей жизни требует особого внимания и, может быть, особого отношения.

Чтобы было понятно мое отношение к ней, немного расскажу о себе. Я по отцу из рода алкоголиков — пили деды, прадеды, дяди и даже женщины. И, маленькая, я запомнила пьяную тетю Лизу, расхлястанную, страшную, то пляшущую, то поющую, то рыдающую.

Лет десяти я случайно попала в кладовую, где стоял со-

ставленный на ночь пасхальный стол и много вина. Что толкнуло меня, ребенка, к этому вину — не знаю, но я допилась допьяна. И почувствовала сладость вина и, проснувшись после нескольких часов тяжелого сна, вспомнила тетю Лизу и испугалась такой же участи для себя. Вырастая, я чувствовала желание к вину, скрывала его от всех и от матери как величайший позор и боролась с ним»[333].

Так предельно откровенно писала о себе Нина Николаевна Грин. Со временем она победила собственную тягу к вину, но очень хорошо понимала и знала, какие муки испытывают алкоголики, жалела их и больше всего на свете боялась, что у нее будет муж алкоголик. И когда в марте 1921 года Грин сделал ей предложение, его пьянство могло ее остановить, тем более что она несколько раз видела его пьяным в 1918 году и о его алкоголизме ее предупреждали. Но Грин тогда все предвидел.

«Предлагая себя в мужья, Александр Степанович сам, словно ожидая моего по этому поводу вопроса, сказал, что два года уже не пьет и в дальнейшем пить не будет. Тогда я ему поведала о боязни иметь пьющего и ревнивого мужа. Он заверил меня в своей трезвости и ныне и в будущем. Думаю, что он говорил в то время искренне, считая, что в действительности не будет пить, и веря в это. Я тоже поверила от всего сердца, забыв уже слова его "друзей". Не знала я, что Грин просил у Горького вина по случаю своей женитьбы. А тогда и жизнь наша не сложилась бы и не осталось бы мне в подарок светлого воспоминания о золотых днях одиннадцати с лишним лет»[334].

Поначалу все было хорошо. Был холод, голод, безденежье, тиф, Гражданская война, но главное — жесткий сухой закон. Грин не пил, и жили они счастливо, ясно, любовно и дружно до той поры, пока не настал нэп и не появилось в свободной продаже вино. Оживилась литературная жизнь, Грин пользовался в ту пору большим успехом, и вокруг него было много людей. «Богемцев», как она их называла. Она и тогда еще надеялась, что он не обманет, ведь дал слово не пить, ведь любит ее, дорожит ею, зла не принесет, «если он сказал мне, что не будет пить, значит — не будет», но все чаще и чаще он приходил домой навеселе, потом совсем пьяный, наутро виноватился, просил прощения, целовал руки и говорил, что это в последний раз. А она помнила по отцу, как тяжело похмелье, и приносила ему пива и все еще верила: обойдется. Успокаивала себя: он писатель, ему нужны люди, чужая жизнь, развлечения, разговоры с равными себе, а она — что? «Хотя и жена, но как-то и дочь». Только по-

рой, доведенная до отчаяния, грозила, что будет пить вместе с ним, и тогда он несколько дней ходил вокруг, опасливо и нежно косился на нее и не пил. «Я — пьющая или курящая — не отвечала бы его идеальному представлению о женщине и обо мне»[335]. Но пользоваться все время этим оружием она не могла.

«Теперь, ожидая его домой, я не была спокойна и радостна — “а вдруг опять пьяненький?” Без него, ожидая, поплачу, все раздумываю — как бы отстранить Александра Степановича от вина, и не чувствую в себе сил на это, ни уменья. Думаю о своей, вечно сдерживаемой страсти, об отце, обо всех пьющих, и горько мне и бесконечно жаль Александра Степановича»[336].

Алкоголизм Грина, как ни странно, не только не испортил, но чем-то даже упрочил их отношения. «Видимо, что-то в моем существе, простом, нетребовательном к благам жизни и всегда за любовь и радость благодарном, звучало в унисон в его душе. Настолько, что начавшееся с появлением свободной продажи вина пьянство не разрушило этих наших чувств, а может быть, еще углубило и расширило их, так как, кроме опоры и защитника, я еще увидела в нем существо, требующее заботы и опеки, и на это обернулись мои неудовлетворенные материнские инстинкты. А он, быть может, иногда страдая от этой опеки, в минуты, когда его тянуло к безудержному пьянству, был сердцем благодарен за нее и с удесятеренной нежностью и любовью относился ко мне после своих провалов»[337].

Об одном из таких провалов она пишет. Предельно безжалостно, любяще и жестко. Это случилось в январе 1924 года, когда Гринов пригласили в гости знакомые Александра Степановича по северной ссылке Самойловичи.

Тут надо сделать еще одно отступление, ибо слишком значительна фигура этого человека, и в странных отношениях находится она с Грином. Рудольф Лазаревич Самойлович — нечто вроде Грина наоборот, или, скажем так — воплощенная в жизнь мечта Александра Степановича. Тихий отпрыск зажиточный еврейской семьи, обожавший в школе читать Майн Рида, Жюля Верна и Фенимора Купера, Самойлович рос скромным и мечтательным мальчиком, а когда вырос, стал полярным исследователем. В 1912 году он участвовал в экспедиции Русанова на «Геркулесе» и был одним из немногих оставшихся в живых ее членов. В 1920-м основал Арктический институт, в 1928-м возглавил экспедицию на ледоколе «Красин», которая спасла семерых членов экипажа дирижабля «Италия», летевшего под командовани-

ем генерала Нобиле. В 1931 году в качестве научного руководителя участвовал в международной арктической экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин». Потом был заместителем у О. Ю. Шмидта на «Георгии Седове». Профессор, доктор географических наук, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Ленина, вице-президент Географического общества СССР и член международных обществ, именем которого названы пролив и ледниковый купол на Земле Франца-Иосифа, бухта на Новой Земле, остров в архипелаге Северная Земля, горы и полуостров в Антарктиде. Человек, воплотивший в жизнь все, о чем мечтал. Он был арестован в 1938-м и расстрелян...

А еще была в его жизни революционная деятельность, и с Грином Самойлович подружился в Архангельске, куда его занесла та же нелегкая, что и нашего писателя: агитация, пропаганда, борьба с царизмом, отнесшимся к еврейскому интеллигенту, правда, довольно своеобразно и не в пример большевикам 1938-го милосердно: сначала отправили в кандалах в ссылку, а когда он оттуда сбежал, вернули, но уже без кандалов и через два года разрешили перебраться в Архангельск, где член РСДРП Самойлович стал секретарем Общества по изучению русского Севера и одновременно секретарем Общества политических ссыльных. Оттуда он и отправился с Русановым на Шпицберген.

О дружбе Самойловича с Грином упоминают И. С. Соколов-Микитов и В. П. Калицкая. Последняя писала: «В Архангельске Грин познакомился со ссыльным инженером, получившим образование за границей, Р. Л. Самойловичем. Они быстро подружились и перешли на "ты". Самойлович жил в Архангельске с женой и двумя детьми»[338].

Встречались они и в Петербурге после революции, когда у обоих были уже новые, молодые жены, но старая мужская дружба сохранилась. Только Нине Николаевне Грин эта дружба принесла одну горечь.

«К концу ужина, длившегося часа два с половиной, он уже был совершенно пьян, — писала она про мужа. — Поднимаясь с тем или другим тостом, шатался. Заметила, как хозяин дома незаметно отодвигает от него бутылки, но Грин тянет их к себе. Пьян был не один он; все, кроме меня, ничего не пившей, и хозяйки дома, были в той или иной степени подпития. Но Грин был пьян больше всех и шумнее всех. После ужина пошли в гостиную, начались танцы. Беседуя с какой-то дамой, я сидела в стороне. Александр Степанович, стараясь держаться твердо, подошел ко мне, присел на ручку моего кресла и стал говорить: "Это все пустяки,

Котофеинька! На свете все хорошо! Я не пьян, а весел для тебя, дружок мой! Вот, смотри, каков твой Саша!"

Я смотрела, улыбаясь. "Мой Саша" был в лоск пьян. Галантно изгибаясь, он пригласил мою соседку на танец. Та, видимо, не очень заметив его состояние, пошла с ним в вальсе. Грин толкал танцующих, какой-то даме, зацепив, разорвал платье, чуть не уронил свою даму. Та, увидев состояние своего кавалера, закончила танец. Грин подвел ее ко мне, усадил и побежал, как он нам сказал, принести для нас чего-нибудь прохладительного. И... пропал. Через довольно долгий промежуток времени вернулся, еще больше шатаясь и неся два стакана с красным вином. Подошел, совершенно заплетающимся языком предложил нам выпить, но не удержал равновесия, пошатнулся и все вино вылил на меня и светлое платье моей собеседницы. Он пытался рукавом вытереть испорченное платье, пошатнулся и упал на пол. Пыталась поднять его, но не смогла. Подбежал Самойлович и другие гости, подняли опьяневшего окончательно Грина. Самойлович сказал мне, что после ужина Александр Степанович все время заходит в столовую, выпивает остатки из бутылок, ищет вино в буфете — оттого его так и развезло.

Грин покорно пошел в кабинет, но там долго не отпускал Самойловича, все приставал к нему с нелепым вопросом: "Как за него, такую свинью, вышла замуж его жена, такая милая женщина? Как она может от него, такого, даже детей иметь?.."

В полном отчаянии слушала и созерцала все это. Таким Грин передо мной предстал впервые. И я тогда еще не умела все это принимать мужественно, с чувством собственного достоинства. Самойлович ушел, а я горько-горько плакала, уткнувшись лицом в подушку. Мне казалось — вдруг он таким останется навсегда. Сердце разрывалось от отчаяния. От моих слез Александр Степанович как будто присмирел, лег и сказал, что будет спать. Поплакав, я задремала. Очнулась — нет Александра Степановича. Кинулась искать его, конечно, в столовую. Смотрю — он ищет в буфете, а в руках недопитый стакан вина. Тихонько позвала его по имени, он только мыкнул что-то. Взяла его за руки и привела в кабинет. Его начало рвать»[339].

Сравните это описание с тем, как разухабисто живописует лихо выпивающего Грина на дне рождения у Куприна Леонид Борисов, и станет понятно, за что Нина Николаевна Грин возненавидела автора «Волшебника из Гель-Гью» и его творение.

Надо было срочно что-то делать, и в голове созрело — бежать. Оставить родной город, бросить свой первый в жизни собственный дом (следующий у нее появится только за месяц до смерти Грина), друзей, знакомых и бежать. Чтобы уговорить его, она пустилась на хитрость. Нашла врача, старичка-еврея, которому честно все рассказала, а он в ответ: «Заболейте. Приходите ко мне с мужем. Я поговорю с ним».

Она стала жаловаться на боли в сердце. Грин заволновался и сам настоял на том, чтобы вместе пойти к врачу. Сказала, что знает неплохого доктора. Старичок внимательно ее выслушал и объявил, что пациентке необходимо уехать из Петрограда.

«Александр Степанович сам сделал нужный для меня вывод: "Из-за моих выпивок. Я знаю, дорогая, ты не жалуешься и терпишь, но на сердце все откладывается. Даю тебе слово не пить там, на юге"»[340].

Именно этим, не чем иным, объясняется переезд Гринов на юг.

«Из поездки 1923 года мы вынесли отчетливое впечатление, что жизнь в Севастополе, Ялте, вообще на южном берегу — не для нас. Нам нужен был небольшой тихий городок на берегу моря»[341].

За советом они обратились к человеку, который знал Крым лучше всех.

«Пошел Александр Степанович к Волошину. Вернулся от него обескураженный. Встретил меня, — рассказывает, — какой-то нелепый дядька, ломака, этакий рыжекудрый и толстомясый с хитрыми купецкими глазами. На мой вопрос о стоимости продуктов с презрительной миной ответил, что не знает — он де этим не интересуется. Поэт, видишь, так ему не до молока. Ну а Феодосией запугивает: "Там, мол, до сих пор людей режут, котлеты делают — не советую туда". Посмотрел я на его мясо и подумал: тебя, такого жирного, не слопали, так уж на нас, худых, и аппетита не возникнет. Переедем в Феодосию»[342].

Так решил Грин и впоследствии никогда о своем выборе не жалел. А что касается Волошина, то, по предположению Нины Николаевны, «человек этот безмерно дорожил своей крымской популярностью, видимо, боялся конкурента на общественное внимание в лице приехавшего из Петрограда писателя и, кроме того, был ехиден и любил парадоксы. Представить Феодосию клоакой ужасов этому серьезному мрачноватому Грину, не шутя спрашивающему его, поэта, эстета и умника, о ценах на продукты и возможности получить квартиру, это неплохая идея. По этому поводу можно

при случае блеснуть перед своими гостями очередной язвительной остротой»[343].

Грин позднее Волошина простил, хотя отношения между ними были очень неровными. Нина Николаевна была, по собственным словам, по отношению к Максу «злопамятнее». «Волошин-парадоксист, ради острого словца никого и ничего не щадивший, ломака и практичный в жизни хитрец... в его практичной душе, полной тщеславных желаний, прикрытых внешней опрощенностью, сатиричностью и блеском живого ума, желавшего всегда главенствовать»[344], — так характеризовала она в своих мемуарах человека, о котором осталось множество взаимоисключающих воспоминаний самых разных людей, но, быть может, точнее всего выразил суть деятельности Максимилиана Александровича в Крыму едкий Мандельштам:

«М. А. — почетный смотритель дивной геологической случайности, именуемой Коктебелем, — всю свою жизнь посвятил намагничиванию вверенной ему бухты. Он вел ударную работу по слиянию с ландшафтом»[345].

В этой работе непрактичный Грин ему соперником не был и быть не мог, хотя Крым также очень любил, но своей, гриновской любовью.

«Молодым, в бедах и горестях, он был на юге, красота которого, коснувшись его души, не пробудила в нем жажды к югу, к жизни там, к ощущению праздника природы, и он жил в Питере, в бедной прелести его климата. Переезд в Крым вернул его к чувству утраченного и вновь обретенного высокого и светлого в жизни, ибо он всегда, даже в болезни, благодарил судьбу, толкнувшую нас на юг».

По приезде Грины поселились в гостинице «Астория» в номере с видом на море, потом сняли комнату — на квартиру денег не хватало. Как ни экономили, деньги в их семье не задерживались никогда, и уже летом Александр Степанович поехал в Москву «охотиться за червонцами». Именно к этому периоду пребывания Грина в Москве относится его встреча с двумя писателями, которых часто ставят рядом, хотя различного между ними гораздо больше, чем общего.

«Я увидел его тогда в первый и последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве, появился капитан “Летучего голландца” или сам Стивенсон.

Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами — темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом чер-

ном костюме, блестевшем от старости, и в черной шляпе. В то время шляп никто не носил.

Грин сел за стол и положил на него руки — жилистые, сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки — вены сразу опали.

— Ну вот, — сказал он глуховатым и ровным голосом, — я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного деньжат. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.

— Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Ленинград на проводы "Товарища"? — спросил его Женька Иванов.

— Нет! — твердо ответил Грин. — Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного кофе и стука бильярдных шаров. От одного пароходного дыма. А здесь я пропаду.

Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.

Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым полетом своего воображения, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца...

Мысли у меня метались и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет навсегда.

— Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? — спросил Грина Новиков-Прибой.

— Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, — усмехнувшись, ответил Грин. — Для пропитания.

Нельзя было понять — шутит ли он или говорит серьезно.

Он встал, попрощался и вышел, прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его в жизни»[346].

Так написал о Грине Паустовский. Доверять этому отрывку полностью нельзя хотя бы потому, что «безусловно трагическим» положение Грина в 1924 году не было. Паустовский использует это выражение, основываясь на словах из заявления Грина, написанного в действительно трагическом для него 1931-м. За семь лет до этого Грин жил намного лучше, был здоров и о перепелах, которых он стрелял из лука ради пропитания, скорее всего шутил или же мистифи-

цировал молодых советских писателей. А может быть, и сам осторожный Паустовский проливал таким образом свет на трагедию последних лет жизни Грина.

А вот запись из Дневника Михаила Пришвина:

«14 авг. 1924 г. Это ведь Грин первый пришел ко мне встревоженный, узнав, что я укушен бешеной кошкой, и сказал: "Мы с вами мужчины, я вот что скажу, не пугайтесь: прививка действует на 80%, а если вы попадете в 20%? Вот есть средство: купите тогда чесноку и ешьте, лечитесь, как лечатся собаки в лесах..."

Конечно, все это вздор, и не так уж я боюсь, но меня тронуло внимание. И тот же самый Грин узнал вчера, что разрешена продажа водки, купил две бутылки и уговаривал меня с ним пить, хотя знает очень хорошо, что во время прививок нельзя: "Мало ли врут доктора!" и т. д., я едва мог вырваться от него и, думаю, вот если бы я был алкоголик...

С Грином были еще Анатолий Каменский и Вашков (Евгений Иванович). Выпив, все они говорили о любви вообще и о жене Арцыбашева, причем Каменский называл ее своей гражданской женой. Вашков сопоставлял Грина с Вагнером: оба, мол, человека отрывают от быта. Грин же хвалил Куприна и говорил о Бунине как о ничтожном писателе. Все это были архаические остатки Петербургской богемы — воскресли, как воскресла казенка»[347].

Вот от этой богемы и пыталась уберечь Нина Николаевна своего мужа, и вся ее дальнейшая жизнь была борьбой и мукой, которую пришлось изведать многим русским женщинам.

В ее мемуарах описывается и эпизод, связанный с «бешенством» Пришвина:

«Как-то в 1923 или 1924 году, когда мы, приезжая в Москву, остановились в Союзе Писателей (Тверской бульвар, дом Герцена) одновременно с нами приехал М. Пришвин, отношения с которым до того были доброжелательные и в московской комнате которого, в том же доме, мы по любезному его предложению, жили полторы-две недели. Прежде Александр Степанович неоднократно с Пришвиным выпивал. Теперь Пришвин приехал делать пастеровские прививки — его укусила бешеная кошка. Грин не знал, что в это время вино запрещено, и пригласил его выпить. Тот отказывал, Александр Степанович настаивал, так как был уже "навеселе". Какую истерику поднял этот неглупый человек и талантливый писатель. "Грин хотел меня погубить! Он нарочно звал меня выпивать..." Александр Степанович, услышав это, только плюнул...»[348]

В 1948 году литературовед В. В. Смиренский, которому Нина Николаевна посоветовала обратиться к Пришвину за воспоминаниями о Грине, писал ей: «Пришвин ... написать же воспоминания о встречах с А. С. отказался, из чувства уважения к А. С. Вероятно, встречи были из невеселых»[349].

Нину Николаевну этот ответ возмутил: «Почему же нельзя вспоминать и хорошее, и плохое? Почему плохое (с его, Пришвина, точки зрения) должно поглощать то хорошее, что ведь было? Это чисто женская черта в мужском характере...»[350]. Последнее — камешек в огород не столько Пришвина, сколько Веры Павловны Калицкой, для которой плохое в бывшем муже тоже поглотило хорошее.

А Грины меж тем обживали Феодосию. Осенью 1924 года семья писателя перебралась в четырехкомнатную квартиру на улицу Галерейную, где теперь находится известный всем музей А. С. Грина. «В этой квартире мы прожили четыре хороших ласковых года», — вспоминала много позднее Нина Николаевна[351]. Там был у Грина свой кабинет, небольшая квадратная комната с окном на Галерейную улицу. На стене портрет отца. Фотографий Веры Павловны больше нет. Хотя письма ей Грины по-прежнему писали и часто о ней говорили. Зато — «в темно-красной узкой рамке моя фотокарточка»[352].

Жили вместе с матерью Нины Николаевны Ольгой Алексеевной Мироновой. Женщины занимались хозяйством, вставали очень рано, пока Грин еще спал, ходили на базар, потом ставили самовар, и Нина Николаевна приносила мужу в постель чай, «крепкий, душистый, хороший, правильно и свежезаваренный на самоваре, в толстом граненом или очень тонком стакане». Чай было достать нелегко, иногда Нина Николаевна привозила его из Москвы, иногда всеми правдами и неправдами покупала в Феодосии. Грин даже целую шуточную и очень остроумную пьесу сочинил на тему о том, как его жена бегает по феодосийским магазинам и достает чай. Пьеса эта хороша тем, что в ней, при всей ее шуточности, отразились черты реальной феодосийской жизни, которая в предъявлявшихся для публикации текстах нигде у Грина не показана, ибо реальный Крым поглотила полностью Гринландия.

События в Феодосии,
или
29-е явление Нины
народу

Действие 1-е

Местный кооператив

Нина *(входя)*. Будьте дубры, у вас есть чай?

Продавец. Чай есть. Только что получили.

Нина. Давайте сюда... четверку. Нет, две четверки. Три четверки.

Женщина *(в стороне)*. И чтой-то я не пойму. Влетает, как королева, и ей чаю давай! Кто такая?

Другая женщина. Ета, слышь, приехала из Парижа; все ходит и везде чаю просит. Намедни, говорят, на метерелическую станцею пришла да и бух: «А чай у вас есть» — Дело-то ночью было. Так прахвессор ей в ноги так и упал: «Помилуйте, — говорит, — нет у нас чаю, не убивайте!» А в руке у нея револьверт аграмадный... «Всех, — грит, — перестреляю, ежели чаю мне не дадут!»

Женщина. Страсти какия!

(Косится и отодвигается от Нины подальше.)

Приказчик. По вашей книжке видно, что чай вы получили два раза.

Нина. Да-а... А мне нужно еще!

Приказчик. Да зачем вам?

Нина. Очень мне нужно чаю, ей-богу! Клянусь вашим здоровьем; пусть вы умрете на месте! Дайте четверичку!

Приказчик. Получите.

Нина. И-ги-ги! А-га-га! А еще нельзя?

Приказчик. Получите.

Нина. Спасибо. (*Берет чай уходит и возвращается.*) Одну! Только одну четверочку!

Приказчик. Гм... Получите.

Нина. Спасибо. (*Про себя.*): Три четверки. Две в неприкосновенный запас, а третью Саша будет пить. Он такой чудак: не знает, что какао вкусное... О, какао! Кака-о-о! Кака... ка... (*Уходит.*)*

И дальше в том же духе.

В доме — культ Грина. Когда он работает — тишина, женщины ходят на цыпочках, каблуками не щелкают, посудой не гремят, всех знакомых отваживают. Грин возмущался: в меблированных комнатах и общих квартирах прошлого к таким условиям он не привык. А тут — все ради него. И в комнате всегда порядок и чистота. С этой заботы начинался день Нины Николаевны.

---

* Публикация Ю. Царьковой.

«Проснувшись рано, я первым делом иду в комнату Александра Степановича. Вчера он работал допоздна. По полу и по столу раскиданы окурки, пепел. Воздух кисло застоявшийся. Распахиваю окно, собираю окурки и пепел, мою пол и, вымыв, снова разбрасываю окурки по полу, но в меньшем количестве, чем прежде. Александр Степанович не разрешает, чтобы его комната убиралась, чтобы в ней мылся пол. Не потому, что он неопрятен, но он жалеет меня. Ему кажется, что мыть пол — труд для меня непосильный. А для меня это не труд, а радость. Зато когда Александр Степанович придет в комнату, пол будет сух, воздух чист — в окно веет запахом моря»[353].

Быть может, именно к этому времени относятся стихи Грина, адресованные жене:

Золотистая Нина,
Лазурно сияя,
И рдея, как цвет
сольферино,
Зарделась, блестела,
Приют убирая
Веселого Грина.

А после нея здесь
осталась
улыбка
Неба, лучей, сольферино.
Ты здесь была,
ненаглядная цыпка,
Стараясь для старого
Грина*.

«Часов в девять, а иногда и позже — завтрак. Горячее мать быстро подогреет или жарит внизу в кухне. До женитьбы на мне Александр Степанович не завтракал по утрам. Мог похмелиться, но ничего не ел до обеда. С полгода, когда мы жили еще без матери, я боролась против этой вредной его привычки, так как с детства была приучена к плотной еде рано утром, ибо тогда и зараза не так легко к человеку пристает — так внушали мне родные. Постепенно и Александр Степанович привык к этому.

Если он не писал утром, то мы втроем плотно завтракаем в семь часов, часов в одиннадцать — легонько, второй раз, в два-три обедали, в пять часов — чай с булочками, печеньем, сладким и вечером, в восемь часов, негромоздкий ужин — остатки второго от обеда, кислое молоко или ком-

---

* Публикация Ю. Царьковой

пот, а иногда только чай с бутербродами. Мать моя была отменная хозяйка и кулинарка»[354].

Вечерами Грин играл с тещей в карты. Он очень любил «дурачка», «акульку», «66». «Играли азартно, ссорились, мирились, расходились, побросав карты на пол, и снова начинали игру»[355].

И так изо дня в день. В сущности жизнь совершенно обывательская, размеренная, да еще с мещанскими мечтами: «Мы с Александром Степановичем всегда мечтали о красивом доме, красивых вещах и уютном комфорте»[356]. Именно так пишет Нина Николаевна, как писала когда-то о комфорте и надежде на семейное счастье Вера Павловна. Но то ли Грин с возрастом изменился, то ли второй жене удалось чуточку подвинуть его к обыденной жизни, от которой когда-то шарахался и он, и его герои. Но только чуточку — мечтам о красивом доме и собственной вилле сбыться было не суждено.

«Никогда у нас не было для этого достаточно денег. Если же и появлялось некое их небольшое излишество, то Александр Степанович отправлялся в бильярдную гостиницы «Астория» в Феодосии и там большей частью проигрывал их своему излюбленному партнеру, маркеру, некоему Владимиру Ивановичу»[357].

Нина Николаевна упоминает его сдержанно, но можно представить, как ненавидела она этого Владимира Ивановича, разорявшего их семью.

А мужа просила об одном — не пить. «Саша, голубчик, послушай меня. Не прикасайся больше к вину ни в каком количестве. У нас есть все, чтобы жить мирно и ласково»[358].

Он старался, но иногда приходилось худо, Грин становился раздражителен, угрюм, больше курил, меньше ел, терпеть дальше было невмоготу, и тогда теща с видом заговорщика, но при этом с согласия жены подносила ему бутылку, прося «ничего не говорить Ниночке». Он веселел, весь день ходил в приподнятом настроении, ночью, когда «ничего не подозревающая» жена ложилась спать, выпивал, а утром теща давала ему на кухне опохмелиться и наливала крепкого чаю. Случалось это примерно раз в месяц, в полтора. Так и жили.

В Феодосии Грины смотрелись старомодно.

«На пляж в Феодосии не ходили, Александр Степанович не выносил курортной раздетости, особенно пропагандируемой в те годы в Феодосии.

Летом Александр Степанович всегда ходил в суровом или белом полотняном костюме, или в темно-сером люстриновом, который он очень любил...

Александр Степанович по характеру своему был молчалив и сдержан. Мы часто разговаривали так, что наш разговор звучал, как птичий. В Феодосии нас называли “мрачные Грины”. На самом деле мы никогда не были мрачны, мы просто уставали от светских разговоров, переливания из пустого в порожнее. Городок интересовался — живет писатель. А как живет, никто не знал»[359].

Так же странно выглядел Грин и в Коктебеле у Волошина, куда по соседству наведывался один или с женой.

«Когда мы ездили в Коктебель, где раздетость мужчин и женщин доходила до крайности, Александр Степанович особенно подтягивался и меня просил надевать самое строгое платье. Мы с ним почти всегда были единственными одетыми людьми, кроме разве художника Богаевского, также весьма щепетильно относившегося к беспорядку в одежде. Нам нравилось видеть гримасы или скрытый в глазах смех раздетых гостей Макса Волошина при виде нас, сугубо городских, провинциальных, даже в чулках, — подумайте! Александр Степанович не любил модных тогда платьев до колена, и я носила платья чуть ниже половины голени. Это тоже нередко вызывало женский смех»[360].

Для сравнения можно привести воспоминание о Волошине Марины Цветаевой, относящееся, правда, к более раннему периоду в истории Коктебеля, но вряд ли многое изменилось там с этой точки зрения за десять лет. «Голова Зевса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть или нет под ним штаны»[361].

Дело, конечно, не только в длинных платьях, чулках и отсутствии-наличии штанов на чреслах хозяина. И Грин, и его жена были людьми совсем иного склада, нежели посетители волошинского дома. Об этом хорошо сказано у Вс. Рождественского, часто в Коктебеле бывавшего: «В один из летних месяцев мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле на даче поэта и художника Максимилиана Волошина. Грин пришел пешком из Старого Крыма. У Волошина всегда бывало много летних гостей — писателей, художников, музыкантов. Александр Степанович не прижился в их среде. И здесь он казался грубоватым, а порою и излишне резким. Я видел, как он один бродил по берегу залива, изредка подбирал тот или иной заинтересовавший его камешек и тотчас же бросал его в море. Так он ни с кем и не завязал разговора и к вечеру собрался домой»[362].

В сущности вся история взаимоотношений Грина и с обывательской Феодосией, и с интеллектуальным волошинским Коктебелем повторяла устойчивый в его биографии сюжет. Грин принадлежал к людям, которые не умели жить в человеческом обществе. В любом — южном, северном, провинциальном, столичном, деревенском, военном, гражданском, предреволюционном, постреволюционном. Это косвенно подтверждают и строки из письма Нины Николаевны Грин мужу: «Читала удивление автора (речь идет о книге, которую читает Нина Грин. — *А. В.*) по поводу органической неслиянности англо-саксов ни с каким, абсолютно другим народом, об их жесткой отъединенности от всех и всего. Видимо, души у нас англо-саксов: вдали от всех, все в себе»[363].

Так было на самом деле — вдали от всех, все в себе. Немногочисленные воспоминания о Грине как приветливом человеке, встречающиеся у Э. Арнольди, выглядят скорее исключением, или же бывал Грин таким лишь с людьми неименитыми, относившимся к нему с заведомым почтением. Гораздо точнее Нина Грин, которая писала: «Александр Степанович — человек нелюдимый, ... всякий посторонний, хотя бы и близкий ... ему как царапина»[364]. А в Коктебеле, среди — артистов, художников, поэтов — эта жесткая отъединенность и ранимость проявлялась особенно остро.

«С теми, кто считал его ниже себя и смотрел на него, как на любопытный тип, Александр Степанович был сдержан, угрюм, зол и великолепно ядовит. По отношению к себе был очень тонко чувствителен, как истинный “недотрога”, а так как был молчалив и сдержан, мало кто понимал его»[365].

Отношения Грин — Коктебель больше всего походили на отношения угрюмого писателя с обитателями петроградского Дома искусств с той лишь разницей, что Коктебель, будучи такой же литературной колонией, находился не в центре империи, а на ее окраине, отчего нравы там были более либеральными. Да и времена были куда более сытыми и праздными, чем в 1920 году.

Возникшая еще до революции волошинская коммуна в середине двадцатых годов переживала расцвет. Современная американская исследовательница Барбара Уокер пишет: «Можно сказать, что Максимилиан Волошин почти процветал в условиях социального краха, обеспечив себе (порой вопреки ужасным обстоятельствам) пищу, кров и физическую безопасность. Когда красная оккупация сменилась строительством большевистского государства, он по-преж-

нему не только умудрялся выживать физически, но и сохранил экономические основы своего кружка, отстояв свой крымский дом, несмотря на неоднократные попытки реквизировать его (последнее большевикам удалось проделать с большей частью собственности, принадлежавшей интеллигенции). Все это ему удалось в значительной степени потому, что его способности к установлению и поддержанию личных связей оказались в высшей степени пригодны для того, чтобы получить средства от расцветшей пышным цветом большевистской бюрократии — вначале военной, затем гражданской — для удовлетворения собственных материальных нужд <...> Волошин со своим необыкновенным обаянием, самоуверенностью и дерзостью исключительно хорошо вписался в эту новую нарождающуюся систему. Но его усилия были направлены не только на самого себя — он неустанно помогал всем своим знакомым — представителям интеллигенции. Свои способности к установлению и поддержанию личных контактов он использовал не только чтобы добиться покровительства со стороны бюрократов, контролировавших экономические ресурсы, но и в качестве покровителя более слабых и менее преуспевших на ниве личных контактов, обеспечивая их политической защитой и по мере возможности — продуктами и кровом. В результате он завоевал в округе, стране и даже за рубежом репутацию местного заступника, к которому можно обратиться за помощью. На примере его деятельности можно увидеть, как стремительно росло значение фигуры заступника-покровителя в раннесоветский период — одновременно с бюрократизацией экономики в условиях экономической разрухи и хаоса»[366].

В 1924 году Волошин получает удостоверение от Луначарского, разрешающее создание в Коктебеле бесплатного дома отдыха для писателей, в 1925-м постановлением КрымЦика дом Волошина и участок земли были закреплены за ним. Если в 1923 году в Коктебеле отдыхало 60 человек из творческой интеллигенции, то в 1924 их было 300, в 1925 — 410, а в последующие доходило до семисот.

В 1932 году, вскоре после смерти Волошина Андрей Белый в своем очерке «Дом-музей М. А. Волошина» писал: «Кто у него подолгу не жил! А. Толстой, Эренбург, Мандельштам, Корней Чуковский, Замятин, Федорченко, поэтесса Цветаева и т. д., всех не стоит перечислять. Из любой пятерки московских и ленинградских художников слова один непременно связан с Коктебелем через дом Волошина. Они-то и создали особую славу Коктебелю. И не случайно, что и

московские писатели, и ленинградские имеют здесь свои дома отдыха в Коктебеле.

Так, летом в 24-м году я встретил в доме Волошина единственное в своем роде сочетание людей: Богаевский, Сибор, художница Остроумова, поэтессы Е. Полонская, М. Шкапская, Адалис, Николаева, стиховед Шенгели, критики Н. С. Ангарский, Л. П. Гроссман, писатель А. Соболь, поэты Ланн, Шервинский, В. Я. Брюсов, профессора Габричевский, С. В. Лебедев, Саркизов-Серазини, молодые ученые биологической станции, декламатор А. Шварц, артисты МХАТа 2-го, театра Таирова, балерины или жили здесь, или являлись сюда, притягиваемые атмосферой быта, созданного Волошиным. Игры, искристые импровизации Шервинского, литературные вечера, литературные беседы то в мастерской Волошина, то на высокой башне под звездами, поездки в окрестности, поездки на море и т. д. — все это, инспирируемое хозяином, оставляло яркий, незабываемый след. Деятели культуры являлись сюда москвичами, ленинградцами, харьковцами, а уезжали патриотами Коктебеля. Сколько новых связей завязывалось здесь! В центре этого орнамента из людей и их интересов видится мне приветливая фигура Орфея — М. А. Волошина, способного одушевить и камни, его уже седеющая пышная шевелюра, стянутая цветной повязкой, с посохом в руке, в своеобразном одеянии, являющем смесь Греции со славянством. Он был вдохновителем мудрого отдыха, обогащающего и творчество, и познание. Здесь поэт Волошин, художник Волошин являлся людям и как краевед, и как жизненный мудрец»[367].

«Коктебель — республика. Со своими нравами, обычаями и костюмами, с полной свободой, покоящейся на “естественном праве”, со своими патрициями — художниками и плебеями — “нормальными дачниками”. И признанный архонт этой республики — Максимилиан Волошин, — вспоминал еще один коктебельский завсегдатай Г. А. Шенгели. — Там вас угостят... мистификацией.

Вечер. Снова поваркивает на вас Аладдин, и вы — в комнате Пра. Громадное лежачее окно отражает смутный массив Карадага, смутную пелену моря и лунные отражения, берегом сияющего серебряного острова встающие у горизонта.

Навстречу вам десяток рук подымается к потолку. Но успокойтесь: вас вовсе не приняли за бандита: это коктебельское приветствие. И, конечно, этот пластический жест имеет преимущество над угловатым shakehand’ом.

Вас знакомят. Но, к вашему удивлению, среди присутствующих не оказывается ожидаемых лиц. Длиннобородый

молчаливый господин оказывается Папюсом, юноша с высоким лбом и черной гривой — секретарем президента Андоррской республики, причем вас тихонько предупреждают, что он страдает клептоманией; сухой седой человек в полувоенном костюме аттестуется бравым агентом, но на ухо вам сообщают, что это — сыщик из Одессы, и вы стараетесь осторожно выражаться, и т. д.

Скоро вы замечаете, что, несмотря на великолепные папиросы, предлагаемые Пра, общее внимание и радушие, вы попали в очень напряженную атмосферу: две дамы явно ревнуют друг друга к молчаливому художнику, обмениваются колкостями, которые все обостряются. Неладно и с мужчинами. Они дуются один на другого, уединяются. Художник вызывает одну из соперниц в смежную комнату. Оставшаяся закатывает истерику. Ее уносят в мастерскую. Вы порываетесь уйти, но — помилуйте! как можно! посидите! Вы остаетесь, и события развертываются быстро. Кто-то вбегает и кричит, что дама, унесенная в мастерскую, отправилась топиться. Подымается невообразимая суматоха: бегают, кричат, хлопают дверьми, отыскивают спасательный круг, дождем сыплются табуретки и подушки. Через несколько минут утопленницу вносят. Она без чувств, волосы распущены, но купальный костюм сух. Тут вы соображаете, что перед вами развертывается своеобразная комедия dell'arte.

Волошин великолепен. В купальном костюме, с гигантским спасательным кругом через плечо, с намоченными волосами, он походит на бретонского рыбака.

Утопленницу откачивают. Она, придя в себя и слабым голосом простив свою соперницу, вдруг вскакивает с ложа и пускается с нею в пляс. Через минуту пляшут все — какой-то безумный вальс.

Фу! Игра кончена, маски сняты. Секретарь Андоррского президента оказывается видным московским поэтом, одесский сыщик — знаменитым пейзажистом, утопленница — актрисой Камерного театра и проч.

Теперь вы крещены коктебельским крещением, вы — свой»[368].

Так развлекались, так жили гости волошинского дома, под снисходительным взглядом полуприкрытого покуда государева ока, и представить в этом мире своим, «крещенным коктебельским крещением» чопорного Грина сложно — напротив, его чопорность на фоне этой веселости делалась еще более вызывающей. Да плюс еще и в Коктебеле Грин крепко выпивал, что было не по нраву строгой хозяйке дома

Марии Степановне Волошиной*. Но, разумеется, причины конфликта Грина и Коктебеля имели куда более глубокие и принципиальные, мировоззренческие основания, чем разность характеров и привычек.

Литератор Эмилий Львович Миндлин, арестованный за антисоветские разговоры, рассказывал (именно рассказывал, а не показывал) на допросах в середине 50-х годов: «...В 1919 году я переехал в Крым, в Феодосию, и здесь завел знакомство с обосновавшейся возле Феодосии — в Коктебеле — литературной колонией, которую возглавлял... поэт-символист и художник Максимилиан Волошин. Среди известных писателей в этой колонии были: Илья Эренбург, которого мы знали тогда только как поэта, писатель Вересаев, петроградский поэт Осип Мандельштам, поэтесса, стихи которой мы изучали еще в школе, тогда очень известная, Соловьева-Аллегро и другие. К этой же основной группе лепились едва начавшие писать молодые люди вроде меня.

Очень велико было обаяние Волошина не только как поэта, но и широко образованного человека. На меня лично большое гипнотическое впечатление производили и такие факты, как личная дружба Волошина со всемирно известными писателями вроде Анатоля Франса, книги которого с его надписями я находил в библиотеке Волошина, и многих других. Основное кредо Волошина сводилось к тому, что поэт-художник должен стоять над схваткой — вне политики. Именно в этом направлении в наибольшей степени Волошин и влиял на нас — молодых... В период, когда Крым занимался Красной Армией, Волошин на своей даче укрывал иногда белогвардейских офицеров. В период господства белогвардейцев в Крыму на даче Волошина с его помощью находили приют многие подпольщики-коммунисты... Таким образом, основное влияние Волошина на меня сводилось прежде всего к аполитизму... Однако этим влияние коктебельской группы писателей на меня не исчерпывалось. Второе, что я, к сожалению, вывез из Коктебеля в себе, — это

* Ср. у Н. Тарасенко: «Автору этих строк в 1976 году довелось расспросить вдову М. Волошина о посещениях Грина, и надо было видеть, с каким пылом пристрастья 90-летняя Мария Степановна — она запомнила все! — воскрешала полувековой давности возмутительные проделки А. С. Грина в ее доме...» (*Тарасенко Н.* Дом Грина. С. 17). «Грина я считаю трусом, черносотенцем высшей мерки. Он ханжа был, ханжа... Передонов, типичный Передонов... Мне не хочется это говорить — зачем же задевать его при всех? Лучше молчать... “Что ты носишься с этим прохвостом!” — Маруся, как можно, Грин рафинированный, Грин романтик...» (*Волошина М. С.* О Максе, о Коктебеле, о себе. М.; Феодосия, 2003. С. 215).

был довольно прочно угнездившийся и развившийся скептицизм. Скептицизм этот сводился, в общем, к тому, что отрицалась способность человека, как тогда выражались, "проникнуть в тайну бытия", отрицалась познаваемость природы и действительности и вообще сомневаться во всем считалось как бы признаком хорошего литературного тона. Все это сочеталось с известного рода эстетством, которое приводило к тому, что все мы считали только искусство реальной жизнью, а саму жизнь нереальной...»[369]

Было ли это Грину близко? И да, и нет. Но именно поэтому вызывало ревность и неприязнь. Как самолеты, которые летали в небе вместо людей. То, что для коктебельцев было утонченной литературной игрой, актом и жестом жизнетворчества, для Грина — самой жизнью. Грин не был скептиком, отрицание способности человека проникнуть в тайну бытия было для него хулой на Святого Духа, неверие в чудо — символом мещанства. Он не играл в то, что люди сами научатся летать, он в это верил и писателем, возможно, стал для того, чтобы не он сам, так его герои летали б. Он не играл в то, что где-то есть Гринландия. Верил. Или, скажем так, гораздо больше верил, чем играл. А они играли, упоенно, азартно, доходя до дуэлей, играли в свои литературные игры, дурачились и развлекались, на самом деле ни во что не веря и спасаясь от подступавшей к горлу советской жизни. Грин ни понять этого, ни принять не мог. Великий и серьезный мистификатор, он не любил чужих шутовских мистификаций, не принимал эстетику Серебряного века, доживавшую последние дни под жгучим крымским солнышком, так же, как не принимал и эстетику социального заказа, пропагандируемого партией. В «черном бархате советской ночи» в те времена, когда почти все так или иначе принадлежали к какому-нибудь литературному сообществу или просто кругу, не попутчик, не перевалец, не серапион, не лефовец, не пролеткультовец, не конструктивист, в полном отсутствии литературных друзей и нужных связей и будучи в этом смысле полной противоположностью тому же Волошину, он упрямо шел своей дорогой.

Пускай как и до революции, в масштабах большой литературы эта дорога (не зря его последний роман называется «Дорога никуда») была не самой интересной, и, наверное, по гамбургскому счету значение Грина в истории русской словесности не так велико, как многих гостей волошинского дома, от Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама до Андрея Белого и Михаила Булгакова, но ничто не могло заставить Грина свернуть, изменить себе, уступить, отказаться от

своих иностранных и внетерриториальных образований, и в этом смысле и как человек, и как писатель своей стойкостью он вызывает большое уважение.

Мандельштамовское «Нет, никогда, ничей я не был современник...» подходит к Грину едва ли не больше, чем к самому Мандельштаму (который все-таки делал попытки хотя бы на уровне поэтических деклараций влиться в новую жизнь страны). Кричащее несовпадение Грина с эпохой и ее людьми попытался отразить Паустовский в романе «Черное море», где Грин был выведен под именем писателя Гарта:

«Гарт был писателем. У своей фамилии Гартенберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь в бою, приветствовали друг друга криками "ура!", и пираты, шатаясь по океанам, веселились, как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могли не вызвать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы и заплаты говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру.

Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта, тем с большей, почти болезненной любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть "живым анахронизмом". Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понял, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал».

Про революцию, так же как и про дореволюционную печаль и горесть Грина-Гарта, у Паустовского, конечно, сказа-

но всуе, но бросающийся в глаза анахронизим Грина и его несовпадение не только с советской, но и с любой другой действительностью подмечено верно, и почти все творчество Грина об этом вопиет. Вот почему дальнейшее развитие образа Гарта у Паустовского, когда прототип Грина собирается писать роман про лейтенанта Шмидта и хочет сделаться полезным молодой советской республике, к самому Грину никакого отношения не имеет (а, по справедливому замечанию В. Е. Ковского, отражает эволюцию самого Паустовского[370]). Не имеет даже при том, что Грин действительно написал «Повесть о лейтенанте Шмидте», затерявшуюся, как пишет В. Сандлер, в недрах частного издательства «Радуга» и до сих пор не обнаруженную[371]. Разумеется, говорить о произведении, которого никто в глаза не видел, трудно, но если судить по переписке Грина и воспоминаниям его близких, едва ли он придавал этой работе большое значение. Иные сюжеты его влекли.

Первый из крымских романов Грина называется «Золотая цепь». Это история жизни самого Грина, написанная наоборот. Как очень верно заметил серапионов брат и виночерпий Михаил Слонимский, «если “Автобиографическая повесть” рассказывает о реальной юности Грина, то “Золотая цепь” говорит о воображаемой его юности»[372].

Там, где Грин потерпел в жизни поражение и обрел победу в литературе, его главный герой молодой моряк и «дикий мустанг среди нервных павлинов» Санди Пруэль по прозвищу «голова с дыркой» побеждает в жизни, но едва ли становится хорошим писателем. Во всяком случае первая фраза романа, принадлежащая перу вспоминающего свою молодость Санди «Ветер усиливался...», несколько смахивает на «Мороз крепчал» Веры Туркиной из чеховского «Ионыча».

Зато все остальное от лица Санди написано Грином гораздо удачнее, и прежде всего возраст героя — излюбленная тема русской прозы от Пушкина до Толстого.

«Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела — Грусть... “Кто я — мальчик или мужчина?” Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове “мужчина” — мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: “Ну-ка, посторонись, мальчик”, — то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: “Эй вы, мясо акулы!” Если же я мужчина, — что более

всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: “Дай-ка прикурить, дядя!” — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?»

Ему тяжело, холодно, неуютно, он служит юнгой на маленьком, пропахшем сушеной рыбой, ужасном судне под начальством злого и жадного пьяницы-капитана, который штрафует его за утерянное ведро и разбитую чашку, его окружают грубые, насмешливые люди, которые однажды, подпоив мальчика, сделали на его теле наколку с надписью «Я знаю все», потому что в отличие от них он очень начитан, и эта наколка доставляла ему множество огорчений.

Последнее потом действительно отразится в «Автобиографической повести»: «Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому, очень часто, на вопрос: “Кто знает?”, я, подняв руку, звучал, как энциклопедия». Да и ведро ученик Гриневский действительно потерял.

Юный Санди сирота, и жизнь его никому не нужна. «Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело...»

И вот однажды с этим одиноким мальчиком случаются чудеса, каких у вятского «Грина-блина» не было и о которых он мог только мечтать. Начинаются «тридцать шесть часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви», которые полностью переменили его жизнь и которые и составляют содержание этого романа.

«Золотая цепь» — роман авантюрный, написанный в традициях Стивенсона и одновременно классического романа воспитания, он лишен того символистского тумана и многозначительности, которые присутствуют порой в чересчур больших дозах в «Блистающем мире». Не случайно Грин говорил своей жене: «Это будет мой отдых; принципы работы на широком пространстве большой вещи стали мне понятны и близки. И сюжет прост — воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудеса и находящего их»[373].

Однако первым находит чудо не Санди. Жил да был в стране Гринландии бедный и несчастный моряк по фамилии Ганувер, которому однажды в жизни необыкновенно повезло — купаясь, он случайно обнаружил зарытую в песке огромную цепь из чистого золота, выкованную когда-то пиратами и спрятанную на дне морском. Находка сделала его миллионером, однако не принесла счастья. Ганувер построил волшебный, фантастический дворец, изобилующий всевозможными чудесами, для любимой девушки — мотив, от-

части повторяющий «Алые паруса», но далее сюжет развивается в ином направлении — девушка его оставила, а во дворец Ганувера под видом любопытствующих туристов и любителей археологии проникла темная компания в лице одной женщины и двух мужчин.

Эти трое находящихся в розыске преступников поставили целью женить глупого богача на красавице Дигэ, с тем чтобы она стала хозяйкой миллионов Ганувера и золотой цепи. Однако у Ганувера есть верные друзья капитаны Дюрок и Эстамп, которые, узнав о его беде, с помощью Санди совершают путешествие в «страну человеческого сердца», «в страну, где темно», находят прежнюю возлюбленную Ганувера по имени Молли, раскрывают обман коварной троицы и с позором изгоняют преступников, но три дня спустя Ганувер умирает от разрыва сердца (опять же — сердце!), а Молли выходит замуж за Дюрока. Вот и весь нехитрый сюжет.

Однако написано все это так, что если девушкам пристало зачитываться «Алыми парусами», то юношам — «Золотой цепью». И потому, что психологически Санди с его томлениями взрослеющего юнца описан очень точно и со знанием дела, и потому, что девушка, в которую он, не дыша, влюблен, завораживает куда больше, чем Ассоль, несмотря на то, что между этими образами много общего.

Ассоль — уроженка Каперны, Молли — Сигнального Пустыря, где царят такие же, не по-гринландски свирепые законы, так что это место кажется чем-то вроде плацдарма, с которого большой враждебный мир готов Гринландию разрушить.

«Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться... Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре, там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с

ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что не было на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы слово за слово начать свару. Вечным припевом его было: "У нас там", "Мы не так", "Что нам до этого", — и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой».

Именно в этой пустыне выросла, наперекор всему, Молли, так же, как наперекор Каперне выросла Ассоль, и это противопоставление для Грина чрезвычайно важно. «Кислота, а не помада заставляет блестеть железо», — говорится в рассказе «Канатаходец Марч», и эта максима, несмотря на ее мужской характер, имеет к Молли самое прямое отношение.

Молли — один из самых совершенных женских образов Грина, и имя это дано не случайно. Оно отсылает к сказкам Н. П. Вагнера, писавшего под псевдонимом Кота-Мурлыки. (Именно о нем в связи с Грином говорили Вашков, Каменский и Пришвин.) Н. Н. Грин приводит в своих воспоминаниях очень важное свидетельство Грина о той роли, которую сыграл Вагнер в его жизни: «Ребенком, прочтя "Молли и Нолли" Кота-Мурлыки (Вагнера), затосковал он о той любви, жажда которой потом всю жизнь сопровождала его. Вот как рассказывал он мне об этом: "Я не знаю, что со мною стало, когда я прочел эту сказку, я не понимал тогда ни слова 'любовь', ни всего сопровождающего это слово, но детская душа моя затомилась, и теперь, переводя это на язык взрослых, я как бы сказал себе: 'Хочу такого для себя!' Это был первый стук в душу моих мужских чувств. Потом я узнал о Коте-Мурлыке, об этом человеке с пестрой душой, сказавшем вовремя мне, ребенку, верное поэтическое слово. Это был первый цветок в венке событий, о которых я тогда не знал. Было мне лет восемь. Это было как слова Эгля для маленькой Ассоль. Я рос, жизнь била, трепала и мучила меня, а образ Молли не умирал и все рос в моей душе, в моем понимании счастья"»[374].

Сказка Вагнера «Мила и Нолли» (Молли — это, видимо, результат обычной гриновской трансформации русских

имен в иностранные) имеет немало родственных черт с произведениями Грина, да и сам Н. П. Вагнер с неменьшим основанием, нежели Эдгар По, Стивенсон, Гофман или Брет Гарт, может считаться предтечей нашего героя. В девятнадцатом веке Вагнером зачитывались целые поколения детей и взрослых, его называли русским Андерсеном, но сегодня имя этого человека, выдающегося ученого-зоолога, исследователя природы Русского Севера и по совместительству большого поклонника спиритизма, изрядно и несправедливо позабыто.

«Мила и Нолли» — история дружбы мальчика и девочки, которые в результате различных приключений оказываются заброшенными в таинственную страну, на остров Попугаев, где они вырастают, превращаются в юношу и девушку, влюбляются друг в друга и, казалось бы, имеют все для счастья, но счастье их невозможно, ибо они люди, и сказка оканчивается печально — Мила умирает (причем не просто умирает, а выбирает смерть, бросаясь ей навстречу), а ее друг не понимает, почему так произошло и чего ей в жизни недоставало.

У Грина образ жизнелюбивой и простодушной Молли имеет на первый взгляд не так много общего с утонченной вагнеровской героиней, да и вообще занимает на страницах романа совсем мало места, но тем драгоценнее черты девушки, которая, как и Санди, показана в неуловимом возрасте взросления, превращения ребенка во взрослого человека.

«Это была девушка или девочка? — я не смог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте, — сказал Дюрок, подходя к ней. — Мне указали, что здесь живет Молли Варрен!

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло не-

сколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен! — сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела. — Пожалуйте, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул, звон, какой слышен при битье посуды, яростное "черт побери эти крючки", и, после некоторого резкого громыхания, внезапно вошла очень стройная девушка, с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли — это я, — сказала она недоверчиво, но неудержимо улыбаясь, — скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят».

В эту девушку влюблены в «Золотой цепи» все — и богач Ганувер, и его верный друг капитан Дюрок, и старый капитан Орсуна, и сам Санди. Но более всего — автор. Молли — полуженщина, полуребенок, женщина-дитя, женщина-фея, любимый женский тип Александра Грина. Все ее трогательные и наивные поступки наполняют сердца героев умилением, нежностью, а непосредственность сводит с ума и старого, и малого.

«— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка. — Скажите "Ганувер" и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну — слышите? Там говорит — "да", всегда "да"! Но я говорю "нет"!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилось сердце».

Или вот другая, опять же с налетом легкого эротизма сцена.

«— Она была босиком, — это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке, — ну право же, очень миленькие чулочки, — паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога, — капитан метнул Дигэ покаян-

ный взгляд, прервав сам себя, — прошу прощения, — другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту...

— Нога... — перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: "Стоп! Задний ход!" И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу, берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! — "Послушайте, — сказал я, — кто вы?"... Катер обогнул кусты и предстал перед ее — не то чтобы недовольным, но я сказал бы, — не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас, я сказал: "Что вы здесь делаете?" Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом, — о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был...

— Ну, — перебил Томсон, с характерной для него резкой тишиной тона, — кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала, — повторил капитан, у которого покраснели виски, — вот что: "Да, у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить". Все! А? — Он хлопнул себя обеими руками по коленям и спросил: — Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная, — сказала Дигэ, — но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно».

Ироническая злючка Дигэ — соперница Молли, принадлежащая к «высшему разряду темного мира». Любовник Дигэ Галуэй, выдающий себя за ее брата, говорит, что «сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя». Она красива, хищна, коварна, умеет произвести на мужчину впечатление и овладеть его душой, она — женщина-вамп, хищница, разрушительница, несущая герою гибель. Но в «Золотой цепи» весь этот демонизм снимается мягкостью и ироничностью повествования, даже некоторым обаянием, предсказывающим будущий жанр «иронического детектива». И точно так же иронично и беззлобно описаны циничные сообщники Дигэ, хозяин суденышка, на котором служит Санди, и злые, насмешливые матросы. «Золотая цепь» в этом смысле замечательный при-

мер того, как далеко ушел Грин от той магии и всесилия зла, которые присутствовали в его ранних рассказах. Позднее именно это обстоятельство позволило многим мемуаристам и гриноведам говорить о том, что творчество Грина сильно просветлело после Октябрьской революции и что именно в такую своеобразную художественную форму вылился вклад Грина в советскую литературу.

Едва ли надо доказывать, что революция тут ни при чем, но конфигурация, при которой героя окружают две вольно или невольно соперничающие за его сердце женщины, выражающие две крайности женского естества, ангельский и демонский, — для Грина характерна. Так было в «Блистающем мире», где сталкивались Руна и Тави, так было в раннем рассказе «Сто верст по реке», где светлой Гелли приходится расплачиваться за грехи темных женских страстей и доказывать, что женщина — не только сосуд зла. Так было в «Колонии Ланфиер», так будет в романе «Джесси и Моргиана», но побеждает всегда светлая душа, и юный Санди, который спас Молли, с риском для собственного престижа и самолюбия, переодевшись в женское платье, через несколько лет, уже будучи штурманом, встретит супружескую пару Дюрока и Молли и захочет воскликнуть: «Вы, Молли, для меня — первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и горем, вы, Дюрок, — первая твердая черта мужества и достоинства!»

Но странно, по-вагнеровски печально и призрачно показано счастье Молли в эпилоге второго романа Александра Грина. Она жалуется на то, что у нее все время болит голова, она утомлена, и Дюрок спешит увезти Санди из дома, говоря, что Молли больше не выйдет.

«Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли, — так, средней веселости».

Какая-то глубокая грусть есть в этом образе, и не случайно Санди с горечью замечает, что встреча старых друзей оказывается совсем не такой, как он ожидал: «Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен? Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия, — вот что требовалось теперь мне!»

Но ничего этого нет. Ни сказочной концовки «стали жить-поживать и добра наживать», ни голливудского «хеппи-энда», как в «Алых парусах» или «Ста верстах по реке», герои которого живут долго и счастливо и умирают в один день. Есть только загадочная, нигде не проясненная фраза:

«Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым». Герой узнал, читатель — нет. Это очень по-гриновски.

Все хорошо в жизни у Санди, который стал знаменитым моряком и чуть ли не флотоводцем, все как будто неплохо и у Эстампа, и Попа, и у Дюрока, один удачно женился, другой удачно разбогател, а роман все равно печален, и быть может в этой печали его самое главное художественное достоинство. И это опять возвращает нас к загадочной сказке Кота-Мурлыки, которая некогда так поразила воображение Грина.

«Над ними было постоянно голубое, ясное небо, а вокруг тихое, лазурное море. Весь остров был, как райский сад, и они жили на нем, как в раю. Они бегали, резвились, смеялись, играли с Волчком, играли с попугаями. Они были счастливы и веселы.

Чего им недоставало?

— Скажи мне, Нолли, — говорила раз Мила, сидя вечером под большим деревом, — скажи мне, когда ты вот так закроешь глаза и долго сидишь молча и потом вдруг откроешь их, тебе не кажется, что ты был где-то далеко, далеко и что кругом тебя все незнакомое, чужое?..

— Нет, — сказал Нолли и закрыл глаза, и они оба сидели так долго и молча, закрыв глаза.

— А не кажется тебе, Нолли, — вдруг спросила Мила, — не кажется тебе, когда ты так сидишь, закрыв глаза и сложив на груди руки, что ты лежишь в глубокой, глубокой могиле и там тебе хорошо и спокойно?

— Мила! — вскричал Нолли, задрожав. Он бросился к ней и схватил ее за руки. — Дорогая Мила, зачем ты это говоришь! Разве ты не любишь меня, разве нам не хорошо здесь?!

Она молча смотрела своими ясными голубыми глазками на него, и вдруг две слезинки выкатились из этих глазок и побежали по щекам.

— Мне скучно, Нолли, — прошептала она, — мне скучно, дорогой мой! Я живо представляю себе, как больно было моему сердцу, когда я считала тебя погибшим. Ах! я никогда не желала бы, чтобы эта ужасная боль снова вернулась. Я знаю, что я теперь должна быть счастлива... а мне чего-то недостает, Нолли, мне грустно, скучно, даже с тобой, моим дорогим другом.

На старом острове было все так хорошо, так свежо и молодо. Старые деревья смотрели вечно юными, старые попугаи умирали, и на место их являлись новые, и никто не замечал этой замены.

Иногда Миле казалось, что все это так и должно быть и что лучше этого ничего быть не может. Но когда она исходила весь остров вместе с Нолли, когда каждый день и целый день перед ее глазами было все одно и то же, были те же деревья и цветы, и небо, и море, и попугаи, то она закрывала глаза и невольно спрашивала; неужели все это будет вечно одно и то же, одно и то же?

И ей казались несносными, невыносимо скучными и вечно голубое небо, и вечно тихое море, и вечно зеленые деревья, и цветы, и веселые попугаи. Она сидела и думала: отчего все хорошее не может казаться постоянно хорошим? Отчего посреди всех этих дивных красот сердце тоскует, и рвется, и просится куда-то в далекую даль?»

Позднее этот мотив тоски и невозможности, недостижимости человеческого счастья, когда, казалось бы, все для него есть, войдет в самый поэтический роман Грина «Бегущую по волнам», но истоки его именно здесь, в финальных страницах «Золотой цепи» и в неполноте любви Дюрока и Молли, в несовершенстве самой человеческой природы, которую пытался усовершенствовать Грин в «Блистающем мире», но впоследствии от этих попыток отказался и предоставил людям быть такими, какие они есть.

Однако помимо живых людей в «Золотой цепи» присутствует знаковый образ человека-манекена, который перекликается с образом Корриды Эль-Бассо из «Серого автомобиля», только Ксаверий скорее похож на современных роботов, Грином его гениальной догадкой предсказанных, и именно этот робот-пифия предрекает Гануверу скорую смерть:

«В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый, как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него.

Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— Вот новости! — раздался резкий, отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул. — Довольно, если вы обвините себя в неуместной шутке!

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно стру-

сил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ. — Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнул Галуэй.

— Останьтесь, я незлобив, — сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер. — Позволь рассказать твою историю!

— Мне все равно, — ответила кукла. — Я — механизм.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал: — Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. “Ты спас меня!” — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: “Я тебя *убил*”. Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: “Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!”

— Ужасно! — сказал Дюрок. — Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен. — Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего “да”, после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

— Я — Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй. — Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю, — сказал Ганувер, — мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр, — вот, кажется, все, что сохранилось

в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить "Ксаверий", иначе он молчит.

— Самолюбив, — сказал Томсон.

— И самодоволен, — прибавил Галуэй.

— И самовлюблен, — определила Дигэ. — Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй.

Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ. — Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростительное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: "Сердись на саму себя!"».

Замечательно, что это тот самый случай, когда позиции Дигэ, Дюрока и автора совпадают. Но механическая кукла у Грина не только наделена даром пророчества, она — страдает, как живая, как не дано страдать Корриде Эль-Бассо, и приносит смерть не только своему создателю, но и новому хозяину. И здесь не просто угроза механической жизни, могущей разрушить живую жизнь, — но какая-то запредельная, необъяснимая тоска. Ах, как несовершенен человеческий мир, несовершенны дела людей, даже если дать им так много денег, что всякая роскошь станет им доступной. Выстроил огромный, изобилующий чудесами дворец Ганувер, предварительно вываляв свое золото в нефти, каменном угле, биржевом поту и судостроении. Напичкал его волшебствами, поразил сотню-другую богатых бездельников и потерял единственную, любимую девушку, потому что:

«Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец — совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо... Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели, — расти и давить, — заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти — клянусь! — превосходные залы».

Разве не правда? Конечно, правда. Вот это несчастное, страдающее, соседствующее с чудом и роскошью, все связанное с болезнью Молли, смертью Ганувера, эти двадцать тысяч шагов, разделяющие людей, и делает роман печальным подобно тому, как разрушает в сказке Вагнера любовь Милы и Нолли смерть собаки Волчка, и фраза Грина об укусе пчелы-грусти, появляющаяся на самой первой странице «Золотой цепи», сопровождает это повествование до конца.

«Я люблю тебя, но скажи мне: разве любовь не то же опьянение? Разве рано или поздно не ослабнут ее натянутые струны? Разве не улетят все грезы и ее сладкие волнения, как милый, обманчивый сон, и чувства не завянут в нас, как цветы поздней, морозной осенью? И тогда... что же останется в жизни?.. Ах, Нолли, Нолли! Скажи мне, для чего мы живем?!» — жалуется своему возлюбленному вагнеровская Мила.

«Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной», — утешающе говорит на прекрасном балу, устроенном Ганувером в честь Молли, некая женщина, обращаясь к Санди. Но он плачет не только поэтому.

«Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть», — заключает доктор у постели умирающего хозяина дворца, и вечная гриновская тема звучит в «Золотой цепи» совершенно по-новому, гораздо более зрело и без того максимализма, который был свойствен ранним рассказам писателя.

Роман о юноше, юношеству адресованный, но написанный умудренным, задумывающимся о смерти, много видевшим и перестрадавшим человеком — вот что такое «Золотая цепь».

По свидетельству Нины Николаевны, роман был написан за несколько месяцев. «Странно, — говорил Александр Степанович, — писал я этот роман без всякого напряжения, а закончил и чувствую — опустошен до дна. Никогда такое чувство не появлялось у меня после окончания рассказа»[375].

И когда критика 20-х утверждала, что «роман “Золотая цепь” ни в какой мере не связан с современностью», что «построенный по принципу халтурной безответственной фантастики, он повествует о сказочных дворцах, где люди охотятся друг за дружкой с ловкостью героев Шерлока Холмса для призрачных целей, лишенных смысла и логики»[376], это было очень беглое, поверхностное и несправедливое истолкование.

Ближе к истине был А. Роскин, который хулил Грина в 1935 году («Отталкиваясь от страны, эпохи и революции,

Грин отталкивался от творчества. Рукописи Грина превращались в копии с собственного оригинала... Мастерство Грина работало на холостом ходу, ибо было направлено на решение изолированных, точно шахматные этюды, задач»[377]) и который несколько лет спустя оценивал его творчество и прежде всего роман «Золотая цепь» иначе: «Он не мистик, а сказочник, воспитывающий волю к благородному деянию, важность и совершенную необходимость красоты в обыкновенной человеческой жизни»[378].

Но не только о жизни думал и писал Грин в эту пору. Мысли о смерти посещали его все чаще, сопрягая по-новому противостояние двух вечных начал человеческого бытия, ибо теперь смерть приходила не в насильственном образе, не от пуль и бомб, как в его ранних рассказах, но естественным, неизбежным путем. Одновременно с «Золотой цепью» Грин написал рассказ «Возвращение», очень печальный и выбивающийся из гринландской географии.

Герой этого рассказа норвежский кочегар Ольсен служит на большом океанском корабле. Он отправляется в свое первое плавание, но ностальгия мучает его. «В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет».

Плавание кажется ему долгой болезнью, которую нужно перетерпеть ради денег. После вахты он ложится на койку, засыпает или чинит белье; иногда играет в карты и всегда понемногу выигрывает, так как ставит очень расчетливо.

«Раз, в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с “Бандуэрой” в трепете прекрасного света к тропическому безмолвию. Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далей, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену, — и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз».

Это очень важный психологический момент, любопытный тем, что в этом рассказе не «народ» (общество, команда корабля), а герой оказывается «жирным гусем», герой не может подняться над приземленностью жизни и отдаться мечте, и за это мечта ему жестоко мстит. Из-за жары и усталости с Ольсеном случается обморок, он падает, ранит

грудь, тяжело заболевает, и его оставляют лечиться в госпитале в тропическом городе.

Ольсен лежит в палате вместе с другими матросами и ни с кем не общается, потому что не знает их языка. Иногда выходит в город и видит враждебную, непривычную его северному глазу южную природу, и противопоставление Севера и Юга опять оказывается для Грина противопоставлением реальности и мечты, обыденного и несбывшегося. Но теперь меняется точка отсчета. «Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега, — беспокоили его, как дурман, власть которого был он стряхнуть не в силах».

С каждым днем ему становится все хуже, наконец врачи решают отправить его домой, и он уезжает на свой родной Север. Перед отправкой Ольсен последний раз идет в южный лес, и там происходит сцена, похожая на ту, что была описана в рассказе «Фанданго», только драматизм в ней носит более скрытый, приглушенный характер.

«Там, в сумраке глубоком и нежном, дико блестели отдельно озаренные ветви. Там выглядело все, как таинственная страница неизвестного языка, обведенная арабеском. Птицы-мухи кропили цветным блеском своим загадочные растения, и, когда садились, длинные перья их хвостов дрожали, как струны. Что шевелилось там, смолкало, всплескивало и нежно звенело? Что пело глухим рассеянным шумом из глубины? — Ольсен так и не узнал никогда. Едва трогалось что-то в его душе, готовой уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканных из солнца и тени, — подобных саду во сне, — как с ненавистью он гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол, так обиженный, ограбленный среди монументального праздника причудливых, утомляющих див. Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных, с светлым бесстыдством гурии, — поднял ее, бросил и, сильно топнув, разбил каблуком, как разбил бы стакан с ядом. Чем дальше он шел, тем тоскливее становилось ему; сердце и дыхание теснились одно другим, и сам он чувствовал себя в тесноте, как бы овеянным пестрыми тканями, свивающимися в сплошной жгут».

Он уезжает домой с той же ненавистью к этому яркому, сочному миру, какую испытывает бедный статистик Ершов, орущий на волшебника Бам-Грана с его бессмысленными в голодном Петрограде дарами. По дороге Ольсену кажется, что он чувствует себя гораздо лучше и, как только окажется дома, выздоровеет окончательно. Но этим надеждам сбыться не суждено. Ольсен так и не поднялся. Всю зиму он страдает от того, что больше не работник и не может помогать семье, а весной и ему, и всем окружающим становится ясно, что дни его сочтены.

Перед самой смертью, глядя на маленькую девочку, требующую у матери цветов, солнца, холмов и «того, что за этой границей, и то, что в самой ней и во всех других — и всего, решительно всего», больной вдруг вспомнил юг, который был ему противен.

«Умирающий человек повернулся к заплаканным лицам своей семьи. Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные путы, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть. Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания. Ольсен повернулся к сестре, обнял ее, затем протянул руку матери. Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул в Преете.

— Мы все поедем туда, — сказал он. — Там — рай, там солнце цветет в груди. И там вы похороните меня.

Потом он затих. Лунная ночь, свернувшаяся, как девушка-сказка, на просторе Великого океана, блеснула глазами и приманила его рукой, и не стало в Норвегии Ольсена, точно так же, как не был он живой — там».

Грин — был. Но описал в «Возвращении» собственную смерть, до которой ему оставалось восемь лет.

Тема Юга и Севера его не отпускала. В романе «Джесси и Моргиана» она поворачивается неожиданной, шутливой стороной в разговоре главной героини с ее служанками:

«— Вы обе с севера? Не так ли? А что, у вас бывает землетрясение?

Служанки переглянулась и рассмеялись.

— Никогда, — сказала Эрмина. — У нас нет ничего такого: ни моря, ни гор. Зато у нас зима: семь месяцев, мороз здоровый, а снег выше головы — чистое серебро!

— Какая гадость! — возмутилась Джесси.

— О, нет, не говорите так, барышня, — сказала Герда, — зимой очень весело.

— Я никогда не видела снега, — объяснила Джесси, — но я читала о нем, и мне кажется, что семь месяцев ходить по колено в замерзшей воде — удовольствие сомнительное!

Перебивая одна другую, служанки, как умели, рассказали зимнюю жизнь: натопленный дом, езда в санях, мороз, скрипучий снег, коньки, лыжи и то, что называется: “щеки горят”.

— Но ведь это только привычка, — возразила Джесси, немного сердясь, — поставим вопрос прямо: хочется вам, сию минуту, отправиться на свою родину? Как раз там теперь... что у нас? Апрель; там теперь сани, очаг и лыжи. Отбросьте патриотизм и взгляните на сад, — она кивнула в сторону окна, — тогда, если хватит духа солгать, — пожалуйста!

— Конечно, здесь о-очень красиво... — протянула Эрмина.

— Цветов такая масса! — сказала с жадностью Герда.

Джесси сдвинула брови.

— Да или нет? Под знамя юга или в замерзшие болота севера?

— Что ж, — просто сказала Герда, — мы еще молоды, поживем здесь.

— Ну что вы за лукавое существо! — воскликнула Джесси. — Как можете вы, в таком случае, желать, чтобы ваше цветущее лицо было семь месяцев в году обращено к ледяным кучам?»

Рожденный на Севере Грин очень скоро стал убежденным южанином. Север ассоциировался у него с Вяткой, голодом, ссылкой и прочими печальными событиями жизни. Юг — со свободой и счастьем (по крайней мере до последних четырех лет жизни). В этом смысле Грин противостоит той мощной «северной» линии в русской прозе, которая, беря начало от этнографа Сергея Васильевича Максимова, была продолжена Шергиным, Ремизовым, Пришвиным, Соколовым-Микитовым, Ю. Казаковым.

Но вот одно воспоминание о Грине, сводящее воедино и тему Севера—Юга, и тему жизни—смерти, и тему тюрьмы и свободы. Оно принадлежит писателю Льву Гумилевскому, к Грину в общем-то равнодушному («Я... увидел, что это все тот же Грин с необыкновенными происшествиями и завидно мужественными героями, живущими в неведомых странах несуществующих цивилизаций»[379]), и повествует об одном из читателей Грина, об одном из тех влюбленных в него людей, кто, по мнению Гумилевского, и сделал Грина известным на весь мир. Человека этого звали Александр Михай-

лович Симорин. Он был ученым, работал вместе с Вернадским.

«Где-то между двумя биогеохимическими экспедициями на Русский Север и в Западную Сибирь ученик Вернадского открыл Грина. Он не нашел в его книгах ни чужих стран, ни выдуманных героев. Он увидел мужественных благородных людей, слегка лишь прикрытых псевдонимами, чтобы слишком не походить на живых, окружавших молодого ученого, и на него самого.

Теперь, когда случалось ссылаться на писателя, он говорил "Грин" так, как бы я сказал "Толстой" или "Шекспир".

Двадцать лет затем Александр Михайлович провел на Севере.

Над головами зияло черное небо со звездами. Под этим небом, сидя на только что спиленном дереве, говорили о возможностях космических полетов и чертили сучком ели на снегу формулы, а артист Художественного театра читал "Двенадцать"*. Симорин говорил мне, что такого потрясающего чтения он ни раньше, ни после не слышал. И очень часто говорили о Грине.

В первое же лето после возвращения с Севера Симорин поехал на могилу Грина в Старый Крым; на другой год повторил поездку, на третий, в 1961-м он вновь отправился туда и 2 февраля умер, наказывая снова и снова похоронить его возле Грина.

Воля его была исполнена»[380].

---

* Эти воспоминания были опубликованы в 1972 году, и скупая эта запись и цифра 20 лет никак не расшифрованы, но нет необходимости уточнять, где находились и кем были эти люди

Глава XV
БЕГУЩАЯ

Написанный в 1925—1926 годах роман «Бегущая по волнам» стал вершиной творчества Грина.

«“Бегущая” — не роман, а поэма, глубоко волнующая, и это ощущение разделяют со мной многие друзья, которым я давал ее читать. Мне кажется, я не ошибусь, сказав, что это лучшая Ваша вещь: в ряду других произведений, увлекательных, захватывающих, чарующих, — “Бегущая” просто покоряет, после нее снятся сны... Спасибо и за присылку книги и, главное, за то, что Вы ее написали», — отзывался об этом романе Г. А. Шенгели[381], читатель весьма взыскательный.

«А. С. писал “Бегущую” очень любовно, не торопясь, отделывая», — вспоминала Нина Николаевна Грин[382].

В этом романе проявились весь талант, писательская зрелость и мастерство Грина, здесь замечательно гармонично, без перекосов в ту или иную сторону слились черты авантюрного романа, детектива, фантастики, романтики, мистики — словом, всего, что было разбросано в его прежних повествованиях.

Нина Николаевна Грин вспоминает, как однажды в пору работы над «Бегущей» у нее вышел разговор с мужем о старости и о жизни вообще. Это был разговор о том, что «многие доживают до глубокой старости, ни разу не получив от жизни то, что утолило бы их душу. Так их душа, взглянув на мир, увядает не расцветя. Другие же на все на своем пути бросаются жадно, непрерывно ошибаются и тоже неудовлетворенные уходят из жизни. Третьи боятся ошибиться и проходят мимо своей судьбы»[383].

Именно эта встреча-невстреча с мечтой и стала темой романа Александра Грина, но соотношение реальности и мечты, чему так или иначе посвящены почти все его крупные произведения двадцатых годов, начиная с «Алых парусов», утрачивает в этом романе черты резкого противостояния и становится более взвешенным. «Бегущая по волнам» полу-

чилась самой спокойной и уверенной вещью Грина. На ее дне нет яда, в ней романтическая злость и ярость уступают место ясному и доверчивому взгляду на жизнь, лишенному односторонности и узости. Грин здесь не агрессивен, как в «Блистающем мире», но всепрощающ, и граница между людьми избранными, творческими, способными услышать неясный зов мечты и за этим зовом пойти, и теми, кто этого дара лишен, не становится в романе линией фронта. Напротив, между первыми и вторыми возникает что-то вроде сотрудничества, чего никогда не было раньше и не будет позже. Только здесь «Север смешался с Югом в фантастической и знойной зиме».

Главному герою «Бегущей», Томасу Гарвею, этому «искателю приключений», но уже совершенно иной генерации и склада, нежели Аммон Кут, помогают все, кто его окружает: врач Филатр, друг Филатра Стерс, тактичный хозяин квартиры, которую Гарвей нанимает, предупредительная прислуга, житель города Гель-Гью и собиратель сплетен Ариногел Кук и даже хладнокровный делец и человек выгоды, господин Браун, глава компании «Арматор и Груз». Друзья Гарвея не способны понять его утонченной, артистичной натуры, но они не относятся как к блажи к тому, что однажды во время игры в карты ему чудится, как некий особенный женский голос в повелительной тишине произносит с ударением слова «Бегущая по волнам», и наперебой пытаются разобраться, что же на самом деле произошло.

«Фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесец...Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы», — предполагает доктор Филатр и на следующий день устраивает Гарвея на корабль, который как будто бы из этой трещины выплыл.

«Я пишу — о бурях, кораблях, любви, признанной и отвергнутой, о судьбе, тайных путях души и смысле случая. Паросский мрамор богини в ударах черного шквала, карнавал, дуэль, контрабандисты, мятежные и нежные души проходят гирляндой в спиралях папиросного дыма, и я слежу за ними, подсчитывая листы», — сообщал Грин Шепеленке[384], прикидывая вошедшие и не вошедшие в окончательный текст образы и мотивы, однако начало романа долгое время ему не давалось.

«Начал "Бегущей" было около сорока. Это единственный роман, где начало рождалось в таких муках. Некоторые из вариантов были прекрасны, но что-то в них не нравилось

Александру Степановичу», — вспоминала Нина Николаевна и приводила слова автора:

«Понимаешь, как важно в романе, да и в рассказе — начало, хорошее начало, продуманное и стройное. Оно, незримо для читателя, определяет конец, без скрежета надуманности. Так как я пишу вещи необычные, то тем строже, глубже, внимательнее и логичнее я должен придумывать внутренний ход всего»[385].

Однако сорок вариантов вместо того, чтобы попасть в архив, послужили топливом для плиты, на которой теща Грина однажды изжарила яичницу, прежде чем родился сорок первый:

«Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, — позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют, — остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти Несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его.

Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить».

Вопреки обычной схеме, когда главного героя у Грина окружают две женщины — светлая и темная, в этом романе их — три, и отношение к ним автора лишено какой бы то ни было категоричности. В порядке очередности они появляются так: Биче Сениэль, Фрези Грант и Дэзи, фамилия которой не называется, вероятно, потому, что именно ей будет суждено стать Дэзи Гарвей, хотя поначалу кажется, что шансов на это гораздо больше у Биче Сениэль.

Биче — обедневшая аристократка, дочь одного из гринландских «пионеров», отцов основателей города Гель-Гью. Она сходит в жаркий полдень с большого парохода (любопытная деталь, еще недавно сообщалось, что в Лисс заходят только парусные суда) и, став центром внимания портовой толпы, сразу поражает наблюдающего за ней героя своим благородством, «окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с ним, что сам человек не замечает его, подобно дыханию». Гарвей влюбляется в нее с первого взгляда, как Артур Грэй в Ассоль, как Сэнди Пруэль в Молли, как и положено влюбляться романтическому герою в романтическую героиню, ибо в ней прекрасно все.

«Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса, — такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося».

Она производит впечатление девушки, «одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи». Но более всего она подчиняет протагониста и заставляет сорваться с места и искать с ней встречи. Однако путь к Биче Сениэль Томаса Гарвея, которого Грин с ходу освобождает от всего, что может помешать ему жить так, как он хочет, и гоняться за «таинственным и чудным оленем вечной охоты» (Гарвей нигде не работает, не учится, ничего не пишет, а только читает и раскладывает трудные пасьянсы, получая непонятно за что деньги от своего поверенного Лерха), лежит через удивительно красивое и стройное парусное судно «Бегущая по волнам», которое на законных гринландских основаниях швартуется в Лиссе и после серии осложнений и препира-

тельств забирает героя к себе на борт. Там Гарвей сталкивается с еще одним ярким персонажем этого романа, своим соперником и антагонистом капитаном Гезом.

Если Томас Гарвей — человек исключительного благородства, культуры и самого возвышенного воспитания, если он — джентльмен в лучшем смысле этого слова, то Вильям Гез — хам, но хам не простой, а артистичный. Он щегольски одет, любит играть на скрипке, любит море и ветер, у него замечательная библиотека, наконец, он влюблен в ту же девушку и в тот же корабль, что и Гарвей. Гез — это не воинствующий обыватель и гонитель мечты, он по-своему тоже поэт, о нем моряки в лисских кабаках говорят прямо противоположные вещи: одни возносят до небес, другие низводят до преисподней. Да и на самого Гарвея он производит впечатление противоречивое. «Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гез заметил, немедленно улыбнувшись сам, снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гез встал, смотря в угол, за мою спину; затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза».

«И капитан Гез — это часть его, темная часть, по-волчьи грызущая жизнь, полная злого высокомерия и темных страстей, с золотинкой на дне души, которую он, будучи во власти злых начал, не умеет по-настоящему поднять»[386], — писала Нина Грин.

«Я и Гарвей, я и Гез», — признавал и автор романа[387]. Очевидно, что умевший быть отталкивающе грубым и резким Грин вложил в образ капитана «Бегущей» немало личного, как вкладывал когда-то в образ Гинча. Но раздумывая, что делать с этой золотинкой, колеблясь, простить или не простить Геза, дать ему шанс или потопить, Грин в конце концов выбирает второе, и по мере развития сюжета Гез оказывается контрабандистом, обманщиком, сквалыгой, грубияном, развратником и негодяем, заслуженно получающим пулю от обманутого им партнера, своего старшего помощника Бутлера, в прибрежной гостинице города Гель-Гью. Однако прежде чем эта расправа произойдет, романтический злодей с пиратским именем совершит еще одно преступление: в результате ссоры с Гарвеем Гез ссаживает своего благородного и безупречного пассажира в шлюпку

посреди океана и предоставляет воле ветра и волн. По логике сюжета это действие Геза выглядит не очень убедительно (куда логичнее смотрелась бы идея спустить Гарвея в трюм или уж, коль невмоготу, просто потопить), но именно такой поворот позволяет автору ввести в повествование вторую героиню, которая непонятно как попала на корабль, никем не замеченная на нем плыла и теперь, по приказу разъяренного капитана и по воле романиста, оказывается в шлюпке с Гарвеем.

Тут-то и происходит встреча с Несбывшимся, и становится ясно, кто шепнул во мраке лисской ночи Томасу Гарвею три увлекших его в путь слова: «бегущая по волнам».

«Я никогда не забуду ее — такой, как видел теперь.

Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой, нежной улыбкой было полно прелестной, нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание, — большее, чем молчание сжатых губ. В черных ее волосах блестел жемчуг гребней. Кружевное платье оттенка слоновой кости, с открытыми гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Она сидела, опираясь отставленными руками о палубу кормы, нагнувшись ко мне слегка, словно хотела дать лучше рассмотреть свою внезапную красоту. Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура».

Это и есть бегущая по волнам, фантастическая Фрези Грант, призрачная, как «летучий голландец», и в то же время реально-осязаемая сумасбродная девица, которая, по легенде жителей города Гель-Гью, некогда убежала от не выполнивших ее каприза жениха и отца, а заодно и от своей родины («Прощай, моя родина», — говорит она, и это очень важный момент, многое объясняющий в так называемом космополитизме Грина) на чудесный светлый остров и с тех пор странствует по волнам, помогая всем терпящим бедствие морякам. Тут уже не просто художественный образ, но символ, воплощенная мечта. Недолго пробыв с Гарвеем в шлюпке посреди океана, Фрези исчезает, уходя по воде, а Гарвея, в соответствии с ее предсказанием, подбирает небольшое судно с прозаическим названием «Нырок». Там он

встречается с третьей, наименее загадочной девицей из этого девичьего триумвирата — Дэзи, описание которой смахивает на какую-то пиратскую пародию.

«Ее левый глаз был завязан черным платком. Здоровый голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением. Она была темноволосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, трепетного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами». Портрет, чем-то напоминающий Молли из «Золотой цепи», хотя и уступающий ей по выразительности и неизбежно вторичный. К этому надо добавить, что у Дэзи есть довольно несимпатичный, очень прозаичный жених по имени Тоббоган.

Вот, собственно, и вся экспозиция. Все остальное в романе — попытка героя определиться, как дальше жить и с кем из этих барышень искать свое счастье. Поначалу Гарвей определенно склоняется в сторону «прекрасной дамы», и события в романе складываются таким образом, что Гарвей и Биче должны быть вместе. Они встречаются на карнавале в Гель-Гью, затем Гарвей присутствует в гостинице во время допроса Биче, обвиненной в том, что она убила Геза, вместе с ней едет на «Бегущую по волнам», которой Биче хочет по праву владеть и на которую побывавший в чужих руках корабль производит впечатление тягостное, и Гарвей хорошо ее понимает. Во всех этих перипетиях оба сохраняют благородство, выдержку и кажется, что эти двое: а) совершенны и б) достойны друг друга.

Но именно там, на борту прекрасного корабля, случается недоразумение, которое переворачивает их отношения: когда Томас Гарвей, вопреки запрету Фрези Грант, рассказывает Биче о таинственной девушке, оказавшейся вместе с ним в шлюпке, та реагирует примерно так, как статистик Ершов в «Фанданго» на явление Бан-Грама — с поправкой на хорошие манеры и относительно благополучное материальное положение, удерживающее ее от истерики.

«— Скажите мне, что вы пошутили!

— Как бы я мог? И как бы я смел?

— Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда не много и — много. Я — женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим пока это. Вы мне рассказали о Фрези Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я

поверила в это, как в недействительность, выраженную вашей душой, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Бердслэя; я не была с вами тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады! Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.

— Биче, вы не правы.

— Непоправимо права. Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир, благодаря вам: два желтых платья, две "Бегущие по волнам" и — два человека в одном! — Она рассмеялась, но неспокоен был ее смех. — Да, я очень рассудительна, — прибавила Биче задумавшись, — а это, должно быть, нехорошо. Я в отчаянии от этого!

— Биче, — сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя, — Биче, все открыто для всех.

— Для меня — закрыто. Я слепа. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, этого не было?!

— Биче, это было, — сказал я. — Простите меня.

Она взглянула с легким, задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала:

— Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто».

Вообще, вся эта сюжетная коллизия сильно напоминает роман «Блистающий мир». Биче, как и Руна, бескрыла, лишена веры в чудо, закрыта для пятого измерения, а также шестого, седьмого, восьмого и так далее чувств, но, в отличие от жирной гусыни Руны, не наделена жаждой власти и даже в таком нелетающем образе не теряет привлекательности. В «Бегущей по волнам» происходит удивительная вещь: Грин признает право человека на неверие в чудо и не мажет его за это черной краской. После того как Гарвей и Биче расстаются, герой сохраняет в душе ее светлый облик и благодарность к ней.

«С болью я вспомнил о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности... Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство — мое право иметь собственную судьбу, что бы ни думали о том другие. И я был рад также, что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага,

сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее состояние между мной и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах».

Совершенно прав В. Ковский, который писал о женских образах в «Бегущей»: «Биче и Дэзи — как бы две стороны одного, не существующего в природе, идеального типа, гармонически сочетающего интеллектуальность с ясной простотой духовного облика, твердую определенность характера с чуткой восприимчивостью, трезвость с поэтичностью, сдержанность с экспансивностью, самостоятельность с уступчивостью»[388].

Но две эти стороны для Грина не равноценны и не равноправны, и автор вслед за героем отдает предпочтение второй — то есть восприимчивой, поэтичной, экспансивной, уступчивой (а в сущности, управляемой, поддающейся внушению), и думает Гарвей о Дэзи, которой пренебрег на карнавале в Гель-Гью, обидел, сам того не желая, своей холодностью, тем, что откровенно предпочел ей Биче. А она была так кротка, что даже не посмела обидеться. Полудевушка, полуребенок, герой не испытывает к ней внезапного, как солнечный удар, чувства, его чувство к ней проявляется постепенно.

Не будет большой натяжкой предположить, что два эти образа соседствуют и борются друг с другом в сердце Гарвея подобно тому, как соседствовали в сердце самого Грина две женщины: Вера Павловна Абрамова, утонченная петербургская дама с благородным обликом и светскими привычками, и Нина Грин — женщина-ребенок: «Я была тогда озорна и смешлива. Он это любил»[389]. Нина Грин, которую писатель, в отличие от Веры Павловны, смог очаровать и заколдовать.

В 1958 году в письме почитателю творчества Грина Ю. А. Ковуре Н. Н. Грин писала: «Биче доступна мечта реальная. Стройность и цельность ее миросозерцания не вмещает иного. Душа ее в “шорах” и боится потерять. Ей всего 19 лет, она женственна и властна (мягко). Ум у нее стройный, смелый, идущий твердо по Земле. Если бы ее не взволновала встреча и разговор с Гарвеем, то значило бы это, что она душевная тупица. Ею она не была. Гарвей понравился ей, но внутренний мир его был чужд. И входить в него ей было страшно. Это перестраивать себя. Да и перестроишь ли? Такая мраморная стройность миросозерцания или другая, гарвеевская, — они враждебны...

В лице Биче Александр Степанович и дает синтетически образ встреченных и любимых им женщин, чуждых его душе. Они тоже были молоды и не желали и не могли, как и Биче, разрушить стройность своего внутреннего мира, принять мир Александра Степановича. Он был чужд им»[390].

Та же мысль высказана и в ее мемуарах, но в более широком и личном контексте: «Многих женщин рассматривал Грин, ища. И прелестные, и дурные были на пути Грина. Биче Сениэль — итог этих встреч и исканий. Тут и юношеская Вера Аверкиева, и Екатерина Бибергаль, и Вера Павловна, и Мария Владиславовна, и Мария Сергеевна, и многие другие, ни имени, ни лиц которых я не знаю и о которых Александр Степанович скромно говорил: "Их было много". Я никогда не хотела знать подробности о них. Молодость Александра Степановича, тяжелая жизнь, незнание жизни, жадность к ней, "тоска о Молли", алкоголь, так обостряющий и искажающий желаемые образы, вечное беспокойство и ошибки. Искание не тела женщины, а души ее, воплощенной в желаемый образ Дэзи — девушки с простым сердцем и верой в чудеса, творимые руками человечности. Такие девушки непопулярны, не привлекают взора ни блеском ума, ни изысканностью. Они умеют любить, верить, быть женой, другом» [391].

Так было в жизни и так было в романе, в который мало-помалу превращалась жизнь Александра Грина. Одна женщина вытеснила из сознания Грина другую, одна девушка вытеснила из души Гарвея свою невольную соперницу, потому что оказалась ближе ему и понятливей. Сначала «кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо, не было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти». Но проходит время, все меняется, и «в противоположность Биче, образ которой постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства, — неизвестно где находящаяся Дэзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове, — я спрашивал себя:

— Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась? Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?»

Строго говоря, конфигурация героев в этом романе не есть любовный треугольник. Несовершенная чета Биче и Гарвей напоминает другую — Дэзи и Тоббоган. В обеих парах один из героев летать умеет, а другой — нет, один приземлен и закрыт чуду, другой открыт. Карнавал в Гель-Гью так же, как и появляющаяся в шлюпке Гарвея Фрези Грант — это вечный гриновский тест на восприимчивость человека к иной реальности. Тоббоган, жених Дэзи, конечно, грубее Биче, он не то что морскую диву, даже обычное веселье горожан не может спокойно воспринять.

«— Подумать только, какие деньги брошены на пустяки!

— Это не пустяки, Тоббоган, — живо отозвалась девушка. — Это праздник. Людям нужен праздник хоть изредка. Это ведь хорошо — праздник! Да еще какой!

Тоббоган, помолчав, ответил:

— Так или не так, я думаю, что, если бы мне дать одну тысячную часть этих загубленных денег, — я построил бы дом и основал бы неплохое хозяйство».

Тут вот что любопытно. Когда в эпилоге все встанет на свои места, мещанин Тоббоган исчезнет как персонаж, недостойный авторского и читательского внимания, Биче выйдет замуж за почтенного человека по имени Гектор Каваз, в рассудительном и степенном образе которого при желании можно увидеть черты Казимира Петровича Калицкого, а Дэзи соединится с Гарвеем и станет Дэзи Гарвей, потому что верит в историю с бегущей по водам аки посуху девушкой («“Вы видели Фрези Грант?! Вы боялись мне сказать это?! С вами это случилось? Представьте, как я была поражена и восхищена! Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что — так!” — “Это — так”, — ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке»), так вот первое, что сделает Гарвей — он построит дом. Другое дело — как он его построит и как это строительство обставит — волшебным, чудесным образом, и Дэзи ни о чем не догадается, а, возвратившись после годичного кругосветного путешествия, узнает, что у них есть дом, деньги на который Гарвей получил в результате случайно выигранного дела. Однако все упирается именно в этот обывательский идеал, в четыре стены и крышу над головой, и оказывается, что дом нужен всем. По крайней мере без него невозможно счастье.

Об этом счастье впоследствии много спорили. Одни гриноведы полагали, что герой романа обрел свое Несбывшееся, другие — что оно так и осталось невоплощенным. «Нужно считать Грина плоским проповедником банальных истин, чтобы думать, будто герой его обрел Несбывшееся в уютном маленьком домике, построенном для Дэзи по его собственному проекту», — писал В. Е. Ковский[392].

Но в любом случае, в отличие от раннего рассказа Грина «Продавец счастья», герои которого терпят на протяжении всей своей жизни нужду и счастливы без денег, теперь все упирается именно в них, и вся конструкция романа, независимо от того, сбылась в нем или нет мечта, рассыплется в пух и прах, если у Гарвея не будет поверенного по фамилии Лерх, снабжающего его деньгами.

Об этом второстепенном персонаже хорошо рассказано в небольшой филологической заметке писателя и литературоведа Олега Постнова:

«Герои Александра Грина точно, порой скрупулезно характеризуются с точки зрения их материального положения. Томас Гарвей, протагонист романа “Бегущая по волнам” (1928), оказывается в Лиссе из-за внезапной болезни. Он посылает письмо “своему поверенному Лерху” с просьбой о деньгах; тот отвечает сотней фунтов, а впоследствии шлет еще тысячу, дав Гарвею повод припомнить величину своего капитала: “около четырех тысяч”...

Это имя и та же сумма встречаются в письмах Пушкина к Михаилу Иосифовичу Судиенке. В одном из них (от 22 января 1830 года) Пушкин просит прощения за не отданный вовремя долг, объясняя задержку нерасторопностью своего поверенного и тем, что он не помнит имени поверенного Судиенки. К 12 февраля 1830 года долг Пушкиным возвращен, и фамилия поверенного известна: “Les 4000 r. en question vous attendaient tout cachet depuis le mois de juillet <...> Il y a un mois que Mr Lerch est venu revendiquer la somme et qu’il l’a touch tout de suite” (“Эти 4000 ждали вас в запечатанном конверте с июля месяца <...> Месяц тому назад г-н Лерх пришел за этими деньгами и немедленно получил их”).

Удивительно не то, что Грин был осведомлен об этих письмах (с 1898 по 1925 год они издавались несколько раз), что имя Лерха писателю понравилось и что он выстроил в своем романе тайную игру вокруг малозаметного эпизода пушкинской биографии. Удивительнее судьба самого Пушкина, не устающая заботиться о том, чтобы даже самая незначительная его строка, вплоть до суммы долга из деловой

бумаги, рано или поздно превратилась в еще один яркий штрих русской изящной словесности»[393].

Все это необыкновенно интересно и изящно и несомненно доказывает опору Грина на предшествующую литературную традицию, но к рассказанному Постновым сюжету можно добавить одно замечание: фамилия Лерх впервые встречается не в «Бегущей по волнам», а в рассказе «Серый автомобиль», где Лерх выступает в роли хозяина инфернального казино: «Казино Лерха известно как колоссальный приют всякому преступлению. На его фронтоне ночью таинственно и печально белеет мраморная Афина Паллада. У озаренных ступеней, сходящих веером к скверу, толпятся продавцы кокаина, опиума и сладострастных фотографий». И нет никакой уверенности, что и фамилия Лерха, и сумма в четыре тысячи имеет отношение к Пушкину, не являясь результатом совпадения. Пусть даже мистического, чего в жизни Грина было немало. Хотя, с другой стороны, Пушкин и в карты любил играть.

У «Бегущей по волнам» был и еще предшественник — рассказ «Словоохотливый домовой», о котором уже говорилось в одной из предыдущих глав. В этом рассказе возникает схожая ситуация совпадения-несовпадения человеческих душ, только вместо мужчины и двух женщин любовный треугольник образован женщиной и двумя мужчинами, один из которых ее муж, а другой — его друг.

Рассказ, напомню, ведется от имени домового.

«Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот, если тебе это нравится, то она была точно такая, — здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника из набившейся годами земли, и демонстративно преподнес мне. — Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой; для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика...

Засыпая, она говорила: "Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?" Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза: "Ворона ходит по крыше, ветер шумит в деревьях; камни блестят в ручье, — спи и не ходи босиком".

Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет, потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он ни-

когда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры».

Несмотря на то, что Филипп лишен таланта слушать музыку поющего камня, они живут счастливо, но счастье их длится до тех пор, пока не возвращается из плавания его друг Ральф, в отличие от Филиппа этим даром наделенный. Он встречает Анни в лесу, у ее камня, и две родственные души узнают друг друга.

«...человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише, наконец, он остановился; продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут.

Он был смугл — очень смугл, и море оставило на его лице остроту *бегущей волны**. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни, темнея еще больше и ярче, а светлые глаза женщины кротко блестели.

Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи.

Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука; тогда он протянул руку, и она — медленно — протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову — осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы».

Только после этого Ральф узнает, что встреченная им женщина — жена его друга.

Грин решает неразрешимый человеческий вопрос ударом скальпеля: в Ральфе побеждает долг. Он вспоминает, что забыл на станции вещи, и уходит навсегда, а Анни простужается, выпив холодной воды в жаркий день, и умирает (заметим, что такой же смертью умирает художник Доггер из «Искателя приключений»). Филипп следует за нею своей волей... А бедный домовой не может ничего в людях понять.

Вот такие беды приносят людям их сверхъестественные способности, вот такую плату приходится платить за родство душ и прикосновение к иной реальности. В «Бегущей по волнам» Грин избегает трагического финала и переносит вопрос о внутреннем мире человека и его отношении с зазеркальем в иную плоскость. В эпилоге романа окончательно расставляются все логические акценты во взаимоотношениях между героями, и мистика, как это почти всегда у Грина бывает, становится инструментом психологического анализа:

---

* Выделено мной. — *Авт.*

«— Он мог бы быть более близок вам, дорогая Биче, — сказал Гектор Каваз, — если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть.

— Нет, жизнь, — ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой. — В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»

Эта же щемящая мысль звучала в рассказе «Возвращение», но теперь это не осуждение на казнь, а сожаление о несовершенстве человека. Можно почти с уверенностью утверждать, что в «Бегущей по волнам» это сказано о Калицкой и она же напутствует Грина-Гарвея в жизнь с другой, с той, что его поняла: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз».

Вспомним еще раз, как говорил о своей первой жене Грин Николаю Вержбицкому, о том, «как трудно устроить личную жизнь, а в особенности — поладить с женщиной, которая не может или не хочет его понять»[394].

И характерна реакция на это письмо Дэзи — Нины Грин.

«— Только-то... — сказала разочарованная Дэзи. — Я ожидала большего. — Она встала, ее лицо загорелось. — Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит, — там, где хочет. И должно еще было быть: “Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет”. — И вот это скажу я за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, — дано всем; возьмите его! Я, Дэзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: “Человека не понимают”. Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: “Добрый вечер, Дэзи! Добрый вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарвей!”

Ее лицо сияло, гневалось и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр, — так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.

— Ну вот, — сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая, — добрый вечер и тебе, Фрези!

— Добрый вечер! — услышали мы с моря. — Добрый вечер, друзья! Не скучно ли вам на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...»

Этими словами, знаменующими торжество мечты и правоты героя, заканчивается роман.

Грин утверждает в нем духовную победу, свое право на такую, гриновскую жизнь в не важно, советской или несоветской России, как, должно быть, утвердил бы и в Англии, и во Франции, и в Аргентине, в любой стране и эпохе. Но лобовая фраза порывистой Дэзи: «Человека не понимают» отбрасывает на все повествование печальный отблеск не только в свете воспоминаний о реальных отношениях между Верой Павловной и Александром Степановичем, которого первая жена не понимала, и он топил это непонимание в вине и разгуле, точно Гез.

В романе-то героя как раз все понимают, но вот за его пределами, в реальном СССР, Грина действительно ждало непонимание. Издательская судьба «Бегущей» оказалась не слишком успешной, и это был первый колокольчик: до этого книги Грина шли к читателю беспрепятственно.

В течение двух лет Грин пытался опубликовать «Бегущую», но ее нигде не брали. Ни в толстых журналах, ни в издательствах. Это казалось тем более странным, что еще недавно «на ура» прошел в «Красной ниве» «Блистающий мир», хотя в нем было гораздо больше мистики и политической двусмысленности. «Новый мир» напечатал в 1925 году «Золотую цепь». А «Бегущую по волнам», художественно никак предыдущим романам Грина не уступающую, не хотел брать никто. Для Грина это было сильнейшим ударом. Он был уверен в успехе. Роман пробовал пробить Слонимский в «Прибое», но все было впустую. Грин заключил сразу два договора с «Пролетарием» и «ЗиФом», взял авансы, его упрекнули в нечестности, а Алексей Толстой впоследствии печатно назвал Грина «жуликом и проходимцем»[395].

О настроении Грина этого времени рассказывается в статье Первовой и Верхмана.

«В 1926 году Грины отдыхали в татарской деревне Отузы, уютно расположившейся под горой Кара-Даг. Приехали они усталые и измученные из Москвы и Питера, где безуспешно пытались сдать в печать новый роман Грина — “Бегущую по волнам”. Было много тяжелых дней. Книга была не ко времени, в идеологической жизни страны намечался перелом, НЭП угасал. Процесс этих “хождений по мукам” был сопряжен с унижениями, обидами, ошибками.

Только в Отузах Грины успокоились, много гуляли, сидели над морем.

Нина Николаевна вспоминает: "...Мы поднимались узкой тропой к вершинам скалы Кара-Дага.

— Хорошо вдвоем, — сказала я.

— А ты не боишься остаться совсем вдвоем?

— О чем ты, Саша?

Александр Степанович промолчал.

— Я думаю, что скоро мы будем совсем одни. Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей — такой, какой я есть. А другим я быть не могу. И не хочу. Помнишь слова Горнфельда? Он оказался совершенно прав. Вытерпишь? Не боишься?

— Я друг твой, Саша"»[396].

«Мне во сто крат легче написать роман, чем протаскивать его через дантов ад издательств»[397], — говорил Грин, а по воспоминаниям Нины Грин роман долго держали, и хотя самим редакторам он нравился, «они вернули его с кислой миной: "Весьма несовременно, не заинтересует читателя"»[398].

Нина Николаевна сопровождает эти слова своей оценкой: «Так давил на все РАПП... Чванливая, зазнавшаяся группа литературных тузов того времени не понимала и не ценила Грина. Он для них был писателем маленьких журналов, писателем авантюрного легкого стиля, писателем, ушедшим от действительности»[399].

С утверждениями о кознях РАППа можно было бы согласиться, если бы Грин отдал свой роман в журнал «На посту» или «Октябрь» Но он отдал «Бегущую по волнам» сначала в «Новый мир», а когда ее там не взяли, в «Красную новь» Воронскому. Воронский рапповцем не был, он с РАППом боролся, и если бы роман Грина можно было использовать как средство борьбы, едва ли б его отклонил.

В сущности, тут повторялась та же история, что и с прозой Грина середины десятых годов, которую не печатали «идейно-толстые» журналы. Александр Грин и русская литература на уровне темы временно разошлись. Литература середины двадцатых осмысляла исторический опыт России, русскую революцию, Гражданскую войну, нэп. Это были годы, когда Бабель печатал в «Красной нови» «Конармию» и «Одесские рассказы», Олеша — «Зависть», Пришвин — «Кащееву цепь», Леонов — «Вора», Горький — «Дело Артамоновых», Алексей Толстой — «Гиперболоид инженера Гарина».

На этом фоне произведение, по внешним признакам оторванное от России и русской действительности, ей противопоставленное, не находило такого отклика, которого Ворон-

ский рассчитывал ожидать. Опытный журналист и политик, Воронский был по-своему прав: несовременно.

Но прав только отчасти. Не прав он был в том смысле, что, если копать глубже, Гринландия в романах советского времени, о буржуазности которой впоследствии будут много рассуждать критики и литературоведы, есть на самом деле образ нэпмановской России. Быть может, именно Грин точнее всего ухватил и выразил образ этой русской мечты 20-х годов, несостоявшейся надежды страны, которая после революции и братоубийственной войны возжелала отдыха, развлечений, карнавалов, праздников, которая верила, что социализм рассосется, сгинет, жизнь возьмет свое*. Грин неслучайно писал свои романы, живя в курортном Крыму, в том месте, где люди привыкли отдыхать, жить более праздно, и сами образы молодых, прелестных Дэзи и Биче, появляющихся на карнавале в Гель-Гью в одинаковых желтых платьях, были навеяны воспоминанием о реальной прекрасной девушке в желтом платье, которую Грин увидел и был очарован ею во время путешествия в Ялту в 1923 году.

Опирающаяся на крымский контекст «Бегущая по волнам» после «Солнца мертвых» Шмелева и стихов Волошина есть нечто вроде победы нэпа над террором и войной, в реальной жизни победы временной и призрачной, но именно так смотрел на вещи, точнее, хотел видеть их такими Грин. Однако прочитать его роман как забвение о войне и скрытый вызов и альтернативу движению советской империи к индустриализации, коллективизации и построению социализма в одной отдельно взятой стране (а именно это на крымском материале сделает полвека спустя Аксенов в романе «Остров Крым») не мог или, наоборот, не захотел реалистично мысливший Воронский. Он печатал куда более злободневные и связанные с действительностью вещи. Время «Бегущей» еще не пришло, и одними только кознями рапповцев холодок, образовавшийся вокруг имени Грина во второй половине 20-х, не объяснить. Тем более что и для РАППа Грин был не самой главной мишенью. Куда важнее было бить по Булгакову, Замятину, Клычкову, Клюеву, Пильняку, Пришвину. Грин просто всерьез не рассматривался.

Когда же роман, после того как его отклонили «Пролетарий» и «Прибой», был наконец напечатан в конце 1928 года в «Земле и фабрике», реакция критики была не благоже-

---

* Примечательно, что схожие мысли высказывал в это время в своем Дневнике М. М. Пришвин.

лательной, но, в общем-то, на фоне тогдашней словесной вакханалии и не разгромной, просто сдержанно-отрицательной и констатирующей очевидное: «...Творческая продукция Грина ...вызывает серьезные опасения ...идеологический тупик ...идеалистическая теория ...идеалистическая философия <...> Творчество Грина чуждо нашей современности... Рабочему читателю эту книгу не рекомендуем»[400].

Обо всем этом хорошо сказано в статье литературоведа В. Харчева: «Психологическая романтика Грина не получила должной оценки при его жизни по вполне понятным причинам... Гриновская романтика была неоперативной по отношению к стремительному бегу времени, хотя и не оставалась безучастной к нему, — она брала идеи времени в их нравственном выражении, сводя их борьбу к извечным конфликтам благородства и подлости, правды и лжи, героизма и злодейства, добра и зла; общественный опыт человека в 20—30-х годах не нашел в ней непосредственного отображения.

Но время вносит свои коррективы. Когда — в 20—30-е годы или сейчас, в 60-е, — более приемлем Грин как писатель, то есть прежде всего как воспитатель общественного человека? Разумеется, сейчас. Творчество Грина больше соответствует духу эпохи 60-х. Поставлен вопрос о создании гармонически развивающегося человека... способного к бесконечному жизнетворчеству»[401].

Это было написано без малого сорок лет назад и несет на себе печать своего времени. Действительны ли эти слова теперь? Популярность Грина сегодня не та, что в шестидесятые годы, и слова того же Харчева о «ювелирной отделке морального облика нашего современника» кажутся архаичными.

В наше время скорее ощущается трагическая сторона в творчестве Грина: «В безуспешных попытках преодолеть несовершенство жизни, достичь слияния жизни и искусства Грин находил свое спасение. При этом он прекрасно сознавал невозможность такого слияния. Он видел сны, так непохожие на окружавший его мир, дорожил этими снами и страшился непостижимой реальности.

Он создал мир чарующей тоски, сладостного одиночества и недостижимой мечты, мир, который отчего-то каждое поколение считает своим, как будто и нет между нами стольких лет, книг, строк и слов, застывших, словно каменные идолы, навсегда»[402].

«Бегущую по волнам» можно прочесть и так. Но, помимо невозможности достижения идеала, о чем писал В. Ковский и с чем решительно не соглашались ни Н. Кобзев, ни

Л. Михайлова, этот роман несет в себе и иной урок. Именно урок, ибо Грин вообще очень дидактичен.

Вот недавний пример. Чулпан Хаматова, одна из «культовых» фигур кино и театра нового рубежа веков, на вопрос, что побудило ее выбрать актерскую профессию, ответила: «Александр Грин. У него есть в “Бегущей по волнам” такие строки. Я, честно говоря, уже давно не читала, уже не помню даже, как зовут главного героя, но помню только эмоциональное восприятие этой книги. Там было место, когда главный герой сидел в порту, на чемоданах, и думал о несбывшейся мечте (сюжет у Грина несколько иной, но не в этом суть. — *А. В.*), то есть, мечта, которая остается мечтой, но она — уже несбывшаяся. Вот это словосочетание меня настолько поразило и бросило в холодный пот от понимания, в какой ситуации я нахожусь, и что однажды я так же буду где-то сидеть и думать о том, что у меня была мечта, но она уже не сбудется никогда. Мне стало так страшно, что я решила все-таки посвятить себя тому, к чему зовет сердце, а не к чему так целенаправленно шла. Мне было шестнадцать лет, и это было после того, как я поступила в финансово-экономический институт.

Я никогда не пробовала себя на школьной сцене и никогда не выступала перед зрителями, никого никогда не смешила в компаниях и не могла никогда взять на себя внимание. Поэтому я так думала, что я, конечно, не справлюсь с этой профессией, но, тем не менее, страстно хотела. И понимала, что я слишком сильно включаюсь в книги, что очень долго выхожу из увиденного фильма или спектакля, что мне требуются дни, а иногда недели, чтобы вернуться в реальный мир, к своим одноклассникам»[403].

Глава XVI

НА ТЕНЕВОЙ СТОРОНЕ

По воспоминаниям Нины Николаевны, закончив «Бегущую», Грин сказал ей: «Опустел я. В голове полное молчание. Как ни напрягаю себя, даже сюжет пустякового рассказа не приходит. Неужели это конец и мои способности иссякли на этом романе?! Писал его и казался себе богачом, так многоцветен и полон был дух мой. А теперь, ну ничегошеньки! Страшно... Я знаю, когда-то должен наступить момент, когда силы мои иссякнут. Жду его в более глубокой старости, встречу спокойно, буду тогда писать воспоминания. Теперь же это внутреннее молчание пугает меня, я еще хочу говорить свое»[404].

С этими мыслями Грин сел за роман «Джесси и Моргиана» — историю взаимоотношений двух сестер, одна из которых из зависти и ненависти отравляет смертельным ядом другую. Моцарт и Сальери, только оба в юбках. Но противостояние от этого не делается менее драматичным.

Джесси — красавица, Моргиана — уродлива. Обыкновенно писатели в таких случаях наделяют героинь нравственными качествами обратно пропорционально их внешности. Грин идет по иному пути. Джесси прекрасна и душой, и телом, Моргиана — уродлива, причем, по мысли сестры, оттого, что зла внутри, и эта злоба проявляет себя в ее внешности.

«О, если бы ты смягчилась! Будь доброй, Мори! Стань выше себя; сделайся мужественной! Тогда изменится твое лицо. Ты будешь ясной, и лицо твое станет ясным... Пусть оно некрасиво, но оно будет милым. Знай, что изменится лицо твое!»

Не изменится. Две сестры — два лика бытия. Два полюса — абсолютное добро и абсолютное зло, как понимал их Грин. Моргиана ездит на автомобилях, Джесси предпочитает лошадей. Джесси простодушна, незатейлива, бессознательно кокетлива, ее душевный мир ясен и чист, Мор-

гиана — тяжела, истерична, мнительна и порой бывает жестоко откровенна в своих «бесстыдных душевных содроганиях».

Джесси стоит в том же ряду, что Ассоль, Молли, Тави Тум и Дэзи. Все это вариации одного образа, во многом навеянного Ниной Грин, которая много лет играла роль женщины-ребенка, и неслучайно именно ей этот роман посвящен взамен посвящения, снятого с «Бегущей»*. Но Грин не просто писал новую книгу на вечную тему добра и зла, любви и ненависти, красоты и уродства. Он играл с читателем.

Вот портрет Джесси:

«Описать ее наружность — дело нелегкое. Бесчисленные литературные попытки такого рода — лучшее тому доказательство. Еще никто не дал увидеть женщину с помощью чернил или типографской краски. Случается изредка различить явственно лоб, губы, глаза или догадаться, как выглядят за ухом волосы, но более того — никогда. Самые удачные иллюстрации только смущают; говоришь: "Да, она могла быть и такой", — но ваше скрученное или разбросанное впечатление всегда иное, хотя бы оно было бессильно дать точный образ. Переход к дальнейшему непоследователен, но необходим: у Джесси были темные волосы, красивое и открытое лицо, стройное и привлекательное телосложение. Ее профиль вызывал в душе образ втянутого дыханием к нижней губке лепестка, а фас был подобен звонкому и веселому "здравствуйте". В понятие красоты, по отношению к Джесси, природа вложила свет и тепло, давая простор лучшим чувствам всякого смотрящего на нее человека, за исключением одного: это была ее родная сестра, Моргиана Тренган, опекунша Джесси».

Моргиана идет от Руны из «Блистающего мира», от женщин-оборотней из «Крысолова», от Диге из «Золотой цепи», от Корриды Эль-Бассо из «Серого автомобиля», но зло в ней сгущено, зло так сильно, что уродует не только ее внутренний мир, но и внешность, в этом романе напрямую связанные между собой.

«Насколько хороша была младшая сестра, настолько же безобразна и неприятна была старшая. Но ее безобразие не возбуждало сострадания, так как холодная, терпкая острота светилась в ее узких, темно высматривающих глазах.

---

* Это произошло по просьбе самой Нины Николаевны. Она была уверена, что «Бегущую» не печатают, потому что роман посвящен ей, и умолила Грина посвящение снять. После этого книга была действительно опубликована.

Среди некрасивых женских лиц огромное большинство их смягчено — подчас даже трогает — достоинством, покорностью, благородством или весельем. Ничего такого нельзя было сказать о Моргиане Тренган, с ее лицом врага; то было безобразие воинственное, знающее, изучившее себя так же тщательно, как изучает свои черты знаменитая актриса или кокотка. Моргиана была коротко острижена, ее большая голова казалась покрытой темной шерстью. Лишь среди преступников встречаются лица, подобные ее плоскому, скуластому лицу с тонкими губами и больным выражением рта; ее жалкие брови придавали тяжелому взгляду оттенок злого и беспомощного усилия. С тоской ожидал зритель улыбки на этом неприятном лице, и точно, — улыбка изменяла его: оно делалось ленивым и хитрым. Моргиана была угловата, широкоплеча, высока; все остальное — крупный шаг, большие, усеянные веснушками руки и торчащие уши — делало рассматривание этой фигуры занятием неловким и терпким. Она носила платья особо придуманного покроя: глухие и черствые, темного цвета, окончательно зачеркивающие ее пол и, в общем, напоминающие дурной сон».

Замечательно объяснение, почему Моргиана столь уродлива, и опять мы встречаемся с тем же обостренным отношением Грина к теме живописи, как это уже было в «Искателе приключений», «Создании Аспера» или «Фанданго». Искусство первично по отношению к жизни, творит ее, и Моргиана — жертва этого искусства.

«Ты не ребенок, и тебе следует знать о рисунке, который висел в спальне нашей матери, когда она была беременна мной. Это был этюд Гарлиана к его картине “Пленники Карфагена”, изображающей скованных гребцов галеры. Этюд представлял набросок мужской головы, — головы каторжника — испитого, порочного, со всеми мерзкими страстями его отвратительного существования: смесь шимпанзе с идиотом. У беременных женщин бывают необъяснимые прихоти. Наша мать приказала повесить этюд напротив изголовья своей кровати и подолгу смотрела на него, привлекаемая тайным чувством, какое вызывала в ее состоянии эта повесть ужаса и греха. Впоследствии она сама смеялась над своей причудой и ничем не могла ее объяснить. Мне было восемнадцать лет, когда мама рассказала мне об этом случае; при этом ее глаза наполнились слезами, и она гладила меня по щеке, склоняясь надо мной с тревогой и утешением. Впоследствии я нашла в сочинениях по патологии указания на восприимчивость беременных женщин к зритель-

ным впечатлениям. Не ясно ли тебе, что мать нарисовала меня сама?»

В сущности это и есть экспозиция романа, и в ней уже все предрешено. Остальное — напряженная, психологически выверенная история «преступления и наказания» Моргианы Тренган, которая подсыпает медленно убивающий яд своей сестре. Делает это потому, что ненавидит ее, потому, что находится с детства в сознании своей телесной тюрьмы, которая изуродовала ее и превратила в преступницу, в злого узника, посаженного на всю жизнь; потому, что иначе не может.

«Ненависть есть высшая степень бесчеловечности, превращенная в страсть; тот счастлив, кто не испытал ее внимательного соседства. Джесси рассмеялась бы, если бы ей сказали, что Моргиана действительно ее ненавидит, и в ненависти своей близка к тому, чтобы рыдать у ее ног, вымаливая прощение, как отдых от непосильной работы. Все другие женщины, красивые или хорошенькие, вызывали у Моргианы лишь горькое и злое волнение, готовое перейти в критику. Но Джесси стояла особо, как главное слово молодости и нежности. Для Моргианы была она — весь тот мир в едином лице, выросший рядом с ней».

Здесь опять выныривает самая первая и самая вечная тема Грина — тема жизни-смерти. Моргиана (или Мори, как зовет ее сама Джесси), в руках у которой оказывается изящный флакон с ядом, похожа на террористку с бомбой в руках. У раннего Грина была мистика бомбы, у позднего — мистика яда. Яда фантастического, не имеющего ни цвета, ни запаха, не теряющего своей силы, не оставляющего следов и в течение нескольких недель сводящего человека в могилу. Мистика яда — это мистика смерти. Но даже смерть в романе эстетизирована. «Джесси и Моргиана» — в этом смысле вообще роман эстетский, можно даже сказать, декадентский, как никакой другой из крупных вещей писателя. Грин как будто возвращается в свое прошлое, но на более сложном витке.

«— Ей все! Мне — ничего, — сказала Моргиана, наклоняя флакон так, что яд перелился к пробке. — Для нее даже смерть явится в изысканно-тайном виде; такую смерть, по тем же причинам, какие есть у меня, не назначит мне никогда, никто, — даже в мыслях. Умирая, Джесси все еще будет красива, может быть, даже красивее, чем сейчас: сильнее пахнут срезанные цветы. Возможно, что в последние минуты ее сознание станет ясным; признав конец, она испытает чувства такие прелестные и тонкие, каких никогда не

узнать мне, ее тайному палачу. Но ее смерть будет смертью и моей ненависти. Я хочу тебя любить, Джесси. Когда ты исчезнешь, я буду тебя любить сильно и горячо; я буду благодарна тебе. Я отдохну. Быть может, я больна? Нет. Но я много думала — и привыкла; теперь, Джесси, я подкрадываюсь сзади к тебе. Лишь так могу я выразить мою — будущую — к тебе любовь».

Все это немного напоминает Пушкина:

Эти слезы
Впервые лью и больно, и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член[1]

Пушкинская тема звучит в романе и в другой сцене. Герои спорят, правда, не о Микеланджело, не о том, был или не был «убийцею создатель Ватикана», но о его соотечественнике Леонардо да Винчи. Однако пафос такой же.

«Приятную женщину не мог нарисовать человек, смотревший на казни ради изучения судорог; он же позолотил мальчика, и был он вял, как вареная рыба. Я не люблю этого хитрого умозрителя, вашего Винчи».

Так говорит уже отравленная медленным ядом Джесси, а чуть раньше отзывается о «Джоконде»: «Эта женщина напоминает дурную мысль, преступную, может быть, спрятанную, как анонимное письмо, в букет из мака и белены. Посмотрите на ее сладкий, кошачий рот!»

Но ни кратковременного облегчения, как Сальери, ни мук совести, как Раскольникову, испытать отравительнице Моргиане не дано. Грин выступает в этом романе в роли биологического детерминиста. Все предопределено от рождения. Моргиана действует по определенной программе, выйти за рамки которой, раскаяться, усомниться, да просто взвыть от ужаса в собственной душе она не в состоянии, как не в состоянии механическая кукла Коррида Эль-Бассо стать человеком. Мысленно она уже давно убила и похоронила Джесси, сестра для нее давно не сестра, а «боль в образе молодой, красивой девушки».

Достоевский именно на том и построил свой роман, что убить в уме, убить теоретически — легко, а когда Раскольников совершает свое преступление наяву, начинается самое главное, вступают в действие непредвиденные двадцатичетырехлетним недоучившимся студентом законы человеческой души и приводят к краху маленького «наполеона», открывая герою путь к нравственному возрождению.

Ничего подобного у Грина нет. «Действительность не была разительней ее страшных грез, — была она проста и черна, как проколовшая бумагу точка, поставленная в конце письма, полного ненависти». Моргиана не меняется после убийства. Более того, Грин и его героиня находят рецепт, как Достоевского обмануть. «Уже обдумала она, как поступить, если ее замучит раскаяние; на этот случай она решила обратиться к гипнотизеру и, не жалея денег, заставить себя забыть».

Но гипнотизер Моргиане не требуется. Требуется новая жертва. По воле автора Моргиана превращается в нечто вроде серийного истребителя женской красоты. Так Раскольников, убив старуху и Лизавету, в литературе XX века мог бы стать профессиональным киллером.

Отравив сестру, Моргиана через несколько дней после этого идет на пляж, где видит компанию разомлевших от жары веселых деревенских девушек, которые сторонятся, чтобы дать ей дорогу.

«Шалея от злобы, Моргиана прошла сквозь этот цветущий строй и ускорила шаг, чтобы скорее скрыться за поворотом. Едва она миновала камни, как сзади нее раздался взрыв хохота, разлетевшийся по лесу. Моргиана остановилась; ее сердце стукнуло больно и тяжело; она медленно вздохнула и произнесла: "Хорошо".

"Хорошо, — повторила она, когда туман гнева рассеялся, но таким тоном, от которого задумался бы даже человек с крепкими нервами. — Во всяком случае одной из вас, стройных, веселых, уже нет. Она есть пока, но все равно что ее более нет. Посмотрим, не выйдет ли еще что-нибудь и где-нибудь с подобными вам. Не важно, что это будете не вы сами; будут такие же. Вам хорошо и весело, не веселее ли будет мне?"

Обезумев от жестокости, она стала придумывать пытки, засады, казни и издевательства и применила их к тысячам. Теперь она могла убить без содроганий — толпу, целые города девушек. Дьявольские мечты овладели ею, и видения, одно страшнее другого, сменялись в ее ужасных фантазиях».

Но оказываются они не только фантазиями. Спрятавшись за нависшей над пляжем скалой, она бросает камень в одну из девушек, попадает ей в область позвоночника, и молодая, здоровая деревенская девушка становится калекой. Вслед за этим Моргиана сталкивает в пропасть изготовительницу яда Отилию Гервак, которая пытается ее шантажировать, и эти новые преступления дают ей нравственную силу: «Яд здесь, я не лгала тебе; я сама стала ядом».

И дальше: «Преступление больше не мучило и не устрашало ее; после сцены с Гервак и камня, брошенного в нагую девушку, ей было безразлично смотреть на Джесси и говорить с ней; но чувствовала она себя так, словно видела сестру последний раз, — в ярком, щемящем сне».

Она бесчувственна к добру и злу, и только против Джесси у Моргианы нет противоядия. И когда умирающая девушка, чье тело «разучилось смеяться», получает письмо от чудом спасшейся Гервак: «Ваша сестра отравила вас. Вы не больны, вы отравлены. Этот яд убивает в течение 10—12 дней. Лечение бесполезно, если даже врач знает об отравлении. Пока прямой опасности нет, а завтра утром с вами будут говорить по телефону. Противоядие известно только нам; оно может быть доставлено, если вы согласитесь уплатить 1000 фунтов», — первое, что делает младшая сестра, прочитав эти строки, — бросается к старшей, чтобы услышать, что это неправда, и бежит от нее только тогда, когда понимает, что действительно отравлена.

Для Джесси в романе все кончается благополучно. Она выздоравливает, причем спасает ее не противоядие за тысячу фунтов по рецепту Отилии Гервак — а стакан водки, поднесенный ей в ночном лесу у костра бродячим фотографом Сайласом Шенком. Спирт помогает организму, ведущему борьбу с ядом (Грин здесь литературно обыграл и частично оправдал свою страсть к алкоголю), Моргиана же, поняв, что ее преступление раскрыто, имитирует попытку самоубийства, чтобы к ней более снисходительно отнеслись на суде, но ошибается в расчетах.

«Шнурок доконал ее, вызвав паралич сердца; расчет был точен, но еще точнее была случайность, подстерегающая ум наш, как кошка, у входа, за которую, торопясь, запнулась уверенно шагающая нога», — ситуация, повторяющая ранний рассказ Грина «Загадка объявленной смерти».

Моргиана погибает, а Джесси счастливо выходит замуж. Зло посрамлено, добро победило. Единственный роман Грина, в котором сюжетно вывод однозначен, как в сказке, где умирает злая мачеха и справляет свадьбу молодая дочь царя, но по окончании романа чувство торжества добра не возникает. «Джесси и Моргиана» кажется едва ли не самой зловещей из книг Грина. Бог знает, отчего такое впечатление складывается и входило ли это в задачу автора, но в самом романе Грин обыгрывает концовку, обнаруживая в который раз удивительную литературную проницательность и иронически предсказывая за сорок лет до написания отдельные

мысли знаменитой работы французского философа и литературоведа Ролана Барта «Смерть автора».

«На другой день вечером Джесси приехала в Покет. Описание встречи ее с мужем не произвело бы того впечатления, какое могло быть, если бы читатель был очевидцем встречи, и мы оставляем эту возможность не тронутой. Тем подтверждается все более укрепляющееся в Европе мнение, что читатель есть главное лицо в литературе, а писатель — второстепенное. Против такой идеи нечего возразить, она помогает пищеварению.

На лисском кладбище, несколько сторонясь от других могил, стоит высокая мраморная плита, уже обвитая дикими розами, в тени двух деревьев. Она ограждена черной решеткой с позолоченными железными листьями. Кроме имени "Моргиана Тренган", на плите этой нет никакой надписи. Но это имя есть, в то же время, единственная возможная сентенция.

Вскоре после смерти Моргианы на ее могилу явилась деревенская девушка. Она странно держала голову, как будто движение головой причиняло боль в шее, и положила к плите полевые цветы, помня с горячей благодарностью те десять фунтов, которые получила она от умершей в возмещение удара камнем.

Вот и все; немного — или много? Как кому нравится».

Относительно «Джесси и Моргианы» существует самый большой разнобой в оценках не просто критиков и литературоведов, но и самых верных поклонников Грина. Одни считали книгу неудачной, другие превозносили. «Джесси и Моргиана», единственный (за исключением «Сокровищ африканских гор», книги, написанной на заказ) из романов Грина не был включен в шеститомник 1965—1966 годов, и потребовалось открытое письмо, подписанное целым коллективом писателей и литературоведов, для того, чтобы роман вышел отдельной книгой.

Из истории создания «Обвеваемого холма» — а именно так первоначально этот роман назывался — известно, что замысел Грина был иным — он хотел написать фантастическую историю про зазеркалье, сделав главным героем писателя — замысел, от которого осталось разве что самое начало, таинственное и завлекающее: «Существует старинное гаданье на зеркалах: смотреть через зеркало в другое зеркало, поставленное напротив первого так, что они дают взаимное отражение — сияющий бесконечный коридор, уставленный параллельными рядами свечей. Гадающая девушка (так гадают только одни девушки) смотрит в тот коридор; что она там увидит — то, значит, с ней и случится».

Неудача с «Бегущей» привела к тому, что Грин переменил намерение и сделал действие более реалистичным, освободив от мистических и фантастических элементов. Трудно сказать, выиграло ли от этого его произведение.

«Опасение, что роман не найдет пристанища, как не нашла его в ту пору “Бегущая по волнам”, скитавшаяся по редакциям, заставило Грина убрать из книги все необычное, и она превратилась в простую, почти банальную историю о двух сестрах — красивой и доброй, уродливой и злой. Черно-белые тона, в которых написан роман, его приземленность делают “Джесси и Моргиану” наименее интересным из произведений большой формы, созданных Грином», — писала Ю. А. Первова[405].

С этим можно поспорить хотя бы потому, что очень часто черно-белое оказывается куда выразительнее, чем цветное, требует от автора большего искусства.

Определение этого романа как банального и конъюнктурного несправедливо. Скорее и здесь Грин выразил дух времени. Праздник «Бегущей» кончился, время карнавалов прошло, и окружающий мир становился контрастным, теряя оттенки и полутона. В этом смысле не было у позднего Грина бегства от действительности. Было ее отражение. В обоих значениях этого слова: и зеркала, и щита.

Черно-белую «Джесси и Моргиану» он предложил в «Новый мир», но получил отказ. Роман вышел в 1929 году в «Прибое» и почти не собрал рецензий. Грина начинали забывать. В конце двадцатых на него обращали меньше внимания, чем до революции.

«Грин — талантлив, очень интересен, жаль, что его так мало ценят»[406] — эти слова Горького из письма Н. Асееву в 1928 году приводили все без исключения отечественные гриноведы, однако сам Горький палец о палец не ударил, чтобы Грину помочь. Как будто знал, что в 1927 году романом «Жизнь Клима Самгина» Грин растапливал в Феодосии печку. Безусловно, если это так (а этот факт, ссылаясь на устные воспоминания Н. Н. Грин, приводит в своей статье «Грин и его отношения с эпохой» Ю. А. Первова[407]), делал это не Гарвей, но Гез. Может быть, зловещий пьяный капитан и нужен был Александру Степановичу для подобного рода акций и перфомансов.

«Эпоха мчится мимо. Я не нужен ей — такой, какой я есть. А другим я быть не могу. И не хочу», — констатировал он с мужеством борца или твердостью стоика как непреложный факт.

Корнелий Зелинский позднее писал: «Он работал только зимой. Летом он делал луки соседским детям или возился с ястребом. Он изредка читал только приключения или переводную литературу, преимущественно англичан. В общем, он мог обойтись и без книг, хотя перечитывал иногда классиков и Эдгара По. Иногда он появлялся в Москве, чтобы положить на стол какого-либо издательства пачку листов, исписанных размашистым почерком и по старой орфографии (он никогда не мог научиться писать по новой) и заключающих свиток мечтаний, сплетенных с искусством и словесной меткостью, вызывающих удивление»[408].

В 1927 году Кольцов пытался привлечь Грина к написанию коллективного романа «Большие пожары», авторами которого должны были стать Алексей Толстой, Федин, Бабель, Либединский, Зощенко, Лавренев. Грину предложили начать. С одной стороны, потому что он умел начинать, а с другой — то была, пожалуй, последняя попытка «прописать» Александра Степановича в советской литературе. Грин поддался на уговоры, написал первую главу, которую Кольцов всего-то слегка поправил, гораздо меньше, чем правил других, но Александр Степанович, прочитав себя отредактированного, написал такое яростное письмо в «Огонек», что стало ясно — этого не приручить. Главным героем одного из своих последних романов Грин неслучайно хотел сделать «несовременного писателя».

«С детства меня влекло к природе, к редким, исключительным положениям, могущим случиться в действительности... Я не стеснялся поворачивать реальный материал под его острым или тайным углом. Все невозможное тревожило мне воображение, открывавшее "даже в обыденном" такие "черты жизни", которые "удовлетворяли мой внутренний мир". Само собой, такие произведения среди обычного журнального материала, рисующего героев эпохи, настроения века, всего современного, только слетевшего с печатного станка жизни, напоминали запах сена в кондитерской»[409].

Относились, правда, к этому снисходительно. «Как-то в Москве, в гостях у Вересаева, идем в столу рядом с Борисом Пильняком, в то время модным литературным "персона грата". Тот, здороваясь с нами, говорит Грину с этакой рыжей великолепной снисходительностью: "Что, Александр Степанович, пописываете свои сказочки?" Вижу, Александр Степанович побледнел, скула у него чуть дрогнула (знак раздражения), и отвечает: "Да, пописываю, а дураки находятся — почитывают". И больше за вечер ни слова»[410].

«Они считают меня легче, чем я есть. Они любят громкий треск современности — сегодняшнего дня; тихая заводь человеческих чувств и душ их не волнует и не интересует»[411].

«Пусть за все мое писательство обо мне ничего не говорили как о человеке, не лизавшем пятки современности, никакой и никогда, но я сам себе цену знаю»[412].

Обо всем этом хорошо сказано в статье «Грин и его отношения с эпохой»:

«Вновь и вновь Грину предлагали "сблизиться с эпохой". Пришло письмо из журнала "30 дней", от его редактора Василия Регинина: "Редакция '30 дней' обращается к Вам с просьбой принять участие в специальном выпуске журнала к X годовщине Октябрьской революции. Надеясь на получение от Вас рассказа (тема может быть связана с любым периодом за истекшие десять лет), редакция просит Вас откликнуться на анкету, проводимую среди писателей на тему 'СССР через 100 лет, немного фантастики, 30—40 страниц' ".

От анкеты Грин отмахнулся — это было нечто громоздкое. Но к Регинину, человеку милому и доброжелательному, Александр Степанович относился хорошо, в его журнале нередко печатался и, руководствуясь тем, что "тема может быть связана с любым периодом за истекшие десять лет", написал короткую заметку "Один день":

"Я опишу один день. Встал в 6 ч. утра, пошел в купальню, после купанья писал роман 'Обвеваемый холм', читал газеты, книги, а потом позавтракал... В семь часов вечера, после чая, я катался с женой на парусной лодке; приехав, еще пил чай и уснул в 9 ч. вечера. Перед сном немного писал. Так я и живу с малыми изменениями вроде поездки в Кисловодск. Когда сплю, я вижу много снов, которые есть как бы вторая жизнь".

Хорошо, что в редакционном кресле "30 дней" сидел добродушный, мягкий человек. Все, кто знал его близко, называли Регинина "Васенька". Другой, — жесткий и подкованный идеологически, — обвинил бы Грина в кощунстве. Статья к юбилею? А где юбилей? Ни слова об Октябрьской революции! Регинин напечатал "статью" в десятом номере журнала»[413].

Но и ненависти к большевикам, над которой иронизировали Ильф и Петров в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» и связывали ее как раз со снами, у Грина тоже не было. Нина Грин утверждает, что перед самой смертью, на вопрос священника, примирился ли он с врагами, Александр Степанович ответил: «Батюшка, вы думаете, что я

очень не люблю большевиков? Я к ним совершенно равнодушен»[414].

Изумительно точная, а главное, уникальная оценка. Большевики вызывали самые разнообразные эмоции у русских писателей — гнев, восторг, настороженность, презрение, обожание, страх, интерес, любопытство. Но равнодушие?.. Едва ли кто-либо, кроме Грина, мог этим похвастать.

Он их не воспринимал. Нина Николаевна вспоминает, как однажды Грин играл в московском Доме ученых в бильярд. Неожиданно вошел администратор и попросил «очистить бильярд»: Анатолий Васильевич Луначарский хочет поиграть. Все останавливаются, все расходятся, все послушно садятся в кресла — один Грин остается у стола.

«Александр Степанович продолжает игру, как бы не слыша слов администратора. Тот подходит к нему: "Товарищ Грин, я прошу вас освободить бильярд для Анатолия Васильевича. Прошу вас".

Александр Степанович на минуту приостанавливает игру и говорит: "Партия в разгаре, мы ее доиграем". — "Но Анатолий Васильевич должен будет ждать!" — "Так что же, и подождет. Я думаю, Анатолию Васильевичу будет приятнее посмотреть хорошую игру, чем видеть холопски отскакивающих от бильярда игроков. Прав ли я?" — обращается он к своему партнеру. Тот кивком выражает свое согласие. "Но ведь это для Анатолия Васильевича!" — тщетно взывает администратор. "Тем более, если вы не понимаете", — бросает Александр Степанович и продолжает игру. В это же мгновение в бильярдную входит сопровождаемый несколькими лицами Луначарский. Администратор с растерянным видом бросается к нему, пытаясь что-то объяснить. "Не мешайте товарищам играть", — останавливает его Луначарский, садится в кресло и наблюдает за игрой»[415].

А что ему еще оставалось? Не скандалить же?!

Они его не трогали, но и помощи никакой он от них не дождался, когда за горло взяла нужда.

И все же самый сильный удар по писателю во второй половине 20-х годов нанесло не государство, не большевики, не РАПП, не цензура, не критика, а частное издательство «Мысль», которое возглавлял Лев Владимирович Вольфсон, и как знать, если бы не затянувшаяся тяжба с Вольфсоном, возможно, Грин прожил бы гораздо дольше.

Его звали маленький Гиз. Тут была игра слов. ГИЗ — Государственное издательство и Гиз — всемогущий герцог.

Он появился перед Гринами летом 1927 года. Приехал к ним сам в Феодосию. От предложенных им перспектив за-

хватывало дух. Пятнадцатитомное собрание сочинений, в твердом переплете, на отличной бумаге, тиражи, гонорары, аванс. После неудачи с «Бегущей» это казалось счастьем.

Получив от Вольфсона первые деньги, Грины поехали сначала в Ялту, а после в Москву, Ленинград, Кисловодск, не отказывая себе ни в чем. Жили в дорогом пансионе, наслаждались материальной независимостью. Александр Степанович купил Нине Николаевне золотые часы, они даже стали присматривать себе в Феодосии виллу — надежды на благополучную жизнь с новой силой воскресли в них. Но то были их последние счастливые дни.

О том, что произошло дальше, судить сложно. Вл. Сандлер считал, что в конфликте Грина и «Мысли» виноваты обе стороны. Нина Николаевна Грин звала Вольфсона негодяем и обманщиком. Ю. А. Первова полагала, что виновата советская цензура. Прочие мемуаристы отмалчивались. Но вкратце дело обстояло так. Вольфсон издал восемь томов из пятнадцати. На плохой бумаге и в мягкой обложке. Дальше застопорилось. Ни новых томов, ни новых денег — права проданы.

Потом Вольфсона арестовало ГПУ. Об этом факте речь идет в переписке между Грином и Сергеевым-Ценским, товарищем Грина по несчастью. Сергеев-Ценский также заключил с Вольфсоном договор.

«Многоуважаемый Александр Степанович!

Как-то надо было стараться гораздо раньше, и мы раньше смогли бы развязаться с “Мыслью”.

Дело обстоит так: Вольфсон арестован в “даче взятки” какой-то типографии, арестован ГПУ... это значит, Вольфсона мы с Вами не увидим долго. Между тем, конечно, ни Вы, ни я — мы не виноваты в несчастье Вольфсона: не мы давали ему взятки и не мы от него получали»[416].

Тем не менее произошло удивительное: Вольфсона скоро выпустили. Грин сразу кинулся с ним судиться. Для этого наняли юриста из Союза писателей Н. В. Крутикова. Крутиков уверял, что все будет отлично, но раз за разом дело проигрывал. Грин был вынужден тратиться на дорогу и судебные издержки, но беда была не только в этих неудачах и тратах, и здесь необходимо на время маленького Гиза оставить и вновь вернуться к теме «Грин и вино».

Условия «договора», заключенного после переезда в Феодосию между Ниной Николаевной и Александром Степановичем касательно предмета его несчастной страсти, были такими: Грин не пьет в Феодосии, но имеет право выпивать, когда едет по литературным делам в Москву или Ленинград.

Александр Степанович широко этим правом пользовался, и в своих мемуарах Нина Николаевна посвятила немало горьких страниц пьянству мужа во время таких поездок. Она старалась ездить вместе с ним, потому что хоть как-то могла его сдержать.

В Москве они останавливались в общежитии Дома ученых на Кропоткинской набережной. «Если у нас отдельный номер — я не беспокоюсь. Он сразу же ляжет спать и через несколько часов как ни в чем не бывало будет в столовой общежития пить чай. Хуже, если мы живем в разных номерах, он — в мужском общем, я — в женском. Это случается, если мы заранее не известим администрацию о своем приезде или в общежитии будет переполнено. Заведующая общежитием, зная болезнь Александра Степановича, относится к ней человечно-просто и добро, всегда старается поместить нас вместе в маленький номер. Тогда, будучи со мной, Александр Степанович тих и спокоен. Порой я удивляюсь этому, понимая, как глубоко он меня любит, если мое присутствие и почти всегда безмолвие так его усмиряет»[417].

Она старалась писать, точнее даже размышлять об этой русской женской беде как можно спокойнее, взвешеннее, с достоинством, ни на что не жалуясь, но и не выгораживая мужа.

«Всегда ожидаю его; если он не приходит в обещанный час: волнуюсь, не пьяный ли вернется. Мне неприятен пьяный Александр Степанович. Есть пьяные приятные, Грин не принадлежит к их числу... Я всегда страдала от пьяного облика Александра Степановича. Это был не мой родной, любимый, этот был мне жалок, иногда трагически жалок, и тогда неприязнь исчезала, и я видела бедную горящую душу человека. Становилось до отчаяния страшно и хотелось, как крыльями, накрыть его любовью»[418].

А с утра все повторялось. Он снова уходил по редакциям, а каким придет, когда, придет ли вообще и где он в эту минуту — она не знала. Только боялась, как бы не попал под автомобиль. Он и сам этого боялся — вот, кстати, откуда проистекала ненависть Грина к автомобилям и где кроются причины навязчивого страха героя рассказа «Серый автомобиль» перед машинами.

От неизвестности, тревог, одиночества она плакала. Но только в эти часы. На людях не позволяла себе раскисать никогда. Гордая очень была. А ее жалели. Однажды профессор Баумгольц из Кисловодска, извинившись за то, что вмешивается не в свои дела и оправдываясь тем, что ей в отцы

годится, спросил: «Как вы можете жить с Грином, это же ужасный человек?!»

Что она могла на это сказать? Что любит его, что такой-сякой, пьяный, ужасный, ее не жалеющий, он дал ей высшее счастье, какое может дать мужчина женщине, а ему, врачу, не следовало бы больного человека осуждать. Но добила профессора другим: сказала, что сама из семьи алкоголиков и ей все это понятно.

«— Вы пьете? — ошарашенно уставился на меня профессор.

— Да, пью, только тайно! — и разговор прекратился»[419].

Она капли в рот не брала. А Грин пил с каждым годом все больше.

«Когда я его встречу, он, ухмыляясь, тихо пойдет в наш номер, цепляясь за мою руку. Помогу ему раздеться, и он, полубесчувственный, валится в постель. Мне хочется его бранить, плакать, на сердце горечь, обида. Но к чему все это? Он настолько пьян, что все слова проскочат мимо его сознания»[420].

Хорошо, если они живут одни. А если он в мужском номере? Тогда ей приходилось доводить его до дверей, а оставшись один, он начинал шуметь, будил соседей, заводил с ними перебранку и, по собственному выражению, «нарушал академический сон толстых мозгов». От этого и появлялись сочувствующие горю молодой женщины профессора.

Она умоляла его не пить хоть день. Дать ей один день отдыха. Прийти пораньше.

«“Да, детка, конечно. Я, старый, беспутный пьяница, только терзаю тебя. Клянусь, сегодня приду чист, как стеклышко. Не сердись на меня, мой друг...” — И придет пьяный»[421].

Иногда, случалось, Грин нарушал договор и выпивал в Феодосии. Сохранилось письмо Нины Николаевны с пометками самого писателя. Некоторые наиболее резкие выражения жены он зачеркивал и писал сверху свои — здесь они будут взяты в скобки.

«Саша! Ты подлый (не подлый, но увлекающийся) — всегда ты из хорошего подлость (плохое) сделаешь. Было все сегодня добро и спокойно — нет, надо же 5 ч. пропадать, чтобы все испакостить (не быть дома), чтобы от беспокойства сердце болело. Тебе 47 лет, а за тобой следить и не верить тебе словно мальчишечке (мальчику) приходится. Феодосия не Париж (Зурбаган), знаешь, что я волнуюсь, мог бы зайти домой и опять, если надо, уйти. А то дорвался до рюмки и все на свете забыл, только себя и помнишь. Стыдно и противно (нехорошо)»[422].

Вероятно, именно пьянство было причиной того, что у Гринов не было детей, хотя Александр Степанович без детей очень тосковал, и когда летом 1926 года к ним в Феодосию приехал девятилетний мальчик Лева, племянник Нины Николаевны, Грин очень к нему привязался.

«Они были неразлучными друзьями — малый и большой. Александр Степанович баловал Леву как мог. “Давай, Нинуша, попросим у Кости Леву нам в сыновья. Мать у него легкомысленная, Костя с утра до ночи поглощен работой, ему не до мальчика. А нам в доме славно будет от такого хорошего карапузика”.

Но однажды (это было в Москве) возвращается Александр Степанович с Левой после прогулки очень мрачный. Левушка смотрит смущенно и виновато. Думаю, что мальчуган напроказил. Спрашиваю Александра Степановича, но он неразговорчив, словно чем-то удручен; говорит мне: “Потом, Нинуша, расскажу”. Когда осталась наедине с Левой, спрашиваю его: “Что ты, малыш, небедокурил? Рассказывай”. — “Да нет, тетя Нина, я вел себя хорошо. Только в трамвае вдруг дядя Саша стал бледный, бледный и перестал со мной разговаривать. Я боялся, что он рассердился”. — “А на что же он мог рассердиться?” — “Не знаю”».

Вечером Грин признался: «Разъезжая с Левой, я несколько раз оставлял его на бульваре, а сам заходил в ресторанчики или пивные выпить, немного выпить. Побывали снова в зоопарке, едем в трамвае домой. Лева весело болтает и вдруг просит меня наклониться к нему, обнимает за шею и говорит шепотом на ухо: “Дядя Саша, от вас водочкой сильно пахнет. Тетя Нина будет обижаться”. Меня как камнем по сердцу ударило. Думаю — вот тебе, Саша, и судья. Маленький судья. Нинуша, не возьмем Леву. Ты была права»[423].

Детские образы в его прозе, хотя и не часты, но удивительно точны и глубоки. Таким был рассказ «Гнев отца», который высоко оценил Андрей Платонов.

Итак, Грин пил, когда уезжал из Феодосии. А по делу Вольфсона ездить приходилось особенно часто, и, соответственно, часто пить. «Когда нужда была велика, Грин пил больше, черные мысли требовали оглушения; в достатке меньше. Особенно тяжелы были 1929—30—31 годы, когда нужда туго захлестнула на нашей шее свою жесткую петлю. Собрание сочинений было продано частному издательству “Мысль”; все новое тоже должно было печататься им. “Мысль”, мошеннически платя нам долгосрочными векселями, выпустив несколько книг, прекратила издание и пла-

тежи. Мы начали судиться с издательством — и неудачно. Проиграли во всех инстанциях»[424].

Ездить с мужем Нина Николаевна не могла. Денег не было, и им приходилось надолго расставаться, притом что они привыкли быть все время вместе и в разлуке жестоко страдали. Но Грин и тут оставался Грином и старался порадовать жену каким-нибудь подарком. Она же его молила:

«Милый, дорогой мой Сашенька!

Обращаюсь к тебе с большой просьбой, голубчик. Вот это мой счет; видишь — если сделать эти расходы, тогда у нас остается только 340 р. чистых, это и на мебель, и на квартиру, и на житие. Сделай мне одолжение — не покупай мне ничего в подарок — никакой даже по-твоему — нужной мелочи. А то у меня сердце беспокоится, что ты мне что-нибудь купишь. Ради нашего будущего покоя, голубчик мой, не дари и не покупай мне ничего»[425]

Он все равно покупал. Однажды принес ей серебряную чашку с блюдцем и ложкой. Она расплакалась и стала упрекать его, что не надо покупать вещи на деньги, за которые можно прожить целый месяц. Грин расстроился, отнес чашку обратно в магазин и вернулся со старинной шкатулкой для писем, а она, пока он ходил, уже раскаялась: «Зачем я уничтожила минуту сказки в его душе?»[426]

Не только в мемуарах, где многое смягчено и просветлено, но и в письмах сквозит тоска разлуки.

«Милый Сашечка, так трудно непоцелованной, неперекрещенной ложиться спать...

Береги себя, бойся автомобилей и не горюй, если что не будет выходить. Не умрем, вывернемся как-нибудь... Не задаю тебе, голубчик, никаких вопросов, т.к. знаю что ты мне все напишешь...

Если вечером получишь письмо — “покойной ночи” — если утром “здравствуй, голубчик”».

«Мне грустно без тебя, Сашечка, друг мой. Очень уж, оказывается, я привязана к тебе. И все время сердце томится — не холодно ли тебе в Москве, ешь ли досыта; так бы взяла тебя за головушку и прижала к себе и нежно погладила. Сашечка, любовь ты моя ненаглядная. Ужасно меня нервирует, если слышу стук тросточки по тротуару. Все кажется, что ты сейчас войдешь... Целую лапушки твои, головушку. Милый, голубчик, родной. Пиши мне подробно и правду, т. к. я так мысленно хожу с тобой, что мне потом тяжело будет узнать, что ты что-либо сочинил, хотя бы и для моей пользы и радости»[427].

Он ей отвечал:

«Нинушке, светику, дочке моей.

1) Всячески берегись простуды.

2) Берегись есть против печени.

3) Письма и телеграммы посылай на Крутикова.

4) В случае фин. инспект. или других требований сошлись на мое скорое возвращение.

5) Абсолютно не беспокойся.

6) По получении денег от меня выкупи все вещи; купи боты и туфли, масла, чаю и сахара.

7) Двери, окна запирай, без цепочки не открывай.

8) Дров не носи!»[428]

«Живи, дорогая, береги себя и спокойно жди меня. Я не задержусь не только лишний день, но и лишний час... Целую тебя, милое серьезное личико...»[429]

В этих письмах — все: и забота, и детали их повседневной жизни — дороги, переезды, вещи, сданные в ломбард, страх перед фининспектором и кредиторами.

«Не могу, конечно, начать письмо без того, чтобы тебя не выбранить: зачем ты, бесстыдник такой, оставил Таисии для меня деньги? Как нехорошо! У меня сердце болит — как ты там устроился с деньгами, а ты еще отрываешь от себя для меня. Ведь ты знаешь — я с любым количеством денег могу обойтись. Собуля, милый, и спасибо, и нехорошо!

Беспокоило меня вчера очень — получил ли ты постель. Как представлю, что твои косточки ворочаются на жесткой скамье — сразу сердце на десять частей разрывается...

Сейчас понесу это письмо на почту, а потом пойду в церковь. Когда хочется умиротвориться, хорошо там побыть. А то во мне очень много негодования на несправедливость к тебе»[430].

«Голубчик мой, ненаглядный, как подумаю, что едешь ты один, не зная на что, без крова в Москве, сердце разрывается за тебя. Всех бы уничтожила, зачем нас так мучают?.. Помог бы нам Бог выкарабкаться из этой ямы, отдохнули бы...

Милый ты мой, любимый крепкий друг, очень мне с тобой хорошо. Если бы не дрянь со стороны, как бы нам было светло. Пусть будет!»[431]

Но как ни старалась она его успокоить и согреть, жизнь в Крыму становилась день ото дня невыносимее:

«Голубчик мой, Собусенька, не уезжай из Москвы, пока не получишь Вольфсоновских денег, иначе, видит Бог, нам их никогда не получить... А без денег в Феодосии невыносимо. Кредиторы так и лезут... А знаешь, Санечка, у тебя висела картинка — потерпевший корабль лежит на боку. Я ее с 28 года не люблю, как посмотрю — нехорошо от нее на

сердце. Вчера в 5—6 веч. ее вытащила из-под стекла и сожгла, и стало легче. Ты на меня не сердись за это, милый»[432].

Порой ей не хватало денег даже на почтовую марку. Крутикову, своему юристу, Грин в это время писал:

«Мои обстоятельства так плохи, мрачны, что я решаюсь попросить тебя о помощи — делом.

Если мы не уплатим 1 ноября 233 р. вексельных долгов — неизбежна опись, распродажа с молотка нашего скромного имущества, которым с таким трудом обзаводились мы в течение 6 лет... Я в тоске, угнетен, не могу работать»[433].

«Дорогой Николай Васильевич!

У меня что-то вроде бреда на почве страха "крупных материальных бедствий". 24 февраля опишут все барахло, которое еще у нас осталось, а те вещи так и пропали»[434].

Далее в письме следует приписка рукой Н. Н. Грин:

«Да, Николай Васильевич, положение еще хуже, чем А. С. пишет, т. к. из-за (1 нрзб) и беспокойства он не может работать... Не сетуйте на наши вопли, но нам очень, очень тяжело...»[435]

Позднее, комментируя эти письма, Нина Николаевна сделала приписку:

«Декабрь 1929 г. Юрисконсультант Союза Н. Крутиков недобросовестно ведет наши дела с издательством Вольфсона "Мысль". Мы в Феодосии голодали»[436].

А в более поздних мемуарах содержится рассказ о том, как она просила Крутикова проследить, чтобы Грин пришел на суд не пьяный, потому что пьянство могло дурно отразиться на исходе дела.

«Какой-то из последних судов был назначен в Ленинграде. Мы жили уже два месяца в Москве. Александр Степанович порядочно пил. Он знал, что судбище это для нас чрезвычайно важно. Данные были в нашу пользу. На суд должен был ехать и Крутиков...

Крутиков очень мне обещал печься об Александре Степановиче как о брате.

Поехали. Через несколько дней вернулись, проиграв. Грин имел удрученный вид и набрякшие, в раздутых венах, руки — признак большого пьянства. Спросила Крутикова, был ли Александр Степанович трезв на суде. "Абсолютно трезв", — заверил он. Через несколько дней пришло из Ленинграда письмо от брата Александра Степановича — Бориса, в котором он сожалел о проигрыше и том, что на суде Александр Степанович был совершенно пьян»[437].

Быть может, именно по совокупности всех этих причин и вышел таким печальным, трагическим последний роман

Александра Грина «Дорога никуда», лучшая, хотя и не самая известная его книга, которая именно в эти годы создавалась.

«В тяжелые дни нашей жизни росла "Дорога никуда". Грустно звенели голоса в уставшей, измученной душе Александра Степановича. О людях, стоящих на теневой стороне жизни, о нежных чувствах человеческой души, не нашедших дороги в жестоком и жестком практичном мире, писал Грин»[438].

Это, пожалуй, слишком лирическая и мягкая оценка этого романа. На самом деле «Дорога никуда» сурова и жестока.

В «Четвертой прозе» Осипа Мандельштама есть знаменитые слова, которые обычно при цитировании урезают: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда. Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед».

Странно применимы эти речи к Грину. Горнфельд, с которым Мандельштам судился по обвинению в плагиате и писал о нем ужасно, несправедливо, злобно, был одним из немногих литературных друзей Грина, у самого Грина не было детей, но то, что писал Александр Степанович, не было разрешено — это был ворованный воздух. В «Дороге никуда» он обжигающ, как на высокогорье.

Первоначально Грин хотел назвать свой роман «На теневой стороне», но однажды на выставке в Москве он увидел картину английского художника Гринвуда «Дорога никуда», которая сильно поразила его. Поразило и то, что фамилия художника похожа на его собственную, и в честь этой картины он назвал свой роман.

За название Грина сильно ругали. И в самом деле, назвать так роман в 1929 году, в год великого перелома, было вызовом всему, что происходило в стране, и советская критика не преминула это отметить.

Опубликованная в журнале «Сибирские огни» рецензия называлась «Никудышная дорога». В «Красной нови», откуда был уже изгнан Воронский, некто под псевдонимом И. Ипполит писал: «Буржуазная природа творчества Грина не подлежит сомнению, это его роднит с западными рома-

нистами, отличает же то, что он выражает идеологию распада, заката данной группы. У ней нет былой жизнерадостности, исчезают бодрые ноты — остались безвыходный пессимизм и мистический туман. Отчаявшись в физической силе, она апеллирует к спиритической. Эту стадию разложения мы застаем в романе. В некотором смысле он звучит символически. Где выход? Куда идти? — спрашивает Грин. — Увы! "Дорога никуда". Дороги нет!»[439]

Но ни мистического тумана, ни спиритизма, ни готики, как в «Джесси и Моргиане», в этом романе нет. «Дорога никуда» — наименее фантастический из романов Грина. Это история жизни молодого человека. Что-то вроде «Золотой цепи», но без чудо-златоцепей, волшебных дворцов и роботов. Живет на свете юноша по имени Тиррей Давенант, работает официантом в ресторане «Отвращение». Такое название дал своему заведению хозяин, и меню в кабаке соответствующее.

1. Суп несъедобный, пересоленный.
2. Консоме «Дрянь».
3. Бульон «Ужас».
4. Камбала «Горе».
5. Морской окунь с туберкулезом.
6. Ростбиф жесткий, без масла.
7. Котлеты из вчерашних остатков.
8. Яблочный пудинг, прогоркший.
9. Пирожное «Уберите!».
10. Крем сливочный, скисший.
11. Тартинки с гвоздями.

Это для того, чтобы привлекать посетителей, но те все равно приходят редко. И вот однажды в это самое «Отвращение» случайно заглядывают дочери богатого человека по фамилии Футроз. Спускаются, как ангелы на землю, и жизнь юноши Давенанта чудесным образом переворачивается. Сами по себе барышни ни за что не догадались бы помочь мальчику, но функцию посредника, а в сущности — благородного провокатора берет на себя некто Орт Галеран, единственный завсегдатай кафе, который симпатизирует Давенанту и предлагает дочерям Футроза ему помочь.

«— Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там, у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Давенант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностное усилие с его стороны могло бы дать Давенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе... Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо...»

Две девочки — одной из которых семнадцать лет, а другой двенадцать — охотно эту роль на себя берут, и так Давенант попадает в дом к богачу Футрозу. Тот дает ему денег, снимает для него квартиру, покупает хорошую одежду, обещает интересную работу, и кульминацией этого счастья становится день, который проводит Давенант в доме Футроза с его дочерьми и их друзьями. Он выигрывает в состязании по стрельбе приз — серебряного оленя и чувствует себя необыкновенно счастливым.

А затем все в одночасье обрывается. На сцене появляется отец Давенанта, этакий Федор Павлович Карамазов, только написанный Грином. Нищий бродяга Франк Давенант, прослышав о необыкновенном везении своего сына, которого бросил, когда ребенку было пять лет, и которого с тех пор не видел, приходит к нему, требует денег, вина, а затем советует соблазнить старшую из дочерей, чтобы выклянчить у Футроза побольше денег, и обещает научить, как это сделать. В этом черном человеке есть нечто от Гинча, от Геза или даже Блюма из раннего рассказа «Трагедия на плоскогорье Суан», но со зрелой и по-своему оригинальной философией, которую Давенант-старший излагает сыну.

«Есть два способа быть счастливым: возвышение и падение. Путь к возвышению труден и утомителен. Ты должен половину жизни отдать борьбе с конкурентами, лгать, льстить, притворяться, комбинировать и терпеть, а когда в награду за это голова твоя начнет седеть и доктора захотят получать от тебя постоянную ренту за то, что ты насквозь болен, вот тогда ты почувствуешь, как тебе достались высота положения и деньги, конечно. Да так ради чего же ты так искалечился? Ради собственного дома, женщин и удовольствий. Еще можешь утешаться тем, что несколько ползущих вверх дураков будут усердно твердить твое имя, пока не подползут усесться либо рядом с тобой, либо еще повыше. Тогда они плюнут тебе на голову. Понимаешь, о чем я говорю?

— Я понимаю. Вы — неудачник.

— Неудачник, Тири? Смотри, как ты повернул... Ты ошибся. Мой вывод иной. Да, я неудачник — с вульгарной точки зрения, — но дело не в том. Какой же путь легче к наслаждениям и удовольствиям жизни? Ползти вверх или слететь вниз? Знай же, что внизу то же самое, что и вверху: такие же женщины, такое же вино, такие же карты, такие же путешествия. И для этого не нужно никаких дьявольских судорог. Надо только понять, что так называемые стыд, совесть, презрение людей есть просто грубые чучела, расставленные на огородах всяческой “высоты” для того, чтобы

пугать таких, как я, понявших игру. Ты нюхал совесть? Держал в руках стыд? Ел презрение? Это только слова, Тири, изрекаемые гортанью и языком. Слова же есть только сотрясение воздуха. Есть сладость в падении, друг мой, эту сладость надо испытать, чтобы ее понять. Самый глубокий низ и самый высокий верх — концы одной цепи. Бродяга, отвергнутый — я сам отверг всех, я путешествую, обладаю женщинами, играю в карты и рулетку, курю, пью вино, ем и сплю в четырех стенах. Пусть мои женщины грязны и пьяны, вино — дешевое, игра — на мелочь, путешествия и переезды совершаются под ветром, на палубе или на крыше вагона — это все то самое, чем владеет миллионер, такая же, черт побери, жизнь, и, если даже взглянуть на нее с эстетической стороны, — она, право, не лишена оригинального колорита, что и доказывается пристрастием многих художников, писателей к изображению притонов, нищих, проституток. Какие там чувства, страсти, вожделения! Выдохшееся общество приличных морд даже не представляет, как живы эти чувства, как они полны неведомых "высоте" струн! Слушай, Тири, шагни к нам! Плюнь на своих благотворителей! Ты играешь унизительную роль деревянной палочки, которую стругают от скуки и, когда она надоест, швыряют ее через плечо».

Возразить на это невозможно.

Сын и не возражает. Он умоляет отца покинуть город и не портить ему жизнь, но Франк Давенант находит странное удовольствие в том, чтобы нагадить, и не скрывает этого. Он отправляется к Футрозу клянчить деньги, говоря, что его послал сын, и Давенант, сгорая от стыда, понимает, что больше никогда не переступит порог этого дома. Единственное, о чем он мечтает, — увидеть в последний раз семью Футроза, уехавшую на несколько дней в Лисс в театр, и для этого идет пешком, выбиваясь из сил, но в тот самый момент, когда видит дочерей Футроза у входа в театр и бросается к ним, он падает и оказывается в больнице «Красного Креста» с воспалением мозга. На этом заканчивается первая часть.

О «Дороге никуда» неплохо написал современный писатель Макс Фрай, а точнее тот, кто за этим псевдонимом скрывается.

«"Дорога никуда" — возможно, не самая обаятельная, но самая мощная и разрушительная из книг Александра Грина. Наделите своего героя теми качествами, которые вы считаете высшим оправданием человеческой породы; пошлите ему удачу, сделайте его почти всемогущим, пусть его желания исполняются прежде, чем он их осознает; окружите его изумительными существами: девушками, похожими на сол-

нечных зайчиков, и мудрыми взрослыми мужчинами, бескорыстно предлагающими ему дружбу, помощь и добрый совет... А потом отнимите у него все и посмотрите, как он будет выкарабкиваться. Если выкарабкается (а он выкарабкается, поскольку вы сами наделили его недюжинной силой) — убейте его: он слишком хорош, чтобы оставаться в живых. Пусть сгорит быстро, как сухой хворост — это жестоко и бессмысленно, зато достоверно. Вот по такому простому рецепту испечен колдовской пирог Грина, его лучший роман под названием "Дорога никуда"»[440].

Во второй части, там, где Давенант выкарабкивается, у него другое имя — Джемс Гравелот. Он — хозяин гостиницы, которую ему подарил некто Стомадор. Подарил просто так, потому что плохо шли дела и Стомадор ни на что не надеялся. Отчасти это снова вариант чуда, как в «Алых парусах», но более будничного. Юный Гравелот-Давенант сумел хорошо повести дело, гостиница его процветает, а сам он имеет репутацию порядочного человека. Но однажды (у Грина это часто встречающийся мотив: нарушаемое внезапным событием ровное течение жизни либо в лучшую, либо в худшую сторону, и композиционно эта ситуация зеркально отражает то, что было в первой части, когда перед Тирреем явились дочери Футроза), так вот, однажды нелегкая заносит в гостиницу компанию молодых людей высшего света: циничного богача Ван-Конета, его любовницу Лауру Мульдвей и их друзей. Между благородным Гравелотом и негодяем Ван-Конетом вспыхивает ссора. Ван-Конет, собирающийся жениться из-за денег («Я женюсь на своей обезьянке и залезу в ее защечные мешочки, где спрятаны сокровища»), цинично отзывается о некой паре влюбленных, покончивших с собой, и эта история горячо обсуждается Давенантом и его служащими. Делает же Ван-Конет это для того, чтобы произвести впечатление на присутствующую при сем молодую девушку по имени Марта, которая работает в гостинице, и специально для ее ушей Ван-Конет говорит о покончивших с собой:

«"Должно быть, утолив свою страсть, оба поняли, что игра не стоит свеч".

Марта покраснела под прищуренным на нее взглядом Ван-Конета и без нужды переместила тарелку».

А дальше следует замечательная по накалу сцена:

«— Сногден, как зовут тех ослов, которые продырявили друг друга? Как же вы не знаете? Надо узнать. Забавно. Не выходите замуж, Марта. Вы забеременеете, муж будет вас бить...

— Георг, — прервала хлесткую речь Лаура Мульдвей, огорошенная цинизмом любовника, — пора ехать. К трем часам вы должны быть у вашей невесты.

— Да. Проклятие! Клянусь, Лаура, когда я захвачу обезьянку, вы будете играть золотом, как песком!

— Э... Э... — смущенно произнес Вейс, — насколько я знаю, ваша невеста очень любит вас.

— Любит? А вы знаете, что такое любовь? Поплевывание в дверную щель.

Никто ему не ответил. Лаура, побледнев, отвернулась. Даже Сногден нахмурился, потирая висок. Баркет испугался. Встав из-за стола, он хотел увести дочь, но она вырвала из его руки свою руку и заплакала.

— Как это зло! — крикнула она, топнув ногой. — О, это очень нехорошо!

Взбешенный резким поведением хозяина, собственной наглостью и мрачно вещающей ссору Лаурой, так ясно аттестованной золотыми обещаниями разошедшегося джентльмена, Ван-Конет совершенно забылся.

— Ваше счастье, что вы не мужчина! — крикнул он плачущей девушке. — Когда муж наставит вам синяки, как это полагается в его ремесле, вы запоете на другой лад.

Выйдя из-за стойки, Давенант подошел к Ван-Конету.

— Цель достигнута, — сказал он тоном решительного доклада. — Вы смертельно оскорбили девушку и меня.

Проливной дождь, хлынувший с потолка, не так изумил бы свидетелей этой сцены и самого Ван-Конета, как слова Давенанта. Баркет дернул его за рукав.

— Пропадете! — шепнул он. — Молчите, молчите!

Сногден опомнился первым.

— Вас оскорбили?! — закричал он, бросаясь к Тиррею. — Вы... как, бишь, вас?.. Так вы тоже жених?

— Все для Петронии, — пробормотал, тешась, Вейс.

— Я не знаю, почему молчал Баркет, — ответил Давенант, не обращая внимания на ярость Сногдена и говоря с Ван-Конетом, — но раз отец молчал, за него сказал я. Оскорбление любви есть оскорбление мне.

— А! Вот проповедник романтических взглядов! Напоминает казуара перед молитвенником!

— Оставьте, Сногден, — холодно приказал Ван-Конет, вставая и подходя к Давенанту. — Любезнейший цирковой Немврод! Если, сию же минуту, вы не попросите у меня прощения так основательно, как собака просит кусок хлеба, я извещу вас о моем настроении звуком пощечины.

— Вы подлец! — громко сказал Давенант.

Ван-Конет ударил его, но Давенант успел закрыться, тотчас ответив противнику такой пощечиной, что тот закрыл глаза и едва не упал. Вейс бросился между ними.

В комнате стало тихо, как это бывает от сознания непоправимой беды.

— Вот что, — сказала Вейсу Мульдвей, — я сяду в автомобиль. Проводите меня».

Все заканчивается вызовом на дуэль, но стреляться Ван-Конету не хочется, и против Давенанта затевается интрига: Марту и ее отца подкупают, а Давенанту в гостиницу под видом двух ящиков книг приносят контрабандный товар. Следом появляются таможенники, Давенант успевает в последний момент скрыться, попадает на корабль, который опять-таки везет контрабанду, вступает в бой с таможенниками, убивает как минимум шестнадцать человек и оказывается в тюрьме, где ему грозит смертная казнь.

Психологизма здесь меньше, чем в первой части, но действия гораздо больше. О случившемся становится известно тем, кто принимал участие в судьбе юноши, — Орту Галерану и Стомадору. Они пытаются его освободить, делают подкоп, но когда ценой невероятных усилий им удается добраться до камеры, в которой находится их протеже, оказывается, что Давенант болен, у него распухла нога из-за раны, полученной в бою, и выйти на волю он не может.

«— Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?

— Нет. Немного горько, но это пройдет».

Это очень важные слова, которые отражают идею произведения и противопоставлены тому, что говорит отец Давенанта в первой части романа: «Мы с Гемасом здорово выпили вчера. Знаешь, ты ему понравился. Это человек с головой. Он говорит: "Я понимаю вашего сына, но он летит и будет лететь, как бабочка на огонь, пока не спалит крылья". И — добавлю я сам — пока, корчась и издыхая, не проклянет все лукавые огни мира!»

Крылья спалил, но не проклял. Как герой, так и его создатель. Только последняя была у него просьба: «Стомадор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать, если молода, — станет сестрой, если ребенок, — станет моей дочерью».

Этой женщиной оказывается Консуэло, несчастная жена Ван-Конета. Так закольцован сюжет романа.

Консуэло предпринимает отчаянную попытку спасти Давенанта, ей удается добиться отмены казни и пересмотра

приговора, но на хеппи-энд Грин не пошел: гангрена Давенанта необратима.

«— Зачем умирает чудесный человек, ваш друг? Я не хочу, чтобы он умирал.

Она встала, утерла слезы и протянула руку Галерану, но тот привлек ее за плечи, как девочку, и поцеловал в лоб.

— Что, милая? — сказал он. — Беззащитно сердце человеческое?! А защищенное — оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки».

«"Дорога никуда" стала дорогой тех, кто отягчен эмоциями, чья душа от этого стоит незащищенной, одинокой, никому не нужной глубоко. Эти люди погибают, им нет места и пути на земле», — писала Нина Грин[441].

«В "Дороге никуда" происходит непрерывное крушение романтических иллюзий героев, — охарактеризовал этот роман В. Е. Ковский. — Давенант воображал отца "мечтателем, попавшим в мир иной под трель волшебного барабана", а увидел прожженного мошенника; вместо дружбы с прелестными девушками его ждет одиночество и тюрьма; люди, им облагодетельствованные, его же обкрадывают; женщина, за честь которой он вступился, предает; чистая и пылкая любовь Консуэло адресована негодяю Ван-Конету; надежда Галерана встретить в Футрозах верную память о прошлом не оправдывается — для них знакомство с Давенантом обратилось в "древнюю пыль"...

И рядом со всеми этими катастрофами звучит спокойная проповедь Галерана: "Никогда не бойся ошибаться, ни увлечений, ни разочарований бояться не надо... Будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны"»[442].

Это почти завещание. Или наставление. И на фоне того, что происходило в стране и что ее ждало, звучало более чем современно и было не уходом от действительности, но сшибкой с нею. Боем, каким был бой Давенанта с таможенниками, в каждом из которых, по мысли героя, сидит маленький Ван-Конет. И вот этого печатать в толстых журналах никто не осмелился.

Грин отдал роман в издательство «Федерация» весной 1929 года.

В своих мемуарах Н. Н. Грин писала:

«О гонораре А. С. сговорился с Алекс. Николаев. Тихоновым и никого никогда он не вспоминал с таким отвращением, как торговавшегося с ним кулака».

Грин требовал 250 рублей за печатный лист, потом сни-

зил цену до 200. Сговорились на 187 рублях 50 копейках за лист. Когда Грин пришел в издательство подписывать договор, увидел, что там обозначена цена 180. Долго он ругался с Тихоновым, но тот не уступил.

«“Я подпишу договор по 180 р., принужден к этому, а мои 7 р. 50 к. пусть пойдут Вам на гроб”, — сказал Грин на прощание»[443].

За «Дорогу никуда» на Грина обиделась Вера Павловна Калицкая. Она сочла, что в образе негодяя Ван-Конета Грин изобразил себя, а в образе Консуэло ее. Хотя даже если это и так, чего было тут для нее обидного, неясно.

А между тем как раз в тот год, когда была написана «Дорога никуда», был арестован по делу Геолкома муж Калицкой Казимир Петрович, и Грин предложил Вере Павловне похлопотать за арестованного у Горького.

«Дорогой Саша, спасибо тебе за участие. Пожалуйста, сходи к Алекс. Макс. Только если это тебе не неприятно. Все так затихло, так заглохло, что это начинает действовать на нервы. Писем от К. П. не имею, свиданий не дают. Говорят, что пока идет следствие, не дадут. Вот о чем, если можно, попроси Ал. Макс.: не может ли он узнать — когда кончится следствие и в чем же собственно дело. Невинность безусловная и полная, но хотелось, чтобы выяснили они это поскорее»[444].

Калицкий был вскоре освобожден за недоказанностью обвинения. А у Гринов жизнь становилась все хуже. Кончились те четыре ласковых, хороших года, которые они провели в доме на Галерейной улице. Квартиру пришлось оставить и переехать подальше от моря. Подступала бедность, из которой им уже не суждено было выбраться до самой смерти Александра Степановича.

Летние месяцы 1929 года они провели в Старом Крыму, небольшом уединенном городе, окруженном ореховыми рощами. Там они сняли комнату в маленьком саманном доме с двускатной железной крышей, принадлежавшем агроному Шемплинскому. Описание этого дома содержится в книге крымского поэта Николая Тарасенко «Дом Грина». В этой же книге приводится воспоминание о Грине вдовы Шемплинского Марии Васильевны:

«Запомнился цвет лица. Нездоровый, землистый. Жесты скупые. Чужих здесь не было, держался свободно, самим собой. Часто улыбался. Его “выдавало” выражение глаз: то высокомерное, то детски доверчивое. Чувствовалось: человек честный, негнущийся, ни на какую фальшь не пойдет...

Запомнилась одна его фраза — своей необычностью и серьезным тоном. По какому поводу была сказана, уже и не

помню, а звучит так: "Мы, матушка, или всей душой, или — всей спиной к людям"»[445].

Осенью Грины вернулись в Феодосию, откуда Александр Степанович писал Ивану Алексеевичу Новикову, писателю, который был редактором «Дороги никуда» в «Федерации» и стал самым верным другом Грина в последние годы его жизни:

«Дорогой Иван Алексеевич!

Сердечно благодарю Вас за хлопоты. Оба Ваши письма я получил и не написал Вам доселе лишь по причине угнетенного состояния, в каком нахожусь уже почти два месяца.

Я живу, никуда не выходя, и счастьем почитаю иметь изолированную квартиру. Люблю наступление вечера. Я закрываю наглухо внутренние ставни, не слышу и не вижу улицы.

Мой маленький ручной ястреб — единственное "постороннее общество", он сидит у меня или у Нины Николаевны на плече, ест из рук и понимает наш образ жизни»[446].

Этот ястреб одна из самых известных птиц в русской литературе. С ним на плече Грин сфотографировался и из всех своих фотографий любил больше всего именно эту. Гуль был куплен за рубль у уличного мальчишки. Новый хозяин приучил беспомощного птенца брать мясо из рук, а потом выпускал его летать, и ястреб возвращался, радуя Грина одной из последних оставшихся ему радостей. Но однажды с птицей случилось несчастье. Ястреб попался в зубы кошке, и на теле у него возникли две большие раны. Грины пытались его выходить, перевязывали, давали самую питательную еду, и он постепенно поправился, но летать уже больше не смог и на всю жизнь остался калекой. Александр Степанович очень привязался к нему, много с ним возился, тренировал и все хотел, чтобы к птице вернулась способность летать, но жизнь ястреба оказалась недолгой. Однажды он упал в холодную воду и простудился. Они пытались его выходить, согревали в вате, давали пить и есть, но птица от всего отказывалась.

«Под вечер Александр Степанович предложил покормить Гуля насильно. Решили поить молоком. Александр Степанович принес корзину в столовую, стал вынимать Гуля и вдруг сказал сдавленным голосом:

— Он давно умер, совсем холодный. Бедная ты наша птица, страдалица, лишенная счастья летать».

О Гуле Грин написал рассказ, где все происходит иначе, чем в жизни.

«Когда я спросила Александра Степановича, почему он так написал, он ответил:

— Мне хотелось, чтобы так случилось...»[447]

Все это немножко похоже на его собственное желание полететь. И на его собственную смерть.

«История одного ястреба» была напечатана в 1930 году. В том же году Грин пишет и публикует один из самых последних своих рассказов «Зеленую лампу». Сюжет его безыскусен и прост и на первый взгляд кажется вторичным по отношению к тому, что создано раньше. И тема старая — провокация как двигатель жизни.

«Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно лишь одним способом: делать из людей игрушки», — слова, которые мог бы произнести и Хоггей из «Погасшего солнца», и Консейль из «Сердца пустыни», произносит возвращающийся из дорогого ресторана хорошо одетый господин по фамилии Стильтон, обнаружив на улице замерзающего голодного безработного Джона Ива.

Место действия — Лондон. Год — 1920-й. (Тот же, что и в «Крысолове».) У Стильтона на счету 20 миллионов фунтов, он изведал все, что может изведать в своей жизни сорокалетний холостой мужчина. Все ему приелось, и он делает безработному Иву следующее предложение: в течение многих лет тот должен не покидать комнаты в центре Лондона, каждую ночь ставить на подоконник зеленую лампу, получать за это 10 фунтов ежемесячно и ждать, пока на него, может быть, не свалится богатство.

Ив почитает себя счастливчиком, вытянувшим лотерейный билет, а Стильтон объясняет своему другу, такому же богатому, как он, мотивы своего поступка: «Когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума...Игрушка из живого человека — самое сладкое кушанье».

Проходит восемь лет, и в больницу для бедных, находящуюся на лондонской окраине, привозят старика, который сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона. Ему делают операцию, и наутро нищий, разорившийся миллионер Стильтон узнает в прооперировавшем его хирурге Джона Ива, свою живую игрушку, человека, который не терял времени даром и выучился на врача.

«Один из последних рассказов Грина “Зеленая лампа” мы могли бы отнести к разряду программных. Недаром его название в английской интерпретации — *Green lamp* — фонетически соотносится с *Greenland* (каламбур, вполне доступный при поверхностном знании языка). Метафора, на которой построен рассказ, — свет лампы (искусственный,

случайный) становится символом надежды, призрачной, малоутешительной, но помогающей жить и творить. Эта метафора (скорее даже аллегория) приводит нас к мысли, что литература, мифотворчество и шире — вообще искусство — единственный возможный ориентир в мире зла, единственный источник света. Для кого-то (для того же Готорна, например) он освещал дорогу к Богу. Грину этот свет служил маяком в его идеальном мире, мире, где есть Бог, в отличие от того, в котором ему приходилось физически существовать», — заключает Алексей Вдовин[448].

С точки зрения творческого пути Грина «Зеленая лампа» была важной вехой. В ее свете было отчетливо видно, что он никуда не сворачивал, но продолжал упрямо идти своей «никудышной дорогой».

Глава XVII

«СУД, НУЖДА, ВИНО, ГОРЕЧЬ И ЛЮБОВЬ»

Слова, вынесенные в название этой главы, — цитата из комментария Нины Грин к ее переписке с мужем.

«1930. Феодосия. Опять А. С. из-за безденежья едет один в Москву. Зиму провели отчаянно. Книги не продавались, с "Мыслью" шел безнадежный суд. Летом (в июле) поехали в Москву вдвоем, прожили тяжело 2 месяца, досуживаться с "Мыслью" поехали в Ленинград, где жилось бесконечно тяжело: суд, нужда, вино, горечь и любовь. А. С. так много пил и, клянясь каждый день, что не будет больше, снова пил, что я сказала ему, что нашла себе место и уйду от него, если он не даст мне отдыха»[449].

Об их жизни в Питере в тот год сохранилось воспоминание Вл. Смиренского, поэта, литературоведа и бескорыстного биографа Грина, к которому Нина Николаевна относилась весьма отрицательно, имея на это чисто личные, женские причины, речь о которых впереди.

Смиренский писал: «В жизни Грина бывали тяжелые периоды, свойственные многим русским талантам. Он страдал тяжелой и страшной болезнью, которая в просторечье именуется "запоем". В дни таких провалов Грин мрачнел, облик его менялся, глаза тускнели. Остановить его в эти периоды было почти невозможно.

Он предчувствовал приближение своих припадков и в такие моменты не доверял себе, боялся оставаться один. Его тянуло к вину с неудержимой силой. Несколько раз он приходил ко мне рано утром и, волнуясь, убеждал идти с ним.

— Все равно куда, — торопливо упрашивал он, — куда вы хотите, только я не могу быть один. Жена ушла по своим делам, в номере мне делать нечего — скучно, а если пойду бродить один, — я не могу вернуться.

В эти минуты Грин очень напоминал мне одного из своих героев — Августа Эсборна, который в ночь своей свадьбы вышел из дома на одну минуту, — и исчез на целую жизнь.

Конечно, я сопровождал Грина, и он сразу же веселел, начинал посвистывать или рассказывал мне какую-нибудь еще не написанную новеллу. Но бывали случаи, когда он не заставал меня дома и не мог удержаться от пагубной страсти. Тогда он вечером являлся ко мне, усталый и мрачный (вино его не веселило) — и упрашивал проводить его, непременно до самой двери, "чтобы жена видела, что я был у вас".

И было совершенно ясно, что только она, эта застенчивая и милая женщина, и была для него единственным сдерживающим центром»[450].

«Трепач!», «Трепач он первого сорта!», «Это было страшно — по глупости и пошлости. Это равно Борисову!» — написано рукой Нины Николаевны на полях рукописи воспоминаний Смиренского[451]. И хотя это по-женски нелогично, но тем не менее очень понятно. Пьянство Грина было настолько болезненной темой, что никому не позволяла Нина Грин ее касаться. Только она могла об этом писать. Писать так, как Смиренскому и не снилось.

«Александр Степанович пьет. Пьет четвертый месяц подряд. Я задыхаюсь в пьяных днях. Так долго терпеть его пьянство мне ни разу еще не приходилось за всю нашу совместную жизнь — страдаю. Знаю, что ему тяжело, во много раз тяжелее, чем мне, но не могу не протестовать, хотя и договаривались когда-то о свободе его пьянства в Москве и Ленинграде. Александр Степанович оправдывал мне его тем, что это состояние помогает ему просить в долг, что трезвый он не спросит там, где спросит пьяный. А мне кажется, что наша жизнь катится под откос... Помню: часов в двенадцать дня пришел домой совершенно пьяный и окровавленный — где-то упал, обо что-то ударился головой. Шляпа была полна крови, лицо в кровавых струях... Иду с ним, а он так шатается, что даже я мотаюсь. Довела его до скверчика на Михайловской площади. Уселись на скамью. Слезы сами лились из моих глаз. Вокруг не было никого, и я их не стеснялась. "Саша, Саша, как мало ты меня жалеешь!" — говорила я, плача. И он неожиданно заплакал. Выражались слезы пьяненько, но что-то в них было и от здорового духа Александра Степановича. Эти слезы меня в сердце ударили — не могу видеть мужских слез. Сидели, молча, погруженные в свои, должно быть, неодинаковые мысли. Я поднялась: "Пойдем, Сашенька". — "А может, я лучше пройдусь, я очень пьян?" — "Нет, дорогой, пойдем лучше домой, мы оба несчастные". Дома он лег спать, а вечер прошел в какой-то странной душевной тихости, словно мы оба очнулись после долгой болезни. На следующий день Грин снова был пьян»[452].

Она чувствовала себя совершенно одинокой — ни пожаловаться, ни искать сочувствия ей было не у кого. А главное — она понимала, что сделать с этим что-либо уже невозможно. Алкоголизм Грина стал необратимым, и никакие договоренности более не действовали:

«Просила Александра Степановича: “Сашенька, ну будь другом, не попей водки неделю. Дай мне отдохнуть. У меня внутри так смутно, нехорошо, сумбурно. Я отдохну, душевно укреплюсь, и будет мне легче”. Он обещал. Видела — обещал искренне, страдая за меня. Но огонь алкоголизма уже разгорелся в нем бурно и пожирал его. Часто с горечью я думала: “Вот опять Питер показывает мне свои злые когти”»[453].

Последняя фраза не случайна. Грин не просто пил, но пил все в тех же литературных и окололитературных богемных компаниях, что и до революции, где были и вино, и «легкомысленные» женщины. В одну из таких компаний, где немолодая бледная дама со старой русской двойной литературной фамилией и папиросой в зубах вела вольный, переполненный циничными намеками рассказ, Нина Николаевна однажды случайно забрела, разыскивая мужа. Грин, хоть и был сильно пьян, поспешил увезти жену.

«“Это знакомые не для тебя, Нинуша. Я, старый пьяница, могу с такими общаться, но не ты”. У меня снова возникло неприятное чувство, словно я заглянула в какую-то яму жизни Александра Степановича, которую я не знала и знать не хочу. Не хочу трещины на стекле»[454].

Перед смертью он покаялся перед ней за распутство.

«Зачем он сказал мне это, до сих пор не знаю. И, должно быть, знать не хочу. Если он сказал это, думая, что после его смерти я могу узнать нечто, могущее в моей памяти исказить образ его, то напрасно боялся. Мне известно, что человек иногда не властен над своими низкими инстинктами, что в нашей жизни могло случаться нечто, загрязняющее ее»[455].

Обыкновенно любящие жены в своих мемуарах о мужьях обходят эту тему стороной. Нина Грин была исключением. Писала обо всем, сдержанно и целомудренно. Писала потому, что не хотела легенд, и потому еще, что без этого и творчество его было бы до конца непонятно.

«Однажды Александр Степанович написал хороший рассказ “Измена”. Прочтя его мне до конца, он как-то странно говорит: “Ты не думай, Нинуша, что это я про себя”.

— Я ничего не думаю, кроме того, что не надо писать рассказ во второй раз.

И на сердце на мгновение стало больно; я вышла в соседнюю комнату и стала себя бранить. Через несколько ми-

нут, успокоясь, снова вошла в комнату Александра Степановича и молча поцеловала его в голову. Он так же безмолвно прижал меня к себе. И все»[456].

Рассказ «Измена», о котором вспоминает Нина Грин, был написан в 1929 году. Сюжет его довольно прост. Четверо друзей, подвыпив, едут к девицам. Наутро один из них просыпается и не может ничего вспомнить. Друзья рассказывают ему о том, что с ним было.

«— Мы хотели отправить тебя домой, но ты поехал ко мне. Ты не хотел, чтобы Джесси видела твое состояние...

— Послушай, — сказал Брентган, — я ничего не помню с момента, когда начал пить на пари в "Китайском принце". Подними занавес!

— Лучше я его опущу! — расхохотался Лей. — То, что ты называешь "занавесом", есть лишь полог кровати одной пикантной детки.

— Но это ты выдумал! — вскричал Брентган, помертвев и вскакивая».

Герой чувствует себя ужасно, он думает о жене, которой изменил, и о том, как скажет ей, что произошло: «Я не виноват, я стал только внезапно и тяжко болен стыдом. Я стал болен тем, что стряслось».

«Между тем, — сообщает рассказчик, — решение вопроса лежало не в логике, а в прекрасном и редком чувстве Джесси к нему. Это чувство нельзя было трогать ни грубой, ни жестокой рукой».

Последнее прямо касается Грина и его жены. Отношения с ней переставали быть лишь сферой его частной жизни, но делались частью его литературного творчества. Так было в посвященном Нине Грин рассказе «Брак Августа Эсборна», так было в посвященном Н. В. Крутикову рассказе «Ветка омелы», так было и в «Измене» с ее подчеркнутым моральным пафосом, как если бы текст писал протестантский проповедник. «В прозе Грина было что-то пуританское, по крайней мере, огромный пласт эротической литературы серебряного века не нашел никакого отражения в его текстах», — несколько упрощая и выпрямляя Грина, но в целом верно писал Алексей Вдовин[457].

«Он вспомнил свою жизнь с Джесси, их любовь, понимание, близость и доверие. Над всем этим раздался злой смех. Брентган и Джесси были теперь такие же, как и все, с своей маленькой грязноватой драмой, до которой нет никому дела.

Брентган обратился к философии, именуемой парадно и гордо: "сеть предрассудков". Философия эта напоминала отлично вентилируемый пассаж, с множеством входов и выхо-

дов. На одном входе было написано: “Особенности мужской жизни”, на другом: “Потребности в разнообразии”, на третьем: “Наследственность”, на четвертом: “Темперамент” и так далее; каждый вход помечен был хитрой и утешительной надписью.

— Все это хорошо, — сказал Брентган, — но все это не приложимо к той правде, какая соединяет меня и Джесси. В области желаний все может стать “предрассудком”. Я могу выйти из такси и почесать спину об угол дома. Я могу не заплатить своих долгов. Могу сказать незнакомой женщине в присутствии ее мужа, что я ее хочу; если же муж вознегодует, — сошлюсь на искренность и естественность своего желания. Так же всякий другой может подойти к Джесси, а я выслушаю его желания и буду продолжать разговор о красивых ногах Эммы Тейлор.

Чувство глубокого одиночества, совершенной, беззубой пустоты охватило его при этих образных заключениях».

В отличие от «Брака Августа Эсборна» «Измена» заканчивается почти благополучно. Приехав к девицам, Брентган узнает, что накануне был смертельно пьян, всю ночь провалялся без чувств, и пьянство уберегло его от большего греха, а наутро друзья решили его разыграть.

«— Я так и думал, — сказал Брентган, сердце которого одним сильным ударом вышло из угнетения.

— Думал? Тогда вы не приехали бы сюда.

— Сюда? О, это не то... Простите меня. Я не мог представить, что... Но вы понимаете.

— Конечно, я понимаю, — сказала она, вся потускнев и смотря взглядом побитой. — Теперь идите к вашей жене и не беспокойтесь... Ваши приятели... о, они не любят вашу жену. Они говорят, что вы “пресноводное”.

— “Пресноводное?” — Брентган весело рассмеялся. — Ну, пусть их...

Его охватила теплая, искренняя признательность к этой девушке с зачеркнутым будущим, которая поняла его состояние и не поддержала глупую травлю».

Нина Грин вспоминает еще об одном, правда, нереализованном сюжете, где ситуация измены похожа, но логические акценты прямо противоположны: герой действительно изменяет, однако ничего жене не говорит, потому что любит ее.

«Другой раз он рассказал мне о человеке, который очень любит свою жену. Она все его счастье. Но дурные инстинкты сильны в нем, и он имеет любовниц. Тем не менее у какой бы из них он ни находился, в одиннадцать вечера он звонит по телефону своей жене и говорит ей все ласковые и

нежные слова, какие она привыкла слышать от него на сон грядущий. И жена, думая, что он на работе, спокойно ложится спать, благодаря его за любовь.

Александр Степанович спросил меня, как бы я посмотрела на такой поступок мужа. Мне думалось, что муж поступал правильно, он любил по-настоящему лишь свою жену и не должен был ей ничего рассказывать. Что дали бы его излияния обоим? Словно бы любовь окунули в грязь. Она стала бы несчастной...»[458] *

С этой грязью и с этим несчастьем, с этими изменами и пьяным беспамятством, в котором человек над собою не властен, сталкивалась и Вера Павловна Калицкая и, вероятно, в одну из таких, «гезовских» минут поняла, что жить больше с Грином не может. Недаром в ее воспоминаниях есть фраза: «Признание А. С., оправдывающее мой разрыв с ним»[459]. Нина Николаевна не могла Грина бросить и находила в себе силы все дурное преодолевать.

Уже после смерти Александра Степановича Калицкая признавалась ей: «Иногда вспоминаю нашу с Вами встречу у Казанского собора после того, как Вы одно время собирались уйти от Ал. Ст. Я ее помню, потому что тогда меня удивили Ваши слова: "Я не могу уйти, потому что если я уйду, то он умрет под забором!"»[460]

---

* Ср. с воспоминаниями и рассуждениями Э. Арнольди, которые очень высоко ценила Нина Грин: «Моральная чистота, которую мы встречаем у Грина, тем более поразительна, что в годы расцвета декадентства и эротизма, когда происходило становление его творчества, средний нравственный уровень литературы был, прямо скажем, довольно низок. Как далеки были его герои от кричавших "расстегни свои застежки" и "хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать"! По всей вероятности, были они далеки и от того, что писатель встречал тогда в своей жизни...

У меня не было достаточных данных для суждения об идеалах любви Александра Степановича. Со своей женой, насколько я мог видеть, он был всегда очень нежен и никакого интереса к другим женщинам не проявлял. При этом он отнюдь не отличался прюдизмом, слушал других и говорил о чьих-либо любовных приключениях с легкой ироничностью, далекой от скабрезности, которой он явно чуждался. Когда кто-нибудь в разговоре вдавался в непристойности, Грин словно отходил в сторону, не вмешиваясь и не возражая. В этот момент он как бы отсутствовал. И никогда я не слышал, чтобы он похвалялся своими любовными победами. Между тем, сделавшись писателем, он вращался в кругах петербургской литературной богемы, отнюдь не отличавшейся скромностью и добродетельностью. Насколько я мог почувствовать по тону рассказанного им о годах молодости, вся окружавшая его дрянность и распущенность были для него чем-то наносным, поверхностным, проносившимся мимо, не затрагивая его внутреннего мира, образа мыслей и мечты» (Воспоминания об Александре Грине. С. 295—296).

А в мемуарах Нины Николаевны содержатся слова самого Грина, которые тот сказал своей первой жене, и впоследствии они оба передали ей этот разговор: «Ты, Верочка, с гордостью относилась ко мне, ты чувствовала себя выше меня, ты ненавидела мое пьянство, но палец о палец не ударила, чтобы побороться с ним. Ты только презирала меня за него. У тебя был свой, отдельный от меня мир, в который я, пьяненький, вваливался, как инородное тело. А Нина борется всем своим существом за каждую мою рюмочку, она от каждой страдает, хотя бы даже молчит. Я ее мир, вся ее жизнь. Ее слезы — моя совесть. Я пью и знаю: Нина страдает за меня, и это меня сдерживает»[461].

В самые тяжелые минуты ей хотелось умереть. «"Для чего жить? — спрашивала себя. — Если прекрасное уходит из жизни и нет сил и уменья бороться за нее. Если каждый день начинается с водки и кончается водкой?" Но представляла себе, что Александр Степанович после моей смерти станет пить еще больше. Никто его не поддержит... Мысль о моей смерти будет глодать его, заставлять пить, он опустится на дно и, может быть, умрет несчастный, голодный, грязный и пьяный в какой-либо канаве, трущобе, так как не за кого будет ему держаться на этом свете. И бедная, красивая его душа будет горько и мучительно страдать»[462].

А между тем их последняя поездка в когтистый Ленинград оказалась не такой уж бессмысленной. После того как вместо Крутикова был нанят другой юрист и сменился состав областного суда, Гринам удалось выиграть дело и отсудить у Вольфсона семь тысяч рублей. Еще несколько месяцев назад это была немалая сумма, но теперь почти все съела инфляция 1930 года. Выплаты денег приходилось дожидаться, они по-прежнему жили в Питере, и вот тут ее терпение лопнуло.

«Ты, Сашенька, послушай. Я долго и терпеливо переносила твое пьянство. До тех пор, пока мы не выиграли дело. Но ты продолжаешь безудержно пить. Переносить это дальше я не могу, я устала. Очень тебя еще люблю, но кроме любви во мне есть чувство собственного человеческого достоинства... Не хочу и не могу быть женой вечно пьяного мужа. Ты сначала пострадаешь, так как все-таки любишь меня, но потом вино утешит тебя, утолит твою печаль... Я уступаю дорогу вину»[463].

Она сказала, что нашла в Ленинграде работу и в Феодосию не вернется, он рыдал, держа ее за руки, а она оставалась твердой, потому что знала, что два часа его раскаяния ничего не изменят.

«Молча провели мы вечер. Я рукодельничала, читала. Он, лежа на диване, много курил. На сон распрощались как обычно. Сна не было, я слушала, как беспокойно он ворочается в своей постели»[464].

И все равно эта была только угроза с ее стороны, только еще одна безнадежная попытка его удержать. Грин не пил после этого две недели. Затем сорвался и запил злее прежнего, уже ни от кого не таясь.

Поздней осенью 1930 года, расплатившись с долгами, они оставили Феодосию и переехали в Старый Крым, который полюбился им летом 1929-го. Там не было моря, не было курортников, но было много зелени и садов, и жизнь была намного дешевле.

Наняли подводу для перевозки вещей, под холодным моросящим дождем Грин с Куком (дворняжкой, которую они подобрали на улице) шли пешком, а Ольга Алексеевна с Ниной Николаевной должны были приехать позднее на автобусе. Однако когда женщины добрались до нового местожительства, то увидели в нанятой квартире в длинном кирпичном доме на улице Ленина беспорядочно сложенные вещи, а самого Грина не было. Пришел он только поздним вечером, сильно взволнованный. Оказалось, кто-то сказал, что около Феодосии на скользкой дороге перевернулся автобус, и Грин бросился спасать жену и тещу. Был он донельзя изможден и перепачкан грязью, и вся старокрымская жизнь их с самого начала не задалась. Да и по большому счету для Грина это была уже не жизнь, а прощание с нею.

Весной 1931 года он в последний раз побывал в Коктебеле у Волошина. Отправился туда пешком через горы, о чем позднее писал Новикову:

«Я шел через Амеретскую долину диким и живописным путем, но есть что-то недоброе, злое в здешних горах, — отравленная пустынная красота. Я вышел на многоверстное сухое болото; под растрескавшейся почвой кричали лягушки; тропа шла вдоль глубокого каньона с отвесными стенами. Духи гор показывались то в виде камня странной формы, то деревом, то рисунком тропы. Назад я вернулся по шоссе, сделав 31 версту. Очень устал и понял, что я больше не путешественник, по крайней мере — один; без моего дома нет мне жизни. "Дом и мир". Все вместе или ничего»[465].

По воспоминаниям Нины Николаевны Грин возвратился из Коктебеля очень недовольный встречей с Волошиным. Они сильно поспорили из-за художника Богаевского, который, по мнению Грина, изменил искусству и стал обывателем, Волошин вступился за друга, говорил не то, и все бы-

ло не так. Не так, как раньше, когда Грин и Волошин находили взаимопонимание.

А Богаевскому Грин не мог простить того же, чего не прощала никому и Нина Николаевна — разговоров о пьянстве.

«— Как жаль, Александр Степанович, что вы не можете сдержать себя, даже шатаясь ходите по улицам. Вы компрометируете себя.

— Я думал, Константин Федорович, что вы более тонкий человек. Вы в благополучии своей отрегулированной, обеспеченной и аккуратной жизни забыли, что души человеческие различны и жизнь также. И что на дне кое-что иногда бывает виднее. Меня осуждать может только моя жена, которая мой ангел-хранитель, а на остальных мне наплевать...»[466]

Он чувствовал себя загнанным в угол. Весной заболела острым воспалением печени Нина Николаевна. Грин вместе с Ольгой Алексеевной ухаживали за больной. Александр Степанович продолжал пить, похерив былые договоренности о разграничении Крыма и метрополии, и мать Нины Николаевны, которая долго ни во что не вмешивалась, не утерпела и высказала все, что о зяте думает. «Грин возмутился на эти речи и потребовал, чтобы она не вмешивалась не в свое дело. Мать ответила, что не ее делом это будет, когда я выздоровею, а пока, раз Александр Степанович, мол, не печется о моем здоровье так, как надо — пьет, она сама будет беречь мое здоровье»[467].

От Нины Николаевны старались размолвку скрывать, но отношения между тещей и зятем делались день ото дня все хуже.

В мемуарах Нина Николаевна старалась сгладить эту размолвку и представить ее как цивилизованный «развод» зятя и тещи, но сохранившиеся в архиве письма говорят о драматизме и остроте той ситуации.

«Несмотря ни на что жизнь наша не налаживается для меня по крайней мере. Бесконечные внутренние и внешние столкновения продолжаются, делая жизнь ненормальной, — писала Нина Николаевна Грин в записке мужу — на словах объясниться было невозможно — и сама просила отселить мать: — Я устала от такой жизни, какую мы ведем все трое, от вечного напряжения... И всем, думаю, будет легче, а ты может быть выйдешь теперь из обычного состояния кипения»[468].

Стали жить отдельно: Нина Николаевна с Грином в одном доме, мать в другом. Но по-прежнему ужасно тяжело. Публикация книг Грина практически остановилась.

«Вы не хотите откликаться эпохе, и, в нашем лице, эпоха Вам мстит», — говорили ему в издательстве «Земля и Фабрика». А он писал Горькому: «Алексей Максимович! Если бы альт мог петь басом, бас — тенором, а дискант — фистулой, тогда бы установился желательный ЗИФу унисон»[469].

Горький молчал.

Грин пытался как-то приспособиться и был готов засесть за книгу о чае. О чае, правда, не написал, но работал над «Автобиографической повестью»: «сдираю с себя последнюю рубашку».

«С душевным страданием и отвращением писал Александр Степанович свои автобиографические повести. Нужда заставляла: в то время его не печатали. Политцензура сказала: "Больше одного нового романа в год ничего напечатано быть не может". Переиздания не разрешались. Это были тяжелейшие 1930—1931 годы. Но и эту книгу душевного страдания и вновь — в процессе написания ее — переживаемых горестей своей трудной молодости Александр Степанович не дописал — не хватило сил.

Название "Автобиографическая повесть" дано издательством. Грин озаглавил ее "Легенды о себе". "Они столько обо мне выдумывали легенд, что и эту правду, несомненно, примут за выдумку, так предупредим же событие, назвав ее 'Легенды о себе' и описав жизнь столь серую и горькую". И когда издательство прислало договор для подписи с другим названием книги, он ухмыльнулся горько и сказал: "Боятся смелости или думают, что читатель усомнится — настоящая ли это автобиография. Людишки... ничему не верят и даже моей болезни"»[470].

«Автобиографическая повесть» — удивительная книга. С одной стороны, она очень традиционна. Кто из русских писателей не писал о своих детстве-отрочестве-юности, детстве-в людях-моих университетах? Двадцатые-тридцатые годы были в расколовшейся русской литературе всплеском автобиографической прозы по обе стороны границ: и в метрополии, и в эмиграции. Алексей Толстой, Бунин, Пришвин, Шмелев, Пастернак, Куприн, Горький. Для кого-то молодые годы были счастливыми и вспоминались как золотой сон, у кого-то они были ужасными. Куприн в период литературного успеха написал мрачнейших «Кадетов», а нищенствуя в эмиграции, — светлых «Юнкеров».

Грин писал свою самую мрачную, опрокидывающую его предыдущую прозу вещь в свое самое мрачное время. Начало и конец его жизни сомкнулись. Он писал о голоде, безденежье, болезнях, об обманутых ожиданиях и разочарова-

ниях, и все это снова окружало его на склоне лет: в Крыму все было по карточкам, продукты продавали только в торгсине в обмен на золото и серебро или меняли у крестьян из окрестных деревень на носильные вещи, белье и мебель. Грин перестал быть в своей семье добытчиком. Жили на то, что удавалось обменять на черном рынке двум женщинам, и это угнетало пятидесятилетнего Грина. Возможно, именно по этой причине «Автобиографическая повесть» впоследствии удивляла многих ее читателей тем, что в ней автор лелеет культ неудачника.

«Он сознательно, холодно, без ложного пафоса следит за крахом мечты — от обидной песенки, которой дразнила его в детстве мать (ее любят цитировать биографы), до случайного выстрела из ружья, чуть не разнесшего ему голову после освобождения из тюрьмы»[471].

На самом деле — это не столько холодное наблюдение, сколько художественный самоанализ, попытка беспристрастно разобраться в самом себе, взглянуть на себя со стороны и понять, почему он стал именно таким человеком и пришел к жизненному краху. А отсюда пристальное внимание к своему детству.

Вот как описываются школьные сочинения маленького Грина:

«В пятом отделении, по странной прихоти, я написал для себя статью “Вред Майн Рида и Густава Эмара”, в которой развивал мысль о гибельности указанных писателей для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незавиднее кажется дом, участь бедняка.

Собрав после классов нескольких человек слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели; тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, — я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях».

Вадим Ковский в своей поздней работе «Реалисты и романтики» (в более ранней книге «Романтический мир Александра Грина» он отзывался об «Автобиографической повести» мельком и очень невысоко) полагал, что Грин мистифицирует читателей, создает легенду наоборот и никаких сочинений этого рода он не писал. Как знать...

Человек был для Грина вечной загадкой, и самой первой был для себя он сам. Почему изменял жене, если любил? Почему пил, если знал, что это разрушает не только его, но

и ее жизнь? Почему совершал в своей жизни поступки необъяснимые, нелепые, «гасконские»? Отчего не хотел в молодости учиться морскому делу, хотя это было его мечтой? Отчего оказался с житейской точки зрения банкротом к той поре, когда человеку пристало подводить итоги и пользоваться плодами своих трудов?

Эта книга так и написана в жанре вопросов и ответов. Ответов и новых вопросов.

«Автобиографическую повесть», благодаря поддержке Николая Тихонова, напечатали в 1931 году в «Звезде». Но, доведя действие до своего освобождения из тюрьмы, Грин бросил писать про себя и принялся за новую книгу. На этот раз не для денег — для души. И про душу.

«Дорогой Иван Алексеевич!

Простите меня за поздний ответ, за позднюю благодарность за книги: грипп; боялся передать письмом микробы.

Грипп прошел.

Вы оказываете мне честь, интересуясь моим мнением о Ваших произведениях. Написать — и легко, и трудно. Книга — часть души нашей, ее связанное выражение. Характер моих впечатлений — в общем — таков, что говорить о нем можно только устно, и, если когда мы опять встретимся, — Ваше желание не исчезнет, — я передам Вам свои соображения и впечатления.

Здесь установился морозный февраль, снег лежит, как на Севере, хотя и не такой толщины. Я кончил писать свои автобиографические очерки и отдал их в “Звезду” — там пойдут. Теперь взялся за “Недотрогу”. Действительно это была *недотрога,* т. к. сопротивление материала не позволяло подступиться к ней больше года. Наконец, характеры отстоялись; странные положения приняли естественный вид, отношения между действующими лицами наладились, как должно быть. За пустяком стояло дело: не мог взять верный тон. Однако наткнулся случайно и на него и написал больше 1,5 листов.

Нина Николаевна “сама себе”, “в себе” и “через себя” учится рисовать, но, так как она хочет сразу одолевать трудные вещи, то у нее получается “м-м-м”, точно так, как говорят, набрав в рот воды. Впрочем, зачем обижать человека? На днях уже ясно произнесла “ма-ма” и “пап-па...”»[472]

Он писал «Недотрогу» на серых бланках старокрымского коммунхоза, как в пору проживания в «Доме искусств» писал на гроссбухах «Лионского кредита» «Алые паруса».

В основу этого романа легла легенда о «чудо-цветах», которые расцветали при появлении доброго человека и увяда-

ли, если рядом оказывался злой. «В этом романе должно было быть много горечи от столкновения “недотрог” с действительностью, но никакой плаксивости, уныния, так как эти люди с обостренной душевной чувствительностью и любовью ко всему в жизни истинно красивому, чистому и справедливому настолько привыкают таить в себе все чувства, что редко заметны окружающим. И лишь гибель их может иногда косвенно указать на пережитые ими страдания», — писала Нина Николаевна Грин[473].

Судить об этом романе, только начатом, сложно. Грин считал, что эта книга будет не хуже, чем «Бегущая». Той же точки зрения придерживалась и Ю. Первова, называя «Недотрогу» лучшей вещью Грина и обвиняя власти в том, что Грин был погублен в расцвете своего таланта. В. Ковский, напротив, полагал, что «Недотрога» так же, как и «Джесси и Моргиана», свидетельствует о том, что талант писателя регрессировал. Но, быть может, лучше всего о значении этого романа в судьбе Грина отозвался поэт Николай Тарасенко.

«С точки зрения житейской целесообразности новый замысел Грина был не то что ничем, но величиной, можно сказать, отрицательной. Хотя бы уже потому, что отнимал у тяжело больного человека последние силы. Да и могла ли эта новая работа вызволить семью из нужды, поправить его дела?

Грин не питал на этот счет никаких иллюзий. В оценке обстоятельств он был не менее точен и трезв, чем его собратья, работающие в иных жанрах. “Бедные мои книги, — говорил он, — так ни одна и не имела до сих пор двух хороших изданий. Зато биографию, должно быть, издадут вторично”»[474].

Здесь можно было бы подправить обоих: и Грина, и Тарасенко. «Автобиографическую повесть» издавали впоследствии гораздо реже, чем остальные романы писателя. Потомки — и читатели, и литературоведы — восприняли Грина прежде всего как романтика, и больше других его произведений собрали тиражи «Алые паруса» и «Бегущая по волнам».

«Недотрогу» закончить ему не удалось, но сама работа над ней тяжелобольного бедствующего человека есть акт писательского мужества. «Книга — это поступок», — говорил Пастернак (к слову сказать, очень Грину симпатизировавший). Именно таким поступком и стал незаконченный старокрымский роман Александра Грина.

В середине мая 1931 года они оставили дом на улице Ленина и сняли квартиру на Октябрьской, в частном саманном

доме ближе к лесу, с окнами на север. Возле дома был небольшой огород, и с разрешения хозяйки Грин посадил на нем помидоры, огурцы, бобы.

«Все росло плохо. Он сердился и выливал на грядки неимоверное количество воды. Бобы пропали.

Не знала я тогда, что это болезнь терзала нервы А. С., и, не видя причин перемены нашей, такой стройной жизни, очень мучилась душевно»[475].

Эту квартиру Нина Николаевна впоследствии возненавидела и говорила, что есть такие места, которые притягивают горе, заражены его микробами, но чем хуже было, тем сильнее была любовь, которой Грины спасались от ужаса подступающей жизни. Об этом говорят даже не мемуары, в которых в конце концов задним числом можно подправить, переписать и улучшить историю, а письма Нины Николаевны к мужу за 1930—1931 годы, и все это очень важно, потому что впоследствии Нину Грин будут обвинять в том, что она бросила мужа за два года до его смерти.

А она писала так:

«И я благодарю Бога за счастливую судьбу, пославшую мне твою горячую и нежную любовь. И не сетуй, если придется трудно — у нас есть любовь — самое главное, что мы оба хотели от жизни. Остальное можно потерпеть или не иметь»[476].

«Вчера всю ночь продумала о тебе, о нашей жизни, милый, и ничего не могу тебе сказать, кроме слов великой благодарности. Ты освободил мою душу от оков бессознательности ... во мне одновременно говорят и чувства, и мысли, и ощущения; я всегда знаю, как отнестись к тому или иному явлению, имею вкус к своим духовным и физическим ощущениям. Пусть иногда душе моей больно от соприкосновения с чем-либо, но зато душа моя и мысль без пеленок. А раньше этого не было. И не встреть я тебя, так бы и прожила всю жизнь Муней-телуней, иногда полусонно, полусознательно чувствуя недовольство чем-то, неудовлетворенность и не зная, что мне надо. А теперь я знаю. Мне от жизни только и нужно: ты, солнце и небо и покой...

Если я тебя за эти 9 лет обижала, прости меня, не со зла, а с раздражения это, а внутри любовь и нежность и сознание, что недаром ты прожила жизнь, раз она была у тебя так согрета и ты помудрела так, что большая часть интересов людских кажется тебе клубком грязных и мокрых червей у твоих ног»[477].

«И помоги тебе Бог во всем, я крепко молюсь каждый вечер за тебя, мое светлое счастье»[478].

А счастья было все меньше. Жена Грина страдала от того, что не может кормить его привычной едой — ситуация почти обломовская: Илья Ильич и Агафья Матвеевна. «Мы задыхались от нужды»[479].

Иногда они мечтали. Не о славе, не о признании современников либо потомков. В это странно поверить, но больше всего мечтал Александр Степанович в конце жизни о... Нобелевской премии.

«Что было его сладкой, невыполнимой мечтой, — мечта о Нобелевской премии. "Нинушка, вообрази, что мы ее получили. Что первое мы делаем? Нанимаем отдельный пароход, выбираем капитана, соответствующего нашим о том представлениям, и едем сначала вокруг Европы"»[480].

Это в мечтах. В реальности же: «В Крыму голод. Мы голодаем, денег ниоткуда не шлют. Болеем по очереди с мая месяца. То я лежала с воспалением желчного пузыря, то А. С. треплет малярия. И при всем том А. С. начал пить водку почти ежедневно, что раньше не было. Очень похудел, но т. к. все мы были тогда худы, то я не догадывалась, что его уже терзает смертельная болезнь. А. С. стал дома строптив и груб, стал придираться к моей матери, жившей много лет с нами. Я отделила ее от нас, сняв ей отдельную комнату. Но водку он продолжал пить. Было страшно и грустно, было отчаянно. Поехал в Москву опять один, отпускала со страхом, боясь водки. В Москве добыл денег — рублей 700, а, может быть, и больше — не знаю. Очень много пил, так много, что мне почти не писал, а раз в тяжелом состоянии просил за себя написать мне письмо И. А. Новикова. Я испугалась, получив это письмо, так как знала, что это значит. Перед отъездом А. С. в Москву неожиданно приехала его родная сестра, которой он не видел 21 год — Екатерина Степановна Маловечкина с 2 дочерьми. Грубая и довольно душевно вульгарная, она была чужой для А. С., а ее попытки читать ему нравоучения вызывали и недоброе к ней чувство. В конце августа 1931 года А. С. совершенно больной, с температурой вернулся из Москвы. И глубоко несчастный и замученный. Думали, что температура от малярии, которой он страдал после всякой долгой езды. Еще дня два он пытался двигаться, даже пошел со мной навестить мою мать. Шумная и неделикатная семья Маловечкиных его утомляла и он просил их переехать в другой дом. Они совсем уехали из Ст. Крыма. А. С. слег в постель уже навсегда»[481].

В это же время Грин написал Новикову отчаянное письмо, которое все советское время пролежало в архиве, и никто не решился, не смог его напечатать:

«Дорогой Иван Алексеевич!

Письмо, о котором Вы сомневаетесь, мною действительно не получено. По-видимому, какой-то хам в поисках "крамолы" или просто скучая "без развлечений" — разорвал конверт, прочел и зевая бросил: "Так вас тилигентов. Буржуи проклятые... Вообще надо уничтожить авторов. На кой они ляд!?"

У нас нет ни керосина, ни чая, ни сахара, ни табаку, ни масла, ни мяса. У нас есть по 300 гр. отвратительного мешаного полусырого хлеба, обвислый лук и маленькие горькие, как хина, огурцы с неудавшегося огородика, газета "Правда" и призрак фининспектора за (1нрзб) Ни о какой работе говорить не приходится. Я с трудом волоку по двору ноги. Никакая продажа вещей здесь невозможна; город беден, как пустой бычий пузырь... Сужу по вашему письму, что и Вам не легче, — быть может. Но Вы все же в городе сосцов, хотя и полупустых; можно выжать изредка немного молока. А здесь — что?

Я пишу вам всю правду...

Ваш А. С. Грин. 2 авг.1931 г.»[482]

Все, что можно было продать, они продали. Оставались только золотые часы, которые подарил Александр Степанович Нине Николаевне в 1927 году, но на них найти покупателя ни в Феодосии, ни в Старом Крыму было невозможно. Слишком дорогой оказалась вещица. Как-то раз Грин даже собрался поехать в Ялту, чтобы продать часы, но опоздал на пароход и вернулся домой, привезя жене из Феодосии булочек, пирожных и конфет.

Надо было снова ехать выбивать деньги, заключать договоры и брать авансы. С трудом наскребли на дорогу ему одному, и летом 1931 года Грин поехал в Москву. В последний раз. Пил он там по-страшному, пил так, что не мог сам написать письмо домой, и под его диктовку писала перепуганная его видом жена Новикова Ольга Максимилиановна. Пил так, что падал пьяный у забора Дома красной профессуры, работницы общежития КУБУ вели его под руки, он бранился, кричал, брыкал ногами, и заведующая общежитием Мария Николаевна Синицына, которую Грин уважал и обычно слушался, а она с пониманием и сочувствием относилась к его болезни и имела для него всегда наготове шкалик водки, была вынуждена сказать: «Александр Степанович, мне очень жаль, что я должна огорчить Нину Николаевну, но я принуждена немедленно послать ей телеграмму; попрошу ее приехать и успокоить вас. Вы стали невыносимы»[483].

А он был невыносим, потому что в издательствах не хотели печатать ничего, кроме «Автобиографической повести». И еще потому, что уже тогда у него начался рак, но никто этого не знал.

Нина Николаевна писала ему в Москву: «... хочется уже, чтобы ты, голубчик, скорее приехал, и мы бы зажили очень, очень тихо и покойно. Я очень рада, что у меня нет детей»[484]. Он ей ничего не отвечал. Впервые за одиннадцать лет.

21 августа 1931 года Грин вернулся домой. «Лицо одутловатое, небрит, глаза мутны, неряшлив, вены рук набрякли, руки дрожат»[485]. Жена не стала ни о чем спрашивать, уложила его в кровать. «Во сне у него было лицо обиженного мальчика»[486].

Утром он отдал ей 600 рублей и сказал: «А литературные наши дела совсем плохи. Амба нам. Печатать больше не будут. Продать сборник рассказов — и нечего думать»[487].

Среди этих рассказов был «Комендант порта», один из шедевров позднего Грина, чудный сплав романтики и реализма, история человека, который живет в порту, знает всех моряков и все корабли, но никуда сам ни разу в жизни не плавал (моряки сказали бы, не ходил), потому что работал мелким клерком в торговом складе частной компании. А мечтал об иной жизни. Но «Тильсу помешала сделаться моряком падучая болезнь, припадки которой к старости хотя исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд, давала десять центов на самочинные мужские расходы, и, помахивая тросточкой, Комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства, с тех пор как еще на руках матери он потянулся ручонками к спускающемуся по голубой стене моря видению парусов».

Мотив, чем-то повторяющий или предваряющий «Автобиографическую повесть», но все равно романтически преображенный и переосмысленный. Если над никчемным молодым героем повести грубые моряки смеются, то в рассказе они, за редким исключением, любят старика за доброе сердце и бескорыстие, кормят, наливают стакан вина, и именно ему поручают пойти к буфетчице Пегги Скоттер, когда у той умирает жених, чтобы сообщить ей страшную весть:

«Кому идти? Некому. Все боятся. Как это сказать? Она заревет. А вы, Тильс, сможете; вы человек твердый, да и старый, как песочные часы, вы это сумеете. Разве не правда?»

Тильс идет, хотя сказать, конечно, ничего не может. Он слишком нескладен для этого. Если бы мог, если бы умел и

был действительно полезен — все очарование рассказа пропало бы. Художник не умирал в Грине до конца дней.

«— Хотите, Комендант? — сказала Пегги, протягивая ему бисквит. — Скушайте за здоровье Вильяма Бранта. Вы недавно спрашивали о нем. Он скоро вернется. Так он писал еще две недели назад. Когда он приедет, я вам поставлю на тот столик графин чудесного рома... без чая, и сама присяду, а теперь, знаете, отойдите, потому что, как набегут слуги с подносами, то вас так и затолкают.

— Благодарю вас, — сказал Тильс, медленно засовывая бисквит в карман. — Да... Когда приедет Брант. Пегги! Пегги! — вдруг вырвалось у него.

Но больше он ничего не сказал, лишь дрогнули его сморщенные щеки. Его взгляд был влажен и бестолков».

Он уходит, этот никчемный, боящийся физической работы человек, оставляя Пегги в недоумении и тревоге, так и не объявив дурную весть, но «с этого момента в ее мыслях села черная точка, и, когда несколько дней спустя девушка получила письменное известие от сестры Тильса, эта черная точка послужила рессорой, смягчившей тяжкий толчок».

А потом Тильс умирает нелепой смертью, подавившись ложкой супа, и все в порту и на кораблях о нем тоскуют, и когда некий высокий краснорожий детина пытается Коменданта заменить («Если у тебя сапоги украли, ты ведь купишь новые? А вам же я хотел услужить, — воры, мошенники, пройдохи, жратва акулья!»), самозванца без обид прогоняют:

«Подделка налицо. Никогда твоя пасть не спросит как надо о том, “был ли хорош рейс”».

При публикации этого рассказа, уже после смерти Грина, Корнелий Зелинский заметил, что Грин написал о самом себе. Можно и так сказать, действительно, никто Грина в русской литературе не заменил, но в Литфонде похоронили Александра Степановича уже при жизни. И в переносном, и в прямом смысле слова.

Сохранилось заявление, оставленное им в одном из московских издательств летом 1931 года: «Уезжая сегодня домой в Крым, я лишен возможности дождаться решения издательства, но обращаюсь с покорнейшей просьбой выдать мне двести рублей, которые меня выведут из безусловно трагического положения»[488]. Позднее это «безусловно трагическое положение» и использует в своих мемуарах Паустовский, который многое у Грина пытался перенять и был критикуем за это Платоновым.

А Грину оставалось надеяться лишь на помощь от Союза писателей. Осенью он подал заявление о пенсии.

«Теперь мне 51 год. Здоровье вдребезги расшатано, материальное положение выражается в нищете, работоспособность резко упала.

Уже два года я бьюсь над новым романом “Недотрога” и не знаю, как скоро удастся его закончить. Гонораров впереди — никаких нет. Доедаем последние 50 рублей. Нас трое: я, моя жена и ее мать, 60 лет, больная женщина.

О состоянии нашего здоровья, требующего неотложного лечения, прилагаю записку врача Н. С. Федорова, пользующего нас уже более года»[489].

Ответа ему не было. Грин написал письмо Горькому, в котором просил о помощи, как просил в 1920-м. Ответа не было.

В воспоминаниях Шепеленко говорится:

«Получаю от Грина письмо из Старого Крыма: “Заболел. Туберкулез, осложненный воспалением легких. Нужны деньги. Присылаю подписной лист. Обратитесь прежде всего к моему другу Вересаеву, а потом в Союз”.

— Мне жаль Александра Степановича, — ответил мне Вересаев, — но я не могу ему помочь. А в Союз мне идти противно!

— Подписные листы в частном порядке запрещены законом, — отрезал мне по телефону Петр Семенович Коган.

— Грин, — заявила на заседании правления Сейфуллина, — наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям! Ни одной копейки принципиально!»[490]

«Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными», — писал в эти же годы Осип Мандельштам.

Справедливости ради надо сказать, что в фонде Грина все же имеется письмо из Литфонда. «30/9 1931. Президиум литературного фонда РСФСР по поводу Вашего заявления от 17.9. с. г. постановил послать Вам в виде пособия на лечение болезни 200 р., что и выполнено телеграфным переводом от 26.9 с. г. К сожалению, полнейшее отсутствие в кассе Литфонда денег и невозможность удовлетворить не менее острую нужду других товарищей лишает нас в настоящее время удовлетворить Вашу просьбу в полном объеме»[491].

Когда нечем было платить за машину, чтобы ехать на

рентген в Феодосию, прислал от себя 300 рублей Тихонов, весной 1932 года пришло 200 рублей от Вересаева. Тихонов же добился, чтобы «Издательство писателей в Ленинграде» заключило с Грином договор на публикацию «Автобиографической повести» и высылало ему по 250 рублей в месяц.

Но все это было и нерегулярно, и слишком мало. «Нужда стала пыткой», — взывал Грин в апреле 1932 года к управляющему делами Союза писателей Григоровичу. А Нина Николаевна послала в Москву телеграмму, где говорилось о том, что Грин умирает от истощения. На этот раз союз среагировал молниеносно.

«Из обещаний Союза помочь А. С. ничего не было выполнено, кроме посылки телеграфом 250 рб. на имя “вдовы писателя Грина Надежды Грин” в мае 1932 года, когда А. С. еще был жив», — записала Нина Николаевна в своих комментариях к письмам Шепеленко[492].

В мае 1932-го Грин еще не умер, но был уже на исходе. Он почувствовал себя плохо весной 1931-го. Обратились к старому, заслуженному врачу Федорову. Тот не нашел ничего серьезного: небольшое раздражение и увеличение печени, но с алкоголем велел покончить. Грин только усмехнулся. «Еще в молодости мне этим грозил врач, лечивший меня от алкоголизма, а я все живу и живу!» В конце августа, после того, как Грин, вернувшись из Москвы, потерял сознание, пришлось звать Федорова снова. Выслушав больного, врач нашел воспаление легких, но на рентген почему-то не послал. А температура не спадала всю осень.

В ноябре 1931 года Н. Н. Грин писала И. А. Новикову:

«Положение А. С. очень тяжелое. Два месяца высокой температуры его съели, а теперь еще выше стала температура, и я боюсь всего страшного, так боюсь, у него мало сил, и есть почти ничего не может. Здесь нет врачей, нет средств для исследования больных; как в яме. Он все время жестоко волнуется и беспокоится теперь тем, возьмут ли его в клинику. Как во время этой тяжелой болезни выявились все высокие качества его души, как он стал терпелив, прямо сердце разрывается. И так страшно за него»[493].

Нина Николаевна и ее мать втайне от Грина стали вязать платки и береты и менять их на продукты. Много приходилось платить врачам, еду готовили отдельно — Грину давали все лучшее, но легче ему не становилось.

«“Это расплата, алкоголизм требует к ответу, — сказал он однажды жене. — Я хочу, чтобы ты поняла, что я считаю нормальным свое теперешнее состояние. Мне 52 года, я так изношен, как не всякий в таком возрасте. Ты знаешь, что

жизнь грубо терла меня, и я ее не жалел. За водочку, дружок, все расплачиваются. Твой отец тоже расплатился. Жаль мне тебя — беззащитен ты, мой малыш, а книги мои не ко времени. Трудно тебе будет. Я внутренне готов к тому, чему быть предстоит. И больше об этом, родная, говорить не будем".

Это был первый и последний раз, что Александр Степанович так твердо и отчетливо заговорил о своей смерти»[494].

Весной он уже почти не вставал. Чтобы выносить его в сад, наняли сильную женщину Степаниду Герасимовну. Однажды она вынесла его из дома вперед ногами. «Видишь ты, Александр Степанович, я тебя сегодня как покойника выношу»[495]. Как пишет Нина Николаевна, душевно эта женщина стала ему после ее слов противна, но вслух он ничего не сказал.

Болезнь вообще изменила его. Он стал интересоваться здоровьем посторонних людей, чего прежде не делал никогда. «Куда делась его строптивость и грубость 31 года? А. С. в постели стал чудеснейшим из людей. И почти год его лежания не сделал его ни капризным, ни нетерпеливым. А. С. с марта не хотел есть, таял на глазах, рак еще не был определен. Он сам говорил, что без еды можно умереть, а есть не хотел. После этой записки 6 дней он ел все, что я давала. А потом со слезами попросил не мучить его пищей»[496].

Записка, которую упоминает Нина Грин, в архиве сохранилась:

«Сашечка, милый!

Если ты не хочешь больше жить — скажи мне это прямо, я тогда ничем тебя тревожить не буду. Делай все как хочешь. Но, если хочешь жить, то надо к этому приложить какое-то усилие. Если у самого нет сил сделать это усилие, отдайся на мою волю, я ничего тебе кроме добра не желаю. А так терзаться я больше не могу. Твоя любящая Нина»[497].

Все было как с ястребом Гулем, которого они так же пытались насильно кормить.

Нина Грин просила мужа выздороветь к Пасхе, самому любимому его празднику. Не вышло.

Глава XVIII
«ХРИСТИАНСКОЙ КОНЧИНЫ ЖИВОТА НАШЕГО...»

Был ли Грин религиозен? Сегодня это не вызывает сомнения: в последние годы жизни Александр Степанович и Нина Николаевна часто бывали в церкви в Старом Крыму.

«Идет служба. В церкви молящихся ни души, только священник и дьячок справляют всенощную.

Лучи заходящего солнца косыми, розовыми полосами озаряют церковь. Задумчиво и грустно. Мы стоим у стены, близко прижавшись друг к другу. Церковь меня волнует всегда, обнажая душу, скорбящую и просящую о прощении. За что? — не знаю. Стою без слов, молюсь настроением души, прошу словами милости Божьей к нам, так уставшим от тяжелой жизни последних лет. Слезы струятся по лицу моему. Александр Степанович крепче прижимает мою руку к себе. Веки его опущены, и слезы льются из глаз. Рот скорбно и сурово сжат»[498].

Перед смертью Грин попросил, чтобы к нему пришел священник. Александр Степанович исповедался и причастился, и это был не просто жест отчаяния прожившего всю жизнь вне веры и в самый последний миг вдруг опомнившегося человека.

В апреле 1930 года, в ответ на вопрос, верит ли он сейчас в Бога, Грин писал Вере Павловне Калицкой, и его слова — объяснение тому, почему так мало церковного в его прозе: «...Религия, вера, Бог — эти явления, которые в чем-то искажаются, если обозначить их словами. ... Не знаю, почему, но для меня это так.

...Мы с Ниной верим, ничего не пытаясь понять, так как понять нельзя. Нам даны только знаки участия Высшей Воли в жизни. Не всегда их можно заметить, а если научиться замечать, многое, казавшееся непонятным в жизни, вдруг находит объяснение»[499].

Вера Павловна отвечала Грину: «Прости, что я не ответила быстро на Твое последнее коротенькое письмо о рели-

гии. Если бы не оно — так я бы, вероятно, и вообще не сумела бы написать тебе. У меня одно время пропало всякое доверие к Тебе, даже самое минимальное. Но когда я прочла Твое коротенькое письмо, я подумала, что ошиблась. Ведь только ханжи и лицемеры “умеют” писать легко и развязно о Боге. А Ты написал очень хорошо. И опять блеснула та сторона Твоей души, с которой не страшно»[500].

В письме Грина к И. А. Новикову есть такие строки: «Я буду очень рад, конечно, если Ваше положение лучше, чем я представляю его себе, а потому желаю Вам и в том, и в другом случае не падать духом, твердо надеясь на... я бы сказал, на Кого, если бы знал, что вызовет в Вас соответствующий отклик»[501].

Писателю Юрию Домбровскому, которого в 1930 году послали к Грину взять интервью от редакции журнала «Безбожник», Грин ответил: «Вот что, молодой человек, я верю в Бога»[502].

Домбровский далее пишет о том, что он смешался и стал извиняться, на что Грин добродушно сказал: «Ну вот, это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдет, конечно. Скоро пройдет»[503].

Это действительно пройдет в судьбе Юрия Осиповича, когда он станет узником ГУЛАГа, а потом напишет «Хранителя древностей» и «Факультет ненужных вещей», но, возвращаясь к Грину, надо сказать, что судить о том, каким был его путь к вере, очень сложно, а вместе с тем необходимо, потому что без этого образ писателя будет неполным.

В «Автобиографической повести» о своей детской или юношеской религиозности Грин ничего не говорит. Во всяком случае следов какой-то драмы утраченной веры, богоотступничества или остро пережитого ощущения богооставленности, свойственного многим русским людям этого времени, в его дореволюционных произведениях не найти. Едва ли было глубоко религиозным, связанным с русской церковной традицией, как у Шмелева, его вятское детство. Во всяком случае одна сцена из «Автобиографической повести», относящаяся к одесскому периоду жизни Грина, указывает на то, что он был далек от обрядовой стороны вероисповедания: «Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили: “Гриневский, прикури от лампадки” (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).

Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами.

Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, — боцман твердил: “Ты сам-то не понимаешь, что ли?”»

Тогда не понимал. Понял позже. Потому об этом и написал.

В той же «Автобиографической повести» есть также два эпизода с участием в них священника. Оба эти эпизода относятся к пребыванию Грина в тюрьме.

«Вскоре после моего ареста политических заключенных вздумал посетить архиерей из Симферополя. Это был дородный высокий человек с зычным голосом. На свою беду он зашел ко мне первому.

После неудачного побега я был в мрачном отчаянии. Архиерей вошел, сопровождаемый тюремным начальством, и с места в карьер сказал что-то высокомерное.

— Вам незачем приходить сюда, — сказал я. — Мы не дикие звери, чтобы смотреть на нас из пустого любопытства.

Архиерей отступил и укоризненно покачал головой.

— Нет! Вы и есть дикие звери! — заявил он, поворачиваясь уходить. — Я думал, что вы — люди, а теперь вижу, что точно — вы есть звери!

Он ушел, ни к кому больше не заходил, а через час меня вызвали в канцелярию.

— Зачем вы обидели батюшку? — строго спросил начальник.

Я только махнул рукой».

Другой эпизод носит характер отчасти комический.

«На втором году моего сидения в тюрьму пришел другой архиерей — старенький, сгорбленный, лукавый; он долго бранил меня за то, что я много курю (в камере стоял дым, как в кочегарке), и, уходя, стянул с полки мою четвертинку табаку; я видел, как он ловко стянул ее, спрятав в рукав, но ничего не сказал».

Это было написано в 1930 году и опубликовано в 1931-м, и в обоих эпизодах духовные лица изображены вразрез с принятыми в ту пору правилами. Несмотря на высокомерие первого архиерея и лукавство второго, тут можно увидеть покаяние героя, который сам признает то отчаяние (а вовсе не героизм и революционное подвижничество), в каком пребывала в молодости его душа. Да и боцмана, его ударившего, Грин, в общем, не осуждает. Просто констатирует факт, что в молодости был от религии далек, и ни утешением, ни спасением, ни тем более путеводной звездой она ему в плавании по житейскому морю не была.

В рассказе «Тюремная старина» есть эпизод, относящийся к периоду службы в армии: «На исповеди я сказал священнику, что “сомневаюсь в бытии Бога”, и мне назначили эпитимью: ходить в церковь два раза в день, а священник, против таинства исповеди, сообщил о моих словах ротному командиру».

В десятые годы, уже став профессиональным писателем, Грин не стремился религиозную жизнь понять, не искал глубины и смысла ни в православии, ни в сектантстве (что было свойственно очень многим литераторам рубежа веков), не связывал с религией революцию, как те же — при всем их несходстве — Савинков, Мережковский, Клюев; сектантство он прямо высмеивал, но даже в самых черных вещах раннего Грина — рассказах «Окно в лесу», «Приключения Гинча», «Рай» (если только не считать названия последнего) — несмотря на их отчаяние и ужас, нет прямо выраженного богоборчества, как, например, у Маяковского в поэме «Облако в штанах» («Тринадцатый апостол»):

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахший ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.

У раннего Грина немало общего с ранним Маяковским в отрицании мещанской добродетели, но Грин выстраивает свои и своих героев отношения с небом не просто иначе, чем Маяковский, но с точностью наоборот, совершенно исключая момент личного общения между человеком и Богом, неважно, с целью послушания или ослушания. Характерен разговор героев о Боге в рассказе «Дьявол оранжевых вод»:

« — Верите вы в Бога? — неожиданно спросил он.

— Да, Бога я признаю.

— Я — нет, — сказал русский. — Но мне, понимаете, — мне нужно, чтобы был кто-нибудь выше, разумнее, сильнее и добрее меня. Я готов молиться... кому? Не знаю. Не о хлебе. Нет. О возвращении сил, о том, чтобы жизнь стала послушной... а вы? ... Нам будет, может быть, легче и веселее... Давайте молиться — без жестов, слов и поклонов. В крайнем случае — самовнушением...

— Оставьте, — перебил я. — Вы, неверующий, — молитесь, можете разбить себе лоб. А я, верующий, не стану. Надо уважать Бога. Нельзя лезть к нему с видом побитой собаки лишь тогда, когда вас приперло к стене. Это смахивает на племянника, вспоминающего о богатом дяде только потому, что племянничек подмахнул фальшивый вексель. Ему также, наверное, неприятно видеть свое создание отупевшим от страха. Отношения мои к этим вещам расходятся с вашими; потому, дорогой мой, собирайте руки и ноги и... попытаемся закусить».

Несмотря на прозаическую концовку и нежелание вести о вере и безверии разговор в духе героев Достоевского, очевидно, что Грину гораздо ближе Бангок с его короткими и ясными нравственными максимами: Бога признаю, Бога надо уважать, но приставать к Нему (то есть молиться), а особенно когда жизнь берет за горло, не надо. Человек должен делать все сам и только на себя уповать. Вот нехитрые выводы Александра Грина, которым следуют его лучшие герои.

А потом наступает революция, и Грин пишет «Алые паруса», произведение, которое в советское время, естественно, практически не рассматривали с точки зрения евангельских реминисценций, в то время как такой взгляд на феерию помогает увидеть очень важные и сокровенные стороны не только в ней самой, но и в мировоззрении и творчестве Грина. Именно об этой вещи с точки зрения ее религиозности появились недавно две весьма любопытные, хотя и не бесспорные статьи.

Одна из них принадлежит священнику Пафнутию Жукову из Сыктывкара.

«“Алые паруса” — любимая книга множества юных мечтателей. Но есть в ней тайна, которая по сей день сокрыта от большинства читателей — молодых и старых. От молодых потому, что они, воспринимая книгу мечтательным сердцем, не ведают особого духовного ключа, указывающего на ее иносказательное значение; а от старых потому, что, читая сердцем умудренным и усталым, они только лишь отдыхают, возвращаясь к бесценным минутам далекой юности. Но прошу вас, присмотритесь к этой книге внимательней. Она наполнена особыми символами, указывающими на тайны духовной жизни, а ключ к пониманию этой сказочной феерии можно найти на страницах Евангелия...

Один из самых значительных символов книги — это, конечно, море.

Море в “Алых парусах” — это не только то великое пространство, в которое с надеждой на счастье вглядывается

Ассоль, но еще и беспредельность пространства и времени того сверхъестественного мира, в котором только и может зародиться и совершиться то, что кажется невозможным для приземленного ума. Море — образ того беспредельного и вечного бытия, которое то бурно и грозно, то почти неслышно воздыхает и плещется у самого порога нашего восприятия, оставаясь не доступным пониманию.

Поэтому сказочный мир, в котором живет Ассоль, — это мир чудесного, доступный лишь утонченному восприятию тех, кто умеет мечтать о вещах необычных и не свойственных рациональному миру. И главное свойство такого мира — идеальное совершенство. Но не стоит осуждать героиню за ее идеализм. Подумайте только: достойно ли мечтать о вещах несовершенных, о которых нередко мечтают многие из нас? И станет ли человек хотя бы немного совершеннее, если будет мечтать о чем-то относительно доступном?»[504]

Здесь я прерву о. Пафнутия и дам слово другому священнику, протоиерею Максиму Козлову, настоятелю университетского храма Святой Мученицы Татианы в Москве. Его книга «Последняя крепость» построена по принципу вопросов-ответов.

Вопрос: «Одни годами ждут большого чувства, а другие выбирают себе супруга из тех, кто рядом. Кто прав?»

Ответ: «Разумеется, неразумно было бы “скармливать” своей дочери романтизм “Алых парусов”: ты вот жди прекрасного принца, который приплывет на корабле и заберет тебя “в страну далече”, где ты будешь с ним необыкновенно счастлива и окружена всем, о чем только человек мечтает. Это недолжная крайность»[505].

О. Пафнутий (с книгой о. Максима незнакомый):

«А белый корабль и алые паруса — это символы, указывающие верующим читателям на Церковь и Христа, поскольку уже с первых столетий христианства Церковь в учении святоотеческом была связана с символом корабля. Церковь и доныне для каждого из нас — корабль спасения, преодолевающий жизненные бури и приводящий верных к тихой гавани Божественной любви — Иисусу Христу.

А цвет парусов указывает на Христа еще яснее, поскольку цвет алый, обозначающий царскую порфиру, — знак власти и царственного достоинства Капитана, ведущего корабль. И мы с вами из самой книги знаем, что капитан корабля, плывущий навстречу Ассоль, — он и есть ожидаемый благородный принц и жених. До сих пор можно услышать насмешку в адрес девушек, осторожных в выборе спут-

ника жизни: "Что-то разборчива девица с женихами — не принца ли ждет? Хе-хе..."

Впрочем, так судят именно те, кто относят невинность к неполноценности. Но думается, что если бы у нас невинность и сегодня почиталась за добродетель, то и принцев среди женихов было бы куда больше. Однако в этом символе мы подразумеваем иного Принца, царского Сына и Наследника, в руках Которого власть и могущество Его царственного Отца: "...да прославится Отец в Сыне" (Ин. 14, 13)».

И дальше священник, уже как текстолог, приводит любопытное литературоведческое наблюдение:

«Вспомним святую великомученицу Екатерину, отказавшую знатным и богатым женихам ради Жениха Небесного, счастье с Которым, как она знала, поистине неразрушимо и совершенно. Из жития святой известно, что Сам Господь, явившись в видении, вручил ей в залог обручения Свой перстень, и девушка, проснувшись, обнаружила этот перстень на своей руке.

А теперь обратите внимание: такое же тайное обручение происходит и с главной героиней книги — Ассоль, которая, проснувшись в лесу, находит на своей руке кольцо и с этого момента не только мечтает, но уже и твердо верит в предстоящую встречу. И жених, как видим, не обманывает ее ожидания! Спаситель, беседуя с учениками о грядущем Своем пришествии, часто в притчах сравнивал Себя с женихом, души праведников — с невестами, а будущее блаженство — с брачным пиром.

Таким образом и вся сказочная феерия об алых парусах предстает как бы художественным переосмыслением ряда евангельских притч, рассказанных Самим Иисусом Христом. Причем такое переложение вполне оправданно, поскольку образы героев книги наиболее приближены к нашему восприятию.

Если мы осознаем это, то станет более понятно и то, что, являясь перед людьми на белом корабле — образе торжествующей и царственной Церкви, — жених в "Алых парусах" простирает руки навстречу невесте именно так, как говорит о том ветхозаветный евангелист пророк Исаия, указывая на знамение Креста, обращенное к миру: "Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному..." (Ис. 65, 2). И что же дальше? "Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?" — спрашивает жених, поднимая Ассоль на руки.

Как мало это похоже на первую встречу юных влюбленных и как явно повторяет вопрос Христа, обращенный к миру и красной нитью пронизывающий Евангелие: "Вот Я

пришел. Узнали ли меня?” Итак, о чем эта сказка, написанная человеком, узнавшим так много разочарований и так немного счастья в своей жизни? Главная ее мысль необычайно проста: “Мечтайте о высоком и недоступном! Питайте любовь в сердце, веруйте и не теряйте надежду на то, что ваша вера будет вознаграждена!”

О том, что “Алые паруса” — пророческая книга, свидетельствует слишком многое, чтобы оказаться просто совпадением. Вот ее символы: море — символ вечности, корабль — Церкви, жених — Спасителя, простирающего к нам руки с Креста, а описание цветущей розовой долины — символ вечного блаженства и общения с небесными ангелами.

В те дни, когда изгоняли и убивали священников и сжигали Евангелие на уличных кострах, в советской России человек писал книги. Писал где попало — на камне, на ящике, на чужих столах в нетопленой квартире. И вот в душе Грина разверзлась такая пустота, что он едва не кричал от страха.

Мы не знаем — думал ли он в этот момент о Боге, но знаем, что Бог помнил о нем и вложил в его измученное сердце пророческие слова, обращенные к тем, кто еще верил, что мир — это не только кровь, голод, предательство. И вот эта книга перед нами. Давайте прочтем ее пророчество: “...Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе...

Тогда ты увидишь храброго красивого принца: он будет стоять и протягивать к тебе руки. ‘Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали’.

Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом”»[506].

О религиозном подтексте «Алых парусов» написал также критик Георгий Бондаренко, который прежде всего обращает внимание на место действия феерии: Каперна-Капернаум. Впервые на эту параллель обратил внимание в 60-е годы В. Ковский, но с прямо противоположных позиций:

«Использование религиозной символики для усиления по существу своему богоборческих идей можно заметить и в

"Алых парусах". Слово "Каперна" наводит на прямую ассоциацию с Капернаумом, городом древней Палестины, жителям которого, по евангельскому преданию, Иисус предрек суровую участь за нечестивость (Евангелие от Матфея, гл. II, строфы 20, 23, 24). Мученичество Ассоль в Каперне завершается осуществлением ее мечты, многократно осмеянной капернцами. Появление снаряженного Грэем алого корабля поистине вершит над неверием капернцев некий страшный суд: "Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был... наскакивали друг на друга, вопили и падали". Единственной возможной верой человека феерия провозглашала веру в мечту, осуществляемую другим человеком»[507].

Бондаренко же пишет так:

«Первое, что бросается в глаза — это название приморского городка, родины Ассоль — Каперна. В Евангелии Капернаум — "Селение Наума" на берегу Галилейского моря. Для меня Каперна и Капернаум сразу же становятся тождественными, поскольку миф Грина о первом городе тождественен евангельскому мифу о втором. И мифы эти, стоит напомнить, — вовсе не несбывшееся, нереальное, но, наоборот, самая объективная реальность. Созвучие и сходство одного и другого города несомненно подразумевалось Грином, а что до других поразительных совпадений, то они могут быть и непреднамеренными, но все же являются необходимой частью мозаики мифов, а стало быть, появляются неспроста.

Капернаум в Евангелии — место проповеди Спасителя, город, где Им было сотворено множество чудес. Но в жестоких сердцах жителей города и проповедь, и чудеса не пробудили ни веры, ни любви, ни покаяния, только страх охватил горожан. Подобно этому все жители гриновской Каперны со страхом и возмущением встречают чудо корабля под алыми парусами, чудо любви. Грина обвиняли и продолжают обвинять в человеконенавистничестве, в презрении к обывателю, далекому от фантазий его "недотрог". Хорошо. Но вспомним гневные слова Христа, обращенные к Капернауму и его жителям: "И ты, Капернауме, иже до небесъ вознесся, до ада снидеши" (Мф. 11, 23). Так что, если и говорить о юношеском максимализме Грина, то только памятуя о "максимализме" Христовой проповеди»[508]*.

---

* Впрочем, нельзя сбрасывать со счета и более приземленное объяснение топонимики Каперны: в Петрограде до революции существовал кабачок «Капернаум», весьма популярный среди литераторов; он упоминается, в частности, в романе А. Н. Толстого «Егор Абозов».

Еще одно важное место в «Алых парусах», которое вызывало много споров — это сцена, когда на глазах у Лонгрена гибнет Меннерс и тот не делает ничего для того, чтобы его спасти. Вот как критик комментирует этот эпизод:

«Говорили о жесткости, даже жестокости Грина, о том, что герои его не следуют заповеди “не убий”. И как вообще можно говорить о христианстве и гуманизме Грина? Этот момент долго смущал меня, и мне казалось, что и сам писатель понимает безрассудную жестокость своего героя. Как сказал Лонгрен: “Черную игрушку я сделал, Ассоль”.

Объяснение снова приходит из Евангелия, из слов проповеди Спасителя в приморском Капернауме: “А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской” (Мф. 18, 5). Так и злосчастный Меннерс находит смерть за обиду женщины и ребенка. Для нас важно, что именно в Капернауме звучат слова Спасителя: “Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидете въ Царство Небесное. Иже бо ся смиритъ яко отроча се, той есть болии в Царствии Небеснемъ” (Мф. 18, 3—4). Ассоль и есть то дитя, что поставил Спаситель между своими учениками. Ассоль из Каперны, бесхитростно молящаяся своему Богу утром: “Здравствуй, Бог!”, а вечером: “Прощай, Бог!” Ее день в ожидании чуда полон Бога, как день младенца».

Или еще одно замечательное, никому ранее в голову не приходившее наблюдение, еще одна, как пишет Бондаренко, «удивительная картинка из “Алых парусов”, обыгрывающая, намеренно или нет, евангельский сюжет»:

«Перед тем как увидеть спящую Ассоль рядом с Каперной, капитан Грэй поплыл с матросом Летикой на берег, где Летика удил рыбу. Ночью матрос “засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам — что там? Но там, само собой, ничего не было”. Казалось бы, ничего не значащая виньетка, забавное украшение, чтобы нарисовать такого любопытного и пронырливого персонажа. Но вот рассказ о просящих дидрахмы в Евангелии. В Капернауме собиратели подати спрашивают у Петра и его Учителя дидрахмы, и Христос говорит Петру: “Шедъ въ море, ъверзи удицу, и юже прежде имеши рыбу, возми, и отверзъ уста ей, обрящеши статиръ, той веземъ даждь имъ за мя и за ся” (Мф. 17, 27). Это рыбалка возле Капернаума. Сразу предвижу недоумение: а у Грина-то ничего в рыбе не находят?! Конечно, ведь это другое время и другие правила».

Грин и в самом деле писал и жил по своим правилам. Так же, как и его герой.

«Артур Грэй родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне все равно, — сказал Грэй. — Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу».

Это очень по-гриновски, очень трогательно и по-человечески понятно, особенно если учесть, что речь идет о порыве семилетнего мальчика, но примечательно, что оба процитированных выше критика не пишут об этом ключевом эпизоде, потому что он уводит от христианского миропонимания и не укладывается в концепцию «Алых парусов» как книги, по духу близкой к евангельской. Но если не подменять факты их интерпретацией, следует признать: сам Грин в образе Грэя не имел в виду Жениха, и то царство, куда увозит капитан «Секрета» Ассоль, не есть Царство Небесное.

Относиться к Грину как к религиозному писателю, использующему сказочные образы для претворения христианских идей — а именно это из статей о. Пафнутия Жукова и Бондаренки-младшего следует — было бы такой же натяжкой, как считать его вслед за Ковским богоборцем. Грин для этих материй слишком художник и не философ. Если следующий за «Алыми парусами» роман «Блистающий мир» — произведение, в той или иной мере касающееся религиозных образов, но при этом весьма далекое от ортодоксальности и Евангелия и скорее сильно *нео*христианское, то «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана» и «Дорога никуда», равно как и рассказы Грина последних лет, евангельскими реминисценциями бедны, а христианско-

го духа в них так же мало, как духа русского в каком-нибудь «Острове Рено» или «Колонии Ланфиер».

То, что увидели в «Алых парусах» вышеназванные авторы, есть скорее результат их доброжелательного, но иногда вольного толкования, или же произошло помимо воли Грина, было ему нашептано, угадано, им не осознано, но интуитивно почувствовано в сиротстве и раздоре революционных лет. Говоря о жизненном пути Александра Грина, надо признать, что по-настоящему христианской была не жизнь его и не литература (за исключением, может быть, отдельных эпизодов «Автобиографической повести»), но смерть, однако для христиан именно кончина имеет особенно важное значение.

«Поистине эти месяцы были лучшими, чистейшими и мудрейшими в нашей жизни», — писала Нина Николаевна о последних месяцах жизни мужа[509].

Он умирал без ропота и кротко, никого не проклиная и не озлобясь. Только от темного, с окнами на север дома на Октябрьской улице, где они тогда жили, очень устал и мечтал о переезде. Золотые часы, которые Нина Николаевна берегла на самый черный день, весной 1932 года она обменяла на маленький саманный дом с земляными полами, принадлежавший двум монахиням, которые тоже были в положении безвыходном и знали, что дороже их хатку никто не купит. Домик этот на улице Карла Либкнехта с окнами на юг и стал последним земным пристанищем Александра Степановича Грина.

«Кровать стояла у широкого трехстворчатого шкафа, в окно заглядывали головки зацветших лилий — оно было невысоко над землей. А в другое окно, у ног Александра Степановича, протянула свои ветки невысокая молодая слива... Сад был запущен, зарос густой травой, в которой в тот год цвело очень много диких маков. Этот ковер подходил к самой кровати Александра Степановича. В траве, недалеко от него, сидела маленькая девочка с большими черными серьезными глазами. Ее красное платьице алело, как маки, из которых она плела венок»[510].

Картина, похожая на ту, что описана в рассказе 1924 года «Возвращение». Грин умирал так, как умирал его герой Ольсен.

Но была тут и еще одна реминисценция:

«— Какой славный дом! — сказала Дэзи. — И он стоит совсем отдельно; сад, честное слово, заслуживает внимания! Хороший человек этот судья. — Таковы были ее заключения от предметов к людям.

— Судья как судья, — ответил я. — Может быть, он и великолепен, но что ты нашла хорошего, милая Дэзи, в этом квадрате с двумя верандами?

Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила:

"Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тень высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пылкие цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпившуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?"

Вслух Дэзи сказала:

— Очень здесь хорошо — так, что наступает на сердце.

Нас встретил Товаль, вышедший из глубины дома.

— Здорово, друг Товаль. Не ожидала вас встретить! — сказала Дэзи. — Вы что же здесь делаете?

— Я ожидаю хозяев, — ответил Товаль очень удачно, в то время как Дэзи, поправляя под подбородком ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной.

Ее быстрые глаза подметили все: ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах. Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак: одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря человеческими глазами; другая, встав, вся устремлена на невидимое явление.

— Хозяев нет, — произнесла Дэзи, подойдя и рассматривая картину, — хозяев нет. Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага?

— Или хозяина, — сказал я.

— Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?

— Для вас приготовлены комнаты, — ответил Товаль, худое, острое лицо которого, с большими снисходительными глазами, рассеклось загадочной улыбкой. — Что касается судьи, то он, кажется, здесь.

— То есть Адам Корнер? Ты говорил, что так зовут этого человека. — Дэзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет.

— Товаль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро приедет.

Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде: “ычет, ыроятно, ызать, чьо, ырнер оро рыедет”.

— Ты что-то ешь? — сказала моя жена, заглядывая мне в лицо. — Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Товаль, зачем вы здесь оказались, а вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?

— Но, Дэзи, — умоляюще вздохнул Товаль, — чем же я виноват, что судья — здесь?

Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась.

— Вы думаете, что я дурочка? — поставила она вопрос прямо. — Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы — тоже, может быть, — здесь!

Как ни хороша была эта игра, наступил момент объяснить дело.

— Дэзи, — сказал я, взяв ее за руку, — оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Товаля за его заботы. Я только купил; Товаль потратил множество своего занятого времени на все внутреннее устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло.

Пока я объяснял, Дэзи смотрела на меня, на Товаля, на Товаля и на меня.

— Поклянись, — сказала она, побледнев от радости, — поклянись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому! И я-то и есть судья?! Да будь он грязным сараем...

Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга».

Так было в романе «Бегущая по волнам» — это та самая сцена, из-за которой ломали копья впоследствии гриноведы: так что же — Несбывшееся здесь или нет?

А вот что было наяву весной 1932 года. Дешевый саманный домик с земляными полами. В сущности — сарай...

«— Тебе, Сашенька, нравится здесь?

— Очень. Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь — дико, но в этой дикости — покой. И хозяев нет.

— Хорошо бы такой домик иметь нам... — говорю я.

— Конечно, хорошо, да разве можем мы об этом счастье теперь думать — бедняки мы горькие...

— Так что, если бы у нас была возможность, ты бы купил его?

— Ну, купил бы. Да что ты, Котофей, ко мне, как следователь, пристаешь?

Тогда, вынув из кармана фартука купчую, подаю ее Александру Степановичу: "Читай и на меня не сердись".

С недоумением он развернул документ, начал его читать, и вдруг розовая волна радости охватила его бледное лицо. Он поднял на меня заблестевшие глаза, схватил мои руки, долго держал их молча, прижав к глазам, и крепко, крепко поцеловал»[511].

Так и соотносились в его жизни мечты и реальность. Писал о дворцах, а жил в хижинах. Придумывал далекие моря и парусные корабли, а сам плавал на грязных баркасах. В последнем романе он попытался свести мечты и реальность воедино, написать об «униженных и оскорбленных».

«"Недотрога" окончательно выкристаллизовалась во мне. Некоторые сцены так хороши, что, вспоминая их, я сам улыбаюсь... Здесь-то я обязательно напишу "Недотрогу", и будут снова часы»[512].

А через несколько дней после переезда у Грина началась сильная рвота. Нина Николаевна позвала Яковлева, врача из санатория.

« — У вашего мужа рак желудка. Я это увидел, как вошел в комнату. Года два работал в клинике профессора Оппеля, и у меня есть некоторый опыт в распознании раковых больных даже по внешнему виду.

Хотелось кричать от боли — ведь это же полная безнадежность, а мне надо было молчать, чтобы в открытые окна Александр Степанович ничего не услышал, надо было сделать спокойное лицо. Я только тихо сказала врачу: "Пошлите меня в аптеку".

По дороге врач сказал мне, что он уверен, почти уверен, что это рак.

— А операция?

— Безнадежно. Далеко зашедший случай»[513].

Она предложила собраться всем врачам, лечившим ее мужа. Через несколько дней Грина осмотрели трое докторов, а потом в саду, под большим ореховым деревом прошел консилиум, на котором с диагнозом согласились все.

«Вчера я долго говорила с врачами — от чего же умирает Саша. Они все-таки находят, что от рака, но где зарождение его — в легких ли, в желудке или печени метастазы, или наоборот, сказать ничего нельзя без рентгена. Такой бурный темп истощения, говорят они, бывает только при раке...» — писала она в эти дни Калицкой[514].

В тот же день пришел почтальон и принес бандероль с двадцатью экземплярами «Автобиографической повести», только что вышедшей в Ленинграде. Грин подарил врачам по книге. Последний раз в жизни.

«Мне никогда не забыть этой страшной картины: смертельно бледный Александр Степанович, и на белом одеяле вокруг него разбросаны синие книжки “Автобиографической повести” — тяжелое начало встретилось с не менее горьким и тяжким концом талантливого, светлого, жизнелюбивого писателя. Где справедливость?»[515]

19 июня 1932 года Нина Николаевна писала Новикову:

«Дорогой Иван Алексеевич!

Александр Степанович умирает от рака желудка. Напишите ему что-либо доброе, что его развлечет. О болезни не пишите. Он не знает о своем положении. Очень тяжело и жаль его, страдающего.

Ваша Н. Грин»[516].

«Марина захватила с собой Вашу “Дорогу никуда”, — писал Новиков Грину. — Я даю ее с осторожностью, чтобы не потерять. Но нельзя не дать потому, что эти молодые читатели любят Вас — очень, и эту книжку особенно. С ней спорит только “Бегущая по волнам”»[517].

Это было последнее полученное Александром Степановичем письмо.

За два дня до смерти он попросил, чтобы пришел священник.

«Он предложил мне забыть все злые чувства и в душе примириться с теми, кого я считаю своими врагами. Я понял, Нинуша, о ком он говорит, и ответил, что нет у меня зла и ненависти ни к одному человеку на свете, я понимаю людей и не обижаюсь на них. Грехов же в моей жизни много и самый тяжкий из них — распутство, и я прошу Бога отпустить его мне»[518].

«Он все время в забытьи. До последней сознательной минуты, когда язык его еще не был парализован, он говорил о разных мелочах будущей жизни. Сердце, сравнительно крепкое, упорно держит Сашу на земле», — писала Нина Николаевна Калицкой 8 июня 1932 года[519].

Умер Грин вечером того же дня. В половине седьмого.

Летом в Крыму нельзя затягивать похороны, и хоронили назавтра.

«На кладбище — пустынном и заброшенном — выбрала место. С него видна была золотая чаша феодосийских берегов, полная голубизны моря, так нежно любимого Александром Степановичем... В тот тяжелый для Крыма год даже

простой деревянный гроб было трудно достать. Я обтянула его деревянный остов белым полотном и обила мелкими вьющимися розами, которые Грин, вообще очень любивший цветы, любил больше всего»[520].

«Я думала, что провожать буду только я да мама. А провожало человек 200, читателей и людей, просто жалевших его за муки. Те же, кто боялся присоединиться к церковной процессии, большими толпами стояли на всех углах пути до церкви. Так что провожал весь город. Батюшка в церкви сказал о нем, как о литераторе и христианине хорошее доброе слово... Литераторов, конечно, никого не было, хотя я написала о тяжелой болезни Саши Максу Волошину в Коктебель, где Дом литераторов... Как странно мне, единственно, что острой иглой впивается мне в сердце, это мысль о том, что никогда я больше не услышу и не увижу, как плетется пленительное кружево его рассказа... На всем остался Сашин последний, уставший взгляд»[521].

Глава XIX
НИНА

На этом можно было бы поставить точку. Так жил и так умер Грин. Все остальное – легенда. Возможно, следы ее остались в этой книге, потому что отделить легенду от вымысла иногда бывает очень сложно, хотя автор этой книги именно к тому стремился. Но история Грина – тот самый случай, когда недостаточно рассказать лишь о нем самом и промолчать о том, что ждало его жену и любимую его героиню, его Ассоль, Тави Тум, Дэзи, Молли, Джесси, его Недотрогу. И история эта будет по-своему не менее трагичной и несправедливой, чем история жизни самого Грина.

Она осталась жить вдвоем с матерью в Старом Крыму в том самом саманном домике, где умер Грин. Постепенно приходила в себя, переписывалась с Новиковыми, с Надеждой Яковлевной Мандельштам, с литературоведами Владимиром Смиренским и Корнелием Зелинским, позднее – с Паустовским. Но самым близким человеком для Нины Николаевны оставалась Вера Павловна Калицкая и больше всего в фонде Грина именно ее писем.

«8 июля, в 6 ч. 30 мин. вечера умер Саша, милая Вера Павловна! Агония длилась сутки. Умер очень тихо – отошел. Я все время держала его за руку и гладила по голове, чтобы ему было легче. Утром вспрыснула морфий, чтобы хотя бы и без сознания, но не было у него болей. Он сразу перестал стонать и только тяжело дышал. В гробу лежал с блаженно-тихим спящим лицом, все удивлялись...»[522]

Калицкая отвечала: «Как ни больно мне было думать, что Саша должен умереть, теперь я уже думаю иначе: слава Богу, что он отмучился, успокоился. Когда я прочла Ваши слова о том, что Саша после бреда и галлюцинаций пришел в себя, позвал священника и долго с ним говорил, я была поражена и, не скрою, радостно. Если бы Вы знали, как я молилась о том, чтобы Бог дал Саше "христианскую кончину". Я не смела писать Вам о том, чтобы Вы попросили Сашу

причаститься, думая, что Вы ни за что на это не решитесь, а только молилась»[523].

Калицкая переживала в ту пору тяжелые времена. В начале тридцатых годов у нее испортились отношения с мужем, мрачным, замкнутым человеком, она думала от него уйти и спрашивала в письмах у Нины Николаевны, можно ли купить в Старом Крыму недорогой дом и в нем поселиться, легко ли найти работу. Они подробно обсуждали этот вопрос, мечтали, прикидывали, но, как ни трудно приходилось Вере Павловне с Казимиром Петровичем, она так и не ушла от него. Отчасти потому, что остававшаяся с мужем до конца Нина Грин была ей примером.

А сама Нина Николаевна в 1934 году, поддавшись уговорам матери, вышла замуж за врача-фтизиатра Петра Ивановича Нания, лечившего Грина в последний год его жизни. Это известие очень огорчило литературоведа Владимира Смиренского, полагавшего, что вдова Грина должна хранить память о своем муже и никому более не принадлежать. Вера Павловна по-женски поняла и поддержала Нину Николаевну. И когда в середине 30-х годов Нина Грин приступила к написанию первого варианта мемуаров о Грине и Нанию это сильно не понравилось, Калицкая посоветовала своей корреспондентке не портить из-за Александра Степановича отношений с мужем. Достаточно того, что он мучил ее при жизни, не хватало только, чтобы портил жизнь теперь.

Однако счастья третий брак Нине Николаевне не принес. Жена Ивана Алексеевича Новикова, Ольга Максимилиановна, та самая, что писала в страшном августе 1931-го под диктовку письмо Грина, когда тот был не в состоянии водить рукой, позднее вспоминала:

«В 1936 году я приехала в Старый Крым. Нина Николаевна мне очень обрадовалась, но сама она стала какой-то другой, погасшей. Не было прежней Фрези Грант, которую мы так любили. Сама она это хорошо понимала. “Я очень переменилась, Машенька, — грустно сказала она, когда мы с ней пошли на кладбище, — и я знаю это. Того, что было с Александром Степановичем, не повторится. Тогда я не ходила, а летала, помните? Ненавижу себя такую, как сейчас. Стараюсь жить этой чужой мне жизнью, а не получается. Словно это и не я”»[524].

Все чаще и чаще она возвращалась мыслями к Грину. Еще в 1932 году, полтора месяца спустя после смерти Александра Степановича, она сообщила Новиковым о своем желании написать биографию Грина:

«Если удастся, сама попробую написать, не удастся — попрошу кого-либо, но хочу это сделать при жизни, а то на А. С. так много лишнего лежит, что только я могу разобраться в этом; об этом лишнем мы с А. С. часто говорили. Буду собирать все — и белое, и черное, чтобы вышел не только мой человек, но и вообще человек»[525].

А в 1938 году писала критику Корнелию Зелинскому:

«Вся моя человеческая жизнь оправдана одиннадцатью годами жизни с Александром Степановичем. За шесть лет после его смерти я, конечно, невероятно изменилась, душевно постарела, погрубела, но знак А. С. всегда останется на моем существе. И, как бы ни была трудна мне жизнь с ним, она была прекрасна»[526].

Нина Николаевна призывала Веру Павловну делать эту работу вдвоем: она бы написала свою часть воспоминаний, а Калицкая — свою, но Вера Павловна долго отказывалась. По таинственным законам человеческой души с годами образ Грина не просветлялся, но становился в ее памяти более темным и отталкивающим.

«Вспоминала, как когда мы приезжали в Ленинград и мы пустились в воспоминания, кончилось это Вашими, да, кажется, и моими слезами, так это все было надрывно»[527].

«Писать об А. С. в радужных красках я не могу; чем больше я о нем думала, тем труднее мне изобразить его положительным типом. Слава Богу, в молодости, когда я с ним жила, я его не совсем знала, очень многого не понимала и потому могла как-то мириться и жить, а теперь образ его кажется мне и трагическим, и страшным, а хорошее в нем только искрами. Блеснет и потухнет»[528]. А в другом письме добавила: «Поистине это был человек, про которого можно сказать словами Достоевского: “Бог с чертом борются, и место битвы — сердца людей”».

Год спустя она все же написала воспоминания, отослала их Нине Николаевне, и это едва не привело к разрыву между двумя женщинами. Нина Николаевна была огорчена, оскорблена, защищала Грина и обвиняла Веру Павловну в том, что воспоминания написаны «по-бабьи». Калицкая отвечала:

«Я уже Вам раньше писала, что относилась к Вам как к сестре. Вытекало это из такого понимания наших отношений: и Вы, и я несем одинаково тяжелый крест, прожив с А. С. Разница только в том, что я помогала А. С. встать на ноги, а Вы были идеальной женой для состоявшегося писателя и всячески облегчали его кончину. Я думала, что общий “крест” нас роднит. Но из Вашего письма я поняла, что

все это неверно. Если на всю жизнь согрел Вас А. С., дал Вам такой большой запас счастья, что его хватит до смерти, то жизнь с ним уже не "крест", а все мои построения были на песке. Если здоровый больного не разумеет, то и счастливый — несчастливого.

Вы, Нина Николаевна, наших отношений с А. С. по-настоящему не знаете, так как вообще отношения между мужем и женой знают только эти два человека. Огорчить Вас своими воспоминаниями я отнюдь не хотела, даже не подозревала, что это может случиться...

Ведь я и 1/4 правды об А. С-че не написала. Сделала это в память о любви к нему, по-своему жалея, а Вы считаете, что я очернила его! Вам посчастливилось никогда не увидеть одного из многих ликов А. С-ча страшного, потому Вы так меня строго и судите... Вам он говорит: "она меня никогда не понимала", а мне в последний свой приезд: "как ты могла спускать мне все, что я вытворял: ведь меня бить было надо"»[529].

Но судила Нина Николаевна Веру Павловну не только за изображение неприглядных сторон человеческого поведения Грина. Каково было ей читать такие нравоучительные, перечеркивающие его творческий, писательский путь пассажи из литературоведческой статьи Калицкой: «Грин не мог не понимать, что писатель только тогда становится "властителем дум", когда сливается с жизнью людских истоков, болеет их горем, радуется их радостям и отвечает так или иначе на запросы жизни. Он подходил к такому пониманию, медленно нащупывая "дело, которое могло бы заполнить жизнь", и, конечно, нашел бы это дело в "литературе, сливающейся с жизнью", если б не дурная наследственность, беспризорная юность и разгул не погубили бы его преждевременно и не истощили бы еще за несколько лет до смерти»[530].

После этого в их переписке наступил перерыв. Только полгода спустя Нина Николаевна написала Вере Павловне примирительное письмо, и та так же примирительно отвечала: «Я понимаю, что писать об А. С. надо как можно мягче и осторожнее. У меня всегда было чувство контакта с умершими, есть оно и с А. С. И надо быть с ним в мире. Простите за эту мистику, но я думаю, что она Вам понятна»[531].

А между тем Грина, хоть и со скрипом, издавали. В 1933 году вышли в «Красной нови» с предисловием Мариэтты Шагинян рассказы, которые он напрасно пытался опубликовать при жизни. На издании книг Грина настаивали многие признанные советские писатели и поэты: Олеша, Паустовский, Леонов, Малышкин, Огнев, Багрицкий.

Последний писал: «А. Грин — один из любимейших авторов моей молодости. Он научил меня мужеству и радости жизни. Мало кто из русских писателей так прекрасно овладел словом во всей его полноценности, и никто, я уверен в этом, не умел так сюжетно строить. Мы не имеем права забывать этого мастера — это бесхозяйственно. Он может научить многому наших молодых авторов»[532].

«Грин для многих из современных наших писателей был школой во многих отношениях. Для меня лично Грин — один из любимейших мастеров — мастер удивительный, в своем роде единственный в русской литературе... Качество, высокое качество, поэзия, исключительная выдумка, вера в силу человеческих возможностей — вот свойства Грина», — утверждал Ю. Олеша[533].

Фадеев, рапповец, сподвижник Авербаха, призывавший сбросить Шиллера с корабля современности за романтизм, направил в 1933 году вместе с Юрием Либединским в издательство «Советская литература» письмо, в котором есть такие строки: «Несомненно, что А. С. Грин является одним из оригинальнейших писателей... Многие книги его, отличающиеся совершенством формы и столь редким у нас авантюрным сюжетом, любимы молодежью... Они принесут немалую пользу»[534].

И книги Грина снова начали выходить. В 1934 году — рассказы, в 1935-м — «Дорога никуда», в 1939-м — «Золотая цепь». Былые критики Грина пересматривали свое к нему отношение. Изменились и стиль, и тон, и название рецензий: «Героическое...», «Вымысел и жизнь», «Оправдание романтики», «Право на мечту». Большую роль в деле сближения Грина с советской литературой сыграла повесть Паустовского «Черное море». Грин был зачислен в отряд сказочников, пусть кое-что не понявших в революции, но все же наших, советских. Немного подпортила общую картину статья Веры Смирновой «Корабль без флага», опубликованная 23 февраля 1941 года в «Литературной газете» и обвиняющая Грина в отсутствии патриотизма:

«Герои Грина — люди без родины и страшное дело! — это ощущение лишает силы даже самых крепких из них. У них нет цели, нет своего дела... У корабля, на котором Грин со своей командой отверженных отплыл от берегов своего отечества, нет никакого флага, он держит курс в “никуда” и единственный груз его — надежда на случайное счастье»[535].

И все же решающего удара по писателю эта статья еще не нанесла, и оргвыводов пока не последовало.

Меж тем Нина Николаевна получала за издания книг

Грина деньги, на которые вместе с Нанием построила для себя добротный жилой дом, а домик, где умер Александр Степанович, превратила в частный музей, надеясь, что со временем он получит государственный статус. В 1940 году пришло письмо из Наркомпроса, в котором сообщалось о том, что открытие музея запланировано на 1942 год, к десятилетию со дня смерти писателя.

Помешала война. Помешала так, что музей открыли только в семидесятые годы. О том, что произошло в Старом Крыму во время войны, много писалось людьми, которые хорошо знали Нину Николаевну в пятидесятые-шестидесятые годы; существует книга воспоминаний о ней, написанная ее душеприказчицей Ю. А. Первовой и изданная без указания тиража (очевидно, очень маленького)* в Симферополе в 2001 году с предисловием Н. А. Кобзева, но пронзительнее всего о событиях того времени говорят документы, собранные профессором С. Б. Филимоновым.

То, что следует ниже — материалы предварительного допроса Нины Николаевны Грин зимой 1945/46 года и ее показания:

«До оккупации я проживала в г. Старый Крым и работала медсестрой в солнцелечебнице. При немцах с 29.01.42 г. я стала добровольно работать завтипографией в г. Старый Крым по выпуску "Официального бюллетеня Старо-Крымского района". С 1.03.43 г. по март 1943 г. я работала редактором "Официального бюллетеня Старо-Крымского района". В марте типография была немцами закрыта, по какой причине — не знаю.

Будучи редактором "Бюллетеня", я в первую очередь беспокоилась о своевременном выпуске его, где всегда печатались сводки, которые, безусловно, были лживыми, но я другого сделать не могла. Кроме того, в "Бюллетене" печатались различные статьи антисоветского характера, которые перепечатывались из газеты "Голос Крыма". Должность заведующей типографией мне предложили в горуправе, и я на это согласилась, так как в это время у меня было тяжелое материальное положение. Выехать из Крыма, т. е. эвакуироваться, я не могла, так как у меня была старая больная мать и у меня были приступы грудной жабы. Выехала я в Германию в январе 1944 г., боясь ответственности за то, что работала редактором. В Германии я работала вначале рабочей, а затем медсестрой лагеря. Я виновной себя

---

* Так же, как и книга воспоминаний самой Нины Грин, она стала библиографической редкостью.

признаю полностью во всем. Безусловно, весь материал, который печатался в типографии, был антисоветского характера. Я не отрицаю, что, будучи завтипографией и редактором "Бюллетеня", я к работе относилась добросовестно. Оклад мой был вначале 600 руб., а затем 1100 руб. в месяц. Я вину свою сознаю, но прошу суд учесть мою болезнь, преклонный возраст и строго меня не наказывать, так как хочу Родине принести еще пользу в части восстановления Дома-музея моего покойного мужа писателя Грина и солнцелечебницы»[536].

Едва ли в этих сухих показаниях она себя оговаривала и на следствии к ней применяли методы устрашения и принуждали лгать. Этого не было, но многое из того, о чем она следователю говорила, в дело не вошло.

В 1941 году Нина Николаевна разошлась с Нанием. У ее семидесятилетней матери появились признаки психического заболевания, которое быстро прогрессировало. А умалишенных немцы уничтожали. Из-за нищеты, страха за мать она пошла работать в типографию. Сначала просто корректором, потом ее назначили редактором. От этой должности она хотела отказаться, но ее отказа немцы не приняли. Или становись редактором, или уходи.

«Боясь потерять место, боясь голодной смерти, боясь уничтожения психически больной матери, я согласилась», — писала она позднее в письме Генеральному прокурору Союза ССР[537].

В 1944-м при освобождении Крыма, когда пошли слухи о том, что наступающие советские войска без суда и следствия расстреливают всех, кто работал на немцев, она бежала в Одессу. Там беженцев сняли с парохода, посадили в товарные вагоны и отправили в Германию в рабочий лагерь. При освобождении Нина Николаевна оказалась в американской зоне возле Любека. Осенью сорок пятого она добровольно вернулась в Россию и пошла в МГБ к местному начальнику Рудикову.

О дальнейшем пишет Ю. А. Первова:

« — Я ему без утайки рассказала, почему пошла работать к немцам. Он внимательно меня выслушал, — вспоминала в одном из разговоров Нина Николаевна. — Я ему говорю, что пришла арестовываться. Рудиков сказал: "Идите, разберемся".

— Ну и разобрались? — спросила я.

— Да, — невесело ответила она. — Недели через две возвращаюсь домой из лесу — стоят двое военных у калитки. Сердце екнуло: за мной! Так и вышло»[538].

Ее признали виновной в сотрудничестве с немецкими карательными органами и измене Родине и присудили к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и конфискацией имущества.

Наказание она отбывала на Севере, в Печоре, где строили железнодорожную ветку. В лагере работала медсестрой и переписывалась с теми, кто не боялся ей писать. Таких людей было немного — Борис Гриневский, Вл. Смиренский, но самым верным ее корреспондентом вновь стала Калицкая, к тому времени уже вдова.

«... Вчера получила Ваше письмо от 13.12 и рада ему. Рада, что нет у Вас вражды ко мне, а, наоборот, расположение, и тому, что ничего "бабьего" между нами не осталось. Это очень отрадно, и, дай Бог, чтобы так навсегда и осталось»[539].

Калицкая присылала ей из своей пенсии деньги, посылки с продуктами, рабочие тетради, помогала материалами о Грине и собственноручно переписывала рассказы, которые были нужны Нине Николаевне для ее мемуаров; она подбадривала ее и поддерживала как могла. Много было надежд на амнистию, но отбыла в заключении Нина Николаевна почти весь срок и на свободу вышла только в 1955 году. Отбыла те десять лет, которые должен был отбыть по приговору Севастопольского военного суда полвека назад ее муж.

Там же, на севере, она писала по вечерам мемуары о Грине и давала читать его книги самым близким людям, с которыми связала ее лагерная дружба. А между тем над покойным писателем разразилась буря. В 1950 году, когда исполнялось семьдесят лет со дня его рождения, в «Новом мире» была опубликована статья В. Важдаева «Проповедник космополитизма: Нечистый смысл "чистого искусства" Александра Грина».

Статья эта подразделялась на главки и была построена как обвинительный документ: 1.Писатель без родины. 2. История одного литературного камуфляжа. 3. Точный адрес. 4. Проповедь избранности. 5. Патология вместо разума. 6. Эпигонство вместо новаторства.

И наполнение соответствующее:

«Он не любил своей родины... Идейный и политический смысл создания А. Грином "своего, особого мира" легко расшифровывается как духовная эмиграция... Он был воинствующим реакционером и космополитом... Для Грина существуют три страны, где живут персонажи его произведений. Первая — это страна отрицаемой реальности, страна революционной действительной жизни. О ней Грин говорит редко, но формулой умолчания подразумевает ее всегда.

Вторая страна — "мечта", сама Гринландия, идеальный космополитический рай... И третья страна — где обитает "бегущая по волнам", страна, находящаяся *вне всякой* реальности и даже *вне жизни*. Мир А. Грина населен темной массой и героями аристократами, которые, по его же словам, напоминают "старинную табакерку"... "Демонический герой", как его стыдливо определяет эстетская критика, излюблен и поэтизируется Грином... Декадентско-патологическое творчество...

Из-под пера Грина вышли чудовищные, гнусные страницы... В творчестве его нет ни чистоты, ни гуманизма, которые приписывают ему апологеты; при малейшей попытке анализа этот миф разлетается как дым, и остается мрачная, безнадежная злоба реакционера, ненавидящего народ»[540].

Ничего этого Нина Николаевна не знала, «Новый мир» до Печоры не доходил. Не знала она и того, что книги Грина изымаются из библиотек. Она писала свои воспоминания, и они согревали ее, она вспоминала его и себя, молодую, наивную, совсем не предполагавшую, что случится на ее веку. В этих мемуарах было много личного, сокровенного, что она не боялась обнажить. Она писала, и для нее самой становились ясными вещи, о которых, живя с Грином, она не задумывалась и не догадывалась:

«Ни ума, ни понимания жизни, ни образования ему от меня не нужно было.

— Ты забота моя, Котофеинька мой, который ходит сам по себе, а всем хорошо, — говаривал он.

И если бы я в то время была другая, такая, как теперь, с твердо выработанным миросозерцанием и мироощущением, с уменьем, может быть, лучше наладить нашу с ним материальную жизнь, я уверена — царапала бы его утомленные, иссеченные жизнью нервы. Как хотел Александр Степанович, всегда жила я; только изредка, в трагическом, действуя своим умом. Жила, как хотелось ему, хотела всегда быть такой, как представлялось ему».

«Теперь, в горести моих последних одиноких дней, как часто я вспоминаю тепло их ласковых рук, — описывала она Феодосию, когда с матерью и мужем они сидели по вечерам под кирпичным абажуром, — и благодарю судьбу, что все это я чувствовала каждую минуту их жизни со мной, смиренно снося горести, которые с избытком покрывались горячей любовью и лаской родных»[541].

А еще писала о том, как умирал брошенный советскими писателями Грин, как его не печатали в конце двадцатых, как мучили его суды с издателями, как голодал он и его се-

мья в начале тридцатых и как никто из писателей не пришел его хоронить. Против воли эти мемуары превращались в обвинительный документ. Вдова Грина к этому не стремилась, она писала, как было — о плохом и о хорошем, и спорила разве что с Верой Павловной, пытаясь доказать, что не таким был Грин, как та его изобразила. «Пусть были у меня горестные дни его пьянства и, может быть, такого, о чем я не хотела думать, — все покрывалось прелестью наших других дней»[542].

Но и более близкого человека, чем Калицкая, у нее не было, и когда в 1951 году Вера Павловна умерла, Нина Николаевна тяжело переживала эту потерю.

Воспоминания она отправила с оказией своему родному брату Константину Николаевичу Миронову. Это был один из тех многих людей, кого посадили в 1937-м, и тех немногих, кого выпустили в 1939-м. Его младший брат Сергей был арестован в 1934-м и погиб в лагерях. Всю оставшуюся жизнь К. Н. Миронов провел в страхе и ожидании повторного ареста и, получив воспоминания сестры, он сжег их (это стало известно позднее от его жены), а Нине Николаевне написал:

«На письменном столе лежали разные мои деловые бумаги, а с ними наверху твои воспоминания. Сынишка дочери Левушка взял стул, сложил на него бумаги и твои записки и потащил в другую комнату — мыли пол. Когда мальчик — а ему семь лет — тащил стул, он споткнулся, все полетело в горячую воду... Я и сушил твои записи, но ничего прочесть нельзя...»[543]

Получив это письмо, она стала все писать снова. И если бы ее мемуары были опять сожжены, утоплены, порваны на клочки — писала бы и писала до самого смертного часа. Потому что другой цели и другого оправдания жизни у нее не было.

В 1953 году ее перевели с Печоры в лагерь под Астрахань. «Туда отправляли доходяг или тех, с кем хотели свести счеты. Лагерь хуже печорского, да и климат другой: изнуряющая влажная жара, летом градусов до тридцати пяти», — вспоминала другая узница этого лагеря, Варвара Игнатьевна Бондаренко, хорошо Нину Николаевну знавшая[544].

Многие заключенные не выдерживали, умирали, шестидесятилетняя вдова Грина выжила.

В 1955-м по амнистии ее освободили. Она уехала в Москву, где Иван Алексеевич Новиков добился того, чтобы она получала пенсию в Союзе писателей. Он же вместе с Паустовским стал бороться за то, чтобы в Гослитиздате вы-

шел в 1956 году сборник Грина и Нина Николаевна получила за него гонорар. Сделать это было очень сложно, так как срок ее авторского права истек в 1947 году. По совету юриста Союза писателей она написала заявление, мотивируя свою просьбу тем, что Грина перестали печатать за три года до истечения срока авторского права. Ей отказали. Теоретически даже можно понять почему. Сделай сегодня исключение для одной, завтра выстроится целая очередь наследников. Однако дело на этом не закончилось. Нине Николаевне помогли.

Вообще вся дальнейшая история жизни вдовы Александра Степановича Грина представляет собой нечто вроде покаяния функционеров и отдельных членов Союза советских писателей перед памятью человека, который на глазах у этого самого союза (или, точнее, его предшественника — советской литературной общественности) умирал в нищете в голодном Крыму.

Когда в 1956 году в Гослитиздате впервые за много лет вышло «Избранное» Грина, тираж был распродан моментально, и Нина Грин не получила ни копейки, в дело вмешался новый заместитель по административно-хозяйственным делам Союза писателей Виктор Николаевич Ильин.

Кадровый работник НКВД с 1933 года, ведший наблюдение за творческой интеллигенцией, следователь, допрашивавший Бухарина, арестант 1937-го, генерал КГБ, брошенный в 50-е годы партией и правительством на литературу и ставший крупным союзписательским начальником в 60-е, он оставил о себе целый ком самых разных воспоминаний. Его считали душителем литературы, он имел прямое отношение к делу Синявского и Даниэля, но для Нины Грин этот человек сделал почти все. Почти. Трудно сказать почему. Оттого ли, что любил Грина, или оттого, что сам просидел пять лет в тюрьме. Но 100 тысяч рублей за «Избранное» Нина Грин получила только потому, что генерал Ильин пошел в Совет министров.

С этими деньгами она отправилась в Старый Крым, на могилу мужа и к домику, в котором он умирал. Могила Грина находилась в состоянии ужасном, доска была разбита, ограды не было, дом, который выстроила Нина Николаевна и Наний в тридцатые годы, принадлежал первому секретарю Старокрымского райкома партии Иванову, а домик, где умер Грин, использовался в качестве сарая.

Обо всем этом она знала и раньше. Еще в 1947 году брат Александра Степановича Борис ездил в Старый Крым, а перед тем он писал невестке в лагерь: «Я все боюсь, чтобы не

забыли о Грине... Но слава Богу, живы Вы и будете будировать Ленгиз. Давно бы я сходил к Тихонову, но очень плохо одет, боюсь своим видом невзрачным вызвать плохое представление и затемнить частично легенду о Грине, а еще могут подумать, что я заинтересован материально. Это было бы неверно. Вы меня знаете».

В другом письме он отчитывался о своей поездке, которая произошла по настоянию Нины Николаевны: «Были у Тихонова и Паустовского и беседовали с ними относительно моей командировки. И тот и другой отнеслись сочувственно. Н. С. Тихонов помог получить мне две тысячи на расходы. Правда, деньги очень небольшие и окупили только дорогу. Из этих денег я переслал Вам 200 рублей 11.04, не знаю только, получили ли Вы.

...Тихонов и его жена Мария Константиновна — очень симпатичные люди, сочувственно отнеслись ко мне и попросили писать, как пойдут дела.

Паустовский и его жена также сердечно нас приняли и просили на обратном пути заехать и отчитаться во всем.

...При немцах дом был превращен в конюшню, а в настоящее время тоже коровник. В Вашем доме живет секретарь РК Старого Крыма Аралев. Я заявил в жилотдел, чтобы они не смели держать корову и сохраняли бы его. Говорили только с женой, весьма хамская тетка»[545].

В 1955-м секретарь райкома сменился, но в домике попрежнему был сарай, хотя жила уже не корова, а куры.

Эти куры первого секретаря Иванова и стали камнем преткновения в долгой тяжбе между Ниной Грин и Старокрымским райкомом партии. Александр Исаевич Солженицын в свое время написал книгу «Бодался теленок с дубом» о своей борьбе с советской системой. Нечто подобное, хотя и в гораздо меньших масштабах, могла бы написать она.

Местные власти уперлись. Им не нравился Грин, относительно которого все было еще недавно, в 1952 году, разъяснено в Большой советской энциклопедии: буржуазный космополит и ницшеанец. Им не нравилась хлопотливая, независимая и состоятельная вдова, не реабилитированная, а только амнистированная, но ведущая себя так, точно за ней стоит какая-то могучая сила. Она ничего не просила, но требовала. После первой растерянности оторопелость от ее настойчивых действий прошла и они перешли в наступление: а вы, собственно, кто такая? Вы на немцев работали!

Проницательный генерал КГБ Ильин, который в то время уже пошел на повышение и из завхоза в Союзе писателей поднялся до должности ответственного секретаря Мос-

ковского отделения СП, сразу все понял и дал однозначный совет: боритесь за реабилитацию. Обещал помочь сам, но у нее от первых успехов, что ли, от денег, от просто какой-то расслабленности и эйфории закружилась голова. В ней, лагернице с десятилетним стажем, снова заговорила беспечная, доверчивая Тави Тум. Зачем ей какая-то реабилитация, хлопоты, из-за которых надо бросать Старый Крым и ехать в Саратов, искать свидетелей, собирать по крупицам доказательства того, что во время войны она не только не сотрудничала с карательными органами и никого не выдавала, но спасла от расстрела 13 человек, подозреваемых немцами в связях с партизанами, — зачем ей все это, если совесть у нее чиста и если хороших людей больше, чем плохих, и все так любят Александра Степановича. Неужели кто-то может быть всерьез против нее? Да плюс еще за спиной — могущественный орден, государство в государстве — Союз советских писателей и лично Паустовский, Сурков, Федин, Воронков, Прокофьев, питерский профессор Мануйлов да тот же Ильин обещают ей свою поддержку.

«Persona gratissima в нашей стране был у меня и сказал: "Если будут тянуть, сообщите мне, — мы так вздернем, что небо с овчинку покажется". Но я не хочу этим пользоваться», — писала она одному из своих друзей[546].

Она махнула на совет генерала рукой, а Ильин настаивать не стал. Ильин замотался, у надзирателя за советскими писателями и без вдовы Грина хватало проблем. Потом он в этом раскаивался, жалел, что не довел дело до конца, потом, когда неснятая судимость Нины Николаевны стала препоной в ее борьбе за музей — все спохватились, но было уже поздно.

Пора массовых реабилитаций заканчивалась, и когда два года спустя, в 1958-м она написала заявление в Генеральную прокуратуру, несмотря на хлопоты Ильина, в деле Нины Грин что-то не сработало и в реабилитации ей отказали.

А война за домик Грина продолжалась. Паустовский вместе с молодым журналистом Станюковичем подготовил фельетон для «Комсомольской правды». В газете сначала ухватились, а потом дали попятную: неудобно было комсомолу на партию наезжать.

Меж тем противная сторона уже брала инициативу в свои руки. Покуда Нина Николаевна добивалась в Москве реабилитации, по Старому Крыму поползли слухи: Грин был брошен женой за два года до смерти и умирал на соломе, во время войны его вдова переливала кровь умерщвленных младенцев раненым немцам, а теперь добивается восстановления домика, чтобы организовать в нем шпионскую явку

для германского резидента. Все это было набрано типографским способом в виде статьи в райкоме партии и показывалось всем желающим.

И в городе поверили. Не зря когда-то придумал Грин Каперну. Ею стал городок, где он умер в нищете и забвении и где в его жену, бывшую с ним до последнего вздоха, двадцать пять лет спустя бросали камни и палки мальчишки с криками: «Фашистка! Шпионка!»

«Она шла, не ускоряя шаг, глядя прямо перед собой, — рассказывала молодая местная учительница. — Лицо было строгое, скорбное. Я выбегала из дому, разгоняла ребят, стыдила их, даже плакала. Один раз, когда я горько расплакалась, Нина Николаевна сказала: "Ну что ты, девочка, они ведь не виноваты. Их научили"»[547].

В Союзе писателей растерялись, Крымский обком действовал, заваливая Москву разоблачительными письмами. Воронков и Ильин молчали и ничего не отвечали. Ей казалось, что ее снова все бросили, но то было затишье перед спасительной для нее бурей.

В марте 1959 года главным редактором «Литературной газеты» вместо Кочетова стал писатель-фронтовик С. С. Смирнов, и в первом же, подписанном им номере вышел фельетон Ленча «Курица и бессмертие». Это был тот самый случай, когда «Литературка» советских времен полностью оправдала статус независимого издания и куснула партию.

«Больше трех лет вдова Грина, Союз писателей и Литфонд ведут борьбу с Л. Ивановым за домик Грина. Домик этот находится на краю территории, принадлежащей тов. Иванову. Его просят: отдайте под домик Грина всего шесть соток, вам останется достаточно. Но тов. Иванов непреклонен. И старокрымские власти покорно охраняют это категорическое "нет"»[548].

«Это самая вкусная курица, которую я когда-либо ела», — сказала она Ленчу при встрече в Москве, но до победы надо было еще идти и идти.

В Крыму зароптали. Открыто возмущаться статьей в «Литгазете» не посмели, но обком партии закусил удила, Старый Крым оскорбился, и слухи о том, что Нина Николаевна бросила Грина, да и вообще была не жена его, но любовница, снова поползли по Каперне.

Мудрый Ильин знал, что делать. По его совету Нина Николаевна взяла в ЦГАЛИ справку. Текст ее приводит в своей книге Ю. А. Первова и совершенно справедливо пишет о том, что такая справка заслуживает быть процитированной полностью.

Главное архивное управление
Центральный государственный архив
Литературы и искусства СССР

Архивная справка

11 июня 1959 года
16/6/535
По документальным материалам ЦГАЛИ СССР установлено, что Грин Нина Николаевна, жена писателя А. С. Грина, в 1929—1932 годах жила с А. С. Грином, находясь с ним в добрых семейных отношениях. Об этом свидетельствуют стихотворения А. С. Грина за эти годы (последнее написано в марте 1932 года). Н. Н. Грин сделаны повседневные записи о ходе болезни Грина вплоть до его смерти (8 июля). Наконец, об этом свидетельствуют письма Вересаева В. В., адресованные Н. Н. Грин в дни болезни Грина (апрель — июнь 1932 года).

В письмах А. С. Грина к И. А. Новикову постоянно упоминается Н. Н. Грин (за 1929—1932 годы); эти письма писались от имени А. С. и Н. Н. Гринов. В дальнейшем (1932 год) переписку с И. А. Новиковым вела Н. Н. Грин и в своих письмах постоянно сообщала о состоянии здоровья А. С. Грина.

Основание: ф. 127. оп. 1. ед. хр. 188, 190, 199.
Зам. Начальника архива Н. Волкова
Мл. н. Сотрудник А. Михеева[549].

«Литературная газета» еще несколько раз давала материал под шапкой «По следам выступлений», в Крыму ими всякий раз пренебрегали, и только после того, как Старый Крым неожиданно перестал быть райцентром и райком партии съехал (если только эта реорганизация не дело рук всемогущего ведомства Ильина), домик Грина Нине Николаевне вернули.

«О результатах Ваших хлопот по восстановлению домика сообщу К. А. Федину. Он тоже близко к сердцу принял это дело. Ему будет приятно узнать, что работники Крымского обкома оказались на высоте», — ласково писал Ильин Нине Николаевне[550].

Союз писателей победил коммунистическую партию. Хотя бы в одном отдельно взятом месте. Месте, где умер Грин. Случилось это в 1960 году.

Николай Тарасенко позднее написал стихи:

Сколько надо было казней,
зависти, наветов, козней,
веры в правду безотказной,
ранней смерти, славы поздней,

чтоб возник под этим небом,
небом из аквамарина,
твоим небом, Киммерия,
звук прекрасный —
имя Грина,
мир из выдумки и правды,
мир блистающий, мир добрый,
колыбелька и некрополь —
тихий домик, Старый Крым .

После возвращения дома Грина Нина Николаевна прожила еще десять лет. За эти годы Старый Крым превратился в место массового паломничества. Кто только не побывал на улице Карла Либкнехта — студенты, рабочие, интеллигенты, моряки, пионеры, которые взяли моду украшать ограду на могиле Грина алыми галстуками, был даже один архиепископ.

«Глубочайшую приношу благодарность Нине Николаевне Грин за ее труды по сохранению памяти о великом писателе, за ее искреннюю любовь к нему, которую я почувствовал в рассказах о нем.

Архиепископ Алексий. 4 июля 1961 года»[551].

Она всех принимала, проводила экскурсии, не получая от государства ни гроша, а тиражи книг ее мужа давно перевалили за несколько миллионов. Государство гребло деньги лопатой. У нее — пенсия 21 рубль, и не на что было починить крышу.

Она была подвижницей, но отнюдь не старушкой — божьим одуванчиком, и ко всему, что касалось Грина, относилась ревниво. Вдребезги разругала фильм «Алые паруса», где сыграли Вертинская и Лановой: «Ассоль — деревяшечка с неприятным голосом, Грэй — истаскавшийся молодчик. Разве умный чистый Грэй мог быть похож на этого красивенького губошлепа. Все не так»[552]. Продолжала ругать Борисова и Смиренского, сердилась на Паустовского, который, по ее мнению, не так понимал Грина, обиделась на Сандлера, опубликовавшего, вопреки ее согласию, рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» в «Литературной России».

Еще раз она обратилась в прокуратуру с просьбой о реабилитации. Эту просьбу поддержал автор «Брестской крепости» С. С. Смирнов, который писал на имя Главного военного прокурора:

«На протяжении многих лет районный комитет партии при поддержке областного комитета партии в Севастополе ведут против старухи, вдовы знаменитого русского писателя, которой было посвящено лучшее его произведение “Алые паруса”, совершенно, на мой взгляд, недостойную войну. Я

имею все основания считать, что эта война ведется главным образом из-за затронутых самолюбий после появления фельетона “Курица и бессмертие” в “Литературной газете”, в котором подвергался критике бывший секретарь райкома партии Старого Крыма тов. Иванов. В настоящее время тов. Иванов, как мне известно, работает в обкоме партии и, видимо, продолжает сводить счеты с Н. Н. Грин, платя за появившийся на страницах газеты фельетон...

Как Вы увидите из целого ряда обстоятельств дела, в Крыму некоторые люди не останавливаются перед прямой клеветой на Н. Н. Грин. Документами, приложенными к этому моему заявлению, опровергается целый ряд клеветнических утверждений. Не сомневаюсь, что при расследовании такими же пустыми окажутся и многие другие обвинения. И хотя у Н. Н. Грин есть несомненная вина, все же наказание, которое она отбыла, мне кажется не соответствующим степени этой вины»[553].

В реабилитации в Москве отказали. И неприступно стоял крымский обком: «Мы за Грина, но против его вдовы. Музей будет только тогда, когда она умрет». Так и случилось.

Нина Николаевна Грин умерла 27 сентября 1970 года в Киеве и, согласно своему завещанию, должна была быть похоронена рядом с Грином и своей матерью. Гроб перевезли в Старый Крым. И тут совершилась последняя подлость, которую могла сделать по отношению к ней партия: хоронить рядом с Грином власти запретили.

«Было проведено четыре срочных совещания на областном уровне. Решения были однозначны. Мы звонили в Москву в Союз писателей. Они звонили в ЦК КПУ. Высшее начальство подтвердило: “Все правильно. Не разрешать”»[554].

Ее хоронили нанятые райисполкомом рабочие. Туристам, которые случайно оказались в тот день в Старом Крыму, говорили: «Вы знаете, кто была вдова Грина? Она предавала советских людей».

«Могила на кладбище была вырыта метрах в пятидесяти от ограды Грина. Опустили на веревках гроб. Все происходило в полном молчании. Мы стояли в стороне. Туристы были рядом с нами. Оплеванные, обесчещенные, смотрели мы на это кощунство. У всех была одна мысль: “Перехоронить!”, — вспоминала душеприказчица Н. Н. Грин Ю. А. Первова[555].

Поразительно, но они это сделали.

Глухой ночью 23 октября 1971-го, в день рождения Нины Николаевны, пятеро мужчин с саперными лопатами и женщина, стоявшая на «стреме», раскопали могилу, достали гроб и перенесли его за ограду, к Грину, где соорудили ни-

шу и заложили ее камнями. Никто ни о чем не узнал, однако год спустя в КГБ попал дневник одного из участников этой операции. Их вызвали, пожурили, пригрозили, но тем все и кончилось...

Официально в средствах массовой информации о том, что Нина Николаевна Грин похоронена в одной ограде с мужем, стало известно только в 1990 году. Еще семь лет спустя она была реабилитирована прокуратурой Автономной республики Крым.

Музей Грина в Феодосии открыли в 1970-м. Год спустя открылся музей в Старом Крыму.

Теперь это заграница.

В романе «Джесси и Моргиана» есть одно место, которое, быть может, лучше всего выражает сущность людей, какими были Грин и его жена. Этим фрагментом я и закончу свою книгу:

«По безлюдной улице ехала на коне, шагом, измученная, нагая женщина, — прекрасная, со слезами в глазах, стараясь скрыть наготу плащом длинных волос. Слуга, который вел ее коня за узду, шел, опустив голову. Хотя наглухо были закрыты ставни окон, существовал один человек, видевший леди Годиву, — сам зритель картины; и это показалось Джесси обманом. "Как же так, — сказала она, — из сострадания и деликатности жители того города заперли ставни и не выходили на улицу, пока несчастная наказанная леди мучилась от холода и стыда; и жителей тех, верно, было не более двух или трех тысяч, — а сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! И я в том числе. О, те жители были деликатнее нас! Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу: нарисуй внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании — потому что слышат медленный стук копыт — столпились жильцы; они молчат, насупясь; один из них говорит рукой: 'Ни слова об этом. Тс-с!' Но в щель ставни проник бледный луч света. Это и есть Годива"».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Слонимский М.* Александр Грин реальный и фантастический // Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972. С. 256.

[2] *Арнольди Э.* «Беллетрист Грин...» / Воспоминания об Александре Грине. С. 278.

[3] *Паустовский К.* Одна встреча // Воспоминания об Александре Грине. С. 307.

[4] *Гумилевский Л.* Далекое и близкое // Воспоминания об Александре Грине. С. 310.

[5] Воспоминания об Александре Грине. С. 319.

[6] Цит. по: Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972. С. 149.

[7] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.

[8] Воспоминания об Александре Грине. С. 417.

[9] *Пришвин М. М.* Собр. соч. В 8 т. М., 1982—1986. Т. 8. С. 40.

[10] Воспоминания об Александре Грине. С. 205.

[11] Там же. С. 272.

[12] Там же. С. 149.

[13] *Метелева Н.* Романтизм как признак инфантильности (попытка литературного психоанализа личности Александра Грина) // Бинокль: Вятский культурный журнал. 2000. № 6.

[14] Воспоминания об Александре Грине. С. 412.

[15] Там же.

[16] Там же.

[17] Из письма Е. С. Маловечкиной к Н. Н. Грин. Цит. по: *Ковский В. Е.* Реалисты и романтики. М., 1990. С. 284.

[18] Воспоминания об Александре Грине. С. 416.

[19] Там же. С. 417.

[20] Там же.

[21] Там же. С. 150.

[22] Там же. С. 397.

[23] Там же. С. 149.

[24] Там же.

[25] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 16.

[26] *Вихров В.* Рыцарь мечты // *Грин А. С.* Собр. соч. В 6 т. Т. 1.

[27] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 15.

[28] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. М., 1969. С. 39.

[29] Цит. по: *Ковский В. Е.* Реалисты и романтики. М., 1990. С. 285.

[30] Воспоминания об Александре Грине. С. 150.

[31] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. Симферополь, 2000. С. 29—30.

[32] Там же.

[33] Воспоминания об Александре Грине. С. 428.

[34] Там же. С. 429.

[35] Там же. С. 430.

[36] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 30.

[37] Цит. по: *Будницкий О. В.* Предисловие к книге «Женщины-террористки. Бескорыстные убийцы». Ростов н/Д., 1996.

[38] Там же.

[39] Там же.

[40] *Блок А. А.* Собр. соч. В 2 т. Т. 2. М., 1955. С. 622—623.

[41] Воспоминания об Александре Грине. С. 287.

[42] *Вдовин А.* Миф Александра Грина (К 120-летию со дня рождения) // Урал. 2000. № 8.
[43] Воспоминания об Александре Грине. С. 499.
[44] Там же. С. 432—433.
[45] Там же. С. 442.
[46] Там же. С. 434.
[47] Там же.
[48] Там же. С. 435.
[49] Цит. по: *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 90—91.
[50] Воспоминания об Александре Грине. С. 446—447.
[51] Там же.
[52] Там же. С. 427.
[53] Там же. С. 450.
[54] РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 620.
[55] *Ромас А. А.* Рабочее движение в Приамурском крае на втором этапе первой русской революции (17 октября 1905 года — 22—26 января 1906 года) // Ученые записки Благовещенского государственного педагогического университета. Гуманитарные науки. Благовещенский педагогический университет. Благовещенск, 1999.
[56] *Солженицын А. И.* Двести лет вместе. М., 2002. С. 235.
[57] РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 620.
[58] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 4. Ед. хр. 10.
[59] Воспоминания об Александре Грине. С. 452.
[60] РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 620.
[61] Цит. по: *Будницкий О. В.* Женщины-террористки.
[62] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[63] Воспоминания об Александре Грине. С. 454.
[64] Там же. С. 156.
[65] Центральный государственный архив (ЦГА) РФ. Ф. 777. Оп. 7. Д. 307. Л. 3.
[66] РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 620.
[67] Воспоминания об Александре Грине. С. 504—505.
[68] Там же. С. 157.
[69] Там же. С. 156.
[70] Там же. С. 164.
[71] Там же.
[72] РГАЛИ. Ф.127. Оп. 2. Ед. хр. 44.
[73] Воспоминания об Александре Грине. С. 462—463.
[74] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 51.
[75] *Колтоновская Е. А.* Рассказы Грина // Критические этюды. СПб., 1912. С. 239—241.
[76] *Валентинов Н.* Рец. на кн.: *Грин А. С.* Рассказы. СПб., 1910. Т. 1 // Киевская мысль. 1910. 16 марта.
[77] Воспоминания об Александре Грине. С. 488.
[78] *Чуковский К. И.* Дневник 1902—1929. М., 1997. С. 118.
[79] Воспоминания об Александре Грине. С. 316.
[80] *Горнфельд А. Г.* Рец. на кн.: *Грин А. С.* Рассказы. СПб., 1910. Т. 1 // Русское богатство. 1910. № 3. С. 145—147.
[81] *Вихров В.* Рыцарь мечты.
[82] Воспоминания об Александре Грине. С. 486.
[83] Там же. С. 466.
[84] Там же. С. 186.
[85] Там же. С. 467.

[86] Воспоминания об Александре Грине. С. 468—469.
[87] Там же. С. 472.
[88] Там же. С. 176—177.
[89] Там же. С. 175.
[90] Там же. С. 179.
[91] Там же. С. 185.
[92] Там же. С. 486.
[93] Там же. С. 474.
[94] Там же. С. 190—191.
[95] Там же. С. 477—478.
[96] Там же. С. 187.
[97] Там же. С. 150.
[98] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 11.
[99] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 31.
[100] Воспоминания об Александре Грине. С. 480.
[101] РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 158.
[102] Воспоминания об Александре Грине. С. 397.
[103] Там же. С. 217.
[104] Там же. С. 259.
[105] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 115—116.
[106] Там же. С. 499.
[107] *Войтоловский Л. Н.* Летучие наброски: Александр Грин // Киевская мысль. 1914. 3 мая.
[108] *Войтоловский Л. Н.* Литературные силуэты: А. С. Грин // Киевская мысль. 1910. 24 июня.
[109] *Савинич Б.* Литературные течения: А. С. Грин // Утро России. 1915. 25 апреля.
[110] Воспоминания об Александре Грине. С. 246.
[111] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 48.
[112] Воспоминания об Александре Грине. С. 293.
[113] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 197.
[114] Там же. С. 224.
[115] *Степанович С.* Рец. на кн.: *Грин А.* Позорный столб. Собр. соч. В 3 т. СПб., 1913. Т. 3 // Новая жизнь. 1914. № 3. С. 152—153.
[116] Воспоминания об Александре Грине. С. 257—258.
[117] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 16.
[118] РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 620.
[119] Воспоминания об Александре Грине. С. 211.
[120] Там же.
[121] Там же. С. 213.
[122] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 34.
[123] Воспоминания об Александре Грине. С. 582.
[124] Там же. С. 516.
[125] *Борисов Л. И.* Волшебник из Гель-Гью. Романтическая повесть. Л., 1972. С. 126—127.
[126] *Михайлова Л.* Александр Грин: Жизнь, личность, творчество. М., 1972. С. 178.
[127] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 30.
[128] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. Симферополь, 2001. С. 128—129.
[129] См.: *Яблоков Е. А.* Александр Грин и Михаил Булгаков (романы «Блистающий мир» и «Мастер и Маргарита») // Филологические науки. 1991. № 4. С. 33—42.
[130] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.

[131] Там же.
[132] Воспоминания об Александре Грине. С. 237.
[133] *Грин А. С.* Как я работаю: Ответ на анкету // Журнал журналов. 1915. № 5. С. 8.
[134] Воспоминания об Александре Грине. С. 497.
[135] Там же. С. 500.
[136] Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. М., 1983. С. 257.
[137] Воспоминания об Александре Грине. С. 499.
[138] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 11.
[139] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед хр. 16.
[140] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 115.
[141] *Левидов М. Ю.* Иностранец русской литературы: Рассказы А. С. Грина // Журнал журналов. 1915. № 4. С. 3—5.
[142] *Роскин А. И.* Судьба писателя-фабулиста // Художественная литература. 1935. № 4. С. 4—9.
[143] *Тарасенков А. К.* О национальных традициях и буржуазном космополитизме // *Тарасенков А.* О советской литературе. С. 81—86.
[144] *Каверин В.* Грин и его «Крысолов» // *Каверин В.* Счастье таланта. М.: Современник, 1989. С. 32—39.
[145] Воспоминания об Александре Грине. С. 500.
[146] Там же.
[147] Там же. С. 397.
[148] *Горнфельд А. Г.* Рец. на кн.: *Грин А.* Искатель приключений: Рассказы. М., 1916 // Русское богатство. 1917. № 6—7. С. 279—282.
[149] Воспоминания об Александре Грине. С. 317.
[150] *Левидов Ю.* Героическое... // Лит. газета. 1935. 15 февраля.
[151] Послесловие к романам «Золотая цепь» и «Дорога никуда». Л., 1957. С. 379.
[152] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 16.
[153] Там же.
[154] *Шевцова Г.* Мечта разыскивает путь: Материалы VI Гриновских чтений, посвященных 120-летию А. С. Грина. Киров, 2001. С. 88—92.
[155] *Вдовин А.* Миф Александра Грина // Урал. 2000. № 8.
[156] *Алиев Э.* О некоторых малоизвестных произведениях А. С. Грина // Литературный Азербайджан. 1970. № 7. С. 148—151.
[157] Воспоминания об Александре Грине. С. 501.
[158] Там же.
[159] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 94.
[160] *Пришвин М. М.* Дневник 1918—1919. М., 1994. С. 116.
[161] Воспоминания об Александре Грине. С. 517.
[162] Там же. С. 229.
[163] Там же. С. 233.
[164] Там же. С. 231.
[165] *Блок А. А.* Записные книжки 1901—1920. М., 1965. С. 420—421.
[166] Воспоминания об Александре Грине. С. 232.
[167] Там же. С. 195.
[168] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 46.
[169] Воспоминания об Александре Грине. С. 323.
[170] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 52.
[171] Там же.
[172] Воспоминания об Александре Грине. С. 515.
[173] Там же. С. 240.
[174] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 15.

[175] *Рождественский Вс.* Страницы жизни. М., 1974. С. 285.
[176] Там же. С. 326.
[177] *Каверин В.* Грин и его «Крысолов» // *Каверин В.* Счастье таланта. М.: Современник, 1989. С. 32—39.
[178] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 18.
[179] Цит. по: *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 44.
[180] Воспоминания об Александре Грине. С. 257.
[181] Воспоминания об Александре Грине. С. 521—522.
[182] Там же. С. 241.
[183] *Рождественский Вс.* Страницы жизни. С. 285.
[184] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 1.
[185] Там же.
[186] (Б. п.) Рец. на кн.: *Грин А. С.* Алые паруса: Повесть. М., 1923 // Красная газета. Веч. выпуск. 1923. 29 марта.
[187] *А. С.* Щучье веленье. Рец. на кн.: *Грин А.* Алые паруса. Пг., 1923 // Литературный еженедельник. 1923. № 4. С. 15.
[188] *Ашукин Н. С.* Рец. на кн.: *Грин А. С.* Алые паруса: Повесть. М., 1923 // Россия. 1923. № 5. С. 31.
[189] *Бобров С. П.* Рец. на кн.: *Грин А. С.* Алые паруса: Повесть. М.; Пг., 1923 // Печать и революция. 1923. № 3. С. 261—262.
[190] Цит. по: *Щеглов М. А.* Корабли Александра Грина // *Щеглов М.* Литературно-критические статьи. М., 1965. С. 223—230.
[191] *Смирнова В. А.* Корабль без флага // Лит. газета. 1941. 23 февраля.
[192] *Важдаев В. М.* Проповедник космополитизма: Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина // Новый мир. 1950. № 1. С. 257—272.
[193] *Метелева Н.* Романтизм как признак инфантильности.
[194] *Платонов А.* Рассказы Грина // *Платонов А. П.* Размышления читателя. М., 1970. С. 122—128.
[195] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 116.
[196] Там же. С. 117—118.
[197] *Пришвин М. М.* Дневник 1914—1917. М., 1991. С. 288.
[198] *Каверин В.* Грин и его «Крысолов» // *Каверин В.* Счастье таланта. М.: Современник, 1989. С. 32—39.
[199] *Кобзев Н. А.* Роман Александра Грина. Кишинев, 1983. С. 10, 16.
[200] Воспоминания об Александре Грине. С. 199.
[201] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 34.
[202] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 106.
[203] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[204] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 31.
[205] Там же. С. 60.
[206] Там же. С. 13.
[207] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 9.
[208] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[209] Там же.
[210] Там же.
[211] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 43.
[212] Там же. С. 17.
[213] Там же. С. 12—13.
[214] Там же. С. 43.
[215] Воспоминания об Александре Грине. С. 525.
[216] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 15.
[217] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 70.

[218] Воспоминания об Александре Грине. С. 330.
[219] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[220] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 43—44.
[221] Там же. С. 14—15.
[222] Там же. С. 14.
[223] Там же. С. 18.
[224] Воспоминания об Александре Грине. С. 527.
[225] Там же.
[226] Цит. по: *Басинский П., Федякин С.* Русская литература конца XIX — начала XX века и первой эмиграции. М., 1998. С. 170.
[227] Там же. С. 372.
[228] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 18.
[229] Там же. С. 19.
[230] Там же. С. 20—21.
[231] *Локс К. Г.* Рец. на кн.: *Грин А.* Рассказы. М., 1923 // Печать и революция. 1923. № 5. С. 296.
[232] Воспоминания об Александре Грине. С. 342.
[233] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 284.
[234] *Первова Ю., Верхман А.* Грин и его отношения с эпохой // Крещатик. № 9.
[235] Воспоминания об Александре Грине. С. 290—291.
[236] *Роскин А. И.* Судьба художника-фабулиста. С. 7.
[237] *Шагинян М. С.* А. С. Грин // Красная новь. 1933. № 5. С. 171—173.
[238] Цит. по: *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 7.
[239] Там же.
[240] *Важдаев В. М.* Проповедник космополитизма: Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина // Новый мир. 1950. № 1. С. 257—272.
[241] *Роскин А. И.* Судьба художника-фабулиста. С. 7.
[242] *Зелинский К.* Грин // Красная новь. 1934. № 4. С. 199—206.
[243] Там же.
[244] Воспоминания об Александре Грине. С. 334.
[245] История кино. М., 1969. С. 178—179.
[246] *Яблоков Е. А.* Александр Грин и Михаил Булгаков. С. 34.
[247] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 261.
[248] Воспоминания об Александре Грине. С. 334—335.
[249] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 28.
[250] Воспоминания об Александре Грине. С. 244.
[251] Там же. С. 258—259.
[252] *Паустовский К. Г.* Собр. соч. В 6 т. Т. 5. М., 1958. С. 553—554.
[253] *Кобзев Н. А.* Роман Александра Грина. С. 63.
[254] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 74—75.
[255] Там же. С. 9—10.
[256] Известия. 1923. 22 августа.
[257] Воспоминания об Александре Грине. С. 304.
[258] *Царькова Ю.* Испытание чуда: Роман А. Грина «Блистающий мир» // Вопросы литературы. 2003. Сентябрь-октябрь. С. 303—316.
[259] *Ковский В. Е.* Романтизм Александра Грина. С. 78.
[260] См.: Воспоминания об Александре Грине. С. 171—174.
[261] *Метелева Н.* Романтизм как признак инфантильности.
[262] Цит. по: *Шушакова А.* (10-й класс). А. Грин и его отношение к «механическим» началам жизни // Кастальский ключ. № 18.
[263] Воспоминания об Александре Грине. С. 267—268.
[264] Там же. С. 316.

[265] Подробнее об этом: *Яблоков Е. А.* Александр Грин и Михаил Булгаков.
[266] Воспоминания об Александре Грине. С. 198.
[267] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 86.
[268] Цит. по: *Шушакова А.* (10-й класс). А. Грин и его отношение к «механическим» началам жизни.
[269] *Царькова Ю.* Испытание чуда: Роман А. Грина «Блистающий мир». С. 316.
[270] *Ковский В. Е.* Реалисты и романтики. С. 263.
[271] *Шепеленко Д.* Рец. на кн.: *Грин А.* Блистающий мир. Роман. В 3 ч. М.; Л., 1924 // Пролетарий связи. 1924. № 23—24. С. 1031—1032.
[272] Воспоминания об Александре Грине. С. 289.
[273] Там же. С. 335.
[274] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 22.
[275] Воспоминания об Александре Грине. С. 336—337.
[276] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 23.
[277] Воспоминания об Александре Грине. С. 337.
[278] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[279] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 51.
[280] Воспоминания об Александре Грине. С. 530—531.
[281] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 26.
[282] Там же. С. 27—28.
[283] Воспоминания об Александре Грине. С. 343.
[284] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 69.
[285] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 47.
[286] РГАЛИ. Ф. 2801. Оп.1. Ед. хр. 3.
[287] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[288] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 79.
[289] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 163.
[290] РГАЛИ. Ф. 2801. Оп. 1. Ед. хр. 3.
[291] Воспоминания об Александре Грине. С. 551.
[292] Там же. С. 315.
[293] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 59.
[294] Воспоминания об Александре Грине. С. 320.
[295] Там же. С. 274.
[296] Там же. С. 264.
[297] Там же. С. 216.
[298] Там же. С. 417.
[299] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 114.
[300] РГАЛИ. Ф. 2801. Оп. 1. Ед. хр. 3.
[301] Цит. по: *Тарасенко Н.* Дом Грина. С. 54.
[302] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 17.
[303] Цит. по: *Михайлов А.* Маяковский. М.: Молодая гвардия, 1988.С. 215.
[304] *Пастернак Б.* Люди и положения // *Пастернак Б.* Воздушные пути. М., 1982. С. 453.
[305] РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 158.
[306] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 18.
[307] Воспоминания об Александре Грине. С. 225.
[308] Там же. С. 583.
[309] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 143—144.
[310] *Мелкая М.* Девочка мечтала стать манекеном // Смена. 2004. 8 февраля.
[311] *Ковский В. Е.* Реалисты и романтики. С. 271—273.
[312] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 59.

[313] Цит. по: *Михайлов А.* Маяковский. С. 373.
[314] Воспоминания об Александре Грине. С. 337.
[315] Подробнее об этом: *Перельмутер В.* Время крыс и крысоловов // Октябрь. 2002. № 7.
[316] Воспоминания об Александре Грине. С. 199.
[317] *Рождественский Вс.* Страницы жизни. С. 327—328.
[318] Воспоминания об Александре Грине. С. 519.
[319] Там же. С. 297—298.
[320] *Перельмутер В.* Время крыс и крысоловов.
[321] Воспоминания об Александре Грине. С. 299—300.
[322] *Первова Ю., Верхман А.* Грин и его отношения с эпохой // Крещатик. № 9.
[323] *Лелевич Г.* Гиппократово лицо // Красная новь. 1926. № 1.
[324] *Роскин А. И.* Судьба художника-фабулиста.
[325] *Важдаев В. М.* Проповедник космополитизма.
[326] Цит. по: *Тарасенко Н.* Дом Грина. С. 51.
[327] De Visu. 1994. № 5—6 (16).
[328] Там же.
[329] Подробнее об этом: Исторический архив. № 3. 2002.
[330] *Фомин А. А.* Ономастика «Фанданго» А. Грина: хронотоп и концептуальный план произведения // Известия УРГУ. № 17.
[331] Воспоминания об Александре Грине. С. 353.
[332] Воспоминания об Александре Грине. С. 343.
[333] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 105.
[334] Там же. С. 106.
[335] Там же.
[336] Там же. С. 107.
[337] Там же. С. 43.
[338] Воспоминания об Александре Грине. С. 193.
[339] Там же. С. 108—109.
[340] Там же. С. 111.
[341] Там же. С. 62.
[342] Там же. С. 55.
[343] Там же. С. 55—56.
[344] Там же.
[345] Цит. по: *Басинский П., Федякин С.* Русская литература... С. 174.
[346] Воспоминания об Александре Грине. С. 306—308.
[347] *Пришвин М. М.* Дневник 1923—1925. М., С. 142—143.
[348] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 116.
[349] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 4. Ед. хр. 151.
[350] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 58.
[351] Там же. С. 65.
[352] Там же.
[353] Там же. С. 67.
[354] Там же. С. 68.
[355] Там же. С. 72.
[356] Воспоминания об Александре Грине. С. 348.
[357] Там же.
[358] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 69.
[359] Воспоминания об Александре Грине. С. 352.
[360] Там же.
[361] Цит. по: *Басинский П., Федякин С.* Русская литература... С. 172.
[362] Воспоминания об Александре Грине. С. 245—246.
[363] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.

[364] Воспоминания об Александре Грине. С. 340.

[365] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 74.

[366] *Уокер Б.* Кружковая культура и становление советской интеллигенции: на примере Максимилиана Волошина и Максима Горького // Новое литературное обозрение. 1999. № 40.

[367] *Белый А.* Дом-музей М. А. Волошина // *Волошин М.* Жизнь — бесконечное познанье: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. Посвящения / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., краткая биохроника, коммент. В. П. Купченко. М.: Педагогика-Пресс, 1995.

[368] *Шенгели Г. А.* Воспоминания о М. Волошине // *Волошин М.* Жизнь — бесконечное познанье: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. Посвящения / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., краткая биохроника, коммент. В. П. Купченко. М.: Педагогика-Пресс, 1995.

[369] *Шенталинский В.* Осколки Серебряного века // Новый мир. 1998. № 6.

[370] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 169.

[371] Воспоминания об Александре Грине. С. 451.

[372] Воспоминания об Александре Грине. С. 270.

[373] Там же. С. 370.

[374] Воспоминания об Александре Грине. С. 395.

[375] Там же. С. 370.

[376] Там же. С. 546.

[377] *Роскин А. И.* Мастерство художника-фабулиста. С. 6.

[378] *Роскин А. И.* Золотая цепь // Лит. газета. 1939. 30 августа.

[379] Воспоминания об Александре Грине. С. 312.

[380] Там же. С. 313.

[381] Воспоминания об Александре Грине. С. 547.

[382] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.

[383] Воспоминания об Александре Грине. С. 354.

[384] Там же. С. 537—538.

[385] Там же. С. 353.

[386] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.

[387] Воспоминания об Александре Грине. С. 395.

[388] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 135.

[389] Воспоминания об Александре Грине. С. 323.

[390] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 127—128.

[391] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 60.

[392] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 134.

[393] *Постнов О.* Пушкин и Грин (Резюме) // Philologica 7 (2001/2002).

[394] Воспоминания об Александре Грине. С. 211.

[395] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 58.

[396] *Первова Ю., Верхман А.* Грин и его отношения с эпохой.

[397] Воспоминания об Александре Грине. С. 374.

[398] Там же.

[399] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 48.

[400] См.: *Блок Г. П.* Рец. на книгу: *Грин А. С.* Бегущая по волнам. М.; Л., 1928 // Книга и профсоюзы. 1928. № 10. С. 43; Рец. на кн.: *Грин А. С.* Бегущая по волнам. М.; Л., 1928 // Известия. 1928. 2 ноября; Рец. на кн.: *Грин А. С.* Бегущая по волнам. М.; Л., 1928 // Красный библиотекарь. 1929. № 1. С. 82.

[401] *Харчев В.* Художественные принципы романтики А. С. Грина // Ученые записки Горьковского государственного педагогического института. Вып. 54, серия литературы. 1966. С. 42.

[402] *Вдовин А.* Миф Александра Грина (К 120-летию со дня рождения). Урал. 2000. № 8.
[403] Радио Свобода // Лицом к лицу. 2001. 9 марта.
[404] Воспоминания об Александре Грине. С. 370—371.
[405] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 70.
[406] Цит. по: *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 282.
[407] *Первова Ю., Верхман А.* Грин и его отношения с эпохой // Крещатик. № 9.
[408] *Зелинский К.* Грин // Красная новь. 1934. № 4. С. 199—206.
[409] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11.
[410] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 47.
[411] Там же.
[412] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[413] *Первова Ю., Верхман А.* Грин и его отношения с эпохой.
[414] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 16.
[415] Воспоминания об Александре Грине. С. 402.
[416] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 146.
[417] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 112.
[418] Там же. С. 113.
[419] Там же. С. 114.
[420] Там же. С. 113.
[421] Там же. С. 114.
[422] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[423] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 118.
[424] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[425] Там же.
[426] Там же.
[427] Там же.
[428] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 69.
[429] Там же.
[430] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[431] Там же.
[432] Там же.
[433] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 70.
[434] Там же.
[435] Там же.
[436] Там же.
[437] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 117.
[438] Там же. С. 41.
[439] Красная новь. 1930. № 6. С. 202.
[440] См. сайт: Grinlandia.narod.ru.
[441] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[442] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 142—143.
[443] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[444] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 106.
[445] *Тарасенко Н.* Дом Грина. Симферополь, 1979. С. 70.
[446] Воспоминания об Александре Грине. С. 555.
[447] Там же. С. 370.
[448] *Вдовин А.* Миф Александра Грина (К 120-летию со дня рождения) // Урал. 2000. № 8.
[449] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[450] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 18.
[451] Там же.
[452] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 121—124.

[453] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 123.
[454] Там же. С. 122.
[455] Там же. С. 44.
[456] Там же.
[457] *Вдовин А.* Миф Александра Грина.
[458] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 44.
[459] РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 620.
[460] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 44.
[461] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 123.
[462] Там же.
[463] Там же. С. 123.
[464] Там же.
[465] Воспоминания об Александре Грине. С. 558.
[466] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 117.
[467] Там же. С. 119.
[468] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[469] Архив Горького. КГ-П. 22—3—8.
[470] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 60.
[471] *Вдовин А.* Миф Александра Грина.
[472] Воспоминания об Александре Грине. С. 557—558.
[473] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 91.
[474] *Тарасенков Н.* Дом Грина. С. 80.
[475] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[476] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[477] Там же.
[478] Там же.
[479] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[480] Там же.
[481] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[482] РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 3. Ед. хр. 20.
[483] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине.С. 127.
[484] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[485] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 87.
[486] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[487] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 87.
[488] Воспоминания об Александре Грине. С. 559.
[489] Там же. С. 561.
[490] РГАЛИ. Ф. 2801. Оп. 1. Ед. хр. 3.
[491] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 86.
[492] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 163.
[493] РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 3. Ед. хр. 20.
[494] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 94.
[495] Там же. С. 89.
[496] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 192.
[497] Там же.
[498] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 104.
[499] Цит. по: *Первова Ю., Верхман А.* Грин и его отношения с эпохой.
[500] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 106.
[501] РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 3. Ед. хр. 20.
[502] Воспоминания об Александре Грине. С. 556.
[503] Там же.
[504] *О. Пафнутий Жуков.* Цит. по: http:/www.mrezha.ru/vera/423/3.htm.
[505] *Козлов М., протоиерей.* Последняя крепость. М., 2004. С. 39.
[506] *О. Пафнутий Жуков.* http:/www.mrezha.ru/vera/423/3.htm.

[507] *Ковский В. Е.* Романтический мир Александра Грина. С. 87.
[508] *Бондаренко Г.* Феерия навсегда! К 120-летию со дня рождения Александра Грина // Православный интернет-журнал «Соборность».
[509] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 189.
[510] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 85—86.
[511] Там же. С. 96.
[512] Там же.
[513] Там же. С. 97.
[514] Цит. по: *Филимонов С. Б.* Тайны судебно-следственных дел. Симферополь, 2000.
[515] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 98.
[516] РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 3. Ед. хр. 20.
[517] Воспоминания об Александре Грине. С. 565.
[518] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 100.
[519] Цит. по: *Филимонов С. Б.* Тайны судебно-следственных дел.
[520] Там же. С. 102.
[521] Цит. по: *Ковский В. Е.* Реалисты и романтики.
[522] Цит. по: *Филимонов С. Б.* Тайны судебно-следственных дел.
[523] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 44.
[524] Цит. по: *Первова Ю.* Воспоминания об Александре Грине. С. 18.
[525] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 86.
[526] Цит. по: *Тарасенко Н.* Дом Грина. С. 87.
[527] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 44.
[528] Там же.
[529] Там же.
[530] Там же.
[531] Там же.
[532] РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 210.
[533] Там же.
[534] Там же.
[535] *Смирнова В.* Корабль без флага // Лит. газета. 1941. 23 февраля.
[536] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 144—145.
[537] Там же. С. 140.
[538] Там же. С. 7.
[539] Там же. С. 21.
[540] *Важдаев В. М.* Проповедник космополитизма: Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина // Новый мир. 1950. № 1. С. 257—272.
[541] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. С. 73.
[542] Там же.
[543] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 16.
[544] Там же. С. 11.
[545] Там же. С. 17—18.
[546] Там же. С. 131.
[547] Там же. С. 57.
[548] *Ленч Л.* Курица и бессмертие // Лит. газета. 1959. 12 марта.
[549] *Первова Ю. А.* Воспоминания о Нине Николаевне Грин. С. 64.
[550] Там же. С. 68.
[551] Там же. С. 76.
[552] Там же. С. 138.
[553] Там же. С. 147—148.
[554] Там же. С. 122.
[555] Там же. С. 123.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. ГРИНА*

1880, 11 (23) августа — В г. Слободском Вятской губернии у Степана Евсеевича Гриневского и Анны Степановны Гриневской (урожденной Лепковой) родился сын Александр.

13 (25) августа — Александр Гриневский крещен в Никольской церкви г. Слободского.

1881 — Семья Гриневских переезжает в Вятку.

1889, 16 августа — Александр Гриневский зачислен в приготовительный класс Вятского Александровского реального училища (ВАРУ). В октябре педагогический совет ВАРУ уведомляет С. Е. и А. С. Гриневских о плохом поведении их сына Александра. Александр Гриневский выбывает из 1-го класса ВАРУ «по прошению отца».

1891, август — Александр вновь поступает в 1-й класс ВАРУ.

1892, 15 октября — Александра исключают из 2-го класса за сатирические стихи, высмеивающие учителей.

19 октября — Александра принимают в Вятское городское четырехклассное училище.

1894, осень — Ученик 3-го класса Александр Гриневский уволен из училища на две недели за плохое поведение.

1895, 23 января — От чахотки умирает мать Александра Анна Степановна.

Май — Отец Александра Степан Евсеевич женится на вдове Лидии Авенировне Борецкой. Александра отселяют из семьи из-за конфликтов с мачехой.

1896, июнь — Гриневский заканчивает Вятское городское четырехклассное училище.

23 июня — Отправляется в Одессу поступать в Мореходные классы.

Август — Принят учеником матроса на пароход «Платон». В октябре за неуплату денег на содержание высажен в Одессе.

Осень — Поступает на службу матросом на шхуну «Святой Николай», идущую в Херсон. Не получив расчета, возвращается в Одессу.

1897, весна — Нанят матросом на пароход «Цесаревич», идущий в Александрию. На обратном пути уволен за конфликт с капитаном.

Июль — Возвращается из Одессы в Вятку.

Осень и зима — Служит в канцелярии Вятской городской управы, зарабатывает перепиской документов и ролей для актеров городского театра, играет «третьестепенные» роли, около недели посещает железнодорожную школу.

1898, июль — Александр Гриневский уезжает из Вятки в Баку, где работает на рыбных промыслах, служит на пароходе «Атрек», бродяжничает.

1899, весна — Возвращается из Баку в Вятку, поступает банщиком на станцию Мураши Пермь-Котласской железной дороги.

Осень — Работает в железнодорожных мастерских Вятского депо. Сочиняет сатирические рассказы о Вятке.

---

* При составлении этого раздела частично использовались материалы сайта Дома-музея Александра Грина в Кирове.

1900, с 19 апреля по 19 июля — Служит матросом на барже № 8 пароходства Т. Ф. Булычева.

1901, 23 февраля — Пешком уходит на Урал, работает «на Пашийских приисках, на домнах, в железных рудниках села Кушва (г. Благодать), на торфяниках, на сплаве и скидке дров и дровосеком».

Август — Возвращается в Вятку, занимается перепиской ролей для актеров театра.

31 августа — Александр Гриневский по просьбе своего друга Михаила Назарьева продает золотую цепочку, украденную у врача В. А. Трейтера.

Сентябрь — Состоит под следствием по обвинению в сбыте краденого.

Ноябрь — Включен в списки лиц, подлежащих отбыванию воинской повинности в 1901 году с 1-го призывного участка Вятского уезда. Получает отсрочку от службы в армии до окончания следствия и суда.

1902, 4 февраля — На заседании Вятского окружного суда А. Гриневский и М. Назарьев признаны невиновными в «совершении приписываемых им преступных деяний».

Март — Александр Гриневский призван в армию, служит в Пензе в 213-м Оровайском резервном батальоне.

8 июля — Совершает побег из армии. Пойман в Камышине.

27 ноября — Вновь совершает побег с помощью члена партии эсеров А. И. Студенцова и уезжает в Симбирск. Работает на Симбирском лесопильном заводе.

1903, начало весны — После временного «карантина» в Твери и отказа участвовать в теракте направлен в качестве агитатора в Саратов, где проводит около месяца, затем уезжает в Тамбов и знакомится с членом ЦК партии социалистов-революционеров Н. Я. Быховским, своим «крестным отцом» в литературе. Переезжает в Екатеринослав, затем в Киев под начало эсера С. Н. Слетова.

Сентябрь — Прибывает в Севастополь. Занимается пропагандой и агитацией среди матросов Черноморского флота и солдат крепостной артиллерии. Знакомится с эсеркой Е. А. Бибергаль («Киской»).

11 ноября — Александр Гриневский арестован за революционно-пропагандистскую деятельность и заключен в Севастопольскую тюрьму.

17 декабря — С помощью Екатерины Бибергаль неудачно пытается бежать из тюрьмы.

1904, апрель — Александр Гриневский подает прошение на имя прокурора Одесской судебной палаты о переводе в тюрьму г. Вятки.

20 мая — Подает аналогичное прошение на имя министра внутренних дел. Оба прошения оставлены без удовлетворения.

1905, 22 февраля — Александр Гриневский осужден приговором военно-морского суда г. Севастополя к 10 годам ссылки в Сибирь.

23 мая — Состоялся повторный суд в Феодосии. В дополнение к предыдущему приговору добавлен год тюремного заключения.

24 октября — Гриневский освобожден из тюрьмы по амнистии.

Декабрь — приезжает в Петербург.

Конец декабря 1905-го или начала января 1906 года — Драматическое объяснение с Е. А. Бибергаль.

1906, 7 января — Александр Гриневский арестован за проживание по чужому паспорту (мещанина Николая Мальцева) и заключен в Выборгскую тюрьму («Кресты»).

Весна — Знакомится в тюрьме с Верой Павловной Абрамовой (1882—1951), которая навещает политзаключенных в качестве «тюремной невесты».

15 мая — Отправлен в ссылку в г. Тобольск, затем переведен в г. Туринск Тобольской губернии.

12 июня — Гриневский совершает побег из ссылки.

Июль — На несколько дней приезжает в Вятку, где отец достает ему паспорт умершего в больнице Алексея Алексеевича Мальгинова.

Август — Приезжает в Москву, где находится около десяти дней и по заданию партии эсеров пишет свой первый агитационный рассказ «Заслуга рядового Пантелеева». Рассказ опубликован за подписью «А. С. Г.».

5 декабря — В газете «Биржевые ведомости» публикуется рассказ «В Италию» (в газете ошибочно назван «В Италии») под псевдонимом А. А. М-в.

Конец года — Александр Гриневский приезжает в Петербург. Начало совместной жизни с Верой Абрамовой.

1907, 25 марта — Рассказ «Случай», опубликованный в газете «Товарищ», впервые подписан псевдонимом А. С. Грин.

1908, январь — В Петербурге выходит первый сборник А. С. Грина «Шапка-невидимка» с подзаголовком «Рассказы о революционерах». В книгу входят рассказы «Марат», «Кирпич и музыка», «Подземное», «В Италию», «Случай», «Апельсины», «На досуге», «Гость», «Любимый», «Карантин». Письмо А. С. Грина Горькому с просьбой об издании книги в «Знании».

1909 — Опубликована романтическая новелла «Остров Рено», которую писатель считает началом своего пути в литературе. Публикация рассказов «Рай», «Окно в лесу», «Она», «История одного заговора».

1910 — В издательстве «Земля» выходит вторая книга Грина «Рассказы».

Март — В журнале «Русское богатство» напечатана положительная рецензия на эту книгу А. Г. Горнфельда.

Апрель — Грин посещает авиационную неделю под Петербургом.

27 июля — Грин арестован за проживание по чужому паспорту.

1 августа — На имя министра внутренних дел подает прошение об освобождении и разрешении жить в провинции.

2 августа — На высочайшее имя подает прошение об освобождении из тюрьмы. *Осень* — А. С. Гриневский и Вера Павловна Абрамова венчаются в церкви градоначальства Петербурга.

31 октября — А. С. Грин с женой отправляется к месту ссылки — в г. Пинегу Архангельской губернии.

1911, 10 июля — А. С. Грин подает архангельскому губернатору прошение о переводе в г. Архангельск.

15 августа — А. С. Грин переведен из Пинеги на Кегостров. Публикация в Петербурге рассказов «Система мнемоники Атлея» и «Позорный столб». Знакомство с Р. Л. Самойловичем, будущим известным полярным исследователем.

1912, 21 марта — А. С. Грин переведен в Архангельск до конца срока ссылки.

16 мая — Возвращается из ссылки в Петербург. Публикация рассказов «Синий каскад Теллури», «Ксения Турпанова», «Приключения Гинча», «Трагедия на плоскогорье Суан», «Жизнь Гнора», «Лужа бородатой свиньи». Знакомство с А. И. Куприным, М. Арцыбашевым, М. Кузминым.

1913 — Выход Собрания сочинений А. С. Грина в трех томах в издательстве «Прометей». Публикация в периодической печати рассказов и повестей «История Таурена», «Таинственный лес», «Зурбаганский стрелок», «Дьявол оранжевых вод», «Остров Рено».

Сентябрь — Грин разводится с В. П. Абрамовой и ведет «богемскую» жизнь.

1914 — Становится сотрудником журнала «Новый сатирикон» (гл. редактор Аркадий Аверченко).

Февраль — Находится в психиатрической лечебнице доктора Трошина.

1 марта — Смерть отца писателя Степана Евсеевича Гриневского. Грин на похоронах не присутствует по болезни.

Опубликованы рассказы «Мертвые за живых», «Загадка предвиденной смерти», «Происшествие в квартире г-жи Сериз», «Повесть, оконченная благодаря пуле». Знакомство А. С. Грина с И. С. Соколовым-Микитовым.

1915 — Опубликованы рассказы «Искатель приключений», «Убийство в рыбной лавке», «Капитан Дюк», «Возвращенный ад». Грин знакомится с Л. Рейснер. Выходят книги «Загадочные истории» и «Происшествие на улице Пса». В «Журнале журналов» публикуется статья М. Левидова «Иностранец русской литературы».

1916 — Опубликованы рассказы «Ночью и днем», «Черный алмаз», «Таинственная пластинка», «Сто верст по реке», «Как я умирал на экране». В издательстве «Северные дни» выходит книга «Искатель приключений».

Осень — За непочтительный отзыв о царе А. С. Грин выслан из Петрограда.

1917, февраль — Пешком возвращается в Петроград. Опубликованы рассказы и очерки «Создание Аспера», «Узник “Крестов”», «Восстание», «Рене», «Возвращение» («Маятник души»), «Пешком на революцию». В «Русском богатстве» выходит рецензия А. Г. Горнфельда на книгу «Искатель приключений».

1918 — Знакомство А. С. Грина с Н. Н. Коротковой (урожденной Мироновой). Сотрудничество с газетами и журналами «Новый сатирикон», «Свободный журнал», «Петроградское эхо», «Чертова перечница» до их закрытия.

Лето — Грин живет в Барвихе с журналистом Н. Вержбицким, пишет для газеты «Честное слово». Приглашает участвовать в ней Блока.

Осень — Грин возвращается в Петроград, женится на М. В. Долидзе и разводится с ней в конце того же года.

1919, январь — Переезжает в Дом Гинцбурга на Васильевском острове и становится членом «Общества деятелей художественной литературы». Сотрудничает с журналом «Пламя». Летом призывается на военную службу под Псков.

1920, 20 марта — Самовольно оставляет воинскую часть, возвращается в Петроград и живет у знакомого по северной ссылке И. И. Кареля.

Апрель — Попадает с сыпным тифом в Смольнинский лазарет и пишет Горькому письмо с просьбой о помощи. Одновременно завещает все свои произведения своей жене В. П. Гриневской, с которой фактически не живет с 1913 года.

Лето — В. П. Гриневская выходит замуж за геолога К. П. Калицкого. После выздоровления и периода скитаний по знакомым

Грин получает от Горького направление в Дом искусств, где работает над «Алыми (красными) парусами». Горький редактирует роман Грина «Таинственный круг» о Нансене. Роман завершен не был. Знакомство Грина с Н. С. Тихоновым, Вс. Рождественским, В. Кавериным. Укрепление дружеских связей с В. Шкловским и В. Пястом. Взаимная неприязнь Грина и «верхушки» Дома искусств (Ходасевич, Чуковский). Безответная влюбленность в М. С. Алонкину и письма к ней.

8 декабря — Грин читает в Доме искусств один из первых вариантов «Алых парусов».

1921, февраль — Возобновляется знакомство Грина с Н. Н. Коротковой.

5 марта — Грин делает ей предложение.

7 марта — Н. Н. Короткова становится женой Грина.

8 марта — Грин пишет письмо Горькому с просьбой заступиться за арестованного поэта Вс. Рождественского.

Май — А. С. Грин и Н. Н. Короткова регистрируют свой брак в загсе. Из-за конфликтов Грина с обслугой Дома искусств А. С. и Н. Н. Грины покидают Дом искусств и поселяются на Пантелеймоновской улице.

Лето — жизнь в Токсове. Грин сотрудничает с газетой «Красный милиционер», где печатает рассказ «Состязание в Лиссе».

1922 — Публикация первой после революции книги «Белый огонь», в которую входят рассказы «Корабли в Лиссе» и «Канат».

Февраль — Грины переезжают на 2-ю Рождественскую улицу. Работа над романом «Блистающий мир».

1923, весна — Выход романа «Блистающий мир» в «Красной ниве».

Май — поездка Гринов в Крым. Выход фильма «Поединок», снятого по мотивам рассказа Грина «Жизнь Гнора». Публикация «Алых парусов» с посвящением Н. Н. Грин и сборника рассказов в Государственном издательстве. Публикация в периодической печати рассказов «Убийство в Кунст-Фише», «Пропавшее солнце», «Словоохотливый домовой», «Сердце пустыни», «Русалки воздуха», «Ива».

Лето — Переезд на новую квартиру и ремонт. Отмена «сухого закона» и возобновление запоев у Грина.

1924, январь — Вечер у Р. Л. Самойловича.

Весна — «Болезнь» Н. Н. Грин и решение Гринов переехать в Крым. Консультации с М. А. Волошиным о выборе места жительства.

6 мая — Грины покидают Петроград.

10 мая — Приезжают в Феодосию и поселяются в гостинице «Астория», потом в доме на Севастопольском бульваре.

Лето — Приезд в Москву за авансами. Встреча с К. Паустовским и М. Пришвиным. Запись М. Пришвина в его дневнике о Грине. В журнале «Россия» выходит рассказ «Крысолов», в «Красной ниве» — «Возвращение». Публикация романа «Блистающий мир» в издательстве «Земля и фабрика» (без сцены в церкви). Осенью Грины переезжают на Галерейную улицу, где проживают до осени 1928 года. Грин работает над романом «Золотая цепь».

1925 — В течение года у Грина выходят в различных издательствах семь книг. В одной из них («На облачном берегу») напечатан рассказ «Серый автомобиль». Публикация романа «Золотая цепь» в журнале «Новый мир». Работа над рассказом «Фанданго» и романом

«Бегущая по волнам». Горький высоко оценивает книгу «Гладиаторы». Закрытие журнала «Россия», где должен был быть напечатан «Фанданго».

1926 — Отказ «Нового мира» и «Красной нови» публиковать «Бегущую по волнам». Неудачная попытка публикации романа в издательствах «Прибой» и «Пролетарий». Публикация рассказа «Брак Августа Эсборна» в «Красной ниве». Выход пяти сборников прозы Грина. Знакомство с В. В. Вересаевым и М. А. Булгаковым.

1927 — Грин встречается в Феодосии с издателем Л. В. Вольфсоном и заключает договор об издании 15-томного Собрания сочинений. На полученный аванс Грины совершают путешествие в Ялту, Ленинград, Кисловодск. Грин дарит жене золотые часы. Попытка участия Грина в написании коллективного романа двадцати пяти советских писателей «Большие пожары». Выход рассказа «Фанданго» в книге «Война золотом: Альманах приключений». Всего выходит восемь книг рассказов А. С. Грина в разных издательствах.

1928 — Грин читает отрывки из «Бегущей по волнам» на Никитинских субботниках Публикация романа в издательстве «Земля и фабрика». Выход первых разрозненных томов Собрания сочинений в «Мысли» и начало суда с Л. В. Вольфсоном. Возвращение острого алкогольного периода в жизни Грина.

Осень — Переезд из дома на Галерейной на Верхне-Лазаретную улицу. Ухудшение материального положения семьи Гринов. Публикация рассказа «Акварель» в «Красной ниве».

1929 — Продолжение суда с Вольфсоном. Судебные неудачи, периоды запоев у Грина. Крайне тяжелое материальное положение. Выход романа «Джесси и Моргиана» (первоначальное название «Обвеваемый холм») в издательстве «Земля и фабрика». Публикация рассказов «Измена», «Ветка омелы» и «Гнев отца» в журнале «Красная нива».

1930 — Выход романа «Дорога никуда» в издательстве «Федерация».

Лето — Благополучное завершение суда с Л. В. Вольфсоном и выигрыш семи тысяч рублей. Жена угрожает уйти от Грина из-за его пьянства.

Осень — Грины оставляют Феодосию и переезжают в Старый Крым на улицу Ленина. Работа над «Автобиографической повестью». Публикация рассказа «Зеленая лампа» в журнале «Красная новь».

1931 — Публикация «Автобиографической повести» в журнале «Звезда». Начало смертельной болезни Грина. Работа над романом «Недотрога».

Весна — Грин последний раз посещает М. Волошина в Коктебеле.

Май — Грины переезжают в квартиру на улице Октябрьской. В Крыму голод.

Лето — Грин совершает последнюю поездку в Москву для получения денег, сильно пьет и возвращается ни с чем. Отказ в публикации ряда рассказов Грина, в том числе рассказа «Комендант порта».

Осень — Продолжение болезни Грина. Письма в Союз писателей с ходатайством о пенсии и помощи для лечения.

Ноябрь — 25-летие литературной деятельности А. С. Грина. Поздравительная телеграмма от Н. С. Тихонова.

1932, весна — Резкое ухудшение здоровья Грина.

Май — Жена Грина получает телеграмму из Союза писателей с выражением соболезнований в связи с «кончиной» А. С. Грина.

Начало июня — Грины переезжают в собственный домик на улице Либкнехта, купленный на золотые часы Н. Н. Грин. Консилиум врачей ставит Грину диагноз: рак. Выходит последняя прижизненная книга Грина «Автобиографическая повесть».

6 июля — Грин исповедуется и причащается.

8 июля, 6.30 вечера — Кончина Александра Грина.

9 июня — Похоронен на кладбище в Старом Крыму.

Хроника жизни Н. Н. Грин и судьба литературного наследия и дома А. С. Грина после смерти писателя

1933 — В журнале «Красная новь» публикуются рассказы «Комендант порта», «Бархатная портьера» и «Пари» с предисловием М. Шагинян. Высокая оценка творчества Грина Э. Багрицким, Ю. Олешей, А. Фадеевым, Л. Сейфуллиной, Л. Леоновым, А. Малышкиным и их письмо в издательство «Советская литература» с предложением выпустить книгу рассказов А. С. Грина.

1934 — В издательстве «Советский писатель» выходит книга А. С. Грина «Фантастические новеллы» с предисловием К. Зелинского. Н. Н. Грин становится женой врача-фтизиатра П. И. Нании. Пишет первый вариант воспоминаний о Грине.

1935 — Выход отдельным изданием романа «Дорога никуда» и сборника рассказов Грина. В журнале «Художественная литература» публикуется критическая статья А. И. Роскина «Судьба художника-фабулиста» о творчестве Грина.

1936 — Публикация фрагментов незавершенного романа «Недотрога» в журнале «Огонек». К. Г. Паустовский публикует свой роман «Черное море», где в образе писателя Гарта выведен А. С. Грин. В газете «Литературный Ленинград» печатается статья Н. Комарского «Оправдание романтики» о творчестве А. С. Грина и К. Г. Паустовского.

1937 — Временное прекращение переписки между Н. Н. Грин и В. П. Калицкой в связи с написанием последней мемуаров о Грине. В издательстве «Советский писатель» выходят рассказы А. С. Грина.

1939 — В издательстве «Советский писатель» публикуется роман Грина «Золотая цепь». Положительной рецензией на него откликается в «Литературной газете» А. И. Роскин.

1940 — Выход рассказов А. С. Грина в «Детгизе». Критическая статья А. Платонова о творчестве Грина. Н. Н. Грин обращается в Наркомпрос с просьбой об открытии Дома-музея Грина и получает обещание, что музей будет открыт в 1942 году к 10-летию со дня кончины писателя.

1941, 23 февраля — В «Литературной газете» публикуется статья Веры Смирновой «Корабль без флага».

Лето — Н. Н. Грин разводится с П. И. Нанией. Мать Н. Н. Грин О. А. Миронова заболевает тяжелой психической болезнью.

1942 — оккупация Крыма немецкими войсками.

Январь — Н. Н. Грин начинает работать завтипографией в Старом Крыму по выпуску «Официального бюллетеня Старо-Крымского района».

1943, 1 марта — март 1943-го — Работает редактором «Официального бюллетеня Старо-Крымского района».

1944 — Выход отдельными изданиями феерии «Алые паруса» в «Военмориздате» с предисловием К. Г. Паустовского и романа «Бегущая по волнам» в «Детгизе» с предисловием Л. Борисова. Смерть матери Н. Н. Грин О. А. Мироновой. Н. Н. Грин уезжает в Одессу, откуда ее угоняют в Германию.

1945 — Н. Н. Грин добровольно возвращается на родину и заявляет о себе в МГБ.

Осень — Н. Н. Грин арестована, признана виновной в сотрудничестве с немецкими карательными органами и измене родине и осуждена на 10 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и конфискацией имущества.

1946 — 1955 — Н. Н. Грин отбывает срок в лагере (в 1946—1953 годах — на Печоре; в 1953—1955 годах — под Астраханью), работает медсестрой. Ведет переписку с В. П. Калицкой, Б. С. Гриневским (родным братом А. С. Грина), В. В. Смиренским. Пишет воспоминания о Грине и отсылает их своему брату К. Н. Миронову, который уничтожает рукопись. Н. Н. Грин создает новый вариант.

1946 — Публикация повести Л. И. Борисова «Волшебник из Гель-Гью» об А. С. Грине. Повесть получает высокую оценку К. Г. Паустовского и Б. С. Гриневского и в дальнейшем гневную отповедь со стороны Н. Н. Грин.

1947 — Б. С. Гриневский посещает Старый Крым и могилу Грина. В доме, где умер Грин, находится сарай, принадлежащий первому секретарю Крымского райкома партии.

1950 — В январе в журнале «Новый мир» выходит статья В. М. Важдаева «Проповедник космополитизма: Нечистый смысл “чистого искусства” Александра Грина». Книги А. С. Грина изымаются из библиотек.

1951 — Смерть В. П. Калицкой.

1952 — Выход статьи об А. С. Грине в Большой советской энциклопедии, где писатель назван буржуазным космополитом.

1955 — Н. Н. Грин приезжает в Москву и благодаря усилиям К. Г. Паустовского и И. А. Новикова получает пенсию от Союза писателей. Паустовский и Новиков обращаются в Гослитиздат с предложением выпустить «Избранное» А. С. Грина.

1956 — «Избранное» с предисловием Паустовского выходит в Гослитиздате. В журнале «Новый мир» публикуется статья М. Щеглова «Корабли Александра Грина». Благодаря вмешательству генерала МГБ, заместителя секретаря по административно-хозяйственным делам Союза писателей СССР В. Н. Ильина Н. Н. Грин получает гонорар в размере 100 тысяч рублей за «Избранное» А. С. Грина. Н. Н. Грин приезжает в Старый Крым и восстанавливает могилу Грина. Начинается борьба за домик, где умер писатель.

1958 — Н. Н. Грин обращается в прокуратуру с просьбой о реабилитации. Ходатайство отклонено. В Старом Крыму райкомом партии распускаются слухи о том, что Н. Н. Грин бросила мужа за два года до его смерти.

1959 — «Литературная газета» публикует фельетон Л. Ленча «Курица и бессмертие» о судьбе дома, где умер А. С. Грин, и в течение года дважды обращается к этой теме.

1960 — Дом Грина возвращен вдове писателя. Открытие неофициального мемориального музея А. С. Грина.

1965 — Выход в свет массовым тиражом Собрания сочинений А. С. Грина в шести томах в издательстве «Правда». Новое обращение Н. Н. Грин в Генеральную прокуратуру с ходатайством о реабилитации и новый отказ.

1969 — Публикация монографии В. Е. Ковского «Романтический мир Александра Грина».

1970 — Открытие Дома-музея А. С. Грина в Феодосии на Галерейной улице.

27 сентября — Н. Н. Грин скончалась в Киеве в возрасте 74 лет, завещав похоронить себя рядом с мужем и матерью. Местные власти отказываются исполнить волю покойной.

1971 — Открытие музея Грина в Старом Крыму.

23 октября — Н. Н. Грин по воле ее душеприказчицы Ю. А. Первовой тайно перезахоронена рядом с мужем.

1997 — Н. Н. Грин посмертно реабилитирована прокуратурой Автономной республики Крым.

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ГРИНА

Алиев Э. О некоторых малоизвестных произведениях А. С. Грина // Литературный Азербайджан. 1970. № 7.

Антонов С. А. Грин. «Возвращенный ад» // *Антонов С.* От первого лица: Рассказы о писателях, книгах и словах. М., 1973.

Ашукин Н. С. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Алые паруса. М., 1923 // Россия. 1923. № 5.

Басинский П. В., Федякин С. Р. Русская литература конца XIX — начала XX века и первой эмиграции. М., 1998.

Блок А. А. Записные книжки 1901—1920. М., 1965.

Блок Г. П. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Бегущая по волнам. М.; Л., 1928 // Книга и профсоюзы. 1928. № 10.

Бобров С. П. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Алые паруса. М.; Пг., 1923 // Печать и революция. 1923. № 3.

Бондаренко Г. В. Феерия навсегда! К 120-летию со дня рождения Александра Грина // Православный интернет-журнал «Соборность».

Борисов Л. И. Волшебник из Гель-Гью. Романтическая повесть. Л., 1972.

Будницкий О. В. Предисловие к книге «Женщины-террористки. Бескорыстные убийцы». Ростов н/Д., 1996.

Важдаев В. М. Проповедник космополитизма: Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина // Новый мир. 1950. № 1.

Валентинов Н. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Рассказы. СПб., 1910. Т. 1 // Киевская мысль. 1910. 16 марта.

Вдовин А. Миф Александра Грина (К 120-летию со дня рождения) // Урал. 2000. № 8.

Вихров В. Рыцарь мечты // *Грин А. С.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Правда, 1965. Т. 1.

Воспоминания об Александре Грине / Сост., вступ., примеч. Вл. Сандлера. Л., 1972.

Войтоловский Л. Н. Литературные силуэты: А. С. Грин // Киевская мысль. 1910. 24 июня.

Войтоловский Л. Н. Летучие наброски: Александр Грин // Киевская мысль. 1914. 3 мая.

Горнфельд А. Г. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Рассказы. СПб., 1910. Т. 1 // Русское богатство. 1910. № 3.

Горнфельд А. Г. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Искатель приключений: Рассказы. М., 1916 // Русское богатство. 1917. № 6—7.

Грин Н. Н. Воспоминания об Александре Грине. Симферополь, 2000.

Зелинский К. Грин // Красная новь. 1934. № 4.

Каверин В. Грин и его «Крысолов» // *Каверин В.* Счастье таланта. М., 1989.

Кобзев Н. А. Роман Александра Грина. Кишинев, 1983.

Ковский В. Е. Романтический мир Александра Грина. М., 1969.

Ковский В. Е. Блистающий мир Александра Грина // *Грин А. С.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т.1.

Ковский В. Е. Настоящая внутренняя жизнь: Психологический романтизм Александра Грина // *Ковский В. Е.* Реалисты и романтики. М., 1990.

Колтоновская Е. А. Рассказы Грина // Критические этюды. СПб., 1912.

Левидов М. Ю. Иностранец русской литературы: Рассказы А. С. Грина // Журнал журналов. 1915. № 4.

Левидов М. Ю. Героическое... // Литературная газета. 1935. 15 февраля.
Лелевич Г. Гиппократово лицо // Красная новь. 1926. № 1.
Ленч Л. Курица и бессмертие // Литературная газета. 1959. 12 марта.
Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. М., 1983.
Локс К. Г. Рец. на кн.: *Грин А.* Рассказы. М., 1923 // Печать и революция. 1923. № 5.
Мелкая М. Девочка мечтала стать манекеном // Смена. 2004. 8 февраля.
Метелева Н. Романтизм как признак инфантильности: Попытка литературного психоанализа личности Александра Грина // Бинокль: Вятский культурный журнал. 2000. № 6.
Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество. М., 1972.
Пастернак Б. Л. Люди и положения // *Пастернак Б. Л.* Воздушные пути. М., 1982.
Паустовский К. Г. Александр Грин // *Паустовский К. Г.* Золотая роза: Повесть. Л., 1987.
Паустовский К. Г. Черное море // *Паустовский К. Г.* Лавровый венок. М., 1985.
Первова Ю. А. Воспоминания о Нине Николаевне Грин. Симферополь, 2001.
Первова Ю. А., Верхман А. Грин и его отношения с эпохой // Крещатик. № 9.
Перельмутер В. Время крыс и крысоловов // Октябрь. 2002. № 7.
Платонов А. П. Рассказы А. Грина // *Платонов А. П.* Размышления читателя. М., 1970.
Постнов О. Пушкин и Грин (Резюме) // Philologica 7 (2001/2002).
Пришвин М. М. Дневник 1923—1925. М., 1999.
Прохоров Е. И. Александр Грин. М., 1970.
Роскин А. И. Судьба писателя-фабулиста // Художественная литература. 1935. № 4.
Россельс Вл. Дореволюционная проза Грина // *Грин А. С.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 1.
Савинич Б. Литературные течения: А. С. Грин // Утро России. 1915. 25 апреля.
Смирнова В. А. Корабль без флага // Литературная газета. 1941. 23 февраля.
Степанович С. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Позорный столб. Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1913. Т. 3 // Новая жизнь. 1914. № 3.
Тарасенко Н. Ф. Дом Грина: Очерк-путеводитель по музею А. С. Грина в Феодосии и филиалу музея в Старом Крыму. Симферополь, 1979.
Тарасенков А. К. О национальных традициях и буржуазном космополитизме // *Тарасенков А. К.* О советской литературе. М., 1952.
Филимонов С. Б. Тайны судебно-следственных дел. Симферополь, 2000.
Фомин А. А. Ономастика «Фанданго» А. Грина: хронотоп и концептуальный план произведения // Известия УРГУ. № 17.
Харчев В. В. Художественные принципы романтики А. С. Грина // Ученые записки Горьковского государственного педагогического института. Вып. 54. 1966.
Харчев В. В. Поэзия и проза Грина. Горький, 1975.
Царькова Ю. Испытание чуда: Роман А. Грина «Блистающий мир» // Вопросы литературы. 2003. Сентябрь-октябрь.

Шагинян М. С. А. С. Грин // Красная новь. 1933. № 5.
Шевцова Г. Мечта разыскивает путь // Материалы VI Гриновских чтений, посвященных 120-летию А. С. Грина. Киров, 2001.
Шепеленко Д. Рец. на кн.: *Грин А. С.* Блистающий мир. М.; Л., 1924 // Пролетарий связи. 1924. № 23—24.
Шушакова Анна (10-й класс). А. Грин и его отношение к «механическим» началам жизни // Кастальский ключ. № 18. Киров.
Щеглов М. А. Корабли Александра Грина // *Щеглов М. А.* Литературно-критические статьи. М., 1965.
Яблоков Е. А. Александр Грин и Михаил Булгаков (романы «Блистающий мир» и «Мастер и Маргарита») // Филологические науки. 1991. № 4.

СОДЕРЖАНИЕ

Варламов А. Н.

В 18 Александр Грин / Алексей Варламов. — 2-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 452[12] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1115).

ISBN 978-5-235-03129-6

Имя Александра Грина, создателя целого мира, называемого Гринландия, известно сегодня всем, хотя творчество этого удивительного писателя хорошо знают лишь немногие. Его фантастические герои, умеющие летать, ходить по волнам, мечтать и видеть свои мечты сбывшимися, всегда зачаровывали читателей, в любых обстоятельствах наделяли их надеждой. Но была в его произведениях, как и в его жизни, тоска о Несбывшемся. Он не стал моряком, зато стал эсером, близко соприкоснувшись с теми, кто готовил и осуществлял теракты, никогда не был признан своим среди писателей, многие из которых не принимали всерьез его творчество, жил не просто в бедности — в нищете и умел довольствоваться малым. В любые времена он был человеком несвоевременным и оставил о себе самые противоречивые воспоминания у тех, кто его знал. Зато его жизнь была согрета жертвенной любовью Нины Николаевны Грин, его второй жены, во многом благодаря усилиям которой мы можем сегодня представить себе, каким человеком был создатель «Алых парусов» и «Бегущей по волнам»

Автор книги — известный писатель и литературовед Алексей Варламов — на основе публиковавшихся и архивных документов сумел создать удивительно живой и цельный образ этого неординарного человека и очень интересно и подробно представить его творчество.

УДК 82-94
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Варламов Алексей Николаевич
АЛЕКСАНДР ГРИН

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **М. А. Щепетова**
Художественный редактор **О. В. Краюшкина**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Л. С. Барышникова, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Подписано в печать с готовых монтажей 14.02 2008. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная Гарнитура «Таймс». Усл. печ л. 24,36+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 83305.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03129-6

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Ю. Зобнин
«МЕРЕЖКОВСКИЙ»

А. Митрофанов
«ГИЛЯРОВСКИЙ»

К. Давид
«КАФКА»

Г. Пржиборовская
«ЛАРИСА РЕЙСНЕР»

А. Гулыга
«ГЕГЕЛЬ»

А. Кобринский
«ДАНИИЛ ХАРМС»

Л. Млечин
«БРЕЖНЕВ»

А. Пензенский
«НОСТРАДАМУС»

Н. Будур
«КНУТ ГАМСУН»

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Бондаренко
«МИЛОРАДОВИЧ»

В. Козляков
«ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ»

Н. Павленко
«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

К. Ковалев
«САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ»

А. Кудря
«ВАЛЕНТИН СЕРОВ»

Б. Соколов
«ТУХАЧЕВСКИЙ»

Ж. Аттали
«КАРЛ МАРКС»

М. Филин
«АРИНА РОДИОНОВНА»

М. Гейзер
«ЛЕОНИД УТЕСОВ»

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

В. Боккарди

ВИВАЛЬДИ

(перевод с итальянского)

Жизнь и творчество легендарного венецианца, рыжего священника, виртуоза-скрипача, многожанрового композитора, дирижера, педагога, импресарио отделяют от нас почти 300 лет. И несмотря на это его музыка пользуется необычайной популярностью в современном мире. Секрет прост — посланный Богом яркий мелодический дар, мощный творческий импульс, поддерживаемые самоотверженной любовью к музыке, невероятным трудолюбием и редким жизнеутверждающим началом, которым не помешал тяжелый врождённый недуг. При жизни Антонио Вивальди был очень востребованным композитором. После смерти оказался напрочь забытым. По-настоящему его открыли лишь в 50-е годы XX века. За время забвения его бытование на земле обросло великим множеством домыслов и легенд. Предлагаемая читателям книга — первая достоверная биография Вивальди, написанная его соотечественником.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Г. А. Пржиборовская
ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Лариса Рейснер (1895—1926) — поэт, писатель, журналист, комиссар отряда разведки Волжской военной флотилии, комиссар Генерального Морского штаба, «нелегал» в Германии — еще при жизни были окружена ореолом мифов и легенд, как поклонением, так и ненавистью современников. «Большевистская мадонна», «Валькирия революции», она стала прототипом комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского. Через ее яркую 30-летнюю жизнь прошли самые знаменитые и известные люди той эпохи: Л. Андреев, Н. Гумилёв, А. Ахматова, А. Блок, О. Мандельштам, М. Кольцов, Вс. Рождественский, Ф. Раскольников, К. Радек и др. На сегодняшний день это первое полное жизнеописание Л. М. Рейснер. Автор книги Галина Пржиборовская, много лет собиравшая материалы о своей героине, успела записать живые воспоминания родственников, коллег и современников Л. Рейснер. В книге использованы неизвестные архивные документы, биографические факты, дополненные богатым и малоизвестным фотоматериалом.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Б. В. Соколов

БУДЕННЫЙ

Семен Михайлович Буденный (1883–1973) – герой Гражданской войны, командир легендарной Первой Конной, один из самых популярных советских военачальников. Множество стихов, песен, романов изображали его прямым и бесхитростным наездником-рубакой, но на самом деле он был достаточно умен и осторожен, чтобы уцелеть в годы сталинских репрессий и навязать Красной Армии свою линию на укрепление конницы в ущерб моторизованным частям. Великая Отечественная война доказала пагубность подобного курса и завершила полководческую карьеру Буденного, который еще много лет играл роль живой легенды, связующего звена современности с героикой первых советских лет. Превратности биографии знаменитого маршала исследует известный историк Борис Соколов — автор более 40 книг, посвященных истории и культуре России XX века.

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

А. А. Тахо-Годи

ЛОСЕВ

Книга Азы Алибековны Тахо-Годи посвящена замечательному мыслителю нашего столетия Алексею Федоровичу Лосеву (1893—1988). В основу ее легли личные воспоминания автора, свидетеля и участника событий десятков лет, а также материалы уникального лосевского архива. Лосев предстает в книге не только как выдающийся философ, но и как православный человек, разделивший с Родиной ее судьбу. Характерен путь Лосева: религиозно-философские общества; встречи с о. П. Флоренским, о. С. Булгаковым, И. А. Ильиным и другими крупнейшими философами Серебряного века; издание в 20-е годы опасных книг, которые привели его в тюрьму; лагерь, слепота, вынужденное двадцатилетнее молчание, гибель родного дома. Рядом с ним в самые тяжелые годы — необыкновенная женщина, Валентина Михайловна Лосева. Вера и любовь помогали жить, мыслить и творить философу, по его словам, «сосланному в XX век». Второе издание книги значительно дополнено автором.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

В. Н. Козляков

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ

Имя царя Василия Ивановича Шуйского связано с самыми тяжелыми страницами в истории русской Смуты начала XVII века — восстанием Болотникова, осадой Москвы Тушинским вором, открытой интервенцией польского короля Сигизмунда III, катастрофическим поражением русских войск под Клушином в 1610 году и, как итог, сдачей Москвы полякам. Сам царь, сведенный с престола собственными подданными, стал добычей польского короля и окончил свои дни в польском плену. Так кем же был Василий Шуйский — виновником почти окончательного уничтожения Русского государства или жертвой чудовищных обстоятельств? О трагической судьбе последнего Рюриковича на русском престоле рассказывается в этой книге.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

А. А. Пензенский
НОСТРАДАМУС

Мишеля Нострадамуса (1503–1566) по праву можно назвать одной из самых загадочных личностей мировой истории. Он был астрологом, поэтом, философом, врачом, но потомкам запомнился в первую очередь как автор «Пророчеств» или «Центурий», предсказывающих судьбы человечества на сотни лет вперед. Многие и сегодня верят Нострадамусу, находя в его трудах множество совпадений с реальными историческими событиями. Иначе подходит к наследию Нострадамуса один из лучших его знатоков Алексей Пензенский. В его новаторском исследовании Нострадамус из мистика превращается в мыслителя-утописта, скрывающего под маской пророчеств свои мечты о справедливом общественном устройстве. Значительная часть книги посвящена поискам подлинного смысла нострадамусовских катренов (четверостиший), язык которых очень труден для понимания. Первая в России научная биография Нострадамуса снабжена справочным аппаратом и редкими иллюстрациями.

Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru